ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

[6] 2004

РОМАН ВИРДЖИНИИ ВУЛФ "МЕЖДУ АКТОВ" В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК "ДОМ ДНЕВНОЙ, ДОМ НОЧНОЙ" / РАССКАЗЫ УИЛЬЯМА ТРЕВОРА / ПЬЕСА ЭРИКА-ЭММАНЮЭЛЯ ШМИТТА "ГОСТЬ" / СТИХИ КОНСТАНТИНА АБЭЛУЦЭ / "ТРИ ЭТЮДА О ДЕНДИ" ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН В РУБРИКЕ "ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ"

Основан в 1891 году

[6]

2004

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Ольга Токарчук. *Дом дневной, дом ночной.* Фрагменты книги. Перевод с польского Ольги Катречко

54 Уильям Тревор. *Рассказы о любви.* Перевод с английского А. Ливерганта

88 Эрик-Эммануэль Шмитт. *Гость.* Пьеса. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

129 Константин Абэлуцэ. *Стихи.* Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной

Из классики XX века

135 Вирджиния Вулф. Между актов. Роман. Перевод с английского и вступление Е. Суриц

Документальная проза

224 Аманда Лир. Дали глазами Аманды. Главы из книги. [Окончание.] Перевод с французского О. Захаровой

Из будущей книги

269 Ольга Вайнштейн. *Три этюда о денди*

Письма из-за рубежа

294 Ольга Тилькес. *Кочующий Эрмитаж*

БиблиофИЛ

297 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

299

Авторы номера

302

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

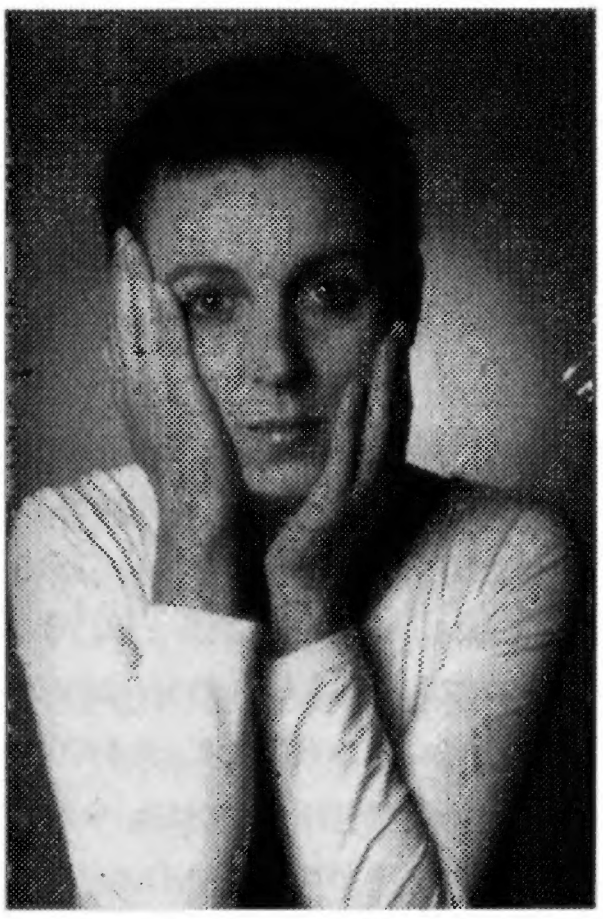
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ольга Токарчук



Дом дневной, дом ночной

Фрагменты книги

Перевод с польского Ольги Катречко

Твой дом — твое большое тело.
Растет на солнце; спит в ночи.
Порою ему снятся сны.
Разве твой дом не засыпает, чтобы, покинув город,
Унестись к вершинам гор, к далеким рощам?

Халил Джибран

Сон

В первую ночь у меня был неподвижный сон. Мне снилось, что я — чистое созерцание, чистое зрение, и нет у меня ни тела, ни имени. Я застыла высоко над долиной, в некой неопределенной точке, откуда мне видно все или почти все. В своем созерцании я подвижна, хотя сама остаюсь на месте. Вернее, это зримый мир подчиняется мне — то приближается, то удаляется, так что я могу видеть все в целом или только мельчайшие подробности.

Вот я вижу долину, в которой стоит дом, в самом ее центре — это не мой дом и не моя долина, потому что мне ничто не принадлежит, я и сама себе не принадлежу, да и вообще нет ничего такого, что было бы мной. Я вижу круглую линию горизонта, которая замыкает долину со

© Olga Tokarczuk 1998
© О. Катречко. Перевод, 2004
Полностью книга будет опубликована в издательстве АСТ.

всех сторон. Вижу клокочущий, мутный поток, который вьется между горами. Вижу деревья, вросшие могучими стволами в землю, подобно одноногим оцепеневшим животным. Недвижность всего, что охватывает мой взор, иллюзорна. Стоит мне захотеть — я могу проникнуть сквозь оболочку иллюзорности. И тогда, когда проникну, под корой деревьев увижу быстрые ручейки воды и соков, которые бегут взад и вперед, вверх и вниз. Под крышей я обнаружу тела спящих людей, неподвижность их тел тоже обманчива — внутри мягко бьются сердца, журчит кровь, даже их сны ненастоящие, поскольку мне видно, что́ они собой представляют: это пульсирующие обрывки картин. Ни одно из спящих тел ни ближе ко мне, ни дальше. Я просто смотрю на них на всех и в сумбуре их сновидений вижу себя — и постигаю одну странную истину. Я — зрение, отстраненное от размышлений, суждений и чувств. И тут же меня поражает еще одна вещь: мой взгляд проникает и сквозь время; подобно тому, как я меняю свою точку зрения в пространстве, я могу изменить ее во времени, будто я — стрелка на экране компьютера, что вроде бы бродит сама по себе, но, должно быть, не ведает ничего о руке, которая ею управляет.

Мне кажется, этот сон длится бесконечно долго. Ничего не было до, ничего не было после, и ничего нового я не жду, потому что не могу ни приобрести ничего, ни потерять. Ночь никогда не кончится. Ничто не меняется. Даже время бессильно изменить то, что я вижу. Я смотрю и не узнаю ничего нового, но и не забываю того, что увидела.

Марта

Весь первый день мы обследовали свои угодья. Резиновые сапоги вязли в глинистой почве. Земля была красная, руки перепачканы красной грязью, а когда мы их мыли, с них стекала красная вода. Р. в очередной раз осматривал деревья в саду. Они были старые, ветвистые, разросшиеся во все стороны. Такие деревья, по-видимому, не принесут плодов. Сад тянулся до самого леса и упирался в темную стену елей. Они стояли, как полчища воинов. После обеда снова пошел снег с дождем. Вода скапливалась на глинистой земле и струйками и ручейками устремлялась сверху прямо к дому, впитывалась в стены и исчезала где-то под кладкой. Мы спустились со свечой в подвал, встревоженные незатихающим шумом. По каменным ступеням бежал настоящий поток, омывая каменный пол, и продирался наружу ниже, со стороны пруда. Стало ясно, что дом стоит на реке, что его неосмотрительно построили на подземных водах, и тут уж ничего не поделаешь. Остается лишь смириться с унылым, неустанным шумом воды, с беспокойными снами.

Вторая река была за окном — поток мутной красноватой воды, которая безуспешно подмывала неподвижные корни деревьев и пропадала в лесу.

Из окна длинной комнаты виден дом Марты. Уже третий год я задаюсь вопросом, кто такая Марта. О себе она всегда рассказывает по-разному. Каждый раз называет другой год рождения. Для меня и для Р. Марта существовала только летом, зимой выпадала из поля зрения, как и все здешнее. Она была щупленькая, совершенно седая, с редкими зубами. Кожа — сморщенная, сухая и теплая. Я знаю это, потому что мы поцело-

вались при встрече, даже неуклюже обнялись, и я почувствовала ее запах — пахло с трудом высушенной сыростью. Этот запах остается навечно, от него не избавишься. Одежду, промокшую под дождем, нужно выстирать, утверждала моя мама, но она вообще все стирала, даже когда не было надобности. Открывала шкафы, вытаскивала чистые накрахмаленные простыни и засовывала их в стиральную машину, словно, когда лежали, они пачкались так же, как когда ими пользовались. Запах сырости сам по себе неприятен, но на одежде Марты, на ее коже казался привычным и уютным. В присутствии Марты все находилось на своих местах, все было в полном порядке.

Марта пришла сразу же, на второй вечер. Сначала мы пили чай, потом прошлогоднее вино из шиповника, темное и густое, и такое притворное, что в голове мутилось после первого же глотка. Я выкладывала из коробок книги. Марта держала рюмку в обеих руках и смотрела безо всякого интереса. Я подумала, что Марта не умеет читать. Так мне показалось. Это было вполне возможно, она была достаточно старой, могла и не быть охвачена всеобучем. Ее взгляд не задерживался на буквах, но я никогда ей вопросов на этот счет не задавала.

Возбужденные суки сновали взад-вперед. Приносили на шерсти запах холода и ветра; грелись возле раскаленной плиты, потом их снова тянуло в сад. Марта поглаживала их своими длинными, костлявыми пальцами и говорила им, какие они красивые. И так весь вечер беседовала только с собаками. Я искоса поглядывала на нее, расставляя книги на деревянных полках. Лампочка на стене освещала ее макушку с султанчиком накладных тонких седых волос. На шее они превращались в косичку.

Я помню многое, но не помню, как мы встретились с Мартой впервые. В памяти хранятся все первые встречи с людьми, занявшими важное место в моей жизни; помню, светило ли солнце, помню детали их одежды (забавные гэдээровские ботинки Р.), помню запах, вкус и нечто вроде фактуры воздуха — был ли он жесткий и упругий или гладкий и холодный, как масло. От этого зависит первое впечатление. Такие вещи фиксируются в каких-то особых отделах мозга, может быть, даже на чувственном уровне, и никогда не забываются. Но первой встречи с Мартой я не помню.

Должно быть, это произошло ранней весной — она здесь начало всех начал. И, скорее всего, на этом неровном пространстве долины, потому что Марта никогда одна не выходит за ее пределы. Наверняка пахло водой и талым снегом. И одета она, вероятно, была в свою серую кофту с растянутыми петлями.

О Марте я знала немного. Только то, что она мне сама поведала. Все приходилось домысливать, и я понимала, что даю волю воображению. Сотворяю Марту со всем ее прошлым и настоящим. Ибо стоило мне ее попросить, чтобы она рассказала что-нибудь о себе, о своей молодости, каким тогда было то, что теперь представляется вполне очевидным, — она переводила разговор на другое, отворачивалась к окну или просто замолкала и принималась сосредоточенно шинковать капусту либо заплетать свои-чужие волосы. Я не воспринимала это как нежелание говорить. Похоже было, Марте просто нечего о себе рассказать. Будто у нее не было своей личной истории. Она любила говорить только о других людях, которых я видела, может быть, несколько раз случайно или вообще не видела, потому что видеть уже не могла — они жили слишком давно. А

также о тех, которые, скорее всего, вообще не существовали – позже у меня появились доказательства тому, что Марта любила выдумывать. И о местах, в которых она этих людей рассаживала, как растения. Она могла говорить часами, пока я, наслушавшись досыта, не придумывала вежливый предлог, чтобы прервать ее и повернуть обратно, прямо по траве, домой. Случалось, она вдруг сама безо всякого повода прерывала свои рассуждения и уже не возвращалась к этой теме неделями, чтобы потом ни с того ни с сего воскликнуть: "А помнишь, я тебе рассказывала..." – "Да, помню". – "Так вот, дальше было..." – и подхватывала какой-нибудь оборванный мотив, а я отыскивала в памяти того, о ком идет речь, и на чем она остановилась. И что удивительно, вспоминалась мне даже не сама история, а именно Марта, ее хрупкая фигурка, сгорбленная спина в кофте с растянутыми петлями, костлявые пальцы. Независимо от того, рассказывала ли она, глядя в лобовое стекло машины, когда мы ехали в Вамбежице, чтобы заказать доски, или когда рвали ромашку на поле Боболя. Мне ни разу не удалось восстановить всю историю целиком, только место действия, обстоятельства, атмосферу, впечатавшиеся в память, словно истории эти были нереальными, вымышленными, сонными миражами, отложившимися в ее и моей голове, теряющимися в словах. Она умолкала так же внезапно, как начинала. Из-за какой-нибудь вилки, упавшей на пол, – от ее алюминиевого звяканья лопалась последняя фраза, следующее слово застревало во рту, и Марта была вынуждена его проглотить. Либо входил Имярек, как у него водится – без стука, уже с порога грохоча сапожищами, оставляя за собой лужи воды, росы, грязи – что бы там ни было снаружи, – а при нем вообще невозможно было ничего сказать, столько он производил шума.

Многое из того, что рассказала мне Марта, не запомнилось. Сохранялся лишь смутный общий смысл, подобно горчице, оставшейся на краешке тарелки, когда основное блюдо уже съедено. Какие-то сценки, страшные или забавные. Какие-то вырванные из контекста картины – например, что дети ловили в ручье форель голыми руками. Непонятно, к чему мне такие подробности, если забывается сам рассказ, который непременно должен был что-то значить, раз уж повествование имело начало и конец. Я запоминала одни пустяки, которые потом моей памяти – и правильно! – приходилось выплевывать как косточки.

Нельзя сказать, что я только слушала. Я тоже ей что-то говорила. Когда-то в самом начале я заявила, что боюсь кончины, не смерти вообще, а той минуты, когда я уже буду не в силах ничего перенести "на потом". И что этот страх накатывает на меня всегда в темноте, днем – никогда, и длится несколько кошмарных минут, как эпилептический припадок. Тут уже я старалась сменить тему.

Марта не была врачевателем душ. Она ничего не выспрашивала, не бросала вдруг мыть посуду, чтобы сесть рядышком и похлопать меня по плечу. Не пыталась, как другие, определить время самых важных событий и неожиданно спросить: "Когда это началось?" Даже Иисус не устоял перед бессмысленным искушением и задал этот вопрос бесноватому, которого хотел исцелить. "Как давно это сделалось с ним?" А ведь, казалось бы, ничего нет важнее того, что происходит сейчас, непосредственно у нас на глазах. Расспросы же о начале и конце не добавляют никаких ценных сведений.

Иногда я думала, что Марта не слушает или же что она бесчувственна, как срубленное, мертвое дерево, ибо, вопреки моим ожиданиям, в

такие минуты звон посуды не стихал, а ее движения оставались автоматически ровными. Она казалась мне даже жестокой, и не однажды — как, например, когда откормила тех своих петухов, а потом зарезала и сожрала всех сразу за два осенних дня.

Я не понимала Марты и до сих пор, когда о ней думаю, не понимаю. Да и зачем мне было ее понимать? Какая польза от того, что я осмыслю мотивы ее поступков, обнаружу источник возникновения всех ее россказней? Что дала бы мне ее биография, если вообще таковая у нее имелась? Есть, наверно, люди без биографии, без прошлого и без будущего, которые другим представляются как вечное "настоящее".

Имярек

Несколько вечеров подряд, сразу же после "Телеэкспресса", приходил Имярек, наш сосед. Р. подогревал вино, сыпал в него корицу и добавлял гвоздику. Имярек каждый вечер рассказывал нам все про зиму, потому что про зиму непременно следует все рассказать, чтобы могло прийти лето. Это была неизменно одна и та же история — о том, как повесился Марек Младший.

Мы слышали эту историю от других, а вчера и позавчера — от Имярека. Но он запамятовал, что уже ее рассказывал, и начинал все сызнова. Зачином служил вопрос, почему мы не приехали на похороны. Мы не могли приехать, потому что случилось это в январе. Мы не могли собраться с духом и поехать на похороны. Шел снег, машины не заводились, аккумуляторы садились. Дорогу за Едлиной занесло, и автобусы стояли в безнадежных пробках.

Марек Младший жил в домике с жестяной крышей. Его кобыла прошлой осенью приходила в наш сад есть падалицу. Она выгребала яблоки из-под прелых листьев. На нас поглядывала равнодушно. По утверждению Р., даже с иронией.

Имярек возвращался из Руды под вечер, когда уже начало смеркаться. Он увидел, что дверь дома Марека Младшего притворена так же, как утром, прислонил велосипед к стене и заглянул через окно внутрь. Увидел его сразу же. Марек не то висел, не то лежал возле двери, неестественно скорчившийся, и, без сомнения, был мертв. Имярек приставил ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть. У Марека Младшего было темное, посиневшее лицо и высунутый язык. Зрачки устремлены куда-то вверх. "Во, недоумок, — сказал Имярек сам себе, — даже повеситься не сумел".

Взял велосипед и ушел.

Ночью ему стало как-то не по себе. Все думал, попала душа Марека в рай или в преисподнюю или еще куда, если вообще куда-нибудь попадает.

Проснулся он внезапно, когда уже забрезжил рассвет, и увидел покойника возле печи. Марек Младший стоял и смотрел на него. Имярек разнервничался. "По-хорошему тебя прошу, вали отсюда. Это мой дом. У тебя есть свой". Призрак не двигался; не сводил с него глаз и взглядом как будто прошивал его насквозь; странный был взгляд.

"Марек, заклинаю тебя, ступай отсюда", — повторил Имярек, но Марек, или кем он теперь был, не шелохнулся. Тогда Имярек, преодолев неожиданное отвращение ко всякого рода движениям, встал с кровати и взял в руку резиновый сапог. Вооружившись таким образом, он шагнул в

сторону печи. На его глазах привидение исчезло. Имярек заморгал и вернулся в теплую, нагретую постель.

Утром он, когда пошел за дровами, снова заглянул через окно в дом Марека. Ничего не изменилось, тело лежало в той же позе, но сегодня лицо казалось еще темнее. Весь день Имярек таскал с гор дрова в ивовых плетухах, которые сам смастерил прошлым летом. Свозил к дому тонкие березки, которые мог срубить в одиночку, и толстые стволы поваленных елей и буков. Складывал их в сарай, пока не придет пора рубить на поленья. Потом раскочегарил печь, так что плита раскалилась докрасна. Быстро сварил картофельный суп себе и собакам, включил черно-белый телевизор и принялся есть, поглядывая на мелькающие картинки. Не слышал ни слова. Залезая в кровать, перекрестился впервые за последние несколько десятков лет, наверное, со дня конфирмации, а может, с венчания. Это давно забытое движение натолкнуло его на мысль. Сходить со всем этим к ксендзу. На следующий день он робко топтался возле дома приходского священника. Подошел к ксендзу, когда тот быстрым шагом, обходя островки подтаявшего снега, направился в костел. Имярек был не так прост, чтобы взять все и выложить. "Что бы вы, отец, сделали, если бы к вам стал наведываться дух?" Тот посмотрел на него удивленно, и его взгляд тут же взметнулся на кровлю костела — там продолжался нескончаемый ремонт. "Велел бы ему уйти". — "А если бы этот дух уперся и не захотел уходить, что бы вы сделали?" — "В любом деле нужна настойчивость", — философски ответил священник и ловко обогнул Имярека.

И опять все повторилось, как в предыдущую ночь. Имярек внезапно проснулся, будто кто-то его окликнул, сел на кровати и увидел Марека Младшего, стоящего у печи. "Пошел вон", — крикнул он ему. Призрак не шелохнулся, и Имяреку даже померещилось, что на его одутловатом темном лице он видит кривую ухмылку. "Черт тебя дери, чего спать не даешь? Шел бы ты отсюда", — пробормотал Имярек. Схватил резиновый сапог и во всеоружии двинулся в сторону печи. "Прошу отсюда уйти!" — рявкнул он, и дух исчез.

На третью ночь привидение уже не явилось, а на четвертый день сестра Марека Младшего нашла тело и подняла шум. Тотчас приехала полиция, завернула Марека Младшего в черный полиэтилен и унесла. Расспрашивали Имярека, где он был и что делал. Тот ответил, что ничего странного не заметил. И добавил еще: уж если кто пьет, как Марек Младший, раньше или позже этим все и кончится. Полиция согласилась с ним и ушла.

Имярек взял велосипед и покатил в Руду. В ресторанчике "Лидо" поставил перед собой кружку пива и потягивал его не спеша, небольшими глотками. Из всего того, что он ощущал, самым отчетливым было чувство облегчения.

— *Почему Имярек видит духов,*

а я нет? — спросила я как-то у Марты. Та ответила: потому что внутри он пустой. Я поняла это в ту минуту как пустоголовость и простодушие. Человек, наполненный изнутри, подумалось мне, имеет больше достоинств, чем пустой.

Потом я мыла полы в кухне, и вдруг до меня дошло, что хотела сказать Марта. Дело в том, что Имярек из разряда людей, которые пред-

ставляют себе Господа Бога так, будто Бог стоит где-то там, а они сами — здесь. Имярек видит только то, что снаружи, даже на себя смотрит со стороны, разглядывает себя, как фотографию. Общается с собой только в зеркале. Когда он занят, к примеру мастерит свои филигранной работы сани, то вообще для себя как бы не существует, потому что думает о санях, а не о себе. Самого себя не считает интересным предметом для размышлений. И лишь когда он одевается, чтобы отправиться в свое ежедневное паломничество в Новую Руду за пачкой сигарет и таблетками от головной боли, когда видит себя в зеркале уже готовым к выходу, только тогда думает о себе — "он". Никогда — "я". Он смотрит на себя глазами других, поэтому так важен внешний вид, новая куртка из модной ткани, кремовая рубашка, светлый воротничок которой отлично оттеняет загорелое лицо. Поэтому даже для самого себя Имярек весь снаружи. Нет у Имярека внутри ничего, что бы смотрело изнутри, а значит, нет и рефлексии. Вот тогда-то и видятся духи.

Марек сын Марека

В этом ребенке есть что-то прекрасное — так говорили все. У Марека Младшего были почти белые волосы и ангельское личико. Старшие сестры обожали Марека Младшего. Возили его по горным тропинкам в оставшейся от немцев коляске и нянчились с ним, как с куклой. Мать не хотела прекращать кормить его грудью; когда он сосал грудь, она погружалась в туманные грезы: ради него она могла бы вся превратиться в молоко и вылиться через свой же сосок — это было бы лучше, чем и дальше оставаться женой Марека Старшего. Но Марек Младший вырос и перестал искать материнскую грудь. Зато ее нашел Марек Старший и смастерил жене еще несколько ребятишек.

А маленький Марек, хотя и такой очаровательный, плохо ел и пищал по ночам. Видно, поэтому отец его невзлюбил. Когда папаша возвращался пьяным, первому доставалось Мареку Младшему. Мать, пытавшуюся защитить сына, он куда ни попадя колотил, и в итоге семейство убегало в горы, оставляя отцу весь дом, а тот ухитрялся до краев заполнить его своим густым храпом. Старшие сестры жалели брата, поэтому вскоре научили его по сигналу прятаться, и с пяти лет Марек Младший бóльшую часть вечеров проводил в подвале. Там он плакал беззвучно, безмолвно, без слез.

Там он и понял, что источник его страданий не снаружи, а внутри и никак не связан с пьяницей-отцом или с материнской грудью. Боль возникает сама по себе — по той же причине, по которой утром восходит солнце, а ночью звезды. Изводит его. Он не знал, правда, что это такое, но порой ему чудилось, что он смутно помнит какой-то теплый, горячий свет, от которого плавится и растворяется все сущее. Откуда он брался — тоже не знал. С детства Марек запомнил полумрак, вечные сумерки. Потемневшее небо, мир, погруженный в беспросветную серость, печаль и холод вечеров, не имевших ни конца, ни начала. Запомнился ему также день, когда в деревню провели электричество. Столбы, перешагнувшие через горы из соседнего села, казались ему похожими на колонны высокого храма.

Марек Младший был первым и единственным человеком из поселка, который записался в сельскую библиотеку в Новой Руде. Теперь он

прятался от отца уже с книжкой в руке, а посему времени для чтения было предостаточно.

Библиотека в Новой Руде размещалась в здании бывшего пивоваренного завода, и до сих пор там все пахло хмелем и пивом: стены, полы и своды впитали этот кисловатый запах. Несло им даже от книг, словно их облили пивом. Марек Младший полюбил этот запах. Первый раз в жизни он напился в пятнадцать лет. Было хорошо; он напрочь забыл о полумраке, не видел уже разницы между светлым и темным. Тело стало медлительным и непослушным — это ему тоже нравилось. Казалось, он мог выйти за пределы своего тела и жить припеваючи рядом, ни о чем не думая и ничего не чувствуя.

Старшие сестры одна за другой повыходили замуж и исчезли из дома. Одного младшего брата убило неразорвавшимся в войну снарядом. Другого отдали в специальную школу в Клодзко, ну и старик, как повелось, поколачивал Марека Младшего. Что тот не запер кур, что высоко скосил траву, что сломал ось у молотилки; но когда Мареку Младшему было лет двадцать, он впервые дал сдачи отцу, и с той поры они дрались уже регулярно. При всем при том Марек Младший, когда выдавалось немного свободного времени и не на что было пить, читал Стахуру. Собственно говоря, специально для него библиотекарши купили собрание сочинений Стахуры в голубых обложках “под джинсу”.

Он по-прежнему был очень хорош собой. Белокурые волосы до плеч, по-детски гладкое лицо. И глаза, совсем светлые, как будто утратившие цвет в поисках света на темных чердаках или утомленные чтением томиков в голубых обложках. Но женщины его боялись. С одной он вышел из клуба во время дискотеки и неожиданно потащил ее в кусты бузины, а там содрал с нее блузку. Хорошо, она закричала — выскочили парни и врезали ему по морде. А ведь он ей нравился, только, видно, не умел Марек разговаривать с женщинами. Или как-то раз напился и исполосовал ножом дружка своей знакомой, точно имел на нее полные права, точно вообще имел право ножом защищать свои права. Потом дома плакал.

Он пил, и ему нравилось это состояние, когда ноги сами несут тебя по дороге через горы, а всё внутри, а значит, и вся та боль, отключены, как будто щелкнули выключателем, и внезапно сделалось темно. Нравилось сидеть в ресторанчике “Лидо”, среди галдежа и дыма, а потом вдруг оказаться непонятно как в поле цветущего льна и лежать там до утра. Умирать. Или пить в “Юбилярше”, а потом плестись по серпантину шоссе в деревню с окровавленным лицом и выбитым зубом. Быть, но лишь наполовину, бессознательно. То ли быть, то ли не быть. Утром встать и почувствовать головную боль — ясно, по крайней мере, что́ болит. Ощутить жажду и суметь ее утолить.

Марек Младший в конечном счете расквитался с отцом. Так долго им колошматил о каменную скамью, что переломал ребра, и старик потерял сознание. Приехала полиция, отвезла сына в вытрезвитель, потом его посадили, а за решеткой пить было нечего.

И тут Марек между приступами головной боли, в похмельной полудреме вспомнил, что когда-то, в самом начале, он падал. Что когда-то был высоко, а теперь низко. Движение вниз и — страх, пожалуй, даже больше, чем страх. И сло́ва-то не подберешь. Глупое тело Марека Младшего недолго думая заглотнуло этот страшный страх и теперь дрожало, а сердце колотилось так, словно вот-вот оторвется. Но тело Марека не сознавало, что́ взвалило на себя, — такой страх может вынести только

бессмертная душа. Тело захлебнулось им, съежилось и давай биться о стены маленькой камеры, изрыгая пену. "Черт тебя дери, Марек", — возмущались надзиратели. Прижали его к земле, связали и всадили укол.

Он попал в отделение для алкашей. Вместе с другими выцветшими пижамами слонялся по широким коридорам и крутым лестницам больницы. Покорно стоял в очереди за лекарствами. Глотал алкогон, как принимают причастие. Смотрел в окно и тогда впервые подумал, что его цель — умереть как можно скорей, избавиться от этой раздрызганной страны, от этой серо-бурой земли, от душной больницы, застиранной пижамы, отравленного тела. И с той поры все его помыслы свелись к одному — отыскать самый подходящий вариант смерти.

Ночью под душем он вспорол себе вены. Белая кожа на руке разлезлась, и обнажилось то, что было у Марека Младшего внутри. Красное, мясистое, как свежая говядина. И прежде чем потерять сознание, он успел удивиться: почему-то думал, что увидит там свет.

Разумеется, его заперли в изоляторе, подняли шум, и пребывание в больнице затянулось. Он провел там всю зиму, а когда вернулся домой, оказалось, что родители переехали к дочери в город, и теперь он один. Ему оставили лошадь, и на ней он возил из лесу дрова, колол и продавал. Завелись деньги, а значит, можно было снова пить.

Внутри у Марека жила птица — так он чувствовал. Но эта его птаха была какая-то странная, бесплотная, безымянная, да и птичьего в ней было не больше, чем в нем самом. Марека Младшего тянуло к вещам непонятным и вызывающим страх: к вопросам, на которые нет ответов, к людям, перед которыми он чувствовал себя виноватым, а иногда нестерпимо хотелось упасть на колени и начать исступленно молиться, даже ничего не просить, а просто говорить, говорить, говорить в надежде, что кто-нибудь его слушает. Он ненавидел это сидящее в нем существо — от него только усиливалась боль. Если бы не оно, пил бы себе спокойно и сидел на крыльце, глядя на гору, что росла перед его домом. А потом бы трезвел и опохмелялся, вышибая клин клином, затем напивался бы снова — без единой мысли в голове, не ощущая за собой вины, не принимая никаких решений. У этой птахи, видать, были крылья. Иногда она била ими вслепую внутри его тела, трепыхалась на привязи, но он-то знал, что лапки у нее спутаны, может даже привязаны к чему-то тяжелому, потому как улететь ей никогда не удавалось. Господи, думал он, хотя в Бога совсем не верил, чего это я так мучаюсь с тем, что сидит у меня внутри? Эту тварь не брал никакой алкоголь, она всегда была в полном сознании, помнила все, что Марек Младший сделал, что потерял, что загубил, что упустил, чего недоглядел, что прошло стороной. "Во стерва, — бормотал он по пьянке Имяреку, — ну чего она меня мучает, какого черта во мне сидит?" Но Имярек был глух и ничего не понимал. Говорил только: "Это ты украл мои новые носки. Они сушились на веревке".

У этой птахи были крылья, связанные лапки и испуганные глаза. Марек Младший полагал, что ее в нем заперли. Кто-то взял и насильно запер, хотя Марек совершенно не понимал, как такое возможно. Порой, впав в задумчивость, он ощущал в себе ее страшный взгляд и слышал дикий, отчаянный вопль. В такие минуты он срывался и несся сломя голову куда глаза глядят: на гору, в березовую рощу, по лесной просеке. А на бегу присматривался к веткам — которая из них могла бы выдержать вес его тела. А птаха надрывалась в нем: выпусти меня, отпусти на свободу, я не твоя, мое место не здесь.

Сперва Марек Младший думал, что это голубь, каких разводил его отец. Он ненавидел голубей, их круглые, пустые глазенки, их непрерывное топотанье, их пугливый, то и дело меняющий направление полет. Когда совсем нечего было есть, отец заставлял его заползать в голубятню и вытаскивать отупевших, спокойных птиц. Марек Младший подавал их отцу по одной, держа обеими руками, а тот ловко сворачивал им шеи. Марек с отвращением смотрел на их смерть. Птицы умирали как вещи, как предметы. Не меньше он ненавидел отца. Но однажды Марек заметил возле пруда Фростов другую птицу; она выскочила у него из-под ног и тяжело взмыла вверх и полетела высоко над кустами, деревьями и всей долиной. Большая и черная. Только клюв был красный и ноги длинные. Птица издала пронзительный крик; воздух какое-то время дрожал от ударов ее крыльев.

А значит, та птаха внутри — черный аист, только вот красные лапки связаны и крылья потрепаны. Она кричала и билась. Марек просыпался ночью, разбуженный этим криком в себе — жутким, дьявольским. В страхе садился на кровати. Было уже ясно, что до утра ему не заснуть. От подушки несло сыростью и блевотой. Он вставал, проверял, не осталось ли чего выпить. Иногда находил малость на донышке вчерашней бутылки, иногда нет. Слишком рано еще идти в магазин. Слишком рано, чтобы жить, а потому он лишь мотался от стены к стене — и умирал.

Когда Марек был трезв, он ощущал птаху прямо под кожей. Она заполняла его целиком. Время от времени ему даже казалось, что он сам и есть эта птица, и тогда они страдали вместе. Любая мысль, касающаяся прошлого или сомнительного будущего, причиняла боль. Из-за этой боли Марек Младший не мог додумать до конца ни одной мысли, приходилось их вымарывать, разгонять, чтобы они уже ничего не значили. Когда он думал о себе, каким был, — было больно. Когда думал о том, каков он теперь, — становилось еще больнее. Когда думал, каким он будет, что с ним произойдет, — боль становилась невыносимой. Когда думал про свой дом, взгляд тотчас утыкался в прогнившие балки, которые в любой момент могут рухнуть. Когда думал о поле, вспоминал, что не засеял его. Когда думал об отце, знал, что его искалечил. Когда думал о сестре, помнил, что украл у нее деньги. Когда думал о любимой кобыле, вспоминал, как, протрезвев, нашел ее околевшую рядом с только что родившимся жеребенком.

Но когда он пил, ему легчало. Не потому, что вместе с ним пила птаха. Нет, она никогда не напивалась, никогда не спала. Пьяное тело и пьяные мысли Марека Младшего не реагировали на трепыхания птицы. А потому он был вынужден пить.

Однажды он попытался наготовить себе вина; со злостью рвал смородину — ее было полно в саду — и трясущимися руками бросал ягоды в бутыли. Не пожалел денег и купил сахар, потом поставил брагу в тепло на чердак. Радовался, что у него будет свое вино, что, как только пересохнет во рту, он сходит на чердак, вставит трубочку и напьется прямо из бутыли. Да сам не заметил, как выпил все, прежде чем смородина успела перебродить. Позже даже жевал мезгу. Он давно продал телевизор, и радиоприемник, и магнитофон. И так не мог ничего слушать — в ушах все время хлопали крылья. Марек продал шкаф с зеркалом, коврик, бороны, велосипед, костюм, холодильник, образа Христа в терновом венце и Богоматери с сердцем снаружи, лейку, тачки, сноповязалку, сеноворошилку, тележку на резиновом ходу, тарелки, кастрюли, сено; даже

нашелся покупатель на навоз. Потом бродил по развалинам покинутых немцами домов и искал в траве каменные корыта. Продавал одному торгашу, который отвозил их в Германию. Марек продал бы к черту и свой покосившийся дом, но не мог. Дом все еще принадлежал отцу.

Самыми прекрасными были те дни, когда ему каким-то чудом удавалось сохранить до утра немного выпивки, так что проснувшись, даже не вставая с кровати, он мог тут же хлебнуть. Накатывало блаженство, но Марек старался не заснуть, чтобы не упустить это состояние. Вставал окосе́вший и садился на скамейку у дома. Всегда, раньше или позже, мимо проходил Имярек, который шел в Руду, ведя за руль велосипед. "Эй ты, малохольный бродяга", — говорил ему Марек Младший и поднимал трясущуюся руку в знак приветствия. Тот одаривал его беззубой улыбкой. Носки-то его нашлись. Ветер сорвал и скинул их на траву.

В ноябре Имярек привез ему черного щенка. "На-ка, — сказал он. — Это чтоб тебе не грустить без Дианы. Хороша была кобылка". Марек Младший вначале взял собаку в дом, но вскорости ему надоело подтирать за ней лужи. Поэтому он выволок во двор старую ванну, перевернул вверх дном и подпер двумя камнями. В землю вбил крюк и привязал к нему на цепи щенка. Получилась этакая затейливая будка. Щенок на первых порах скулил и выл, но в конце концов привык. Вилял хвостом, когда Марек Младший выносил ему жратву. С этой собакой Мареку стало как будто бы лучше, и птаха в нем немного поутихла. Так ведь нет — в декабре выпал снег, и как-то ночью случился такой мороз, что собака замерзла. Он нашел ее поутру, припорошенную снегом, похожую на кучу старого тряпья. Марек Младший пнул ее ногой — пес полностью окостенел.

В Сочельник его пригласила к себе сестра, но он сразу же с ней повздорил из-за того, что она не хотела подать на ужин водку. "Да что ж это за праздник, мать твою, без водки", — сказал он зятю. Оделся и ушел. Люди уже шли на рождественскую службу в костел, чтобы занять места получше. Марек покрутился возле храма, высматривая в темноте знакомые лица. Перекинулся словом с Имяреком — даже тот притащился по снегу в село. "Во зима-то", — сказал Имярек, широко улыбнулся и хлопнул Марека по спине. "Ну-ну, полегче, старый дурень", — ответил ему Марек Младший. "Да-да", — кивнул Имярек и вошел в костел. Люди проходили мимо Марека Младшего и сдержанно отвечали на его поклоны. Стряхивали на пороге снег с обуви и проходили внутрь. Марек закурил, услышал, как захлопали потрепанные крылья. Наконец зазвенели колокольчики, народ притих, и раздался голос священника, искаженный микрофоном. Марек вошел внутрь и кончиками пальцев прикоснулся к холодной поверхности освященной воды, но не перекрестился. Через минуту ему стало нехорошо от удушливых испарений шуб и нарядных пальто, извлеченных бог знает откуда. Вдруг его осенило. Он протиснулся обратно ко входу и вышел на улицу. Снег валил так, точно хотел замести все следы. Марек Младший направился прямиком в магазин. По пути заглянул в сестрин сарай и взял там кирку. Высадил этой киркой дверь и набил карманы бутылками. Засовывал водку за пазуху и в штаны. Его распирало от смеха. "Хрен собачий они здесь найдут", — сказал он себе и всю ночь переливал водку в бак для воды возле печки. Бутылки зашвырнул в колодец.

Это были самые прекрасные праздники в его жизни. Как только он начинал немного трезветь, опускался на колени перед баком и поворачивал краник. Широко открывал рот, и водка лилась в него прямо с неба.

Сразу же после праздников началась оттепель; снег сменился противным дождем, и окружающий мир стал напоминать набухший водой серый гриб. Подошла к концу и водка. Марек Младший не вставал с кровати, он мерз, все у него болело. Он только и думал, где бы раздобыть немного спиртного. В голове зародилась мысль, что у пани Марты может найтись вино. Зимой ее дом пустует, потому что на зиму она куда-то уезжает. Воображение рисовало ее кухню и бутылки с домашним вином, стоящие под столом, хотя, в общем-то, он знал, что пани Марта никогда не делала вина. Ну а вдруг — может, как раз в этом году она заготовила наливку из смородины или из слив и спрятала ее под столом. Чтоб ей пусто было, подумал он и сполз с кровати. Шел покачиваясь, потому что уже несколько дней ничего не ел, а голова болела так, будто вот-вот расколется на части.

Дверь была заперта. Марек Младший открыл ее ногой. Глухо, надрывно заскрипели петли. Мареку стало не по себе. Кухня выглядела так, словно пани Марта покинула ее вчера. Стол был накрыт свисающей до полу клетчатой клеенкой. На клеенке лежал большой хлебный нож. Марек Младший быстро глянул под стол и с удивлением обнаружил, что там ничего нет. Тогда он принялся шарить по тумбочкам, заглянул в печь, в ящик для дров, в комод, где лежало аккуратными стопками постельное белье. От всего несло прелым запахом зимней сырости — снегом, подмокшей древесиной, железом. Он перерыл все, прощупал матрац и перину, засунул руку даже в старые резиновые сапоги. Перед глазами неотвязно стояла картина: он видел, как Марта осенью перед отъездом прячет бутылки с наливкой. Вот только не знал куда. "Малохольная старая ведьма", — пробормотал он и заплакал. Сел за стол, подперев голову руками, слезы капали на клеенку, омывая мышиный помет. Он взглянул на нож.

Выйдя из дома, Марек Младший снаружи приставил к двери деревянный колышек — что бы там ни было, он любил пани Марту. Не хотел, чтобы в кухню намело снег. В тот же день к нему приехала полиция. "Все равно мы знаем, что это ты", — заявили ему. И добавили, что еще вернутся.

Марек Младший снова лег. Было холодно, но он понимал, что топора в руках ему не удержать. Птица металась внутри, и от ее метаний Марека Младшего трясло.

Сумерки опустились внезапно, будто кто-то снаружи погасил свет. Замерзающий на лету дождь обрушивался на окно равномерными волнами. Был бы хоть телевизор, подумал Марек Младший, распластавшись на кровати. Он не мог спать; несколько раз вставал ночью и пил воду из ведра; она была холодная, страшная. Его тело превращало ее в слезы, которые сами потекли вечером и не прекращались до утра. Они заливались в уши и щекотали шею. Под утро он на минуту задремал, а когда проснулся, первая мысль была — нет больше водки в баке для воды.

Он встал и справил малую нужду в кастрюлю. Принялся искать в ящиках веревку, но, так и не найдя, сорвал занавеску из старого выцветшего ситца и вытянул из нее шнур, на котором она висела. Увидел за окном Имярека, тащившего свой велосипед в Руду. И вдруг Марек Младший ощутил блаженство; дождь на дворе наконец утих, и серый зимний свет сочился через все окна в дом. Птаха тоже притихла, а может быть, уже сдохла. Марек завязал на шнуре петлю и приладил ее к крюку у две-

ри, на который мать когда-то вешала сковороды. Ему захотелось закурить, и он опять стал искать сигарету. Слышал шелест каждой бумажки, поскрипывание половиц, легкие удары о пол рассыпавшихся таблеток. Не нашел. И потому просто подошел к крюку, набросил петлю на шею и осел на пол. Почувствовал жуткую, незаслуженную боль в затылке. На мгновение шнур натянулся, а потом ослаб и сорвался с крюка. Марек Младший упал лицом вниз. Он не понимал, что случилось. Боль разлилась по всему телу, птаха снова разоралась. "Жил как свинья и помру свиньей", – сказал Марек Младший вслух, и в пустом доме это прозвучало как приглашение к разговору. Руки дрожали, когда он по новой крепил шнур к крюку – наматывал, завязывал и затягивал узлы. Петля теперь оказалась намного выше, чем прежде, правда не настолько, чтобы понадобился стул, но и не так низко, чтобы он мог сесть. Он всунул голову в петлю, секунду покачался на пятках взад-вперед, а потом резко повалился на пол. На этот раз боль оказалась настолько сильной, что у него помутнело в глазах. Рот судорожно глотал воздух, а ноги отчаянно искали опоры, хотя и против его воли. Он дергался, не понимая, что происходит, и вдруг его в секунду обуял такой ужас, что он обсикался. Глядел на свои ноги в рваных носках, как они брыкались, скользя в луже мочи. Сделаю это завтра, подумал еще с надеждой, но уже не мог найти опоры для тела. Рванулся вперед и попытался опереться на руки, но в тот же момент услышал в голове треск – да нет, гром, выстрел, взрыв. Хотел ухватиться за стену, но рука оставила на ней только грязный, влажный след. Тогда он замер, ибо еще надеялся, что все плохое пройдет стороной и не заденет его. Уткнулся взглядом в окно, и в голову пришла какая-то смутная, ускользающая мысль – что Имярек вернется. Затем светлый прямоугольник окна исчез.

Если бы да кабы...

Если бы я не была человеком, то была бы грибом. Равнодушным, бесчувственным грибом с холодной скользкой кожицей, твердым и мягким одновременно. Я бы росла на поваленных деревьях, мрачно и зловеще, всегда в тишине, растопыренными грибными пальцами высасывая из них остатки солнечного тепла. Росла бы, питаясь тем, что умерло. Впивалась бы в эту мертвечину до самой земли – там бы мои грибные пальцы останавливались. Я была бы меньше деревьев и кустов, но возвышалась бы над ягодниками. Век мой был бы недолог; правда, и как человек я тоже недолговечна. Солнце бы меня не интересовало, я не ловила бы его взглядом, никогда не ждала его восхода. Тосковала бы только по влаге, подставляла тело туманам и дождям, притягивала к себе капельки влажного воздуха. Не отличала бы дня от ночи, да и зачем?

Я обладала бы той же способностью, что все грибы, – прятаться от глаз человека. Наводя полную путаницу в его пугливых мыслях. Грибы – гипнотизеры; они наделены этим свойством за неимением когтей, быстрых ног, зубов и разума. Грибники сонно брели бы мимо, устремив взгляд вперед на яркие лоскутные картинки из солнца и листьев. Я бы оплетала их ноги, опутывала их лесным войлоком и засохшими пучками мха. Снизу я бы видела внутреннюю, изнаночную сторону их курток. Часами из злого умысла я оставалась бы неподвижной; не росла бы, не ста-

рела, пока хладнокровно не убедилась бы, что обладаю властью не только над людьми, но и над временем. Подрастала бы только в самую важную пору дня или ночи — на рассвете и в сумерки, когда прочий мир занят пробуждением или погружением в сон.

Я бы щедро привечала всяких жучков и козявок; отдавала бы свое тело слизням и личинкам букашек. Никогда не испытывала бы страха, не боялась смерти. Да и что такое смерть, думала бы я, — единственное, что с тобой могут сделать, так это выдернуть тебя из земли, порезать на кусочки, пожарить и съесть.

Граница

Чехия граничит с нашей землей, она в пределах видимости. Летом оттуда доносился лай собак и пение петухов. В августовские ночи завывали чешские зерновые комбайны. По субботам гремела дискотека в Сонове. Граница очень старая, она испокон веков разделяла какие-то государства. Не так легко было ее изменить. Деревья свыклись с тем, что растут на границе, так же как и животные. Однако деревья с ней считались — не покидали своих мест. Звери же по своей глупости границу ни в грош не ставили. Косули каждую зиму, как аристократки, стадом отправлялись на юг. Лисица ходила туда и обратно два раза на день — едва всходило солнце, она появлялась на косогоре и потом возвращалась в начале шестого, когда все смотрели "Телеэкспресс". По этой лисе можно было сверять часы. Так же и мы переходили через границу, либо собирая грибы, либо из лени, потому что нам не хотелось трястись на велосипеде до Тлумачова, где переходить границу полагалось по закону. Мы взваливали велосипеды на спину и через минуту оказывались по другую сторону. Вспаханная лесная просека через пару метров вновь превращалась в дорогу. Мы привыкли, что день и ночь нас охраняют пограничники — лучи света их ночного дозора, грохот их внедорожника, тарахтенье мотоциклов в темноте. Десятки мужчин в камуфляже, стерегущие полоску поросшей бурьяном земли, где зреет малина, не страшась быть сорванной, крупная и ароматная. Пожалуй, нам проще было бы поверить, что они сторожат эту малину.

Немцы

Ранним летом на лугах начинали появляться немцы. Их седые головы проплывали среди моря травы. На солнце весело поблескивали очки в тонкой металлической оправе. Имярек сказал, что немцев можно узнать по ботинкам, они у них белые и чистые. Мы за обувью не следим, относимся к ней без почтения. Наши ботинки топорные, всегда из темной кожи. А то и резиновые сапоги, боты, в которые Стасек Бахледа стряхивает пепел с сигарет. Наши ботинки — из материалов, лишь похожих на кожу, аляповатое черно-белое подражание Моде, Спорту, Улицам Европы. Наши ботинки вечно запачканы красноватой размокшей землей, скособоченные, промороженные и пересушенные.

Немцы высыпáли из автобусов, которые робко, так, чтоб не бросаться в глаза, останавливались на обочинах дорог. Шли небольшими группками или парами, чаще всего парами. Он и она как будто бы искали мес-

то для любовных утех. Заснимали на пленку пустыри, что вызывало у многих удивление. Почему не фотографируют новую остановку, новую крышу костела, а одни пустые пространства, заросшие травой? Мы частенько приглашали их на чай с чем-нибудь сладким. Они не разваливались на стульях, не просили налить еще. Допивали чай и уходили. Нам становилось неловко, когда они пытались всунуть нам в руку несколько марок. Мы боялись показаться дикарями, с этим нашим вечным ремонтом, осыпающейся на землю штукатуркой, прогнившей ступенькой на лестнице.

Куда бы они ни шли, всегда, в конечном счете, оказывались возле магазина, где их поджидали ребятишки и, протянув руку, клянчили конфетку. Кое-кого это возмущало и всегда оставляло неприятный осадок. В течение этих нескольких минут, пока немцы раздавали конфеты около магазина, над нашими головами колыхалось что-то очень патриотическое, окрашенное в бело-красные цвета, словно в воздух взвивался истлевший до газообразного состояния наш национальный флаг, и мы даже ощущали себя тогда, назло этим конфетам, поляками.

Некоторые немцы приезжали по многу раз. Некоторые приглашали деревенских (одного-двух человек, чаще всего тех, кто ухаживал за их немецкими могилами) к себе в рейх и устраивали там на работу.

А бывало иначе. Взять, к примеру, пожилых супругов, которые однажды появились в наших краях. Оба пальцем показывали нам на несуществующие дома. Позже мы обменивались поздравительными открытками к праздникам. Они сказали, чтобы нас успокоить, что семья Фрост нашим домом уже не интересуется.

— С чего это кто-то должен интересоваться нашим домом? — со злостью спросила я Марту.

А она ответила:

— Потому что он его построил.

Как-то вечером, когда мы уносили с веранды пустые чайные чашки и тарелочки от пирога, Марта сказала, что самая главная задача человека — сохранение того, что разрушается, а не создание нового.

Петер Дитер

Когда Петер Дитер и его жена Эрика пересекли границу, Петеру на ладонь села божья коровка. Он внимательно ее рассмотрел — у нее было семь крапинок. Обрадовался.

— Вот нас и поприветствовали, — сказал он.

Они ехали по странному шоссе. На обочинах стояли девушки в куцых облегающих юбочках и махали машинам.

Вечером супруги были уже во Вроцлаве, и Петера поразило то, что он узнаёт город. Только все будто потемнело и уменьшилось, как если бы они очутились внутри какой-то фотографии. В гостинице ему пришлось перед сном выпить свои таблетки, потому что сердце билось неровно, а промежутки между очередными ударами удлинялись до бесконечности.

— Мы приехали сюда слишком поздно, — серьезно сказала Эрика и села на кровать. — Мы слишком стары для переживаний. Погляди, как у меня опухли ноги.

На следующий день они осмотрели Вроцлав: он был таким же, как и все другие города, в которых они побывали за свою жизнь. Города в упадке, города в расцвете, города, склонившиеся к рекам, глубоко вросшие в землю, и другие, воздвигнутые на песках, хрупкие, как налет плесени. Опустошенные города, разрушенные и вновь возведенные на кладбищах, в которых люди потом живут так, словно они умерли. Города, разделенные пополам, балансирующие на единственном мосту — каменной стрелке весов.

Потом потянулись горы. Карпач, полный сувенирных киосков, Шклярска Поремба, которую Петер упорно называл Шрайберхау, как будто опасаясь не справиться с новым польским названием. Но, в сущности, супруги были не очень внимательны и думали об одном: когда же они наконец поедут дальше, в сторону Неуроде и Глатца, успеют ли все посмотреть. Да и вообще хватит ли времени, чтобы увидеть то, что было когда-то, смогут ли их глаза, как фотоаппараты, просто запечатлеть то, что увидят.

Петер хотел снова взглянуть на свою деревню, а Эрика — на Петера, когда тот будет смотреть на родные места. Она подумала, что уж тогда-то поймет Петера полностью, до донышка, с этими его приступами хандры, немногословными ответами, неожиданной переменой решений — всем тем, что выводило ее из себя. А это его непрестанное раскладывание пасьянса, трата времени на всякие глупости, лихачество при обгоне на шоссе и масса чуждых ей вещей, которые всегда были при нем и не изменились за сорок лет их совместной жизни.

Они остановились в небольшом сельском пансионате, где все надписи зазывали, упрашивали, предупреждали и информировали по-немецки. Еще до завтрака Петер оделся и вышел постоять возле дома. Был май, осот цвел намного позже, чем на равнинах. Его горы предстали взору мягкой затуманенной линией на горизонте. Он втянул ноздрями воздух. И лишь запах, не зрительный образ, лавиной обрушил на него картины, засвеченные, тусклые, отрывочные кадры без звука, без смысла, без содержания.

Дитеры отправились в путь после завтрака, на который подали яйца всмятку. Дорога вела вначале вниз, а потом стала отлого подниматься вверх. Она извивалась серпантином, и супруги потеряли всякую ориентацию. Они проходили мимо разбросанных по горным склонам селений, больших и маленьких домов, каких-то загадочных ручьев, которые, как ни крутили, оставались все той же самой речушкой. У каждой деревеньки имелась своя долина: дома лежали, как шоколадки в бархатистых ложбинках.

Самое неприятное ощущение того дня — Петер не узнал своей деревни. Она ужалась до размеров хутора, не хватало домов, дворов, дорожек, мостиков. От нее остался скелет. Супруги поставили машину около запертого на замок костела, за которым некогда стоял среди лип дом Петера.

Он обнюхивал это место и вновь прокручивал тот странный фильм из прошлого. И, собственно говоря, осознал, что мог бы запускать его повсюду — в кафе на автозаправочной станции, в метро, на отдыхе в Испании или в торговом центре, где делал покупки; и, возможно, тогда этот фильм был бы более четким, не мешало бы то, что видишь воочию.

Дитеры брели по узкой укатанной дороге и сверху видели деревню, ее скелет, несколько сохранившихся домов, небольшие огороды, огромные липы. Это все жило: понизу шли люди, гнали коров, бегали собаки,

какой-то мужчина вдруг разразился смехом, загудела машина, чуть выше человек с ведрами помахал им рукой, дым из труб поднимался к небу, птицы летели на запад.

Они сели на траву у дороги и ели чипсы. Эрика поглядывала на его лицо и боялась, что увидит увлажнившиеся глаза или подрагивающий подбородок. Тогда бы она отложила пакет чипсов и обняла бы мужа. Но его лицо было таким же, как когда он смотрел телевизор.

– Иди дальше один, – сказала она и добавила: – Погляди, как у меня опухли ноги, – что прозвучало как рефрен старой песни.

Он не ответил.

– Мы приехали слишком поздно. Я стара, нет сил подниматься в гору. Я вернусь в машину и подожду тебя.

Жена нежно прикоснулась к его руке и повернула обратно. Она услышала еще, как он произнес:

– Дай мне часика два, ну, может быть, три.

Ей стало грустно.

Петер Дитер медленно брел, посматривая на камни и кусты шиповника, на которых уже появились бутоны. Останавливался, не пройдя и сотни метров, и тяжело переводил дух. Разглядывал листья, стебельки и грибки на тонких ножках, которые постепенно пожирали поваленные деревья.

Дорога поначалу тянулась между пустошами, затем привела в ельник. Лес вскоре закончился, и позади осталась панорама гор, память о которой Петер до сих пор хранил в себе. Он обернулся только однажды, потому что боялся, взглянув лишний раз, разрушить ту картину – так блекнут краски и изображение на ценных почтовых марках, если их рассматривают слишком часто. И только на самом гребне он сделал передышку: стоял и вертелся на месте и вбирал в себя этот вид, упивался им. Все горы мира он всегда сравнивал с этими горами, и ни одни не казались ему столь прекрасными. Либо они были слишком большие, слишком могучие, либо чересчур неказисты. Либо слишком дикие, мрачные, заросшие лесами, как Шварцвальд, либо слишком обжитые, исхоженные, светлые, как Пиренеи. Петер достал фотоаппарат и словно пришпилил им все, что видел. Щелк – порознь стоящие деревенские хаты. Щелк – темные ельники, испещренные черными тенями. Щелк – нить ручья. Щелк – желтые рапсовые поля с чешской стороны. Щелк – небо. Щелк – тучи. И тут он почувствовал, что ему нечем дышать, что он вот-вот задохнется.

Он поднялся еще выше и вышел на туристскую трассу, какие-то молодые люди с рюкзаками поприветствовали его, когда он вытирал пот, заливавший глаза, и зашагали дальше. Собственно говоря, ему стало досадно, что они ушли просто так. Он мог бы рассказать им, как приходил сюда, когда был в их возрасте, как чуть ниже, на влажном мху, впервые познал женщину; или же мог показать им с горы место, где стояла ветряная мельница Ольбрихтов, которая, размахивая ручищами, подавала знаки деревне. Петер хотел даже их окликнуть, но в легких не хватило воздуха. Сердце колотилось где-то в горле и перекрывало дыхание. Возвратиться означало бы упустить случай, и потому старик с большим трудом поднялся еще на несколько сот метров и очутился на самой вершине, через которую проходила граница. Издалека он увидел беленые пограничные столбы. Дышать было совершенно нечем – видно, не шел ему на пользу этот давно забытый разреженный воздух. Петер упустил

из виду, что он может быть опасным для легких, которые привыкли дышать влажным морским бризом.

Ему стало не по себе, как только он представил путь обратно. А что, если он здесь умрет, подумал Петер и поплелся к столбам. Мысль эта показалось ему, бог весть почему, смешной. Забраться так высоко на гору, проехать пол-Европы, жить столько лет в портовом городе, произвести на свет двух детей, построить дом, изведать любовь, пережить войну. Он посмеялся над самим собой и вынул из кармана шоколадную конфету. Остановился и принялся старательно разворачивать фантик, но когда положил конфету в рот, понял, что ему уже ее не проглотить. Его тело было занято чем-то другим. Сердце отсчитывало удары, артерии слабели, мозг вырабатывал наркотик милосердной смерти. Петер сел под пограничным столбом с конфетой во рту. Его взгляд медленно скользил по далекому кругу горизонта. Одной ногой Петер был в Чехии, второй — в Польше. Он просидел так около часа и секунда за секундой умирал. Под конец подумал еще об Эрике, о том, что она ждет его внизу в машине и наверняка волнуется. Возможно, даже сообщила в полицию. Однако теперь и она показалась ему какой-то низинной, морской и нереальной. Вся жизнь промелькнула перед ним как во сне. Он и не узнал даже, когда умер, потому что это произошло не вмиг, а постепенно — все в нем мало-помалу распадалось.

Когда начало темнеть, его нашли чешские пограничники. Один еще пытался нащупать пульс на руке старика, а второй, помоложе, в ужасе смотрел на коричневую шоколадную струйку, сползающую изо рта на шею. Тот, первый, вытащил рацию, взглянул вопросительно на второго, и оба посмотрели на часы. Они были в нерешительности. Подумали, наверное, об ужине, на который опоздают. О рапорте, который придется написать. А потом, в полном единодушии, переложили ногу Петера с чешской стороны на польскую. Но и этого им, видно, показалось мало, потому что они осторожно перетащили все тело к северу — в Польшу. И с чувством вины молча удалились.

Спустя полчаса тело Петера обнаружили лучики фонарей польского пограничного патруля. Один из солдат воскликнул “Господи Иисусе!” и отпрянул; второй непроизвольно схватился за оружие, озираясь вокруг. Стояла полная тишина, а селения в долинах выглядели как оброненные фантики от конфет, в которых отражались звезды. Поляки взглянули на лицо Петера, пошептались. Затем в торжественном молчании подхватили его за руки и за ноги и перенесли на чешскую сторону.

Именно так Петер Дитер запомнил свою смерть, прежде чем его душа отошла навечно, — как механическое движение то в одну, то в другую сторону, как балансирование на краю, стояние на мосту. И, собственно, последней картиной, появившейся в его засыпающем мозгу, было воспоминание о вертепе в Альбендорфе: деревянные человечки передвигаются на фоне нарисованного красками пейзажа, механически производят заданные движения. Идут деревянные люди, гонят деревянных коров, бегут деревянные собаки, какой-то мужчина застыл с деревянной улыбкой на лице, выше — другая фигурка, с ведрами, машет рукой, в нарисованное небо поднимается нарисованный дым, на запад летят нарисованные птицы. Две пары деревянных солдатиков без конца переносят деревянное тело Петера с одной стороны на другую.

Письма

Я получаю письма почти от одних только женщин, и почти все адресаты моих писем — женщины. А если при этом не смотреть телевизор, то весь обозримый мир представляется полностью женским. Женщины стоят за прилавками в магазинах, организуют встречи, ходят за покупками с детьми, ездят в переполненных автобусах в Новую Руду и обратно, стригут волосы, проводят вместе вечера, целуются в обе щечки, благоухают, примеряют шмотки в универмагах, выдают жетоны на почте, развозят письма, написанные женщинами, которые читают женщины. У меня есть еще Марта и суки. И коза. Р. составляет исключение; своим присутствием он лишь оттеняет вездесущее женское начало. Аналогично: сладкое дрожжевое тесто солят, а в кислый соус добавляют щепотку сахара.

Я размышляла о словах, которые несправедливы, по-видимому, потому, что вырастают из неравно и небрежно поделенного мира. Каков женский эквивалент слова "мужество"? "Женство"? Как назвать эту добродетель женщины, не перечеркнув одновременно ее пола? Нет женских соответствий словам "старец" или "мудрец". Старая женщина — это старушка или старуха, будто в старении женщин нет ни достоинства, ни величавости, будто старая женщина не может быть мудрой. В лучшем случае о ней можно сказать "ведьма" — с пометой, что слово происходит от "ведать". Ну и что — все равно получается образ злой старухи с обвисшей грудью и животом, неспособным к деторождению, существо, обезумевшее от злобы на весь мир, хотя и могущественное. Старый мужчина может быть мудрым и почтенным старцем, мудрецом. Чтобы нечто подобное сказать о женщине, приходится выбирать окольные пути, растолковывать, описывать — "старая мудрая женщина". И все равно звучит это столь напыщенно, что вызывает сомнения. Но больше всего меня беспокоит слово "безотцовщина", ибо нет женского соответствия "безматеринщина". Господь Бог стал нам Отцом.

Пирог из травы

Тот же самый пограничник, который перебрасывал тело немца на другую сторону границы, зимой патрулировал Черный Лес. В его обязанности входило следить, чтобы старая лесная дорога, ведущая в Чехию, оставалась непроезжей для всякого рода нелегальных торговцев спиртным и автомобилями. Ранней весной надлежало отправиться туда с электропилой, спилить несколько деревьев и, свалив их, перегородить дорогу. Таков естественный способ защиты государственной границы. На вырубку елей, разумеется, требовалось получить разрешение лесничества.

Пограничник знал всех в округе. Он умел с первого взгляда распознать чужака, и в этом случае проверял документы и звонил на погранзаставу. Кем бы ни был повстречавшийся ему человек, грибником или заблудившимся туристом, патрульный наблюдал за ним в бинокль с горы, пока тот не удалялся от границы и не сворачивал на свою сторону.

Таким образом, он видел массу людей: одиноких путников — и едва держащихся на ногах, и шагающих быстро, уверенно; пары, которые поспешно исчезали в кустах; людей, идущих гуськом, согнувшись под

тяжестью рюкзаков; людей с животными — собаками, лошадьми, коровами, слепыми котятами в корзине, которых они несли топить; людей с разными предметами и механизмами — на велосипедах, в машинах, на тракторах (по правде сказать, только у одного местного был трактор), с сумками, с мотопилой, с грибами в полиэтиленовом пакете, с поллитровкой, купленной в хазе... Перед его глазами был вроде как театр, в котором, к сожалению, показывали скучные представления. Многое ему приходилось додумывать. Кое-что он был обязан знать: куда отправился Имярек, таща велосипед по бездорожью, что означает белый "опель", стоящий возле дома внизу, а что — темно-синий автобус, открытые или закрытые красные ставни еще в одном доме, овцы на перевале, а не на опушке леса, железная кровать, вынесенная в сад. Он обязан был это знать. Иначе ничего из того, что видел, не понял бы. Смотрел бы только, но не видел.

Случалось, конечно, и частенько, что он забывался и глядел на мир перед собой, как на картинку. Низом по шоссе идут люди, погоняя коров, бегут собаки, какой-то мужчина вдруг заливается смехом, позвякивают колокольчики на шеях у овец, неприятно шерстит кожу; чуть выше шагает браконьер с подстреленным зайцем, машет кому-то рукой, дым из труб тянется к небу, птицы летят на запад. Эта картинка как была, так и есть — кажется вечной. Сценой, но не для людей — люди на нее попадают случайно.

Днем, накануне Нового года, этот молодой пограничник с румяным и свежим, как сдобная булочка, лицом медленно ехал по снегу на своем тяжелом мотоцикле. Колеса глубоко зарывались в снег, и ему приходилось двигаться с осторожностью, чтобы не соскользнуть в большой овраг у обочины. Вскоре он заметил множество петляющих вокруг да около следов, они то возвращались, то снова бежали вперед. На больших сугробах остались отпечатки человеческих тел — кто-то, наверное, падал в сугроб, барахтался, переворачивался. А кто-то, видимо, ложился на снег, размахивал руками и ногами, оставляя отметину в виде огромной птицы.

Он встретил их на перевале. Они были в ярких смешных шапках. В общем, выглядели подозрительно. К тому же захихикали, когда он потребовал у них документы. Заговорщицки переглядывались и прыскали смехом. Он подумал, что они, должно быть, пьяны, и почувствовал себя идиотом. Ведь был канун Нового года. Однако чем больше они веселились, тем он становился серьезней. Чем больше источали веселья — от распиравшей их радости они почти парили над снегом, — тем сильней он ощущал себя прикованным к земле, тем глубже проваливались у него ноги. Пограничника раздражало их приподнятое настроение.

Они были молоды. Девушка, которая была с ними, показалась ему красивой и недоступной. Она закусила кончик светлой прядки и бросала загадочные взгляды, словно только что очнулась от приятного, может быть даже эротического сна.

Молодые люди были беспечны — не захватили с собой в пограничную зону документов, поэтому патрульный не знал, как их записать.

— Рюкзаки остались в хате, — сказали они.

Поневоле пришлось вернуться с ними обратно. Они попеременно толкали его мотоцикл по снегу. Парни разбирались в мотоциклах, чем, однако, не снискали его уважения. Его не покидало чувство, что на их фоне он выглядит смешным и малозначительным, поэтому он как бы не-

взначай расстегнул куртку, чтобы продемонстрировать им блестящую кожаную кобуру пистолета.

В доме стоял запах нежилого помещения, иначе говоря сырости и остатков осени, сухих листьев и сена. Кроме того, воняло мышами. Было холодно. Пограничник сел за стол и переписал данные из их паспортов. Все были из Вроцлава. Жили на улицах, названия которых звучали по-городскому и торжественно: Венская, набережная Выспянского, Грюнвальдская, Космонавтов. Ну да, он понимал, они приехали сюда отпраздновать Новый год, напиться и подурачиться. Ясно, что они не занимались контрабандой, что никоим образом не могли причинить вред границе. Однако теперь уже не подобало отступать, нельзя было сказать: порядок, я еду дальше, я тоже вечером собираюсь на гулянку, темный костюм уже висит на дверце шкафа, отглаженный и готовый, водка стынет в холодильнике и шампанское красуется в баре мебельной стенки.

Под аккомпанемент этих невыносимых смешков, которые сбивали его, пока он записывал, девушка поставила перед ним кружку с чаем. Пограничник выпил с благодарностью. Чай разогрел его изнутри и снял напряжение. Он закурил. Съел кусок темного, странного пирога с травяным экзотическим вкусом, немного похожим на вкус коврижки. Их насмешки были ответом на его серьезность; ему бы следовало оставить этих ребят в покое или же наказать, после чего отправиться обратно в сторону леса, потом заехать на погранзаставу, сдать смену и идти домой. Но он сидел и ел этот пирог, который ему подсовывали с подозрительной настойчивостью, под огнем перекрестных заговорщицких взглядов. Все смотрели, как он кладет куски в рот, жует и глотает. Ему казалось, что их мысли соединяются и переговариваются между собой, неслышимо для него, и он один в этой компании чужой. Они здесь свои, он — посторонний, хотя это его территория.

В конце концов, непонятно почему — наперекор себе — он вышел из дома и позвонил на заставу. Сообщил, что возвращается. Уже стемнело. Молодые люди помахали ему шапками и дружно расхохотались.

Пограничник ехал по хорошо знакомой дороге, но она показалась ему какой-то длинной. Он уже должен был бы добраться до мостика, но всего-то лишь миновал последний дом. Подумал о тех молодых людях — собственно, не мог перестать о них думать. В них было что-то волчье. Боже мой, эта мысль его поразила. Волчье. Он остановил мотоцикл, выключил фару и внезапно оказался во мраке, который пронзил его холодом. Вдалеке виднелась деревня, окна светились как квадратные дыры во тьме. Может быть, ему следует вернуться, зайти еще раз к этим туристам, сказать им... Но что? Он схватил мотоцикл и развернул его. Завел мотор, тронулся, но тут же влетел в сугроб. Переднее колесо целиком провалилось в снег. По рукам побежала неприятная мелкая дрожь; пришлось пошевелить пальцами в перчатках.

Что-то случилось со временем. В голове замелькали тысячи мыслей, надорванных, обгрызанных, обрывочных. Из них высыпáлись слова, как мак из лопнувшей коробочки. Он начал их собирать, но это затянулось надолго. Наверное, прошел час, а он по-прежнему в отчаянии дергал зарывшийся в снег мотоцикл. Взглянул на часы, но циферблат был темный, и он стал искать зажигалку. Должно быть, он забыл ее в том доме, где все еще пекся пирог из сена. Снова вернулся странный запах, и пограничнику стало плохо. Зачерпнув пригоршню снега, он протер ли-

цо, но это не помогло. Посмотрел на мотоцикл, и ему показалось, что тот заснул; придется оставить его так до утра. Солдат снял куртку и прикрыл утомленное тело машины. Она фыркнула в знак благодарности.

Пограничник повернул обратно в сторону перевала и темных домов хутора. Во рту стоял вкус пирога, и он снова почувствовал, как щемит под ложечкой. *Не-дотя-ну. Недо-тяну. Недо...* Не хватало "тяну", чего-то, что имело связь с теплом и едой. На мгновенье время перестало мельтешить, мысли прояснились, и пограничник осознал, что совершил ошибку, отправившись к ним без куртки и пешком; ему следует поспешить — небезопасно ночью так блуждать по полям. Волки еще не перевелись.

И в ту же минуту он услышал их где-то в лесу наверху, услышал пронзительный, полный отчаяния вой, истошный, полный боли и осиротелости клич.

Солдат видел волка в зоопарке во Вроцлаве. Похожего на чучело, хоть и двигался. Шерсть у него была взъерошенная и нездоровая. Он напоминал ту дворнягу, которая каждый день, как заведенная, гналась за его мотоциклом и пыталась вцепиться в штанину. Напоминал, но не во всем. Потому что у дворняги есть свое время, а волк существует вне времени. Волки не рождаются и не умирают. Они есть даже там, где их нет. Это открытие так поразило пограничника, что он остановился и начал прислушиваться. Завывание стихло, но теперь он, казалось, слышал шорох мелких шагов, которые приглушал снег.

Нестерпимо, как женщину, захотелось вернуть забытую зажигалку. Он мог бы посветить ею и знал бы, который час. Это многое бы прояснило. Он мог бы при свете ее огонька взобраться наверх и оказался бы там, куда хотел попасть. А так он и не знал даже, куда идти: то ли вправо, то ли влево, вверх либо вниз. Так или иначе, он двинулся прямо, мягко скользя по снегу, как будто на коньках. Ему это нравилось. Дотянет. *До-тянет* до тепла и света. До девушки дурманящей красоты, с закушенной зубами прядкой светлых волос. За ним на снег бесшумно ложились пятилистники — следы волчьих лап.

Пограничник заметил его. И не перед собой, и не позади, а где-то во тьме. Он был огромный. В его седой шерсти отражался искристый снег.

— Волк, пощади меня во имя государственной границы, — проговорил пограничник в эту тьму.

Волк, шедший следом за ним, остановился. Задумался.

Огонь

— Это год кометы, — сказала Агнешка, наливая мне молока в бидон. — И предпоследний год жизни Папы Римского. Встретятся две стихии, а потом наступит странная зима. Люди начнут дохнуть, как мухи.

Агнешке случалось пророчествовать. Когда изо дня в день видишь Петно, единственное, что можно предчувствовать, — так это конец света. Всякий раз мы слышали новый прогноз будущих событий. Возможности Агнешкиного воображения были безграничны. Кроме того, она умела так растянуть слово во все стороны, что непременно получалась какая-нибудь история, менявшаяся точь-в-точь, как у Имярека, — в зависимости от времени, места и обстоятельств, в которых была рассказана: вечером или утром, у колодца или же в ресторанчике "Лидо", под вино или под водку.

Выслушав пророчество, я возвращалась домой. Останавливалась на дороге и пила молоко прямо из бидона — оно имело вкус белого неба. Я думала о грибах, — наверное, они уже появились. Было достаточно тепло для первых шампиньонов, достаточно сыро для луговых опят, достаточно солнечно для дождевиков. И вдруг, с полным ртом молока, я увидела, что горят луга над домами. Огонь тянулся тонкой цепочкой кверху, по ветру, в сторону леса. Узкая змейка медленно ползла, весело искрясь на солнце, тихая, оставляющая за собой темные пятна, что-то вроде тени от тучи, но во сто крат темнее.

— Стой, — воскликнула я.

Теперь все должно было остановиться, как в компьютерных "играх стратегии", как на картах погоды на экране телевизора, где мир состоит из извилистых линий и цифр.

Не тут-то было. Позади кто-то меня окликнул. Агнешка стояла на перевале, ее маленькая, приземистая фигурка казалась уродливой в растянутом спортивном костюме.

— Когда сменится ветер, сгорят ваши дома, — прокричала она. Мне почудилось, что я слышу в ее голосе удовлетворение.

Я помчалась вниз. Молоко выплескивалось из раскачивающегося бидона и обливало мне ботинки.

Мы работали несколько часов, прежде чем приехали прокопченные пожарники и сказали, что горят луга по другую сторону гор. Они были раздеты до пояса и неторопливы. Бесцеремонно прошли сквозь стену огня и схватили пылающую гидру за оба конца. Они, по-видимому, знали, что делают, — обращались с ней как с длинной, растянутой по земле лентой. Загнули два ее конца так, что линия, описав круг, замкнулась. Ветер на мгновение стих, большое огненное кольцо вспыхнуло. Огонь буйствовал внутри него, был как вихрь, как смерч. Сквозь испуганный, дрожащий воздух я видела, как навсегда исчезают остролистные травы, как погибают прошлогодние отпрыски солнца. Огненный смерч гудел, пока огонь не пожрал самого себя и не умер.

Сгорели луга, опушка леса и ягодники. Больше всего мне было жаль ягод. Спалив их, огонь убил некую частицу сочного будущего. Марта показала нам, как лучше всего тушить горящие травы — бить по огню еловой лапой. Мягко, словно легонько шлепаешь по заднице. Если лупить слишком сильно, поддаешь пламени воздуха. Марта говорила еще, что луга горят раз в несколько лет, и переживать из-за этого не стоит. Р. придерживается иного мнения о пожарах на лугах.

— Я нашел это слово, — сказал он. — Женским соответствием "мудреца" может быть "мудрила".

Аллергия на травы

Когда цвели травы, нас обоих донимал сенной насморк: распухали носы и слезились глаза — так мы с Р. оплакивали гектары лугов и поросших травами пустошей. И не было в доме такого места, где можно было бы схорониться от невидимых частиц пыльцы, разве что в темном, самом глубоком подвале, где всегда струится вода. Приходилось сидеть там до обеда, больше нам негде было спрятаться. В городе все было иначе, там всегда можно закупорить окна и не выходить из дома. В городе глаза зна-

ли траву только издалека, да и то она была подстрижена, и городская служба озеленения не допускала ее цветения. Ступни ног знали землю только по футбольному полю и по тем маленьким скверикам, куда после работы выводят собак. Можно было не обращать внимания на цветение трав, можно было вообще о них не думать. Здесь же с прошлого года травы забрались на террасу и захватили узкие полоски земли между кирпичами, они вторглись также в мой сад и поглотили ирисы.

Р. выходил с косой и решительно срезал травы под самый корень. Когда они падали, их пушистые метелочки скользили у него по ногам, и на коже оставался четкий красноватый след, который позже сменялся мелкой сыпью. Это значит, что такие люди, как мы, не могут безнаказанно убивать травы. Травы объявили нам войну. Я говорила: мы здесь чужаки. Но Р. утверждал, что все в порядке, что это жертва, которую наши тела приносят лугам. Благодаря ей травы узнают о нашем существовании. Если бы они не могли причинить нам вреда, мы для них остались бы незамеченными и непонятными. Вот тогда бы мы были чужими, как души умерших, которые разгуливают среди живых, но поскольку живым не удается их чем-нибудь ранить, говорят, что эти души не существуют.

Франц Фрост

Франц Фрост любил ходить в храм по одной особой причине. У них с женой были там свои места: он садился справа, с другими мужчинами, она — слева. Церковь делила их семью, супруги посматривали друг на друга с противоположных сторон нефа, переглядывались. Жена проверяла, хорошо ли сидит на нем выходный пиджак, а он с гордостью и восхищением взирал на ее замысловатую прическу, состоящую сплошь из локонов и шпилек, прическу, которую она сооружала в спальне перед зеркалом в молчании, среди аромата фиалковых духов, лаванды и накрахмаленного белья. Позже, во время богослужения, когда люди мелодично подхватывали запев священника, взгляд Франца перебирался с головы жены на другие предметы, те, что больше всего интересовали его в храме. Например, как изготовлены скамьи, как мастерски придумано крепление штифтами, соединявшими сиденья и спинки совершенно неприметно для глаз. Восхищали его и металлические дощечки с выгравированной фамилией. Болты на них имели полукруглые головки: пальцу было приятно прикасаться к их прохладной выпуклой поверхности. Даже тогда, когда Франц смотрел на развешанные на стенах картины, его привлекало вовсе не их содержание, а лишь качество дерева или холста, на котором они были написаны; или же рамы. Да, рамы картин — это настоящее искусство.

В церкви висела одна картина, от которой он не мог оторвать взгляда, хотя помнил ее наизусть. Изображала она Богоматерь в окружении каких-то святых. Один из них держал на блюде свою отрубленную голову. Однако самым главным в ней было то, что картина была круглая, и чудесно украшенная рама очерчивала на стене невероятно правильный круг. Франц, волнуясь, прикидывал, какой породы необходимо взять дерево, чтобы вырезать нечто столь прекрасное. После службы он частенько подходил к картине и изучал слои дерева на раме. Она состояла

не из отдельных частей, как он вначале предполагал, как подсказывали ему здравый смысл и опыт. Раму сделали из цельного куска дерева и лишь снизу соединили оба конца, надо сказать, весьма небрежно – обычной металлической пластинкой. Франц был уверен, что на изготовление рамы пошло специально подготовленное дерево: молодую ветвь гнули так, чтобы она росла по окружности, возможно ее даже подвязывали проволокой, пригибали к земле, намеренно направляли ее рост в пространстве по невидимому для глаз ободу. Дерево, которое произвело на свет такую причудливую ветвь, должно быть, стеснялось других деревьев. Изогнутая ветвь нарушала строгий ритм прямых елей и осин. На ней задерживался взгляд каждого – будь то человек или животное. Растениям неведомо о существовании геометрических фигур – в лучшем случае, они лишь бессознательно им подражают. Однако в таком подражании обязательно происходит сбой и появляется сучок, утолщение, нарушение симметрии. Люди говорят в таких случаях "несовершенство", ибо откуда-то им известно, что совершенство есть.

Это наличие сокрытых от взора форм в пространстве, великое множество образцов, готовых проектов, которые совсем близко, рядом, под носом, перед стеклянистой поверхностью глаз, однако же бесплотны – протянешь руку, а она проходит сквозь них, как сквозь дым, – именно это волновало Франца. Возможно, думал Фрост, таким образом все существует – и то, что было, и то, что будет; попросту есть, но остается недосягаемым. Может быть, где-то там уже есть тот насос, который ему никак не дается, гениальное решение подачи воды снизу вверх; может быть, есть механизмы, которые люди когда-нибудь изобретут, и формы, которые даже трудно себе представить, и какие-нибудь агрегаты, которые достаточно лишь скопировать и воплотить в металле, дереве или камне. Пространство полно невидимых зубчатых колес, передач, хитрых устройств, разных систем – простейших, очевидных, но пока еще непостижимых.

Где-то в начале тридцатых годов Франц Фрост почувствовал: что-то не так. Он поднимался на гору между двумя деревнями и нюхал ветер, рассматривал стебельки трав, растирал в пальцах землю. То, что заметил, он ощутил еще раньше – все стало не таким, как прежде. Трава казалась более острой, ранила руку при неосторожном движении, земля приобрела более темный оттенок, стала более красной, чем когда бы то ни было. Ему казалось также, что удлинились тропинки в лугах и идти домой теперь приходилось дольше. Из-за этого он опаздывал на обед. И у картошки вкус был ненормальный: даже молодая, только что выкопанная из земли имела привкус затхлости и мха, как будто бы долго пролежала в погребе. Лица людей размазывались, и, когда в воскресенье Франц шел в храм, ему чудилось, будто он видит ходячие нерезкие фотографии. Он признался жене, а она сказала, что, наверно, все дело в глазах. Куриная слепота или что-нибудь вроде этого. Ему такое даже в голову не пришло. Он все хорошенько обдумал и сделал вывод, что глаза тут ни при чем. Ведь и ткани стали другими на ощупь, изменился вкус еды, запах древесины. Ножи как будто иначе резали хлеб, иначе жужжали насекомые. И не в глазах вовсе дело и не в каком другом органе чувств Франца Фроста – изменения происходили снаружи, но люди об этом не знали. Сами участвовали в этих переменах, но не знали о них. Женщины сменили наряды. Их плечи теперь раздались, укрепленные изнутри

твердыми подплечиками, юбки стали короче, из-за чего ноги казались более голенастыми. Даже у хлеба, выпекаемого в формах, кромка стала острей, словно для того, чтоб до крови поранить язык.

Франца это сильно тревожило, потому что он как раз возил камень на новый дом (камни тоже изменились, все чаще попадались прямоугольные), который должен был быть выше старого.

Он услышал по радио, что какой-то астроном открыл новую планету, и с тех пор мысль об этом не давала ему покоя. Он непрестанно думал о той планете — что она кружит где-то далеко в пустом пространстве, маленькая и замерзшая, наверняка тоже с острыми краями. А коли прежде ее не было, а теперь она есть, значит, меняется даже то, что должно оставаться неизменным. Какова же польза от мира, который так меняется, неужели в нем можно жить спокойно?

Тем не менее он приступил к строительству дома. Первым делом лозоискатель нашел водоносную жилу, и они начали рыть новый колодец. Яму копать пришлось глубокую, чтобы в нее не попадала вода, стекающая в ручей во время таяния снегов, и не смешивалась с чистой, как это было в старом колодце. Рыли с трудом, то и дело вытаскивая из земли огромные красные валуны, которые сохли потом на солнце, похожие на мертвых животных. Грустное было зрелище. Франц пообещал этим камням, что сделает из них фундамент дома, и таким образом они вернутся туда, откуда пришли.

Супруги Фрост хотели иметь детей, но живот жены по-прежнему оставался пустым. Муж уговаривал ее не переживать, мол, как только готов будет дом, ребенок появится сам собой. Но когда Франц оставался один, его одолевали мрачные мысли. Его угнетало существование той планеты, хотя он даже не помнил, как она называлась. Он работал весь день — тесал стропила на крышу, гладил их пальцем, но они по-прежнему оставались шероховатыми и царапали кожу. Кирпич, наверное, плохо был обожжен, крошился и осыпался на новые полы. Вода текла с гор через их дом, и не помогали керамические дрены. Однако Франц, несмотря ни на что, верил, что упорный труд и смекалка помогут ему со всем справиться. Поэтому стропила он оставлял негладко отесанными, стены небрежно оштукатуренными, а их соседка, та, что шила парики, советовала не морочить себе голову керамическими дренами и пустить воду через дом, пусть течет каждую весну по подвалу, пусть сбегает по каменным ступенькам вниз. Сделай для нее сток, говорила она, пробей в фундаменте отверстие, пусть стекает в пруд. Франц так и делал. Но все время думал о той планете. Что же это за мир, в котором всегда может появиться новое небесное тело? Если о чем-то не знаешь, значит, это не существует? А если человек о чем-то узнает, изменит ли это его? Изменит ли планета мир?

Когда Франц крыл шифером крышу, ему стали сниться дурные сны. Виделись всякие ужасы. Долина была другой, более сумрачной, деревья толще и выше, и между ними не видно домов, одна лишь трава по пояс. Ручей пересох, горы притупили свои пики, стали приземистыми, как будто состарились и облысели. Ни дорог, ни людей. Во сне он приходил в то место, которое ему было дорого, и искал там свою жену и даже детей, да, ведь когда-то у него были дети. Но там никого не было, он и сам был чужой; смотрел на собственные ладони, но то были ладони какого-то незнакомого человека. Он терзался во сне, его преследовало ощущение, что он навечно заблудился, потерялся, как малое дитя, и не только

не знает дороги, ее попросту нет. Франц просыпался, дрожа от волнения, и еще раз как бы прокручивал весь сон, сцену за сценой, отыскивая в нем самый страшный момент, чтобы сразиться с ним, пустив в ход всю силу разума, и показать сну всю его бессмысленность. Но не мог найти такое место. Все было страшным именно потому, что не имело смысла.

И так продолжалось даже тогда, когда его жена наконец-то забеременела и по несколько раз за ночь вставала, чтобы сходить в уборную. Он просыпался от шарканья ее тапок по новым, пахнущим елью полам, а потом проваливался в сон, и все время ему снилось одно и то же. А в тот день, когда родился сын, ему привиделся еще более кошмарный сон: на столе лежат красные мухоморы. Его жена жарит их на большой сковороде и засовывает в беззащитный ротик ребенка. А он смотрит на это, и в голове нет ни единой мысли, ни намека на неминуемую смерть. Ребенок умирает, становится маленьким, как кукла, а он несет его в сад и закапывает в яму нагое, розовое тельце. Его раздирает нестерпимая боль, от которой он просыпается, — надо проверить, дышит ли сын, не вырвался ли сон за свои туманные пределы и не стал ли явью.

Франц долго так мучился, страшился вечеров и каждой ночи. Из-за этих снов он жил словно наполовину.

— Святой отец, вы слышали об этой новой планете? — спросил он приходского священника, который каждое воскресенье приезжал из Кёнигсвальда служить обедню.

Священник не знал.

— А откуда вам известно о таких вещах, Фрост? — полюбопытствовал он.

— Слышал по радио.

— А какое радио вы слушаете?

Франц Фрост слушал, как и все в деревне, венскую радиостанцию.

— Не слушайте вы ее, они там все выдумывают. Слушайте передачи из Берлина.

— Погоду-то проверяешь по венскому.

— Так-то оно так, — соглашался священник.

Когда тот хотел уйти, Франц набрался смелости и сказал:

— У меня какие-то сны — *не мои*. Житья не дают.

Священник из Кёнигсвальда скользнул подозрительным взглядом по его макушке и ответил:

— А разве бывают *свои*?

В общем, священник Францу Фросту ничем не помог. Франц так и предполагал, что люди думают совсем по-другому, хотя, казалось бы, ходят в одну и ту же церковь, видят там одни и те же картины, ту же самую круглую раму с Богоматерью в окружении святых.

Поэтому он должен был справиться со всем сам. От поваленного огромного ясеня он отпилил чурбачок, снял с него кору и смастерил себе шляпу. Выдолбил в древесине углубление для головы, а по бокам оставил поля. Отполировал это все изнутри и снаружи, подложил на дно шляпы старую шерстяную тряпицу. Сработал так искусно, что издали ее не трудно было принять за фетровую шляпу из магазина. Как-никак он был в таких делах мастер. И только вблизи глаз подмечал мягко преломлявшие свет кольца на деревянной поверхности. Жена, конечно, заметила этот новый странноватый головной убор, но, видно, не нашлась что сказать. Он ответил бы ей (ибо заготовил умный ответ), что это защита от недавно открытой планеты, названия которой он не знал, что эта планета на-

сылает гнетущие сны, которые истощают разум, исчерпывают реальность, и тогда человеку не за что ухватиться и он сходит с ума.

Благодаря деревянной шляпе ему как будто немного полегчало. В том месте в саду, где он каждую ночь закапывал своего мертвого ребенка, Франц посадил яблоньку папировку. Но не попробовал ее яблок, потому что пришла война и его забрали в вермахт. И он вроде бы погиб из-за этой шляпы, потому что не хотел сменить ее на каску.

Марта, ее возможные смерти

Из-за леса на небо над долиной выплыли тускло-белесые тучи, и сразу же полил дождь. Марта раскатывала тесто на потертой клеенке. Под ее скалкой шар теста превращался в лепешку. Марта стаканом вырезала из лепешки небольшие кружочки. Я смотрела на ее руки, на ее сосредоточенное лицо. В маленькой, низкой кухне стало сумеречно, дождь хлестал по листьям ревеня. Старый радиоприемник Марты бормотал так тихо, что не разберешь о чем. Как в ее тело войдет смерть? — подумала я.

Через глаза? Марта взглянет на что-нибудь темное, бесформенное, влажное, липкое и не сможет отвести глаз. Этот темный, размякший образ проникнет к ней в мозг, и мозг угаснет. Это и будет ее смерть.

Через уши? Марта начнет слышать посторонний, мертвый звук, он будет гудеть у нее в голове, низкий, вибрирующий, на одной ноте, безнадежно-неизменный, полная противоположность музыке. Из-за него она не сможет спать, из-за него не сможет жить.

Или же через нос. Так, как и все прочие запахи. Когда она обнаружит, что ее тело уже не пахнет, кожа становится похожей на пергамент и лишь поглощает свет извне, как растения, но ничего не выделяет. Она будет с тревогой обнюхивать свои руки, подмышки, ступни, но они окажутся сухими и стерильными, ибо запах, как нечто самое быстротечное, исчезает первым.

Или же через рот. Смерть запихивает слова обратно в глотку и в мозг. Умирающим не хочется говорить, они слишком заняты. Да о чем им рассказывать, что передавать потомкам? Банальную чушь, прописные истины. Кем надо быть, чтобы в последний миг силиться передать свой завет роду людскому? Никакая мудрость в конце несоизмерима с молчанием там, по другую сторону, в начале.

Через рот смерть может также войти по-другому: Марта может съесть червивое яблоко, одно из тех темно-красных яблочек из ее старого сада, яблоко с белым зародышем смерти в сердцевине. Таким образом она впустит смерть внутрь, а поскольку материя яблока не очень сильно отличается от материи человеческого тела, смерть будет ее поедать изнутри. Останется от нее пустая хрупкая скорлупка, которая треснет и раскрошится как-нибудь во время очередной возни со сломанным замком калитки.

Я украдкой разглядывала Марту, а она между тем накладывала чайной ложкой варенье из лепестков роз на каждый кружочек и слепляла тесто пальцами, как вареники. Получались небольшие полумесяцы с неровными краями. Я принесла свою советскую чудо-печь, чтобы не разжигать духовку в ее неисправной плите. Вдруг сквозь оконное стекло

прорвалось солнце, хотя дождь еще шел. Мы поставили пирожки в печку и вышли во двор.

На нашей террасе стоял Р. и показывал рукой на небо. Над горами висела радуга. Она застыла раскорячившись, прямо над нашей машиной, будто только что ею разродилась.

Запах

Все плохое происходит зимой. Зимой Р. попал в аварию. На белом горном вираже его занесло, и он столкнулся с грузовиком. Ударился головой о руль, сломал нос. Длинный никелированный передок нашей машины спас ему жизнь. В таких случаях принято говорить: обошлось.

Однако ж не обошлось. С тех пор Р. стал ощущать странный запах, хотя нос у него сросся правильно и уже не было заметно швов. Р. говорил, что этот запах появляется внезапно, накатывает волнами, с разной силой. Острее всего он его чувствовал в одном месте — на спуске к пруду. Там росла крапива, а в ней — ясень, и Р. обнюхивал листья крапивы и кору дерева, но ничего там не находил. Он подумывал даже, что, возможно, это от воды так тянет — ни хорошо, ни плохо, чем-то сладковатым и чуточку терпким. Но и вода была ни при чем. Как-то раз он обнаружил этот запах в рюмке коньяка. Потом в кофе и на свитере, который залежался в шкафу среди зимней одежды. В конце концов Р. осознал, что этот запах присущ не вещам, не предметы его источник, что у него, собственно говоря, нет источника, он лишь на миг пристает к вещам, единожды, да и то случайно, и поэтому так трудно дать ему название. Он ни на что не похож, сказал раз мне Р., а потом ему показалось, что совсем наоборот, что он присутствует и во всех других запахах, и сломанный нос, искромсанные обонятельные клетки стали к нему более восприимчивы, открыли его и навсегда запомнили. И именно это самое неприятное — не знать, как назвать то, что ощущаешь собственным носом, что заставляет тут же обратить внимание на момент, в котором пребываешь. Мучительно — не находить места некоему явлению в череде других явлений, не понимать его, не уметь объяснить. Так пахнут некоторые насекомые, оставляющие на ягодах свой след. Такой запах исходит от лезвия ножа, режущего помидор. Таков запах бензина, смешанного с душком заплесневелого сыра. Моих старых духов внутри немодной сумочки. Железных опилок, карандашного грифеля, нового компакт-диска, поверхности оконного стекла, просыпанного какао.

Поэтому мне доводилось замечать, как Р. частенько бросал то, чем занимался, и принюхивался. Его лицо становилось сосредоточенным. Он обнюхивал свои ладони, а то вдруг, прервав разговор, начинал нюхать оторванную пуговицу. Или же растирал в пальцах листочки полыни, и ему уже казалось, что вот, нашел! Но это всегда было не то.

Мы оба догадывались, что это запах смерти. Что Р. ощутил ее тогда, когда его машина врезалась в трейлер, в то невероятно короткое мгновение, когда все может случиться и ничего нельзя отвратить, в момент огромных возможностей, в долю секунды, которая чревата любыми последствиями, как грамм материи, который вот-вот породит атомный взрыв. Так тогда пахнет, и это и есть смерть.

Р. боялся, что теперь уже всегда будет ее чувствовать. Никогда не выедет беззаботно на заснеженный серпантин между Валбжихом и Едлиной, не побежит сломя голову через перекресток у Центрального вокзала, даже не станет есть без разбору мои блюда из грибов. Он это знал, а я знала, что он знает.

Праздник Тела Господня

Марта сказала, что не стоит принимать близко к сердцу то, что видишь. Сказала тогда, когда мы наблюдали в окно за крестным ходом по случаю праздника Тела Господня, — процессия шествовала по полям, где посеян лен. Впереди шел священник, за ним — две хоругви и группка поселян. Чуть ниже по ядовито-зеленому лугу бежала собака, точно поодаль сопровождала людей в этой неожиданной прогулке по полям.

Я не знаю, почему Марта мне это сказала: она собиралась уже уходить. Стояла, держась за ручку отворенной двери.

Вечером мне вспомнилась эта фраза. Застывший кадр из фильма, в котором все движется, меняется и перестает быть тем, чем было. Таково строение глаз: они видят мертвый фрагмент живого целого, а то, что видят, прошивают взглядом и убивают. Поэтому, когда я смотрю, то верю, что вижу нечто неизменное. Но это ложное представление о мире. Мир подвижен и суетлив. Он не стоит в мертвой точке, которую можно запомнить и понять. Глаз фотографирует, но снимки всего лишь картинка, схема. Величайшим обманом зрения является пейзаж, ибо статичного пейзажа не существует. Пейзаж запоминаешь, словно это живописное полотно. Память создает открытки с видами, но понять мир ей не дано. А потому пейзаж так восприимчив к настроению тех, кто его наблюдает. Человек видит в пейзаже собственный, внутренний, преходящий момент. Повсюду видишь лишь себя самого. Точка. Вот о чем мне хотела сказать Марта.

Чудище

Моя первая встреча с Имяреком: он стоял на террасе с открытым ртом и тыкал в свою трухлявую бездонную яму пальцем. Маленький, небритый, безобразный гномик, каких великое множество рождается летом под шляпками мухоморов.

— А-а-а, — промычал он, и тут я заметила на языке у него белую пилюльку.

Мы стояли друг против друга на террасе дома в безлюдной долине. За ним было солнце, за мною — тень. Самым важным для меня было лишь одно — не позволить ему войти в дом, потому что иначе он застрянет до вечера и, разинув рот, будет тянуть свое “а-а-а”, которого я не понимаю. Поэтому я отступила на порог, заслонив собою дверной проем. И судорожно соображала, как пробраться к телефону, не выпуская гостя из виду. Наверное, я его боялась. И тут он сделал рукой жест, как будто подносил к губам сосуд. Его “а-а-а” значило: “Дай мне воды”. Я велела ему подождать и побежала в кухню за стаканом. Когда вернулась, он по-прежнему стоял с разинутым ртом и рассматривал намалеванного на штукатурке

грозного дракона с голубым глазом. Таблетка исчезла во тьме карликового тела.

— Чудище, — указал он пальцем на змея.

Сразу же после войны, когда в деревне еще был пруд, в нем появилось чудовище. Огромное, величиной с большую корову, по форме похожее на крокодила, с роговыми когтями на лапах, с пастью, полной острых, как ножи, зубов. Оно пожрало в пруду всех рыб, которые остались после немцев, весь тростник, весь аир, а затем принялось охотиться на овец, собак и гусей. По ночам вылезало на дорогу, к костелу, неуклюже тащилось по асфальту в сторону Новой Руды, и утром люди с ужасом обнаруживали его следы в своих дворах. Утки вдруг как в воду канули, от гусей оставались скрюченные красные лапки, по берегам пруда там и сям валялись выплюнутые бараньи рога. У местного начальства были иные заботы — распределение земли, охота на провокаторов, создание кооперативов, поэтому деревенские мужики сами взялись за дело. Они бросили в воду карбид и крысиный яд, а однажды ночью — заржавевшую гранату, которая взорвалась. Пруд после этого выглядел как лужа грязной отравленной воды. Не помогло. Чудовище на следующую ночь сожрало бычка. И, похоже, задумало мстить. И тогда мужчины вытесали длинные остроконечные колья, сколотили из бревен плоты и поплыли на середину пруда. Раз за разом тыкали жердями в дно, старательно колошматя мутные воды. Но воронки от ударов мгновенно затягивались, и вода оставалась такой же непроницаемой, как и прежде. На третий раз они пустили в ход технику: притащили откуда-то большое динамо с рукояткой — машину, производящую электричество. Протянули от нее провода и, как неводом, опутали ими весь пруд. Потом стали крутить ручку поочередно, ибо работа была тяжелая, и бить током укрытое под водой чудовище. Тварь извивалась внизу от боли, вода выходила из берегов и в конце концов успокоилась. Вся деревня в тот день пила до утра.

Однако несколько дней спустя чудище очухалось и в отместку затащило в воду зазевавшуюся женщину. От нее осталось оцинкованное ведро на берегу.

И это стало началом конца чудовища. Все были единодушны: можно погубить растение, зарезать скотину, но нельзя покушаться на жизнь людей. Чудище нарушило закон. Прибыли местные власти, пограничники и отряд подгальских солдат, саперы. Один мощный взрыв — и путь из пруда в ручей открылся, вода сошла. На дне лежало чудище, израненное и обессиленное, но все еще живое. Тогда солдаты расставили по берегам пулеметы. Офицер подал сигнал; пулеметные очереди прошили тушу чудовища. После первых ран оно еще пыталось наброситься на людей, и народ с криком кинулся врассыпную. Но в пулеметы быстро вставили новые ленты и издырявили поганую тварь, как решето. Таков был конец чудища.

Имярек пошел в Новую Руду, толкая перед собой велосипед, но вечером вернулся, потому что тот конец еще не был всамделишным концом.

Несколько последующих ночей в деревне слышались истошные вопли, долетавшие из леса с чешской стороны. Какое-то существо рыдало во мраке так исступленно, что мурашки бегали по коже. А через месяц на дне высохшего пруда нашли мертвое тело чудовища-самки, которая пришла сюда через леса, луга и государственную границу, разыскивая своего возлюбленного, и на месте его страшной смерти сама умерла.

Слова

Весь вечер мы пили чешское вино с солнышком на этикетке и говорили о названиях. Кем был тот тип, который по ночам менял немецкие топонимы на польские? Порою у него случались проблески поэтической гениальности, иногда — кошмарного словотворческого похмелья. Он давал всему совершенно новые имена, наново создавал этот горный, рельефный мир. Фогельсберг он переделал в некую Нероду, Готшенберг из патриотизма окрестил Польской Горой, меланхолический Флюхт стал банальной Жендзиной, но зато Магдал-Фельзен превратился в Богдал. Почему Кирхберг стал Цереквицей, а Экерсдорф — Божково, нам не догадаться никогда.

А ведь слова и вещи образуют симбиозные пространства, как грибы и березы. Слова растут на вещах и лишь тогда набираются смысла, дозревают до готовности к употреблению, когда вырастают в пейзаже. Только тогда ими можно перебрасываться, как спелыми яблоками, обнюхивать их и пробовать на вкус, лизнуть, а потом с хрустом разломить пополам и изучать их стыдливое сочное нутро. Такие слова никогда не умрут, потому что способны пустить в ход другие свои значения, тянуться к миру; разве что умрет весь язык.

С людьми наверняка происходит то же самое, поскольку они не могут жить в отрыве от места. А значит, люди — это слова. Только тогда они реальны.

Быть может, это имела в виду Марта, когда произнесла потрясшую меня фразу: “Если найдешь свое место — будешь бессмертна”.

Марта создает типологию

Мы ходили с Мартой собирать полевую ромашку, чтобы потом сушить. Стояла жара, а Марта, как обычно, была в своей теплой кофте из серой шерсти. Мы срывали бело-желтые лучистые головки и бросали их в корзину. Марта говорила, что люди уподобляются земле, на которой живут. Хотят они того или нет. Знают об этом или нет.

Там, где почва легкая, песчаная, рождаются невысокие, щуплые люди со светлой и сухой кожей. На первый взгляд они вроде бы никакие, вяловатые, но на самом деле напористые, как песок, умеют так же крепко цепляться за жизнь, как сосны — держаться в песке, на котором растут. Эти люди недоверчивы, они не верят в то, что другим кажется прочным и надежным. Они подвижны и вездесущи, не боятся далеких путешествий, поэтому часто эмигрируют в другие страны — умеют чувствовать себя хорошо во многих местах. Они столь же быстро привыкают к новому, как и забывают то, что с ними было. Недолго страдают из-за своих неудач, любовных разочарований и потерь. У них хороший нюх на будущее, они знают, что произойдет. Есть у них один недостаток — не держат слова, ведь все им кажется таким непрочным, таким непостоянным. Давший обещание уже не тот, кто его выполняет. У них рождается много детей, маленьких и светловолосых, как и они сами. Эти дети быстро взрослеют и без сожаления расстаются с родителями. Шлют потом поздравительные открытки к праздникам. Такие люди никогда не тоскуют, всегда для них важнее то, что только еще предстоит. То, что миновало, уходит, исчезает.

Совсем другие люди рождаются там, где много воды, на плодородных землях среди озер и на берегах больших рек. Их тела нежные, мягкие, чувствительные, кожа смуглая, с оливковым оттенком, с голубыми прожилками под кожей, влажная и прохладная. У них мерзнут руки и ноги, в юности их лбы усыпаны прыщиками, а волосы бывают жирными. Эти люди привязаны к прошлому и оттого осторожны и не расположены к переменам. А как же легко их обидеть: достаточно одного невинного слова, которое тем не менее глубоко западет в память и навсегда там заляжет, а порожденное им чувство будет жить до тех пор, покуда жив человек. Их глаза изначально склонны к плачу и не только от горя или какой-нибудь неприятности, но также от волнения и от радости. Они доверчивы, как животные, поэтому рано влюбляются, а потом увлеченность быстро переходит в привязанность не на жизнь, а на смерть. Тела свыкаются, а души сливаются, как две лужи, и тогда отпадает нужда в словах, чтобы понять друг друга. Они терпеть не могут путешествовать. Говорят, что везде одно и то же, разница невелика, лучше сидеть на своем месте и дышать своим воздухом, чем скитаться пусть по самым что ни на есть интересным краям. Если же в пору войн или в смутное время вынуждены покинуть свои места, то вскорости умирают. Дети у них рождаются беспокойные, капризные, к которым надо вставать по ночам и носить на руках. Эти дети не хотят ходить в школу не потому, что глупы, а потому, что гам и суматоха их пугают. И животные у них такие же, как они сами, — спокойные и ласковые. Коровы дают им много молока, у овец густая шерсть, куры несут крупные, тяжелые яйца. Дома они строят на всю жизнь или для многих поколений. Стены толстые, а сами дома приземистые.

А еще есть люди, рожденные на каменистой почве, на песчаниках, на горной породе. Кожа у них шершавая и твердая, такие же мышцы и кости. Волосы жесткие и зубы крепкие, а кожа на ладонях и ступнях огрубевшая. Снаружи они тверды и несгибаемы, потому что тело их все равно что панцирь. Внутри — много пустого пространства, поэтому все, что они видят и слышат, отдается в них колокольным звоном. Они ничего не забывают. Помнят почти каждый прожитый день, вкус каждого блюда, каждое слово, которое было им сказано. Могут обойтись без людей, им не нужны люди, хотя сами людям нужны, потому что они — как маяки, как межевые камни, которые указывают, где что-то кончается, а где начинается или в какую сторону держать путь.

Я спросила Марту, какой она сама человек. И эта мудрила ответила, что не знает.

— Такие правила придумываются для других, — добавила она чуть погодя.

Дворец

Они жили-поживали себе во дворце, хотя не строили его и даже не знали толком, что становилось особенно ясно во время всякого рода неизбежных ремонтов. Их жизнь так и проходила во дворце, сколько они себя помнили, то есть с рождения, но иногда им казалось, что они жили в нем и до своего рождения, в другой жизни, поскольку снился им только дворец, его покои и коридоры, внутренний двор и парк, будто их души

не ведали ничего иного. От них требовалось лишь делать все необходимое, чтобы дворец стоял, чтобы поля и луга приносили доход, нужный для расширения и украшения здания. Деньги всегда находились в каком-нибудь банке, и они их брали, умело во что-то вкладывали и снова относили в банк. Уезжали они только затем, чтобы пополнить свои знания о садоводстве, земледелии, разведении овец либо чтобы увидеть фрески в Венеции, затейливые кровли в Швейцарии или интерьеры Версаля, гобелены на голых стенах каких-нибудь французских замков, шпалеры, мебель в стиле рококо. Чтобы потом переправить это к себе физически, с помощью кораблей и поездов, или же только в воображении.

Некоторые из них изучали философию или литературу, но всего лишь затем, чтобы еще сильнее, еще полнее ощущать собственную жизнь в этом райском пространстве. Знать что и как. Осознавать цель или отсутствие таковой. Осознавать смысл или его отсутствие. Четко понимать, как может быть. И этого им было вполне достаточно.

Они испокон веков рождались во дворце. Воспитанием детей себя не обременяли, отдавая их под надзор мамок, деревенских девок, готовых одарить всех, кто мал и беспомощен, безудержной нежностью. Господа не помнили, чтобы кто-нибудь из наследников умер в младенчестве. Дети были здоровые, хорошо сложенные, крепкие. Ногти розовые, глаза светлые. Единственное, что им не удавалось, — это зубы, да ведь не так уж они и важны в мире, где яблоки всегда очищают от кожуры, едят только хлебный мякиш, мясо, разваренное до мягкости или пропущенное через мясорубку. Ну а если их зубы преждевременно темнели, а потом выпадали, во дворце всегда оказывался под рукой какой-нибудь лекарь, специально обученный мастерству изготовления искусственных зубов, ба! — даже целых челюстей, всевозможными способами крепящихся к беззащитным деснам. Вставной челюсти следовало бы красоваться в гербе рода фон Гётцен.

Дети вырастали в своих садах и парках, на застекленных верандах и в ванных комнатах, увешанных зеркалами. Это был безболезненный процесс, без взлетов и падений. Они не осуждали родителей, живущих в свое удовольствие, и не тяготились жизнью во дворце. Время от времени их тянуло в иной, не очень понятный мир, и тогда они вдруг появлялись в деревне на празднике урожая или на ярмарке, приуроченной ко дню Тела Господня. Поначалу им там нравилось, но спустя несколько минут, разочарованные, они возвращались на полдник. В пору созревания у них даже прыщи не выскакивали.

Потом наступало время любви. Мудрые матери чаще всего доставляли своим чадам объект на место, но иногда приходилось с этой целью возить их к родственникам в Поморье или в Гессен. В таких случаях любовное приключение приобретало экзотическую окраску. В конце концов они привозили своих жен или мужей во дворец, и тогда надо было достроить новое крыло или этаж либо приспособить под жилье мансарду. Таким образом, вместе с ними рос и дворец, углублялся в парк или тянулся к небу.

А первоцвет супружеской любви всегда зацветал в стенах дворца: во время каких-нибудь чаепитий, игры в карты, камерных семейных танцевальных вечеров. Когда в окно мягко падает свет и прикрывает изъяны кожи лучше любой пудры. Когда тихо, и ветер не помешает понять ше-

потом оброненное словечко и не растреплет старательно уложенных локонов. Влюблялись они — чаще всего — с первого взгляда.

Любовь во дворце обладала особой силой, большинство пар жило долго и счастливо, пусть даже без пылкой страсти, зато по крайней мере в уважении и согласии. Измены бывали не слишком драматичны — какая-нибудь служанка или садовник; мимолетное приключение в гардеробной после бала, когда гостили в другом дворце. Как-то раз одна из дам фон Гётцен ушла от мужа — неожиданно и без повода. Исчезла где-то в сумрачном мире. Супруг страдал, но не очень долго — через год женился на хорошенькой соседке, и у них даже родились близнецы.

Однако немногие в роду фон Гётцен обзаводились детьми. Наверное, не хотели перенаселять дворец. Кое у кого рождался один ребенок. Двое детей было редкостью, как те близнецы, к примеру. Дети вносили в дворцовую жизнь некую суету, но достаточно было их красиво одеть, разрешить им измазать мордашку свежей земляникой, и они превращались в живые картинки процветающего рода, вечной весны, становились метафорой благоденствия или невинности — кому как угодно.

Ужины на веранде всегда затягивались до поздней ночи. В саду зажигали лампы, чтобы оттенить сказочно могучие липы. Очередное поколение фон Гётцен пристроило к веранде зимний сад, полный плюща, филодендронов и фикусов. В самой теплой части сада росли кактусы, и один из них цвел раз в год, всегда в одно и то же время, в одну и ту же ночь. Тогда устраивался бал, созывались родственники издалека или соседи из других дворцов и веселились до утра. Цветок, правда, был невзрачный, похожий на цвет чертополоха, и к тому же небольшой. Однако его увековечивали на портретах и позже на фотографиях.

Старились они в спокойствии и здравии. Никогда не случилось, чтобы кто-нибудь долго болел, потерял ясность ума, оказался разбитым параличом, страдал склерозом, гипертонией или иными недугами, которые за стенами дворца досаждают на старости людям. Может быть, на них только чаще садились мухи, которым откуда-то лучше известно, кто первый в очереди на смерть. На худой конец они дряхлели, сперва незаметно, год за годом, потом день за днем, но тем не менее находили в себе силы, чтобы чертить планы перестройки одного из флигелей или разбирать фотографии, или записывать свои воспоминания. А то и чужие, потому что своих у них было немного. На старость они переселялись в устланные турецкими коврами комнаты, окна которых выходили прямо на цветники. Оттуда, из окон, они донимали указаниями садовников: что не так подрезают розы, что азалия чересчур высока, что кусты георгинов заросли травой, что слабо пахнет жасмин. Придворный дантист деликатно убеждал их почаще вынимать изо рта вставную челюсть. Ибо десны у них становились мягкими, совсем как при рождении, и покрывались тонкой младенческой пленкой. Верный признак приближающейся смерти.

А умирали фон Гётцены всегда красиво и спокойно. Смерть приходила к ним, как туман, как внезапная темнота, когда перегорает лампочка, — их глаза гасли, их дыхание замедлялось и наконец замирало. Стоящим у смертного одра достаточно было закрыть покойному веки и разойтись по своим делам. Погрузиться в нагретый воздух веранд и зимних садов, в прохладу коридоров нижнего этажа, в шелест страниц иллюстрированных книг о садоводстве и искусстве, в солнечную летаргию террасы, куда ветерок приносил из деревни загадочные голоса людей и

животных. От того, кто ушел навсегда, оставались фотографии, цветочные клумбы, дневниковые записи, похожие на любые другие, шкаф, забитый истлевшей одеждой, какие-то крошки в постели, но очень скоро его комнату занимал кто-то иной. Получалось, будто они никогда не умирали. К тому же — чего уж тут говорить — из-за внутрисемейных браков они были друг на друга похожи, поэтому отсутствие одного человека не ощущалось. Кто-то другой высовывал голову из окна возле цветников и точно таким же голосом давал указания садовнику: что он не так подрезает розы, что азалия чересчур высока, что слабовато пахнет жасмин. Поэтому можно сказать, что во дворце никогда не умирали.

Жизнь прекрасна, какие бы ужасные вещи о ней ни рассказывали. Она прекрасна — эта фраза могла бы стать их девизом и красоваться прямо под гербом.

Жизнь прекрасна. Свежие зорьки влетают в раскрытые окна и льнут к мягким коврам. Огромные зеркала отражают лоскуты нежно-голубого неба, столь прозрачного, что сквозь него просвечивает чернота космоса. Вода существует затем, чтобы теплой струей омывать тело и заполнять фаянсовые ванны, стоящие на латунных ногах. Солнце — затем, чтобы согревать террасы и играть забавными бликами на плиточном полу оранжереи. Дождь приходит, чтобы полить цветы и принести облегчение людям за карточным столом в душном салоне. С ночью все и так понятно: нужно же передохнуть от удовольствий.

Розы фон Гётценов самые прекрасные во всей Силезии. С задней стороны дворца на просторной площадке — розарий. Кусты тянутся шпалерами, соединяются в клумбы. Дорожки, посыпанные мелким гравием, таинственно шуршат под ногами, и летом этот звук неотделим от всякого рода дурманящих благовоний, источаемых розами. Посажены они тщательно продуманными группами. Карминные голландские темной каймой обрамляют весь розарий. Цветы у них пышные, сочные и блестящие; запах неназойливый — все должно быть в меру. Внутри кровавого обрамления — четыре клумбы, на каждой — свой сорт роз: тепло-розовые “одетты”, разновидность “папессы иоанны” цвета фуксии, светло-красные и желтые “мелитты”. Между ними змейкой вьется бордюр из кустов чайных евлалий — они-то и пахнут сильнее всего. Их аромат напоминает заморские фрукты, и он плывет через ограду в деревню, где в погожие дни смешивается с запахом коров и свежескошенных лугов. Дух захватывает. Лепестки цветков — остроконечные, нежные. А в середине клумб — круг белых, редчайших, самых дорогих роз. У них нет названия, их вывела одна из дам рода фон Гётцен, никто не помнит какая. Они ослепляют своей белизной, напоминающей сияние снега, с таким же едва уловимым голубоватым отливом в самых потаенных лабиринтах их лепестков. Их красота поражает любого, только вот с запахом что-то не получилось. Когда цветы раскроются, когда достигнут вершины своего великолепия, они начинают пахнуть как скисшее вино, как гниющие яблоки. Может, поэтому им и не отважились дать имя.

На подъезде ко дворцу по обе стороны стоят две липы, которые всегда цветут в начале июля. К широкой лестнице ведет мощенная песчаником дорога, минуя небольшой внутренний двор, отделенный от дороги флигелем для прислуги. На массивной парадной двери — герб рода фон Гётцен, на котором привлекает взор конь-качалка на фоне орнамента из

лангобардских[1] лилий — свидетельство европейских корней семьи. Дверь ведет в просторный вестибюль. Внизу столовая, из которой можно пройти на веранду, библиотека и две гостевые комнаты, имеющие непосредственный выход на террасы. Есть также музыкальный салон, в котором стоят рояль и клавесин, и курительная комната для мужчин (а позже и для дам). Лестница, выстланная кремовыми дорожками, ведет на второй этаж в два бальных зала, расположенных один за другим, и салон неправильной формы (некогда был достроен). По другую сторону — жилые апартаменты старшего поколения. Третий этаж предназначен младшим членам семьи. Все это венчает чердак, огромный, высокий из-за островерхой кровли, с маленькими окошками, смотрящими на все стороны света. Из них видны горы, дома, втиснутые в долины, как дорогие столовые приборы — в плюшевые ложа футляров. Ельники хохолками полируют плывущие небеса. Все это принадлежит семье фон Гётцен.

Ничто не предвещало, что им придется покинуть свой дворец. Такая мысль просто не имела права на существование. Была абсурдна, как предположение, что моллюск оставит свою скорлупу, а улитка переселится из раковины. Однако один из фон Гётценов это предчувствовал. Он и сам не знал, как получилось, что еще до войны он купил небольшое поместье в Баварии. Ландшафт там был поразительно похожий: те же пологие горные склоны, темные от еловых лесов, те же мелководные ручьи с каменистым дном, и люди как будто такие же, и их церкви, придорожные часовенки, извилистые дороги. Особняк, правда, был поменьше, но тем более годился для всяческих перестроек. Фон Гётцен заплатил за него недорого, потому что прежние владельцы, странно неразговорчивые, уезжали куда-то в дальние страны. Собственно, он их и не видел — все было оформлено через адвоката.

Он никому ничего не сказал, особняк должен был стать сюрпризом. А потом сам об этом забыл, увязнув с головой в осенней охоте, зимних балах, весенних пикниках. Когда семью официально известили, что вот-вот нагрянут большевики, все собрались в салоне и решили распечатать вино из самых старых запасов. Одна из дам играла на рояле, другая раскладывала пасьянс. Тогда тот самый фон Гётцен принес сверху фотографии и показал им новый дворец. Повисло долгое молчание, но искушение заняться всевозможными переделками и перестройками оказалось сильнее всего прочего. Семейству понравилась классическая форма нового дома. Они уже принялись рисовать планы, но к вечеру как-то притихли и приуныли. Бродили по огромному дому, поглаживая кончиками пальцев английские стенные панели, скользя взглядом по узорам обоев.

— Неужели нельзя что-нибудь сделать, чтобы мы могли остаться здесь? — спросила самая пожилая из дам.

Утром она приказала садовнику выкапывать розы.

Дрожь сотрясла их сны. Тот же фон Гётцен, который купил особняк в Баварии, ведомый непонятным беспокойством, поехал в городок и обнаружил, что там царит страшная сумятица. Люди укладывали пожитки на подводы и грузовики и устремлялись на запад по единственной дороге между вершинами гор. Еще не было видно никаких преследователей,

1. Лангобарды — германское племя, вторгшееся в VI в. в Италию. От лангобардов получила название Ломбардия. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

но их присутствие ощущалось в воздухе. Оно уже начинало заполнять улочки на берегу реки чуждым, неприятным для слуха звуком — то ли гудением, то ли глухим грохотом. Первый раз в жизни у фон Гётцена разболелась голова. Он зашел в аптеку и попросил таблетки.

— Это ужасно, — сказал он.

— Мы остаемся, — ответил на это аптекарь и предложил воспользоваться его машиной, черной, быстроходной "ДКВ" с обтекаемыми лоснящимися крыльями, с рулем, которым пользовались так редко, что на нем еще сохранились следы фабричной упаковки. Кожаные кресла даже не успели привыкнуть к форме тела хозяев.

— Ну что вы, это же новая машина. Я не вправе ее одалживать.

— Не беспокойтесь, пожалуйста. Отдадите, когда вернетесь.

Фон Гётцен принялся искать в карманах, что можно было бы оставить в залог — охранную грамоту, подтверждение, что сделка будет честная, но ничего ценного не нашел. Он с сожалением взглянул на фамильный перстень фон Гётценов: оправленный в белое золото огромный рубин, на котором был выгравирован герб — лихой конь-качалка на фоне лангобардских лилий. Он снял его с пальца и положил на аптечный прилавок.

Возвращаясь во дворец, он заметил с горы, что на внутреннем дворе стоят военные машины. Барону стало ясно, что солдаты конфискуют машину, как только ее увидят. Попросят любезно и вежливо, а потом добавят, что это приказ. А потому он свернул с дороги на луг, затем въехал в буковый лес по какой-то крутой тропе, на которой едва умещались колеса совсем, впрочем, небольшого "ДКВ". Остановился перед густым еловым перелеском и понял, что дальше уже не поедет. На его гладком молодом лбу выступили капельки пота. Язык с трудом воспроизвел единственное непристойное слово, которое он знал, — "жопа". Потом фон Гётцен отпустил тормоз и загнал машину в ельник. Он не ожидал столь хорошего результата: "ДКВ" исчез, растворился среди буйных еловых ветвей. Черный цвет машины смешался, как в тигле алхимика, с чернотой коры и подлеска. Блестящее лаковое покрытие и стекла отражали лес и таким образом покрывали кузов маскировочной материей, сотканной из картин земли и неба. Утонченное эстетическое чувство фон Гётцена согрело кровь в жилах. До чего же это красиво, подумал фон Гётцен. Мир прекрасен, что бы о нем ни говорили.

Он побежал вниз к дому прямиком через заросли, из-за чего испортил свои английские брюки.

Фон Гётцены сидели в машинах и в грузовике. Прижимали к груди свои любимые дорогие часы, музыкальные шкатулки, ларцы с бижутерией, фарфоровые соусники, каких уже больше не делают, альбомы с фотографиями, луковицы георгинов и анемонов, копии картин Ватто, атласные подушечки. Еще на одном грузовике — самая ценная мебель, зеркала и книги. Солдаты впрягали чистокровных лошадей из конюшен фон Гётценов в свои орудия. Издалека это выглядело так, словно все собрались на необычную, безумную прогулку. В тучах пыли и выхлопных газов караван двинулся под гору в сторону Вальденбурга.

Господу Богу — от поляков

Больше всего их поражало то, что все так плохо организовано; впрочем, чего можно было ожидать: только-только закончилась война, тут и там

еще дымились развалины, мимо которых они ехали на поезде. Уже два месяца они тащились по разоренной войной стране. Состав неделями стоял у заросших травой грузовых платформ. На путях паслись коровы. Мужчины разводили костры, женщины варили картофельную похлебку. Никто не знал, куда они едут. Был, правда, начальник поезда, но он появлялся редко и с таинственным видом повторял: "Завтра отправляемся". Однако, когда наступало завтра, поезд продолжал стоять на месте, и они не знали, вытаскивать ли снова засунутые впопыхах куда попало кастрюли, разводить ли опять огонь, чистить ли картошку для супа. Или же начальник говорил, что там их ждут целые деревни, пустые каменные дома со всевозможным добром, о каком они даже и не мечтали, что там можно получить все, входишь — и все твое. Поэтому молодые женщины, кормя грудью детей, грезили о шкафах, полных шелковых платьев, о кожаных ботиночках на каблуке, сумочках с золотым замочком, кружевных салфетках и белоснежных скатертях. Они так и засыпали с этими картинами изобилия под веками, а когда просыпались утром, было холодно и сыро от росы, потому что у вагонов не было крыш, только навесы из досок, которые ухитрились соорудить их мужья.

Иногда поезд неожиданно трогался, и те, что зазевались, догоняли его, припустив по шпалам, подтягивая спущенные было штаны. Любовники оставались в стогах сена, нерасторопные старики, заглядевшиеся на чужие горизонты, терялись на забитых людьми платформах, дети плакали, горюя по отставшим собакам, тщетно метившим близлежащие деревца. Надо было кричать машинисту, чтобы он остановился. Случалось, что тот не слышал или попросту спешил, и потом приходилось искать, догонять, просить солдат подвезти, наводить справки во временных органах власти, оставлять весточки на стенах вокзалов. Хуже всего, что у этих поездов не было конечного пункта, станции назначения. Точно было известно одно — они шли на запад. Сворачивали на разъездах куда-то вправо или куда-то влево, но в общем-то получалось, что они двигались за солнцем, бежали с ним наперегонки.

Никто этим движением не управлял: не было никакого государства, власть лишь во сне видела себя властью и появлялась — всегда неожиданно, ночью — на перроне городишка, где им приказывали выходить.

Властью был человек в офицерских сапогах, к которому все обращались "начальник". Он курил сигареты одну за другой, его губы казались размякшими от табачного дыма. Он велел им ждать; прошло несколько часов, пока наконец не послышалось тарахтенье подвод. Они вынырнули из темноты: лошади были сонные и печальные. В потемках погрузились на эти подводы и покатили по пустым узким улочкам на край города. Грохот деревянных колес был похож на гул самолетов, от него дрожали вывески магазинов. В темноту вылетело стекло из какой-то оконной рамы и упало на камни. Все вздрогнули, а женщины схватились за сердце. Тогда старый Боболь осознал, что по-прежнему боится, что боится не переставая уже несколько лет. Но это не беда. Военный газик вел караван на окраину, а потом город остался позади, и дальше они ехали по мощеной дороге в какой-то долине — начало светать, и они всё видели. По обеим сторонам тянулись горы, высокие и тенистые. У их подножий стояли дома и риги, но не такие, как в деревне, а как в усадьбах — большие, кирпичные. Глаза старого Боболя не привыкли к таким просторам и таким домам, потому он тихонько молился, чтобы только не сюда.

Они свернули под гору и, перевалив через мост над речушкой, яростно скачущей по камням, взобрались на складчатое плато. С правой стороны всходило солнце. В долине его не было видно. Оно освещало далекие горы и небо, будто плесенью затянутое утренней дымкой. И все двигалось, колыхалось. Тем, что послабее, то есть женщинам и старикам, стало нехорошо, к горлу подступала тошнота, тем более что вокруг было пустынно и все настолько чуждое, что кто-то не удержался и всхлипнул, и в головах промелькнули воспоминания о тех золотистых, зеленых равнинах, которые они покинули. Мирных и благословенных. Даже собаки, бежавшие возле колес, держались поблизости, не забирались в траву и кусты. Беспокойно принюхивались, поджав хвосты, ощетинив грязную и облезлую в скитаниях шерсть.

Наконец с горы они увидели несколько домиков, разбросанных по долине далеко друг от друга. Газик остановился, и из него вышел начальник с сигаретой во рту. Стал зачитывать по списку фамилии и указывал рукой: Хробак — сюда, Вангелюк — сюда, Боболь — туда. Никто не ругался, не протестовал; начальник со своей сигаретой был как перст Божий — устанавливал порядок, и каким бы ни был тот порядок, наверняка будет лучше, чем любой беспорядок.

Они подъехали к хате. С виду добротная. Рига прилегала к ней, а не стояла особняком, как полагается. Небольшой двор был вымощен широкими, плоскими камнями. Цвела сирень. Они сидели на подводе, и никто не осмеливался сойти первым. Боболь сплюнул на землю и уставился на окна дома. Озабоченно поискал взглядом колодец, но нигде его не приметил — может, стоит за домом. Наконец появился газик и притормозил прямо возле них.

— Ну вот же, — проговорил человек с сигаретой. — Ступайте, это уже ваше.

И смело направился к двери, но на пороге как будто слегка заколебался. Взглянул на них и постучал, заколотил в дверь. Через минуту дверь отворилась, и он вошел в дом. Они ждали, пока начальник не появился снова. Он стал их нетерпеливо подгонять:

— Чего вы там?

Они принялись стаскивать с повозки перины и кастрюли. Боболь вошел в сени первым. Сени были темные, с полукруглым сводом и пахли родным — коровами. Оттуда, громко шаркая в тишине, они вошли в дом, остановились напротив окон и с минуту ничего не видели, потому что их ослепил свет. Начальник закурил и сказал что-то по-немецки. Тут они увидели двух женщин — одну постарше, седую, другую помоложе, с ребенком на руках, — и еще одного ребенка, жавшегося к старухе.

— Вы — здесь, а женщины будут там. Потом за ними приедут, — обронил еще начальник, после чего обошел их и исчез. Послышалось тарахтенье газика.

Они так и стояли, наконец откуда-то появилась кошка, уселась посредине и принялась лизать лапы. Первой очнулась старая немка, подхватила с кровати постель и пошла во вторую комнату, а за ней молодая и дети. Тут и Боболиха с грохотом поставила кастрюли на плиту.

До полудня они переносили свои вещи с подводы. Вещей было не так много — кое-какая одежда, образа, перины, фотографии в деревянных рамках. Боболиха развела огонь в чудно́й плите, потому что надумала сварить суп. Не могла, однако, найти воды. Ходила с кастрюлей вокруг дома и в итоге решила, что местные берут воду в ручье. Наконец

набралась смелости и заглянула в горницу, где были немки. Молодая, завидев ее, вскочила.

— Вода, — сказала Боболева жена и показала на кастрюлю.

Молодая направилась было в кухню, но старуха прикрикнула на нее. Женщина немного, с минуту, помедлила, как будто колеблясь. Неохотно показала Боболихе рычажок в стене возле печи, на который Боболь уже повесил штаны. Подставила под него кастрюлю и нажала на рычажок — вверх-вниз. Потекла вода.

— Готовь себе. Я уже растопила, — сказала Боболиха женщине.

Когда та принесла полный котел картошки и поставила на плиту, Боболиха объяснила ей, что в документах у них пропечатано "временная эвакуация", то есть они долго здесь не загостятся, тем более что поговаривают о новой войне. А та расплакалась, да так беззвучно, будто заглатывала свои рыдания обратно в живот, из которого они выходили, и никак нельзя было ее утешить, а потому Боболиха закусила губу и вышла.

Так они и жили вместе все лето. Мужчины немедля соорудили самогонный аппарат, и с тех пор алкоголь лился тоненькой струйкой в бутыли и бидоны. Пить начинали сразу же после полудня, когда жара становилась невыносимой и непонятно было, куда себя деть. Женщины готовили вместе обед в молчании, обмениваясь друг с другом отдельными словами, и, сами того не желая, невольно учились ненавистным языкам. Подглядывали друг у друга обычаи. Странно ели эти немцы: на завтрак какой-то milch-суп, на обед картошка в мундирах, к ней — немного сыра и чуток масла, а в воскресенье резали кролика или голубей и на мясе варили крупяной суп. На второе были клецки и непременно консервированный компот. Мужчины ходили в риги смотреть на ихнюю технику, но не знали, как она работает и для чего служит. Садились на корточки возле дома, толковали об этих машинах и выпивали по стакану самогона — и так продолжалось до вечера. Наконец кто-нибудь приносил гармонь, собирались женщины и начинались танцы. Первое лето превратилось в нескончаемый польский праздник. Были и такие, которые не просыхали. А что же еще можно было делать, как не радоваться, что удалось выжить и куда-то добраться, хоть на какое-то место. Не думать ни о каком будущем, потому что будущее было неопределенным. Петь на два голоса, плясать, забираться в кусты и неистово заниматься любовью, не смотреть в лицо тем немцам, которые остались, потому что это они во всем виноваты, они развязали войну, по их вине пришел конец свету, как и пророчествовала царица Савская. Порой на них накатывала злость: шаткой походкой они шли в дом, срывали ихние немецкие образа и швыряли за шкаф так, что трескалось стекло. Вешали на гвозди своих, очень похожих, может даже точно таких же Иисусов, Скорбящих Богородиц с кровоточащим сердцем.

Осенью, устав от празднований, разочарованные тем, что начальство совсем про них забыло, переселенцы сговорились, сколотили крест и поставили его на развилке дорог. Написали на нем: "Господу Богу — от поляков".

В то лето они не работали. Нужды не было, пока были немцы. Уступали немцам то, что им полагалось, в конце концов они переселились сюда не по своей вине, не по собственной воле покинули свои бескрайние поля на востоке и тащились сюда два месяца. Они вовсе не домогались этих чужих каменных домов. Немки доили коров и выносили навоз, а потом шли в поле или прибирались в домах — напуганные, не

поднимающие головы, молчаливые. Только в воскресенье они точно забывали про этих женщин, а те наряжались, даже надевали белые перчатки и шли в храм, чтобы спасти свою немецкую грешную душу.

Осенью приехало начальство, на этот раз к немкам, и велело им готовиться к отъезду. Молодая кинулась собирать в узлы вещи, старуха сидела на кровати; за весь день не проронила ни слова. На следующее утро женщины вышли из дома — стояли и ждали. Боболиха дала им на дорогу сала и радовалась, что теперь у них будет еще одна комната. Наконец пришел какой-то человек и по-немецки приказал им двигать в сторону города. Молодая женщина впряглась в тележку и присоединилась к веренице других немцев, остановившихся на мосту, но старуха идти не хотела. Она вернулась к плите и схватила фарфоровое блюдо, а уже подвыпивший Боболь пытался блюдо у нее вырвать. Они с минуту возились, да так, что у старой немки растрепались седые волосы, и вдруг, впервые за многие месяцы, она стала что-то кричать. Выбежала из дома и голосила, подняв кулак к небу.

— Что она сказала, что она орет? — допытывался Боболь, но начальник не захотел ему отвечать.

И лишь когда немцы скрылись за горами, начальник вернулся, чтобы сообщить оставшимся, что их деревня называется уже не Айнзиндлер, а Петно. Боболь узнал также, что старуха его прокляла.

— Прокляла тебя, наговорила массу глупостей, чтобы земля у тебя не роди́ла, чтобы ты остался один, чтобы ни одна болезнь не прошла мимо, чтобы падал у тебя скот, чтобы деревья не давали плодов, чтобы твои луга жег огонь, а поля заливала вода. Вот что она кричала, — рассказал начальник, прикуривая одну сигарету от другой. — Да ведь только дурак стал бы из-за этого переживать.

Няня

У меня была няня-немка. Ее звали Гертруда Ницше. Она была маленькая и суетливая, как мышка, носила очки с толстыми стеклами, в которых многократно отражались все источники света, от электрических лампочек до солнца. По-польски она знала только несколько слов и использовала их, главным образом когда говорила с моей мамой, со мной няня разговаривала так, как думала, то есть по-немецки. Я хорошо помню ее лицо, ее трогательно-грубоватые движения, прикосновение ее кофт, запах какао. Но не помню ее слов. Тогда я еще не знала никаких языков, была девственна в том, что касалось языка, мне не нужны были слова: ни польские, ни немецкие и никакие другие. А у нее был свой язык, который всем вокруг казался чужим и даже ненавистным (в конечном счете, прошло всего двадцать лет после войны). На этом языке она обращалась ко мне, пела и журила. Сажала меня на деревянную тележку и ехала через дамбу на прудах к своим родственникам, единственным автохтонам, Кампам, и там, в их полном красивых вещиц доме, мы вместе принимали участие в нескончаемых беседах. Я, разумеется, молча.

Во время этих разговоров я сидела на застланной покрывалом кровати, подпертая подушками, а Гертруда — за столом с пани Камп; дзынь-дзынь — позвякивали чашки. Потом она брала меня на руки, и я, несомненно, отражалась в стеклах ее очков. Но этого я не помню — меня еще не было в собственном отражении, я еще не существовала для зеркал.

Из-за Гертруды во мне до сих пор живет надежда, что я знаю немецкий, что он лежит во мне подспудно, присыпанный пылью всевозможных моих бесед на польском, под кипами книг, которые я прочитала, включая букварь с Алей и Асей, — пусть даже не весь язык, но по крайней мере много самых важных слов, вполне достаточных, чтобы объясниться. Я жду того момента, когда этот язык проявится во мне без помощи учебников и скучных уроков. Вдруг ни с того ни с сего я начну понимать и, может быть, пускай и с трудом, ибо ни губы, ни язык не привыкли двигаться иначе, заговорю. И я уверена, что понимала бы по-немецки, если бы кто-нибудь — как Гертруда — склонялся бы надо мной, ласкал меня и кормил. Если бы показывал мне из окна парк и задавал те глупые вопросы, которые взрослые задают детям: "А это что? А кто там идет? А где мама?" Если бы, умиляясь, позволял мне водить руками по своему лицу и открывать его неповторимость. Если бы то был последний образ, увиденный мной перед сном, и первый при пробуждении.

У Кампов я впервые увидела и запомнила себя. Было мне, вероятно, тогда около года, потому что я уже сидела. Должно быть, появился тот самый разъезжий фотограф, который потом, спустя несколько лет, снимал меня в первом классе. Он, должно быть, уговорил Гертруду, развеселил ее, заболтал, потому что она раздела меня и посадила на белую меховую шкурку, которую, верно, с готовностью подсунул ей Камп. Я, видно, сопротивлялась с криком, потому что мне дали вместо игрушки крышку от кастрюли. И именно прикосновение этой крышки к голой коже живота, и яркий свет лампы на штативе, и нацеленный на меня глаз фотоаппарата, и все это сконцентрированное на мне внимание привели к тому, что впервые в жизни, еще неумело, неуверенно, нерешительно я вышла из себя наружу и взглянула на себя оком фотообъектива, каким-то иным взглядом, не совсем своим, взглядом холодным, далеким, равнодушным, который потом будет столь же бесстрастно фиксировать движения моей руки, подрагивание век, духоту в комнате и мысли — все, даже обрывочные, какие попало. Этот взгляд — место вне меня, с которого я наблюдаю, — с тех пор будет появляться все чаще и в конце концов начнет менять и меня, потому что я потеряю уверенность, кто я, где моя сердцевина, точка, вокруг которой выстраивается все остальное. Одни и те же вещи я буду видеть всякий раз иначе. Сначала я запутаюсь в этом, ужаснусь. Отчаянно буду искать постоянства. Наконец пойму, что постоянство на самом деле есть, но где-то далеко, вне меня, а я — ручеек, та речка в Новой Руде, которая то и дело меняет цвет, и единственное, что я могу сказать о себе, так это, что я сама себя обнаруживаю, проплываю через некое место в пространстве и времени, что я — сумма примет этого места и времени, ничего более.

Единственная польза от всего этого такова: миры, на которые смотрят с разных точек, это уже разные миры. А значит, я могу жить в стольких мирах, сколько в состоянии увидеть.

Сокровища

Со временем дома все щедрее отдавали то, что в себе хранили. Кастрюли, тарелки, кружки, постель, даже одежду, почти новую, а порой даже очень красивую. Иногда новые жильцы находили простенькие деревян-

ные игрушки, которые тотчас давали своим детям, — после стольких лет войны это было настоящее сокровище. Погреба были полны баночек с джемом, с фруктовым пюре, бутылок с сидром. А то вдруг обнаруживались ягоды, засыпанные сахаром, в сиропе, густом, как чернила, оставляющем пятна на неосторожных пальцах; желтые кусочки тыквы в уксусе, которая им была не по вкусу; маринованные грибы с горошинками гвоздичного перца. Старый Боболь, становившийся все более угрюмым, нашел в подвале новый, свежесколоченный гроб.

Немцы оставили в буфетах приправы, солонки, немного растительного масла на донышках бутылок, банки из грубого фарфора с крупой, сахаром и ячменным кофе. Они оставили занавески на окнах, утюги на кухонной плите, картинки на стенах. В ящиках валялись старые счета, договоры о найме и купле-продаже, фотографии с крестин и письма. В некоторых домах остались книги, утратившие дар убеждения — мир перешел на другой язык.

На чердаке стояли детские коляски, лежали кипы пожелтевших газет, покоробившиеся чемоданы с елочными украшениями. В кухнях, спальнях по-прежнему стоял чужой запах. Особенно им тянуло из шкафов и из ящиков комодов с бельем. Женщины робко их открывали и вытаскивали разные предметы туалета, одну вещь за другой, удивляясь, потому что это было чужое, смешное, чудно́е белье. В конце концов они набирались смелости и примеряли платья и жакеты. Часто не зная даже названия тканей, из которых те были сшиты. Стоя в этих нарядах перед зеркалом, они машинально засовывали руки в карманы и с изумлением обнаруживали там мятые носовые платки, фантики от конфет, монеты, уже вышедшие из употребления. Женщины обладают особым талантом — находить никем не замеченные тайники, упущенные из виду ящики, припрятанные коробки от обуви, из которых вдруг высыпались молочные зубы детей или отстриженные прядки волос. Они водили пальцем по узорам на тарелках и удивлялись, сколь необычным был на них синий рисунок. Они не знали, что это за устройство с рычажком на стене и что значат надписи на фаянсовых ящичках в буфете.

Иногда случалось, что кто-нибудь, расчищая погреб или вскапывая огород, находил что-нибудь особенное. Деревянный сундучок, набитый фарфоровой посудой, или стеклянную банку с какими-то монетами, или завернутый в клеенку набор посеребренных столовых приборов. Известие вмиг разносилось по деревне, а то и по всей округе, и вскоре уже каждый мечтал найти клад, оставленный немцами. И эта погоня за кладами походила на неотвязный сон, они как будто бы рыскали в поисках завязи чужого, опасного растения, которое могло когда-нибудь прорасти и отнять то, что у них есть, и вновь обречь их на мытарства.

Усилия одних внезапно вознаграждались, хотя, наверное, не случайно. Всегда можно было надеяться, что рано или поздно, роя землю возле дома, острие лопаты вдруг звякнет, наткнувшись на железный сундучок. Но можно было также, взяв лопату и кирку, отправиться в поле и копать под большими деревьями, вблизи одиноких часовенок, ворочать камни на развалинах, исследовать старые колодцы.

Поэтому в первый год ни один мужчина в Петно не засеял свое поле — все пустились на поиски кладов. Только женщины растили в огородах капусту и редьку.

Итак, бывало утром, едва забрезжит рассвет, мужчины отправлялись в путь. Казалось, они шли на работу — несли лопаты, кирки и мот-

ки веревки на плече. Иногда они объединялись по двое или в небольшие группы и спускались в колодцы. Там могли быть разные вещи. После того как кто-то нашел в стенке колодца железный ящик с сотней ножей, вернее одних лезвий, потому что деревянные черенки рассыпались в серую пыль, они исследовали каждую дырку в земле. Уже тогда самые дальновидные стали учить сыновей кладоискательству, потому что это была хорошая, самая лучшая профессия.

Спустя много лет их внуки тоже искали сокровища — покупали на базаре у русских металлоискатели и бродили по пояс в траве, словно рассматривали землю через огромные лупы. Под вечер, сидя на корточках у входа в магазин, с бутылкой теплого пива в руке, они рассказывали, что снова немецкий автобус остановился на дороге, и какие-то немцы лазали по кустам за костелом. Кто-то их видел — они светили фонариками и переговаривались таинственным, взволнованным шепотом. Утром в том месте осталась свежевырытая яма.

Величайшим кладоискателем был старик Переполох. Он искал сокровища, как прочие ищут грибы, а в том и другом занятии самое важное — чутье.

В доме Переполохов все было из кладов: латунные кастрюли, тарелки, фарфоровая посуда, в том числе сервиз с маленькими чашечками, из которых непонятно было, что пить, такие они были крохотные. Все прочные вещи были из кладов; те, что подвержены гниению и порче, пришлось, к сожалению, докупить.

Переполох прогуливался как бы без дела по полям и рощицам; казалось, он смотрит в небо и вынюхивает погоду на завтра. А он вдруг подходил к камням, которые лежали на меже, обходил их вокруг, ощупывал, как брюхатых овец, и быстро возвращался за киркой и лопатой. Потом под такими валунами находил чемодан со столовыми приборами или кастрюлю, полную гитлеровских военных наград. Два или три раза в своей жизни Переполох нашел оружие. Он привез его домой, вычистил, велел жене и дочери держать язык за зубами и спрятал находку на чердаке. С оружием над головой он чувствовал себя в большей безопасности. Был у него ящик с клыссерами, и иногда он ездил в Валбжих, чтобы продать немного немецких марок. В одном антикварном магазине он продавал всякое, казалось бы, никому не нужное старье, например, очки в тонкой проволочной оправе.

Однако, когда Переполох нашел настоящее сокровище, он так об этом и не узнал. Ибо что можно подумать о содержимом деревянного, окантованного железом сундука, в котором был набор посуды из светлого металла, по большей части потемневшего и покрытого патиной: по двадцать четыре штуки каждого предмета. Тарелки такие и сякие, кружки, вилки, ножи, столовые и чайные ложки, а в придачу еще ковши и кастрюли с деревянными ручками. Его жена кипятила в них молоко — они и впрямь были добротные, не пригорали. Все это они расставили в серванте, где посуда простояла в тишине и безмолвии долгие годы, до военного положения[1], покуда заезжий скупщик старинной мебели не приметил ту кастрюльку с молоком. Он искал на донышке какой-то знак, правда, они так и не узнали, нашел ли. Когда Переполох показал ему сер-

1. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 г. в Польше было введено военное положение для борьбы с нелегальным профобъединением "Солидарность" и подавления беспорядков в стране. Формально оно было отменено летом 1983 г.

вант, весь заставленный посудой, торговец на миг онемел, а затем пре́дложил им огромные деньги, сам назвал сумму. Поэтому они даже не торговались, только дочери было жаль расставаться с тем серебристым блеском, которым посуда, подобно свету от экрана телевизора, по вечерам наполняла комнату. Но в итоге на эти деньги она купила себе мебельную стенку в Новой Руде, и еще хватило на соцстраховскую трехдневную поездку в Рим. Потому что Кристя Переполох мечтала перед смертью увидеть Папу Римского. Да только не сказала, перед чьей — своей или понтифика.

Вот если б в глазах был рентген и удалось бы просветить им землю, как человеческое тело, интересно, что бы мы там увидели? Каменные кости, глиняные стенки внутренних земных органов, гранитные печени, сердца из песчаника, кишки подземных рек? И зарытые в землю сокровища, как инородные тела, как имплантанты или осколки снарядов.

Георгины

Марта сидела в георгинах. Я видела ее голову. Помахала ей, но она меня не заметила. Она копошилась в зарослях, может быть, подвязывала стебли, а может, стряхивала с них улиток. Марта высадила клубни весной и ухаживала за ними почти столь же заботливо, как за ревенем. В августе георгины зацвели. Так и хотелось пересчитать их ровные лепестки. Откуда в них такая симметрия и гармония? Марта говорила, что георгины больше нравятся детям, чем взрослым. Почему? Этого никто не знает. "Взрослые предпочитают розы", — говорила Марта. Они всегда непредсказуемы.

Я бы хотела быть уже такой старой, как Марта. Старость повсюду выглядит одинаково: долгое утро, приятные заботы неторопливых дневных часов со студенистым, застывшим над крышами домов солнцем, лениво тянущийся сериал по телевизору, задернутые шторы. Поход в магазин — событие большой важности, которое можно обсудить еще и за обедом. Тщательно помыть тарелки, сгрести со стола крошки в полиэтиленовый пакетик, чтобы потом, дважды в неделю, сходить в парк и побросать их под ноги голубям. Лист кротона, опавший ночью, — нужно рассмотреть рану на стебле. Стряхнуть пару тлей с велюровых листьев спарманнии, расправить салфетку. Полюбоваться на свеклу в огороде, что выросла такой большой, хотя и на краю грядки; спокойно сложив руки, послушать радио, решить, что завтра надо рассортировать пуговицы. Огорчиться из-за счета за электроэнергию — пришел накануне. Провожать взглядом почтальона, пока тот, петляя, ходит от дома к дому. Смотреть на небо из окна кухни, предвидя каждый шаг солнца на его долгом пути. Открыть холодильник — так, между делом, — чтоб убедиться, что он не пустует. Осторожно отрывать листки календаря и складывать их в ящик. Музей старых газет. Пересыпа́ть нафталином пожухшие от времени платья, слишком тесные или, наоборот, слишком большие.

Потом я подумала, что, наверное, тут дело не в старости, что во мне говорит тоска не по возрасту, а по состоянию. Наверное, в такое состояние впадаешь только на склоне лет. Бездельничать, а если что-то и делать, то не спеша, будто не результат важен, а лишь само движение, сам ритм и мелодика движения. Медленно перемещаться, наблюдая за волнами времени, не решаясь больше ни плыть по течению, ни бросаться

против течения. Игнорировать время, как если бы оно было всего лишь наивной рекламой чего-то особого, чего действительно жаждет душа. Ничего не делать. Прислушиваться к бою часов в комнате, топотанью голубей на подоконнике, биению сердца. И сразу же обо всем забывать. Не тосковать, ничего не желать. Самое большее – ждать праздников, в конце концов для того они и существуют. Сглатывать слюну и чувствовать, как она стекает по пищеводу в некую "глубь". Кончиком пальца проводить по коже на ладони и чувствовать, что она становится гладкой, как льдинка. Выковыривать языком из зубов обрывочек салата и пережевывать его еще раз, будто бы снова обедаешь. Прижаться к своим же коленям. Вспоминать все в подробностях, с начала до конца, пока мозг от скуки не задремлет.

Седенький ежик на голове Марты серебрился между головками цветов. Не шевелясь – возможно, Марта надеялась, что неподвижностью удастся одолеть стоящую в последнее время жару. А может, считала цветочные лепестки. Может, от их красоты у нее захватило дух. Неожиданно на короткое мгновение я поняла, о чем она думает. Эта мысль вломилась ко мне, грубо растолкала мои собственные мысли, взорвалась и исчезла. Потрясенная, я замерла, подняв руку к глазам.

Марта подумала: "Самые красивые те, что изъедены слизнями. Самые красивые те, что далеки от совершенства".

Пробуждение Марты

Я строила догадки, откуда взялась Марта. Почему она не существовала для нас зимой, а появлялась ранней весной, тотчас после нашего приезда, едва мы поворачивали ключ в заржавевшем от сырости замке.

Вполне вероятно, что она просыпалась в марте. Поначалу лежала неподвижно и даже не понимала, открыты ли у нее глаза – такая повсюду была темень. Она даже не пыталась пошевелиться, поскольку знала, что пробудилась в ней только мысль, не тело. Тело еще спало, и достаточно было на миг отвлечься, чтобы вновь угодить в его сонные оковы и очутиться в запутанных лабиринтах ощущений, столь же реальных, как и лежание здесь, во тьме, или даже более реальных, намного превосходящих реальность, ярких и чувственных. Однако Марта откуда-то знала, что проснулась, что находится уже не там, где была раньше.

Сначала она почувствовала запах подвала – сырой и надежный, запах грибов и мокрого сена. Этот запах напоминал о лете.

Тело долго возвращалось из сна, и наконец Марта обнаружила, что у нее открыты глаза, потому что темнота предстала им во всех своих оттенках. Теперь она скользила взглядом по этому многообразию черноты, вперед-назад, вверх и вниз. Только потом, намного позже, в бледном пятне она распознала свет дня, проникающий снаружи. Тусклый и мутный – так видели ее глаза, – он пробивался через прорехи соломенного кляпа в подвальном окне. Свет потух и появился снова, и тогда у нее мелькнула мысль, что, должно быть, прошел некий день.

И только тут она ощутила холод – он накатывал издалека, с периферии тела. Она вышла ему навстречу – шевельнула пальцами ног, или, по крайней мере, ей показалось, что она ими шевелит. Через секунду стопы ответили – им было холодно. И так по очереди, по частям, она будила свое тело, вновь возвращала его к жизни – это напоминало перекличку

погибших, и ее тело, поочередно, по частям, отвечало ей: я здесь, я здесь, я здесь.

Марта дважды пыталась подняться, но каждый раз ее тело ускользало от нее и опять опадало на доски, а ей казалось, что она сидит, хотя она не сидела. На третий раз она придержала тело или же сама удержалась в теле и с той минуты обреталась в нем достаточно прочно. Шаг за шагом она добралась до двери и долго дергала за железную ручку. Пальцы у нее были слабые, как весенние ростки на картофельном клубне. Каменные влажные ступеньки в конце концов привели в сени, и оттуда через щели в двери она увидела настоящий свет. Пришлось прикрыть глаза рукой.

Стены дома разъел мороз, на них проступила испарина, как на лбу больного. Пол покрывала пыль, крапленная мышиным пометом. Марта села на единственный стул в кухне, который, как и всё вокруг, оттаивал, отдавал холод ее телу. Поэтому она с трудом поднялась и из ящика буфета достала грелку. Накачала насосом воды и открыла кран — потекла мутная, красноватая, как водянистая кровь, жидкость. Марта умыла ею лицо и налила в кружку. Через минуту у нее была кружка с кипятком — можно было согреть руки. Она пила эту воду глоток за глотком, как лекарство от смерти, и чувствовала, что понемногу начинает оттаивать изнутри, что ее тело оживает.

В тот же день Марта вышла из дома. Входная дверь все еще была влажная от минувших морозов. Она пропахла плесенью и сыростью. Как все остальное. В огороде еще лежали лепешки грязного снега. Солнце обгрызало эти размякшие снежные омлеты со всех сторон. Из-под них вылезала мокрая, полусгнившая трава и то, что некогда было настурциями, астрами, левкоями.

Марта с тревогой посмотрела на небо — оно было затянуто низкими, быстро мчащимися тучами, сквозь которые над лесом просвечивало солнце. И, как каждый год, удивилась, что солнце сумело докатиться до макушек леса и бросает оттуда длинные тени, в которых приютился снег. Вернулась в сени и надела резиновые сапоги — они были влажные и холодные. Вышла и пошла за дом, через участок со всеми колоссальными разрушениями, которые произвели на нем зима и темнота. Склонилась над кочанами капусты — осенью они были такие красивые и тугие, а теперь превратились в осклизлые, прогнившие кучки. Ничего не осталось от подсолнухов, а ведь летом ей как обычно казалось, что ничто не в силах сломить их могучие стебли и львиные головы с потемневшими от солнца лицами. Забор, возле которого они росли, покосился, разбухнув от вездесущей воды. Потом Марта окинула взглядом сад, где полно было старых яблонь и слив. На самой сладкой черешне сломалась большая ветвь. Буйный, заросший высокой травой, прикрытый гигантскими подушками зелени сад, такой, каким она его запомнила, теперь не существовал. Он походил на кладбище. Голые деревья напоминали кресты, а десятины поникшей травы — могилы. Так это выглядело. И все пропиталось водой, сыростью, зловонием плесени. Марта ненавидела сырость так же, как зиму и темноту. Вода вела себя нечестно. Марта чувствовала, что могла бы помериться с ней силами, но при условии, что вода останется самой собой, не будет притворяться. Тогда, когда она текла прозрачным ручейком, ее можно было зачерпнуть, и поднести к лицу, и даже пить прямо с земли. Но чаще вода скрывалась под чужой личиной, проникала в предметы, растения и делалась неузнаваемой. И тогда осе-

дала на лице, одежде, покрывала все тонким слоем изморози, убивала. Либо висела тучами, как наказание за вечный грех.

Марта вошла в дом, потому что холод снова вернулся в ее тело. Еще немного постояла на крыльце, чтобы окинуть взглядом всю долину.

Горы казались однообразными — буро-зелеными и черными; они тоже стали цвета воды. Там, где земля почему-то была более холодной, еще лежал снег. Из всех четырех труб дым поднимался только у Имярека. Перед домом Фростов стояла синяя машина, и двое разговаривали на террасе. Марту передернуло от холода, она вернулась в кухню и принялась растапливать печь.

Чердаки, уборка

Весь день я наводила порядок на чердаке. Приносила и укладывала в коробки летние вещи, пересыпала каждый слой одежды нафталином, в ботинки запихивала газеты и засовывала их в бумажные мешки. Оказалось, что многие платья я ни разу не надевала — не выдался случай. Они висели на перекладине в шкафу, но тем не менее старели на протяжении этих июней, июлей и августов. Я видела, как они изнашиваются, протираются по швам, теряют форму, ветшают сами по себе, без моего участия. Была в этом своя прелесть, антитеза созреванию, красоте, которая творит себя сама, без чьей-либо помощи и являет собой наиболее фотогеничное лицо времени. Дубленая кожа босоножек темнеет, преет и растягивается, истончаются ремешки, ржавеют застежки, блекнет цвет любимой блузки, а рукава рубашки обтрепываются на манжетах. Я наблюдала, что́ со временем происходило с бумагой — она твердела, желтела, будто сохла, будто старела, совсем как человек, и становилась шероховатой и негибкой. Я видела, как исписываются шариковые ручки, укорачиваются карандаши, так что потом, через какое-то время, в маленьком огрызке с удивлением узнаешь длинный карандаш, каким он был год назад. Я видела, как тускнеет стекло, к примеру, зеркало в шкафу от света слепло из года в год.

По непонятным причинам люди полюбили только одну часть перемен. Им больше по душе рост и становление, а не уменьшение и распад. Созревание всегда им милее гниения. Им нравится то, что становится моложе, сочнее, — свежее и недозрелое. То, что пока еще неопытное, чуть-чуть угловатое, приводимое в действие внутренней, сжатой как пружина энергией; то, что еще может произойти; всегда минута "до" и никогда — "после". Молодые женщины, новые дома со свежей штукатуркой, новые книжки, пахнущие типографской краской, новые машины и их все более восхитительные формы, которые — для человека посвященного — лишь вариации на тему того, что уже было. Ультрасовременная техника, блеск свежеотшлифованного металла, только что купленные вещи, которые несешь домой в красивой упаковке, шелест гладкого целлофана, туго натянутая прелестная девичья ленточка. Новенькие банкноты, даже если они не влезают в бумажник; чистые, не тронутые желтизной пластиковые поверхности, отполированные столешницы без следов пятен, пустые пространства, пригодные для освоения, гладкие щеки, фраза "все-еще-может-случиться" (кто нынче употребляет слово "тщетно"?), зеленый горошек, который энергично вылущивают из стручков, каракулевая шуба, цветочные бутоны, невинные щенята, ма-

ленькие козочки, сырые доски, еще не забывшие форму дерева, молодая зелень травы, не ведающей ничего о колосьях. Только то, что новое, чего еще не было. Новое. Новое.

Новая Руда

Город парикмахеров, магазинов подержанной одежды, мужчин, в чьи веки въелась угольная пыль. Город в долинах, на склонах и на вершинах. Город мостиков, небрежно переброшенных через речку, которая то появляется, то исчезает, всегда другого, все более щегольского цвета; город святых Янов Непомуценов[1], поддельных духóв, закусочных, дешевого барахла, любовно разложенного по магазинным полкам; город со следами сырости на стенах домов; город, где из многих окон видны только ноги прохожих, где полно дворов-лабиринтов; город-конечный-пункт и город-перевалочный-пункт-на-пути-следования; город бродячих собак, потайных ходов, тупиков, загадочных знаков над подъездами домов; город домов из красного кирпича, овальных площадей, где машины ездят по кругу, кривых перекрестков, объездных путей, которые ведут в центр, главных площадей, расположенных на окраине, лестниц, начало и конец которых находится на одном уровне, поворотов, выпрямляющих дорогу, развилок, на которых левая улица ведет вправо, а правая — влево. Город самого короткого лета, снега, никогда до конца не тающего. Город вечеров, которые внезапно надвигаются из-за гор и опускаются на дома, как чудовищный сачок. Город водянистого мороженого, ларьков, в которых продаются коровьи кости, и ярко накрашенных чиновниц. Город, которому грезится, что он лежит в Пиренеях, что над ним никогда не заходит солнце, что все, кто его покинул, когда-нибудь еще вернутся, что подземные, проложенные еще немцами, туннели ведут в Прагу, Вроцлав и Дрезден. Город-кроха. Силезский, прусский, чешский, австро-венгерский и польский город. Город-окраина. Город людей, которые мысленно называют друг друга по имени, но обращаются друг к другу на "вы" — пан, пани. Город безлюдный по субботам и воскресеньям. Город времени, лежащего в дрейфе, запоздалых новостей, названий, вводящих в заблуждение. Нет в нем ничего нового, и если бы даже оно появилось, тотчас потемнеет, покроется тусклым налетом, сопреет и замрет на грани существования.

Мы уезжаем, сказала я, завтра День всех святых[2].

Марта сидела за столом и терла покрасневшие глаза. В кухне у нее было невероятно чисто; все кастрюли убраны, начисто отдраена клеенка, натертый мастикой дощатый пол сверкал. Даже окна она вымыла и смахнула с них всю паутину, в которой летом запутывалось солнце. Каменные подоконники без трупиков ночных бабочек походили на могильные плиты. Я принесла Марте остатки пирога, и она съела его с

1. Ян Непомуцен (Непомуцкий) — пражский архиепископ (XIV в.), впоследствии причисленный католической церковью к лику святых. Согласно легенде, он был приговорен к смерти и брошен живым во Влтаву по приказу чешского короля Вацлава за то, что отказался открыть тайну исповеди его супруги. Считается, что Ян Непомуцен помогает утопающим.
2. В Польше 1—2 ноября отмечается День всех святых и День поминовения усопших; в массовом порядке посещаются кладбища, на могилах от каждого члена семьи и от знакомых зажигается отдельная лампадка.

жадностью. Потом встала и, шаркая, поплелась в комнату; через открытую дверь я увидела безукоризненно заправленную кровать, готовую к зиме.

Марта принесла оттуда парик, темный, почти черный, с заплетенными в косички волосами. Именно такой, какой я хотела. Я надела его. Марта улыбнулась. На губах у нее остались крошки от макового пирога.

— Чудесно, — сказала она и кивнула на зеркало.

Из зеркала на меня глянуло нечто расплывчатое и чужое, какое-то темно́е лицо.

Я не узнала себя.

Я буду носить этот, какой ни на есть, парик вместо шапки, буду его надевать, как только проснусь, чтобы добраться до ванной через выстуженные комнаты без риска для здоровья, а может, даже буду в нем спать. Буду в нем работать и планировать ремонт на лето. Поеду в нем колесить по свету.

Я подошла к Марте и обняла ее. Она еле доставала мне до подбородка, была хрупкая и мягкая, как гриб-зонтик. Ее короткие седые волосы пахли сыростью.

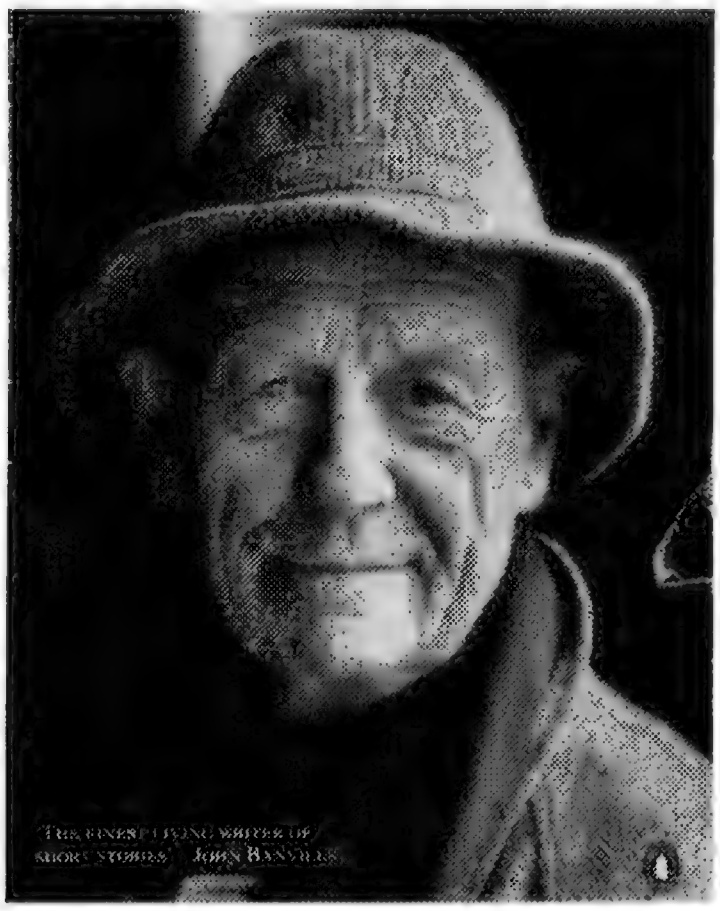
После обеда я пошла попрощаться с ней и напомнить, чтобы она зажгла лампадку от нас на могилке ребенка Фростов.

Я вошла в дом, но он был пуст. На столе лежала иголка с вдетой ниткой и стояла массивная оловянная тарелка, самая приметная вещь в доме Марты. Я села за стол и прождала ее, наверное, час или два. Беленые стены отражали мое дыхание. Я водила пальцем по замысловатому рисунку на металле. Не жужжали мухи, не потрескивал в плите огонь. Было так тихо, что я слышала собственное тело — оно жило.

Я знала про дверь в подвал, она была позади меня. Дверь была притворена, но замки висели на скобе открытые, готовые защелкнуться. Я могла бы встать, открыть эту дверь и спуститься вниз. Могла бы лечь рядом с Мартой в темноте и сырости, среди куч картофеля, которые ждут весны. Так я думала, хотя трудно о чем бы то ни было думать в доме Марты; он как губка, которая всасывает мысль прежде, чем та возникнет. И ничего не дает взамен, ничего не обещает, не обманывает, в нем нет будущего, а прошлое он превращает в предметы. Дом Марты похож на нее: как и она, он ничего не знает — ни Бога, ни его творений, ни даже самого себя, знать ничего не желает о мире. Живет настоящей минутой, одним "сейчас", но огромным, растянутым во все стороны, гнетущим, не подходящим для человека.

Потом вдруг спустились сумерки, я даже не заметила, как стало темно. И сидела бы так, загипнотизированная собственным дыханием. Не очнулась бы, если бы не эта старая оловянная тарелка — она отливала тяжелым, матовым, мерцающим светом, наполняла им всю кухню, освещала мои руки, цепляла тени к вещам. В ней отражались все будущие и прошлые полнолуния, все ясные, усыпанные звездами небеса, пламя всех свечей, и огоньки всех лампочек, и холодные струи всех люминесцентных светильников.

Уильям Тревор



Рассказы о любви

Перевод с английского А. Ливерганта

По четвергам

МИССИС Нэнси Симпсон, которая терпеть не могла это имя и предпочла бы быть Нэнси Ле Пюи или Нэнси дю Морье, проснулась декабрьским утром. Всю ночь ей снились давно ушедшие времена, когда ее звали Нэнси Доз и она не была еще ничьей женой. Оркестр играл "Ты мой цветочек", а они стояли, выстроившись в ряд, растянув губы в улыбке, в кулисах Олд-Гейти. "Ты мой цветочек, я — твоя пчела..." Или эта песня называлась как-то иначе? "Дым ест глаза" тоже раньше называлась как-то по-другому — так, во всяком случае, говорил Лори Хендерсон, хотя, видит Бог, Лори за всю свою жизнь не сказал и слова правды. С этими песнями никогда не угадаешь. Взять, к примеру, "Если ты моя единственная". Она так называлась или ее полное название — "Если б ты была моей единственной девочкой на свете, а я твоим единственным мальчиком"? Она об этом, помнится, всю ночь с Лори до хрипоты спорила, это было в труппе миссис Томер, в Мэкклсфилде, то ли в 1949-м, то ли в 50-м году. Нет, все-таки в 50-м, вскоре ведь после этого Лори отправился в Лондон — вроде бы барменом на Британском фестивале устроился. Труппу миссис Томер он бросил, она его потом девять лет не видала. Нет, это было, конечно в 51-м. Фестиваль ведь был в 51-м.

Она встала и занялась макияжем. Она часто думала, что нет ничего лучше, чем сидеть в нижней юбке перед зеркалом и делать себе другое

© W. Trevor, 1993
© А. Ливергант. Перевод, 2004
Книга рассказов У. Тревора, откуда взяты публикуемые произведения, выйдет в издательстве "Текст".

лицо. Она припудрила помаду и улыбнулась. Ей вспомнился Фиц: сегодня же четверг, а у них вошло в привычку по четвергам вместе обедать. "Господи, Нэнси!" – воскликнул он, когда, по чистой случайности, полгода назад увидел, как она стоит у магазина "Питер Джонс", уставившись на витрину. Тогда они выпили чаю и вдоволь наговорились. "Конечно, почему бы и нет?" – ответила она на его предложение встречаться регулярно. "Уж нам-то с тобой есть что вспомнить!" – кажется, сказала она тогда.

Она жила в Патни, в викторианском здании из красного кирпича, окнами на реку. Рядом был большой старомодный отель "Скипетр", где обычно останавливались иностранные коммерческие агенты и по вечерам в баре частенько выпивали жители ее дома. Когда проходил Уимблдонский турнир, здесь жили звезды мирового тенниса – восходящие и закатившиеся. Она любила сидеть в холле отеля и смотреть, как они входят и берут у администратора ключи. Однажды она видела того самого немца, который лет десять назад играл в финале, и ей приятно было думать, что в "Скипетре" когда-то останавливался сам Макинрой – в те годы, правда, он был еще неизвестен. Каждый год из окон своей крошечной квартирки она наблюдала за состязаниями по гребле – они, впрочем, нисколько ее не интересовали. Просто приятно было видеть, что в Патни съехалось столько народу. Хорошо, что хотя бы раз в году, весной, в субботу, Патни становится центром вселенной.

Фиц сейчас в поезде едет, думала она, идя к метро через мост. Тот самый, на котором схватили Кристи, убившего столько проституток. Он тогда только что перекусил в закусочной Лейси и, если б его не сцапали полицейские в штатском, наверняка следующей ночью порешил бы кого-нибудь еще. В газетах писали, что пошел он с ними сразу же, слова поперек не сказал.

"Какой же ты романтик, Фиц!" – не раз говорила она ему. Да он и сейчас такой же. Свидания по четвергам – как это на него похоже! Только он может специально ехать на поезде с побережья, а потом обратно. Во время войны они были женаты четыре года.

Вспомнив все это и захотев от этих воспоминаний отделаться, она начала что-то напевать себе под нос. Его родня решила, что он сошел с ума, – она тогда это сразу поняла. Он привел ее в их уорвикширский особняк, в огромную гостиную с роялем в углу, и его сестра с матерью, увидев ее, ужаснулись. "Не вздумай! – истошно кричала за дверью в тот же вечер сестра. – Ты что, спятил – жениться на девчонке из кордебалета!" А он взял и женился – пришлось им, в конце концов, с этим смириться.

Когда он первый раз ее заприметил, она выходила на сцену Олд-Гейти в роли подсолнечника; потом-то он не пропускал ни одного представления с ее участием. Каждый вечер ходил. Говорил, что есть в ней что-то хрупкое, беззащитное и что без его заботы она пропадет. Когда они встретились уже теперь, полгода назад, на Риджент-стрит, он сказал что-то в этом же роде, какая она, мол, худенькая. Она видела, как он разглядывает ее волосы – когда-то они были мягкие и светлые, а теперь приобрели какой-то желтоватый оттенок, раньше были красивее. Но про волосы он ничего не сказал – Фиц был из тех, кто говорит только про хорошее, а про плохое молчит. Наоборот, сказал, что она ничуточки не изменилась. Он приходил в какой-то мальчишеский восторг оттого, что смеялась она точно так же, как раньше, и часто говорил, что бокал и си-

гарету она и сейчас держит как-то по-своему, не как все. "Ты мерзнешь", – сказал он ей неделю назад и напомнил, как он всегда ругал ее за то, что она легко одевается. Он никогда не понимал, что теплые вещи ей не идут.

Он, надо сказать, тоже изменился мало. Та же военная выправка, почти нет седых волос, лицо, как и раньше, медное от загара. Он не обрюзг и не ссохся, да и загар распространялся на все лицо, даже на лоб с залысинами. Такие же, как и раньше, отутюженные костюмы, так же по-солдатски чеканит шаг. Он за это время женился на какой-то другой женщине, а она после двадцати трех лет брака возьми да помри.

– Как живется, Нэнси? – поинтересовался он, когда они сели за столик в "Траттория Сан-Микеле". – Какие успехи?

Она улыбнулась и передернула своими худенькими плечиками. Да никаких, подумала, но промолчала. Была одна роль, про которую она слышала и на которую рассчитывала, но об этом говорить не хотелось – ролей она не получала уже давно.

– Мне – форель с миндалем, – сказал он, изучив меню. – Ты тоже будешь форель?

Она опять улыбнулась и кивнула. Жила она на алименты – содержал ее не он, а ее последний муж, Симпсон. Она закурила – любила курить за едой, иногда затягивалась, едва успев проглотить кусок.

– Опять "Мать твою растак" по телевидению крутят, – сказала она. – Смешно, сил нет.

Она сама не знала, почему ему изменила. Решила, что он не догадается, но, приехав первый раз в отпуск с фронта, он догадался сразу. Тогда она пообещала ему, что больше это не повторится, била себя в грудь, говорила, что из-за войны голова идет кругом, что хотела отвлечься – так за него волновалась. Уже под самый конец войны, когда он, снова приехав в отпуск, опять застал ее с другим, последовали новые обещания. "Кроме тебя, Фиц, – хныкала она, искренне веря своим словам, – я все равно никого не смогу полюбить". И все-таки в начале 1948 года он с ней развелся.

Вспоминать это время не хотелось – особенно в его присутствии, когда он был с ней так ласков, так заботлив. В свою очередь, и она решила задать ему вопрос: помнит ли он мелодию из "Пышной ярмарки"?

– Потрясающе. Ну и, конечно, "Весенняя лихорадка" в той же картине. – Она напела мелодию. – "До весны еще далеко..." Помнишь?

Потом она уехала в Канаду с Эдди Лашем – ее мужем он стал уже там, в Канаде. В Канаде, а затем в Филадельфии она прожила в общей сложности тринадцать лет, но когда собралась обратно в Англию, двое ее детей, мальчик и девочка, ехать с ней отказались. К Эдди Лашу они привязались больше, чем к ней, отчего ей тогда было очень обидно, да и в суде ее обвинили в "отсутствии материнской заботы", что тоже было не весело. Время от времени она получала от детей письма, но чем они сейчас занимаются, точно не знала.

– А "Я буду рядом"? Помнишь "Я буду рядом"? – И она снова, очень тихо, напела мелодию этой песенки: – "Мне дела больше нет, влюблен ты или нет..." Не помнишь, кто ее исполнял?

Он отрицательно покачал головой. Официант принес форель, и Нэнси ему улыбнулась. Стоило ей месяца полтора назад, когда обеды с Фицем по четвергам стали немного надоедать, бросить взгляд на нового официанта "Траттории", как она сразу же воспряла духом. В четверг ве-

чером, когда она сидела с бокалом вина в холле отеля "Скипетр", ей то и дело вспоминались его любезность и красивое лицо. Да, он чем-то опечален, часто говорила она себе, сидя в холле отеля. В этих устремленных на нее южных глазах таилась даже какая-то боль, тоска.

– Какая изумительная форель, – сказала она, продолжая улыбаться. – Огромное вам спасибо, Чезаре.

Ее бывший муж говорил в это время о чем-то другом, но она его не слушала. Ей вспомнилось военное время и молодой летчик, вылитый Чезаре, – ей тогда страсть как хотелось, чтобы он повел ее на танцы, а он не повел.

– Что? – пробормотала она, вдруг сообразив, что Фиц задал ей вопрос. Он повторил его, вопрос был вполне традиционный и задавался почти каждый четверг. Она собирается остаться в своей квартире в Патни? Она к ней привыкла? Возник этот вопрос потому, что однажды она обмолвилась, неизвестно зачем, что квартира эта временная, что у нее такое чувство, будто долго она в Патни не проживет. Сказать всю правду она не могла – Фицу, во всяком случае. Не могла же она признаться, что продолжает надеяться, что старый Робин Райт в конце концов позовет ее к себе – еще поскрипит немного и обязательно позовет. Она почему-то верила в мистера Р. Р., всегда в него верила и почему-то вбила себе в голову, что в один прекрасный день он войдет в холл отеля "Скипетр" и ее заберет. По вечерам, у себя в квартирке или примостившись где-нибудь в уголке гостиничного холла, она смотрела телевизор, и на душе становилось тоскливо: ей очень не хватало подруги, близкой подруги, которой можно все рассказать. Впрочем, ей и раньше бывало скучновато, всегда чего-то не хватало. Говорил же ей Лори Хендерсон, что скука, точно дьявол, пожирает ее изнутри.

– Огромное спасибо, – снова сказала она, потому что Чезаре одним изящным движением выложил ей на тарелку рядом с форелью горку зеленого горошка. Только она так может: взять и влюбиться в официанта; даешь себе слово вести разумную, правильную жизнь и вдруг, ни с того ни с сего, начинаешь сохнуть по совершенно неподходящему парню, который вдобавок вдвое тебя моложе. Ей, правда, пятьдесят девять ни за что не дашь; самое большее сорок, а то и тридцать восемь, как сказал месяц назад один тип в "Скипетре", когда она попросила его угадать, сколько ей. Увы, между этим типом и мистером Р. Р. большая разница.

– Я давно хотел тебя спросить... – продолжал Фиц.

Она улыбнулась и кивнула. Официант наверняка понял, что она на него положила глаз, – в этом нет никаких сомнений. Она умела замечательно подмигивать, едва заметно, чуть-чуть прикрыв один глаз. И так естественно получалось. "Ужасно смешно ты подмигиваешь", – говорил ей Эдди Лаш. "Гениально получается", – хвалил ее Симпсон. Или это был не Симпсон? И зачем только она за него вышла? Вел себя по-хамски, и рожа у него тоже хамская...

– Ты себе просто не представляешь, какое это удовольствие копаться в саду, строить стену. Никогда не думал, что смогу построить стену.

Он ей все уши прожужжал про свой дом на море, какие у него там цветочные клумбы, какая изгородь из плюща за решеткой, отделяющей дом от внешнего мира. Рай земной, одно слово! Он ужасно гордился тем, что сделал, и гордился по праву, ведь сад он разбил буквально на пустом месте. Сад этот даже какой-то премии удостоился – то ли как лучший на южном берегу, то ли во всем мире, то ли еще за что-то.

– Дом с садом я мог бы продать очень выгодно. Начинаю уже об этом подумывать.

Она кивнула. Чезаре ловко собирал тарелки со стола, где обедали четыре бизнесмена. Все четверо дородные, краснолицые, и все женатые – у женатых мужчин сытый взгляд, это сразу видно. За соседним с ними столиком сидели немолодой мужчина, тоже женатый, и совсем еще девчонка – наверно, моложе его вдвое, а рядом еще одна парочка: вид у обоих такой, будто они что-то задумали. В центре зала, рядом с подносом, на котором стояли салаты и фрукты, за большим столом сидели шесть человек, мужчины и женщины. Эту же компанию она видела пару недель назад, тогда они обсуждали покрытие теннисных кортов "En Tout Cas".

– Когда удается сделать так, как хочется, – говорил Фиц, – интерес обычно пропадает.

Метрдотель подозвал другого официанта, полного итальянца, совсем молоденького, моложе, чем Чезаре, его имени она не знала. Но Чезаре, который в этот момент оказался свободен, отозвался первым и, крикнув: "Pronto! Pronto!", проворно поспешил на зов.

– Так ты собираешься продавать дом, Фиц?

– Еще окончательно не решил.

По четвергам он часто рассказывал ей про женщину, на которой женился. Человеком, по его словам, она была надежным, ответственным – вот только все время болела и детей иметь не могла. Двадцать три года они прожили вместе – срок немалый, за это время всякое может случиться. А потом она умерла.

– Чесотка замучила, – пожаловался Фиц. – Даже сейчас, когда за шестьдесят, никак не проходит.

– Тебе столько ни за что не дашь, – автоматически отозвалась она, наблюдая за тем, как официант обслуживает компанию за большим столом в центре зала. Они заказали стейк на косточке – фирменное блюдо "Сан-Микеле". Фиц сказал еще что-то, но и эти слова в ее сознании не отложились.

– Я часто думаю, что хорошо было бы жить в Лондоне, – донеслось до нее.

Фиц, не отрываясь, смотрел на нее, ожидая, что она скажет в ответ. "Жизнь тебя здорово побила", – сказал он ей, когда они встретились во второй раз. Тогда он подолгу внимательно смотрел на нее, как смотрит сейчас, и повторил эту фразу дважды. Она ему объяснила, что так живут все актрисы: всегда на нервах, все время в ожидании – а вдруг дадут эту роль, а вдруг перепадет та, живешь в вечном страхе, что откажут. "Такая уж профессия, – сказала она тогда. – Легко жить не получается".

А вот у него получалось. Все эти годы жизнь не только его не била, но складывалась вполне удачно. С этой сверхнадежной женщиной он был как за каменной стеной. Жил себе с ней в доме у моря и беды не знал. Она, конечно, со всеми своими болезнями тоже была не подарок, с больными ведь жить не просто. Стоило ей отдать Богу душу, как ему стало себя ужасно жалко. И не удивительно, бедный Фиц! Поначалу он ужасно страдал оттого, что друзья на вечеринках знакомят его с одинокими женщинами, вдовами, старыми девами, раздавшимися, неряшливо одетыми, невзрачными. Как-то в четверг он рассказал ей об этом, а в другой раз признался, что спустя год после смерти жены обратился в бюро знакомств, где ему предложили женщин помоложе. Но и из этого ничего не получилось. За чашкой чаю в Цейлонском центре первая пре-

тендентка сообщила ему, что ее покойный муж был крупным чиновником в фирме, выпускающей химические препараты, что ее старшая дочь вышла замуж за австралийца, что сын работает в Гонконгской полиции, а младшая дочь вышла замуж за зубного врача из Вустера. Весь вечер она не закрывала рта, чего только ему не наговорила, призналась даже, что не переносит жары и что у нее потеют ноги. Другую женщину он пригласил на новую постановку "Держи порох сухим, Анни", а третью повел в бар, где она, не прошло и получаса, стала отпускать крепкие словечки. Бедняга Фиц! Он всегда был простым солдатом. Она бы его предупредила: бюро знакомств ему не подходит, там никого, кроме неудачниц, не бывает, да и быть не может.

— Что ты? — переспросила она.

— Ты ведь вряд ли захочешь попробовать еще раз, верно?

— Милый Фиц! Милый, добрый Фиц!

Она ему улыбнулась. Он никогда не мог взять в толк, что невозможно пренебречь всем тем, что заполняло ее жизнь на протяжении сорока лет. Кого там только не было: и Симпсон, и Лори Хендерсон, и Эдди Лаш, и двое детей, которых она родила, причем девочку от торговца минеральными удобрениями, о чем Эдди Лаш даже не догадывался. Невозможно без конца жить прошлым, и чем чаще вступаешь на путь воспоминаний, тем очевидней становится, что это беспросветный, черный туннель. Как пелось в старой песне, "время идет вперед — поцелуи и вздохи не в счет". Она улыбнулась вновь.

— "Главное в жизни нашей с тобой..." — тихо пропела она, вновь улыбнувшись своему бывшему мужу.

— Я просто подумал... — начал было он.

— Ты всегда умел красиво сказать, Фиц.

— И слова у меня не расходились с делом.

В его словах, что за ней "нужен уход", было столько романтики. В другой раз он назвал ее обворожительной. Романтики в нем было куда больше, чем во всех остальных вместе взятых, но когда романтики становится слишком много, она начинает действовать на нервы, приедаться, иначе не скажешь. Есть в этой романтике какое-то занудство. Самого-то Фица занудой никак не назовешь.

— Откуда вы родом, Чезаре? — спросила она официанта, решив, что этот вопрос немного ее отвлечет; кроме того, ей не хотелось, чтобы официант уходил. Он безусловно красивее, чем летчик с авиабазы. У него и нос лучше, и подбородок. Она никогда не видала таких глаз, ей никогда так сильно не хотелось коснуться чьих-то волос. Пальцы, в которых зажата ручка кофейника, были цвета итальянской еловой шишки. В Италии она была один раз, в Сестри-Леванте, поехала туда с Джейкобом Финном, он сказал, что собирается поставить "Время сирени". Она тогда собирала еловые шишки, потому что он ей надоел, потому что этому Джейкобу Финну ничего, кроме ее тела, не было нужно. Официант ответил, что про городок, откуда он родом, она слышала вряд ли.

— Вы знаете такое место, Сестри-Леванте? — спросила она, исключительно чтобы удержать официанта возле их столика.

Он ответил, что не знает, и она рассказала ему про Сестри-Леванте. А что, если бы она столкнулась с Чезаре на улице, как полгода назад с Фицем? Он наверняка был бы один: у официанта в чужом городе знакомых обычно не бывает. Они бы прошлись, а потом зашли бы куда-нибудь выпить — почему бы и нет? "Вы хорошо устроились, Чезаре?" Она зада-

ла бы ему этот вопрос, а он бы ответил, что устроился он неважно. Еще бы: комната, которую себе может позволить итальянский официант, наверняка хуже некуда. "Я попробую вам что-нибудь подыскать". Вправе она предложить ему свою помощь или это неприлично?

— Ты готова рассмотреть этот вариант, Нэнси? Или об этом даже не может быть речи?

Тут ей показалось, что рука, сжавшая ее руку, была рукой официанта, но в следующее мгновение она обнаружила, что Чезаре, с кофейником на подносе, уже несется к другому столику. Рука же, которая легла на ее руку, была больше, шире, чем у Чезаре, и не такая молодая.

— О Фиц, ты прелесть!

— Знаешь...

— Как ты думаешь, мы сможем сегодня позволить себе по бокалу коньяка?

— О чем речь.

Он подозвал официанта. Она закурила очередную сигарету. Когда официант принес коньяк и налил им кофе, она у него спросила:

— А как вам Англия? Лондон?

— Очень хорошо, signora.

— Если устал от Лондона, значит, устал от жизни, Чезаре. Так у нас принято говорить.

— Si, signora.

— Вы знаете Беркли-сквер, Чезаре? У нас есть популярная песенка про соловья на Беркли-сквер. Где вы живете, Чезаре?

— Тутинг-Бек, signora.

— Ого! Это ведь жуткая даль!

— Нет, не так уж и далеко, signora.

— Как поется в песне, "Мне больше по душе Неаполь". Увидеть Неаполь и умереть, верно?

Она пропела несколько слов из песенки про Неаполь, а потом рассмеялась и легонько шлепнула Чезаре кончиками пальцев по запястью, отчего официант засмеялся тоже.

— Песня очень хорошая, — сказал он.

— Прости, — опять донеслись до нее слова Фица. — Я сказал глупость.

— За всю свою жизнь ты не сказал и не сделал ни одной глупости, Фиц. — Она снова засмеялась. — Разве что на мне женился.

Он решительно замотал головой.

— Огромное спасибо, — крикнула она вслед официанту, который, с кофейником в руках, направился к столу, за которым сидели бизнесмены. Она представила себе, что он живет в Патни, в хорошей — лучше, чем в Тутинге, — комнате, которую нашла ему она. Представила, как он пришел к ней в гости, и они сидят у нее в квартире у открытого окна с видом на реку. Их связь необычна, они оба это сознают, но он признался, что всегда любил женщин в возрасте. Эти слова он произнес очень тихо, не глядя на нее, торжественно. В его отношении к ней ничего не изменится, пообещал он, когда они пили "кампари" с содовой, и она рассказала ему про регату в Патни.

— Я не должен был этого говорить. Прости меня, Нэнси.

Она что-то промурлыкала и улыбнулась ему, чтобы показать, что не придала его словам никакого значения. Он сделал ей очередное предложение точно так же, как когда она исполняла роль подсолнечника в Олд-Гейти. С его стороны это было очень трогательно, но она его даже не по-

благодарила, потому что по-прежнему думала о том, как будет сидеть с Чезаре у открытого окна в Патни.

— Мне пора. Сегодня я должен вернуться поездом на час раньше, — сказал он.

— Может, еще по чашечке кофе, а, Фиц? И капельку... — И она, склонив голову набок, — он не раз говорил, что ей это очень идет, — подняла свой пустой коньячный бокал. Когда официант опять подошел к их столику, она спросила: — Вы всегда были официантом, Чезаре?

Чезаре ответил утвердительно и поставил на стол блюдце с лежащим на нем счетом. Она прикинула, что бы еще ему такое сказать, но ничего не придумала.

Когда они вышли из ресторана, Фиц не взял ее под руку, как брал неделю назад и две недели назад тоже. В лицо им дул колючий ветер, мимо, толкая их и не извиняясь, спешили по людной улице прохожие. Один раз она даже потеряла его из виду и подумала, что бывший муж ускользнул от нее, словно бы в наказание за то, что она приставала к официанту. Но Фиц был не мстителен.

— Я здесь, — раздался голос Фица.

Его холодные губы коснулись ее щек — сначала одной, затем другой. Большие квадратные пальцы сошлись на ее локте и тут же разжались.

— Ну, до свидания, Нэнси, — сказал он. Эти слова Фиц произносил каждый четверг, однако в этот раз про встречу через неделю он не сказал ничего. Она хотела было напомнить ему про следующий четверг, но не успела — Фиц уже исчез в толпе.

Вечером она, как обычно, сидела в холле отеля и, примостившись в углу, маленькими глотками пила водку с тоником и вспоминала о том, как прошел день. Вела она себя хуже некуда. Если б только она знала телефон бедного Фица, она бы позвонила ему прямо сейчас из телефонной будки в коридоре отеля и извинилась. "Вино ударяет тебе в голову, Нэнси", — любил говорить Лори Хендерсон, и он был прав. Несколько бокалов красного вина в "Траттория Сан-Микеле" — и она вешается на официанта, который годится ей в сыновья. А Фиц как истинный офицер и джентльмен сидит рядом с непроницаемым видом и говорит, что продаст дом и переедет в Лондон. Официант же, вероятно, решил, что она положила на него глаз.

Какая, впрочем, разница, что решил этот официант, ведь и он, и "Траттория Сан-Микеле" уже принадлежат прошлому, перешли в разряд воспоминаний. Впервые она побывала в этом ресторане всего-то полгода назад, когда старина Фиц сказал ей: "Давай заглянем сюда". Понимала она и другое: больше Фиц о себе знать не даст, больше ей не придется торопиться по четвергам в "Траттория Сан-Микеле" и извиняться, что опоздала.

"Я всегда с тобою, даже если ты меня прогонишь". Первый раз она увидела Фица, когда они спели эту песню в заключительной сцене; она вдруг заметила его, он сидел в третьем ряду. Она видела, как он смотрит на нее, и, танцуя, подумала, не он ли мистер Р. Р. Что ж, в каком-то смысле так оно и было. Ведь он защищал ее от своих ужасных родственников, унимал ее слезы поцелуями, говорил, что умрет за нее. Когда же он, преодолев сопротивление матери и сестры, на ней женился и после короткого отпуска вновь отправился на фронт, она почему-то вообразила себе, что лучше того дурачка с впалой грудью нет никого на свете. А когда

выяснилось, что дурачок этот совсем не тот, за кого она его принимала, вместо него появился еще один, танцевавший у них чечетку.

Она улыбнулась, вспомнив смех и аплодисменты зрителей, потрясенных тем, какую великолепную чечетку отбивали Джек и Доббин Бобовый Стебель, какой хохот вызывали Джек и его мать, когда застывали на сцене, широко раскрыв рты от удивления. Фицу она рассказала об этом совсем недавно, пару недель назад, — в те годы из-за романа с чечеточником она, естественно, с ним этими впечатлениями не делилась. Бедный Фиц, он внимательно слушал и кивал, хотя явно ничего смешного в этой истории не находил, — ему просто было приятно, что воспоминания доставляют ей удовольствие. С этим чечеточником она натерпелась горя: он из нее все деньги до последнего фартинга вытягивал и никогда не возвращал.

Она подумала, что, если б надеяться было больше не на что, она могла бы сказать Фицу: да, давай попробуем еще раз. Она, правда, как честный человек предупредила бы его, что между ней и той женщиной, которая готова была ради него на все, нет ничего общего. Что ей никогда не стать аристократкой вроде его матери и сестры — не такой она человек. Все это она продумала еще несколько недель назад — понимала, к чему он клонит. Понимала, каково ему ходить в бюро знакомств и слушать жалобы женщин на то, что они плохо переносят жару. Она представила себе, что скажет "да", а потом споет что-нибудь вроде "Любви нет слаще" и, перегнувшись к нему через стол, подставит губы для поцелуя. Но ведь жить одними фантазиями невозможно, притворяться все время нельзя.

— Повторить, Нэнси? — донесся до нее с другого конца холла голос бармена, и она ответила:

— Да, повторить.

Если соглашаешься, то теряешь надежду, ведь тогда все становится на свои места. Когда много лет назад она влюбилась в него без памяти, все выглядело лучше некуда: после войны она будет жить с ним в каком-нибудь тихом городке, ни в чем не нуждаясь, каждый день он будет приносить ей цветы. "Зачем переезжать в Лондон, Фиц? — могла бы сказать она ему сегодня. — Давай будем жить в твоем доме у моря". И он бы наверняка ужасно обрадовался, ведь про продажу дома он заговорил только для того, чтобы дать ей понять: если она захочет, он на это готов. Но если бы она согласилась, надеяться было бы больше не на что, вот в чем все дело.

Она вздохнула, ей стало его жалко. Она представила его себе в доме, о котором он ей столько рассказывал. Сейчас он, наверное, уже приехал: входит, включает свет, и все оживает. Судя по его рассказам про этот дом, его тяготили воспоминания, многое здесь было связано с женщиной, с которой он прожил столько лет, и уехать отсюда он хотел вовсе не потому, что закончил строить каменную стену. Вероятно, сейчас нальет себе выпить и сядет смотреть телевизор, а банку консервов откроет позже. Она представила себе, как он подносит спичку к камину и задергивает шторы. Где-нибудь в комоде у него, надо думать, припрятана ее фотография — в роли подсолнечника. Может, он сидит сейчас перед телевизором со стаканом виски и держит эту фотографию в руках. "Господи, — пробормотала она, — чего только не нафантазируешь! Если уж в первый раз ничего не получилось, то во второй точно не получится".

— Погрей старые косточки, Нэнси, — сказал бармен, ставя перед ней на картонную подставку на столик, за которым она сидела, вторую порцию водки с тоником. — А то ночь обещали морозную.

— Да, очень холодно.

После "Траттория Сан-Микеле" она к себе в квартиру заходить не стала — что-то не тянуло. Вместо этого она пару часов бродила по улицам — ждала, пока откроется бар в холле отеля. Заглядывала в витрины магазинов, смотрела на молодых людей, на их раскрашенные волосы. Два парня, бритые наголо, в восточных одеяниях, пытались всучить ей какую-то пластинку. Домой она решила не возвращаться, и вот почему: она надеялась, что с вечерней почтой может прийти приглашение на роль, и ей хотелось пожить с этой надеждой подольше. Если она не заглянет в почтовый ящик, а пойдет прямо в отель, то останется шанс — пускай один на миллион, но много шансов ведь никогда не бывает, — что роль достанется ей. Правда, если повезет, то скорее позвонят по телефону, чем пришлют письмо, но и письмо исключать не следует. Вообще, ничего исключать нельзя. Бывает по-всякому.

Теперь она жалела, что даже не попыталась ему это объяснить, пусть бы даже он ее и не понял. Она жалела, что не объяснила ему: главное — это чтобы оставалась надежда. Те же чувства она испытывала, когда Эдди отобрал у нее детей, хотя девочка и была не от него, и когда на суде заговорили о пренебрежении материнскими обязанностями. Тогда она тоже только и делала, что надеялась, ни за что не желала признавать себя побежденной, не желала идти на уступки во всем, что касалось детей. А Эдди женился на другой, на какой-то женщине, которая, вероятно, сочла ее полным ничтожеством, раз она допустила, чтобы у нее отобрали собственных детей. Но она-то в глубине души чувствовала — наступит день, когда дети ей обязательно напишут. Вот и сейчас она тоже не сомневалась: в один прекрасный день придет и то письмо, из театра.

Она глотнула водки с тоником. Не сомневалась она и в том, что рано или поздно мистер Р. Р. обязательно объявится, и с его появлением кончатся все ее невзгоды. С ним она забудет и про Симпсона, и про Эдди, и про Лори Хендерсона, забудет, что плохо обошлась с одним-единственным мужчиной, который желал ей добра. Забудет и про чечеточников, которые выпрашивали у нее последние деньги, и про официантов, к которым ее тянуло, потому что в их глазах таилась грусть, и про старую добрую "Траттория Сан-Микеле", которая навсегда уйдет в прошлое. В мистера Р. Р. невозможно не верить — тогда уж лучше выйти из отеля и броситься в реку; потерять веру в Р. Р. — это то же самое, что потерять веру в себя.

"Я жива одним тобой, — промурлыкала она себе под нос, чувствуя, как из-за водки с тоником настроение у нее заметно улучшилось. — Будь со мной, будь со мной, будь со мной". Войдя сегодня в половине шестого в отель, она заметила мужчину, стоящего у стойки администратора; вероятно, это был иностранный коммивояжер — теннисисты ведь зимой сюда не приезжают. На вид ему было лет пятьдесят, недурен собой, неплохо одет. Хорошо, что телевизор еще не включили. С того места, где она сидела, видна была лестница. Пройдет некоторое время, и коммивояжер обязательно спустится в холл. Он возьмет себе выпить, осмотрится, куда бы сесть, — и увидит ее.

Третий лишний

ВСТРЕТИТЬСЯ договорились в отеле "Басвелл". Время и место встречи предложил старший из двух; тот, кто помоложе, не спорил и от встречи, которую назначили в баре в половине двенадцатого, не уклонялся.

– Думаю, мы друг друга узнаем, – сказал старший. – Она ведь вам наверняка меня описывала.

Он был высокий, уже довольно грузный, лицо красновато-коричневое от загара, волосы светлые, вьющиеся, с сединой. Тот, с кем он встречался, был более худой, в очках, в гладкой черной куртке, не такой крупный. Того, кто поменьше, звали Лердмен; высокого и загорелого – Боланд. Обоим было едва за сорок.

– Я смотрю, мы оба вовремя, – вместо приветствия сказал Боланд – он явно нервничал. – Меня зовут Фергюс Боланд.

Они обменялись рукопожатием. Боланд вынул бумажник.

– Я буду "Джеймсон". А вы?

– Минеральную. В это время дня не пью. Или лимонад.

– Один "Джеймсон" и один лимонад, – заказал Боланд.

– Момент, – отозвался бармен.

Они подошли к стойке. Боланд достал пачку сигарет.

– Курите?

Лердмен отрицательно покачал головой. Он уперся локтем в стойку бара и устроился поудобнее.

– Простите меня, – сказал он.

Кроме них, здесь был только бармен, он поставил перед ними на стойку два стакана. Садиться они не собирались – ни тот, ни другой.

– Фунт и десять пенсов, – сказал бармен, и Боланд расплатился. Его твидовый пиджак и вельветовые брюки помялись – сегодня утром он проехал больше ста миль.

– Мне, право же, очень неприятно, – еще раз извинился Лердмен.

– За удачу. – Боланд поднял стакан. Воды в стакане было вдвое больше, чем виски, отчего "Джеймсон" сделался совсем светлый. – Так рано, значит, не пьете? – нарочито вежливо спросил он. – Что ж, очень мудро с вашей стороны. Более чем.

– Я просто не думал, что наш разговор сочетается с выпивкой.

– Без выпивки, Лердмен, я бы на вас и смотреть не мог.

– Простите.

– Вы у меня жену увели. Такое ведь, сами знаете, не каждый день происходит.

– Простите...

– Сколько можно повторять одно и то же?

Лердмен – он торговал строевым лесом – едва заметно пригнул голову, словно признавая правоту собеседника.

– Мне ужасно неприятно, – признался он, – всю ночь не сомкнул глаз.

– Она говорит, вы дублинец, – сказал Боланд так же вежливо, как и раньше. – Лесом торгуете – дело, надо понимать, прибыльное.

Лердмен обиделся. Она предупреждала его, что муж неотесан, но добавила, что он мухи не обидит. По первым пяти минутам разговора, подумал Лердмен, этого никак не скажешь.

— Не нравится мне ваш Дублин, — продолжал Боланд. — Откровенно говорю. И никогда не нравился. Я привык жить в маленьком городке, а впрочем, вы это и сами знаете.

Он представлял, сколько всего наговорила ему жена про его — Боланда — провинциальные привычки. Она любит всякие истории сочинять. Вообще поговорить любит. У себя в городе Боланд получил в наследство булочную-пекарню, не имевшую ровным счетом никакого отношения к куда более известной дублинской булочной с тем же названием. Несколько лет назад ему было предложено, чтобы не возникло путаницы, переделать название булочной на "Идеальный хлеб и пирожные" или, скажем, на "Чудо-печь", однако Боланд заявил, что не видит в этом необходимости: если без этого не обойтись, пусть меняют название булочной в Дублине.

— Хочу поблагодарить вас, — сказал Лердмен, — за то, как спокойно вы все восприняли. Аннабелла мне рассказала.

— Боюсь, у меня не было выбора.

Губы у Лердмена были очень тонкие, и рот походил на узкую щель, в которой почти постоянно пряталась улыбка. Улыбался он и сейчас, но чтобы Боланд, не дай бог, не подумал, что он злорадствует, он энергично замотал головой: нет, он просто не согласен, что у мужа его любовницы не было выбора. Боланда удивило, что у Лердмена нет типично дублинских усиков-щеточек.

— А я думал, когда мы встретимся, вы меня ударите, — сказал Лердмен. — Я сказал об этом Аннабелле, но она ответила, что на вас это совсем не похоже.

— Верно, не похоже.

— Потому я и сказал, что вы все спокойно восприняли.

— Вы мне скажите только одно: какие у вас с ней планы? Она, по-моему, и сама толком не знает.

— Планы?!

— Ваша связь с моей женой не вызывает у меня протеста — я лишь интересуюсь, собираетесь ли вы на ней жениться, есть ли у вас какой-то план действий. И есть ли подходящее место для совместной жизни? Вы ведь, насколько я понимаю, не женаты? Еще один "Джеймсон", пожалуйста, — обратился он к бармену.

— Нет, не женат. Мы надеялись, что... если вы не будете ничего иметь против, Аннабелла в самом скором времени переберется ко мне. Да, места у меня более чем достаточно — семикомнатная квартира на Веллингтон-роуд. А со временем мы купим дом.

— Благодарю, — сказал бармену Боланд и вновь расплатился.

— В этот раз была моя очередь, — спохватился чуть позже, чем следовало, Лердмен.

Скупость она ему не простит, подумал Боланд. Поначалу на такие вещи внимания не обращаешь — но только поначалу. Посмотрим, что она запоет, когда это коснется ее напрямую.

— А как быть с женитьбой? — спросил он. — В Ирландии ведь жениться на чужой жене не так-то просто.

— Разумеется, мы с Аннабеллой хотели бы пожениться.

— О том и речь. И как же, по-вашему, она получит развод? Вы, насколько я понимаю, не католик?

— Нет.

— Вот и я тоже. И Аннабелла. Но значения это не имеет. Дело в том, что к разводам у нее отношение неопределенное. Мы об этом много с ней говорили.

— Я благодарен вам за участие. И за предложение встретиться.

— У меня есть все основания для развода, Лердмен, а что толку? На развод уйдут годы.

— Дело можно ускорить, если у вас есть адрес в Англии. Если б удалось переправить бумаги туда, долго бы ждать не пришлось.

— Но у меня нет адреса в Англии.

— Это не более чем идея, Фергюс.

— Значит, она не преувеличивала, когда сказала, что вы хотите на ней жениться?

— По-моему, Аннабелла вообще никогда не преувеличивает, — с достоинством ответил Лердмен.

Выходит, ты не знаешь про нее самого главного, решил про себя Боланд. Ведь она только и делает, что выдумывает, сочиняет или, как мы с тобой приличия ради выразились, "преувеличивает". Он считал, что его жене *претит* правда — качество, надо сказать, для человеческой особи довольно редкое.

— Удивительно, что вы никогда не были женаты, — сказал он, удивляясь совершенно искренне, ведь у маленьких, самоуверенных мужчин вроде Лердмена часто бывают роскошные женщины. А может, любовник его жены — вдовец; Аннабелла в жизни бы ему в этом не призналась.

— Я вашу жену давно знаю, — мягко сказал Лердмен, и Боланд заметил, что он даже не пытается скрыть улыбку. — Стоило мне увидеть Аннабеллу, как я сразу понял: женюсь — не прогадаю.

Боланд опустил глаза в стакан с виски. Надо быть аккуратней в выражениях, сказал он себе. Стоит ему хоть раз сорваться — и все рухнет. Главное, чтобы Лердмен не передумал, в планы Боланда это никак не входило. Он закурил очередную сигарету, вновь предложил пачку Лердмену, и тот вновь отрицательно покачал головой.

— Лердмен — любопытная фамилия, — Боланд сказал это как бы между прочим, словно желая завязать дружеский разговор. — Когда мне жена ее назвала, я сразу об этом подумал.

— Верно, фамилия не ирландская. Может, французская — гугенотская. По крайней мере, первая половина.

— А я подумал — уж не еврейская ли...

— Не исключено.

— Когда тебя посвящают в подобные отношения, не хочешь, а спросишь: "А зовут-то его как?" Какая, казалось бы, разница, никакой роли это не играет, а ведь все равно спрашиваешь.

— Конечно. Я благодарен вам за ваш интерес.

Когда она сказала, что зовут его Лердмен, Боланд вдруг подумал: а не учился ли он с ним вместе? Точно, человек, о котором она ему рассказывала, ходил с ним в одну школу; теперь, в "Басвелле", он его сразу узнал, а ведь прошло столько лет.

— Или: "Где ты с ним познакомилась?" Этот вопрос тоже, если вдуматься, никакого значения не имеет. А ведь задаешь его.

— Мы с Аннабеллой...

— Знаю, знаю.

В школе Лердмен "прославился" тем, что однажды его опустили головой в унитаз и вдобавок натерли голову стоящей в уборной шваброй.

Это было дело рук Роша и Мазурика-Смита — они расправлялись со всеми, кто демонстрировал независимый нрав, не желал им подчиниться. Рош и Мазурик-Смит были главными школьными хулиганами, они терроризировали новичков, которые приходили в школу не осенью, как все, а зимой или летом, всех тех, чьи лица им почему-то не нравились. Лердмену натерли голову шваброй, потому что он смазывал волосы бриолином, и Мазурик счел это личным оскорблением.

— По-моему, мы вместе учились в школе, — прервал молчание Боланд.

Лердмен чуть было не подпрыгнул на месте — на этот раз улыбку пришлось скрывать уже Боланду. Его жена наверняка не помнила, в какой школе он учился, — ее это нисколько не интересовало, а потому этой темы в разговорах с Лердменом она, конечно же, не касалась.

— Что-то не припоминаю я там Боланда, — сказал Лердмен.

— Я же был немного старше вас. — Боланд словно бы извинялся. — Но когда Аннабелла назвала мне ваше имя, мне оно показалось знакомым. В отличие от вас, я ведь *жил* в школе — я же из глубинки. Гнусное было местечко.

Из ста учеников "живущих" было всего тринадцать. По утрам "домашние" шумной гурьбой катились на занятия на велосипедах по загородному шоссе, а после обеда так же шумно ехали обратно. В школе им завидовали, потому что каждый день они возвращались в тепло и уют, потому что дома их сытно и вкусно кормили, потому что, придя в школу после выходных, они любили рассказать про "Савой" или про "Аделфи" и даже про танцевальный зал "Кристэл-Боллрум". "Живущие" же теснились зимой у радиатора, установленного в одной из классных комнат, а летом по двое-трое без дела бродили по спортивным площадкам. Школьная экономка миссис Портер была по совместительству еще и поваром, однако утренняя овсянка и перловый суп — основное вечернее блюдо — у нее регулярно подгорали. Бывший ученик, живший на чердаке, куда прямо из спален вела голая, не застеленная ковровой дорожкой лестница, был у них младшим преподавателем, однако положение это, судя по всему, особых преимуществ ему не давало: зимой он, как и все, грелся у радиатора и терпеть не мог стряпни миссис Портер. Директор школы, убежденный холостяк, в свое время боксер, почему-то был известен в спортивных кругах по кличке "Граф". Граф чем-то напоминал Савонаролу, носил зеленый костюм, и ученики считали его садистом.

— А мне в школе нравилось, — сказал Лердмен.

— Еще бы, вы ведь в ней не жили.

— "Домашним", насколько я помню, жилось лучше.

— Лучше — не то слово.

В первый раз Боланд разозлился. Этот тип, оказывается, не только жаден, но и глуп. Чего стоят все эти разговоры про адрес в Англии, про то, что вместо семикомнатной квартиры он купит дом... Соображай Лердмен хоть что-нибудь, он бы знал: таким, как Аннабелла, дома не покупают, полагаться на ее слова нельзя ни в коем случае.

— Мне всегда казалось, что образование мы получили приличное, — говорил Лердмен.

Мерзкий французишко, который вечно бубнил что-то невразумительное. О'Рейли Водохлёб, который на уроках истории требовал, чтобы ученики зубрили учебник, — сам же тем временем письма строчил. Математик, не способный решать задачки, которые сам же задавал.

Граф, который в своей вонючей лаборатории тыкал в уши ученикам пинцетом, отчего те визжали от боли.

— Превосходное, — согласился Боланд. — Не школа, а академия.

— Очень может быть, мы отправим туда своих детей. Если, конечно, у нас будут мальчики.

— Детей?!

— Надеюсь, вы не будете против? Ну, конечно же, нет, с какой стати? Простите, я говорю какие-то глупости.

— Налейте-ка мне еще одну порцию, — обратился Боланд к бармену. — Вам взять еще минералки?

— Нет, спасибо, пить мне не хочется.

На этот раз Лердмен даже не сказал, пусть и с опозданием, что его очередь платить. Больше того, он отвернулся, словно бы говоря, что отказывается понимать, как можно во время такого разговора, да еще в первой половине дня, "наливаться" виски. Боланд закурил очередную сигарету. Выходит, она ему ничего не сказала. А этот болван и поверил, что стоит ей уйти от своего провинциального увальня, как семикомнатная квартира на Веллингтон-роуд в одночасье наполнится звонкими детскими голосами. Разумеется, ему нужен развод, и как можно скорее: кто захочет иметь целый выводок маленьких ублюдков — хоть бы и в семикомнатной квартире.

— Вот спасибо, уважил, — сказал он бармену, когда тот поставил перед ним очередной стаканчик виски. Если он выпьет лишнего, а это не исключено, то домой сегодня не поедет, а переночует в отеле. Впрочем, еще рано, после сытного обеда не захочешь — протрезвеешь.

— Вы уж меня простите, — повторил Лердмен. — С языка сорвалось. Не подумал...

— Да брось ты! — И Боланд дружески похлопал его по плечу. Ему казалось, будто он слышит, как она объясняет Лердмену причину их бездетного брака. "Бедняга", — возможно, сказала она. Это было любимое ее слово. Еще до женитьбы она знала, что детей у нее быть не может; както во время очередной ссоры, когда они прожили вместе уже несколько лет, она призналась, что знала об этом, но не сказала.

— Разумеется, — как ни в чем не бывало продолжал Лердмен, — нам хотелось бы иметь детей.

— Естественное желание.

— Жаль, что у вас это не получилось. Очень вам сочувствую.

— Мне самому жаль.

— Так вы не против развода, Фергюс?

— Ты хочешь, чтобы я согласился быть виноватой стороной?

— Насколько я понял, это дело решенное.

— Решенное?!

— Если вы с этим не согласны...

— Нет, отчего же. Я готов быть виноватой стороной — из этого и будем исходить.

— Фергюс, тебе нет равных.

Он ведет себя так, подумал Боланд, как будто выпил лишнего. Некоторым, чтобы вести себя развязно, говорить таким вот легкомысленным тоном, как он сейчас, достаточно просто стоять рядом с выпивающим. Он часто слышал об этом, хотя никогда этому не верил. Иным, слышал он, достаточно, чтобы опьянеть, понюхать чужой стакан, вдохнуть хмельной воздух пивной.

— Помнишь истопника? Макардла?

— Какого еще истопника, Фергюс?

— Истопника. В нашей школе.

Лердмен отрицательно покачал головой. Макардла он не помнил. Человек с этим именем не приходил ему на ум.

— Истопник? — повторил он. — Какой еще истопник? Я и слова-то такого не знаю.

— Он у нас за печью присматривал — истопник.

— Нет, что-то не припоминаю.

Бар постепенно заполнялся. Вошел высокий мужчина в габардиновом пальто, раскрыл "Айриш таймс", и бармен, не дожидаясь заказа, поставил перед ним на стойку кружку портера. Следом появилась пожилая женщина с двумя мужчинами — судя по всему, своими сыновьями, и священник, который окинул бар беглым взглядом и вышел.

— Макардл тебе не запомнился, потому что ты жил дома, а не в школе, — сказал Боланд. — Когда торчишь в школе даже в выходные, больше замечаешь.

— Прости, что я и тебя не запомнил.

— Ничего удивительного.

Боланд вдруг понял, что она прекрасно представляла себе, как будет проходить разговор. Идея встречи в этом баре тоже ведь принадлежала ей; о "Басвелле" она говорила так, словно часто в нем бывала и считала его для такого случая вполне приемлемым. "Съезжу-ка я, пожалуй, к Филлис", — говаривала она, причем последнее время все чаще и чаще. Филлис была ее подругой из Терньюра, замуж она вышла так же неудачно, к тому же страдала каким-то серьезным желудочным заболеванием. Разумеется, Филлис была лишь отговоркой; верная подруга, она всегда бы, в случае чего, ее выручила. Очень может быть, Филлис вообще не была замужем и отличалась завидным здоровьем. "Позвони мне", — говорил он, и жена ему исправно, с готовностью звонила, во всех подробностях рассказывала про Дублин и про то, как Филлис тяжело живется. Сама же, ясное дело, лежала в постели в семикомнатной квартире на Веллингтон-роуд.

— Тебе пришлось так далеко ехать. Спасибо. — Этой фразой Лердмен словно бы подводил встрече итог, давал понять, что она подходит к концу. — Я, право, очень тебе признателен. Сегодня же позвоню Аннабелле и скажу, что мы с тобой все обсудили. Ты не против, Фергюс?

— Нисколько.

Боланд часто заставал ее во время таких телефонных разговоров. Он входил в холл и видел, как она, высоко подобрав колени, сидит на предпоследней ступеньке лестницы: трубка прижата к уху, провод продет через перила. Когда он появлялся, она говорила своим обычным высоким голосом, но, увидев его в дверях, обыкновенно махала ему в знак приветствия и переходила на шепот, прикрывая рукой, той самой, которой только что ему махала, телефонную трубку. Он часто размышлял над тем, а что она при этом о нем думает, и не получала ли она тайное удовольствие от этих таинственных полузапретных телефонных разговоров. Беда в том, что Аннабелле все на свете рано или поздно надоедало. "Давай рассказывай, — очень скоро скажет она Лердмену, — все, что с тобой произошло с той минуты, как ты вышел из дому". И бедолага начнет во всех подробностях рассказывать, как садился в автобус, как входил в здание своей фирмы, как поздоровался с машинисткой и как выслуши-

вал жалобы старшего мастера на нерадивого сотрудника; как в одиннадцать утра пил, по обыкновению, кофе с пончиком, не таким, кстати, вкусным, как накануне. А потом, во время очередной ссоры, она же сама все это на него выплеснет. "Кому, черт возьми, интересно знать про твои пончики?!" – будет кричать она ему, подняв вверх руки и широко расставив пальцы, чтобы только что нанесенный темно-красный лак поскорее высох. Она имела обыкновение скандалить, когда красила ногти, потому что занятие это ее раздражало и ей хотелось отвлечься. И в то же время она чувствовала себя неодетой, если у нее были не накрашены ногти или не подведены глаза.

– Я смогу сказать ей, – не без гордости в голосе заявил Лердмен, – что мы сразу же нашли общий язык. Она будет рада.

Боланд улыбнулся и кивнул в знак согласия. Представить себе ситуацию, когда бы его жена чему-то радовалась, было нелегко. И что только она нашла в этом Лердмене? Когда он напрямую спросил ее об этом, она ответила, что ей с ним хорошо. Сказала, что он любит ездить за границу, любит живопись, любит вкусно поесть, отличается, как она выразилась, "сногсшибательным" чувством юмора. О его сексуальности Аннабелла не упомянула ни разу – на эту тему она говорить не любила. "Ты заберешь с собой этих кошек? – спросил ее Боланд. – Мне они здесь ни к чему". Ее возлюбленный, ответила она, охотно даст приют двум ее сиамским котам, которых она звала одинаково – Чао. Интересно, подумал Боланд, знает ли вообще его преемник об их существовании.

– Интересно, – произнес он вслух, – что стало с Рошем и Мазуриком-Смитом?

Он и сам не знал, почему задал этот вопрос, почему не желал признавать, что дело, ради которого они встретились, улажено. Ему бы надо было пожать на прощание Лердмену руку и, может быть, сказать, что он на него не в обиде. Больше ему видеть этого человека не придется – разве что изредка с сожалением о нем вспоминать.

– С Мазуриком-Смитом? – переспросил Лердмен.

– Здоровенный тип, косоглазый. Одного известного адвоката зовут Рош – может, это он и есть?

– Если честно, я не помню ни того, ни другого.

– Рош щеголял в синем костюме в тонкую полоску. Держался, как учитель.

Лердмен отрицательно покачал головой.

– Ну что ж, Фергюс, мне, увы, пора. Очень тебе признателен – повторяю еще раз.

– Это те самые ребята, которые тебе голову в унитазе вымыли.

Боланд в который раз поймал себя на мысли, что Лердмен ей подходит. Он предвкушал, как заживет теперь тихой холостяцкой жизнью, как его дом, который за эти двенадцать лет насквозь пропитался своенравием и ханжеством, погрузится в мирный сон. Он уничтожит все, что хоть отдаленно напоминает о ней – сама ведь она этого ни за что не сделает. Выбросит валяющиеся на столе и стульях иллюстрированные журналы, пустые флаконы от лекарств, платья, которые она давным-давно сносила, косметику, которую раскидала по всему дому, сменит занавески и чехлы на стульях, исцарапанные ее кошками. Наймет Моллоя, чтобы тот перекрасил стены во всех комнатах. Готовить он будет себе сам, а вот приходить убираться будет, как и раньше, миссис Кофлан. Уж миссис Кофлан-то по ней тужить не будет – это точно.

– Не понимаю, – сказал Лердмен, – и что это ты школу никак забыть не можешь.

– Давай-ка перед твоим уходом выпьем, как люди. Налей нам по большой, – крикнул он бармену – тот стоял в дальнем конце стойки и слушал анекдот, который ему рассказывал мужчина в габардиновом пальто.

– Нет, право... – начал было опять отказываться Лердмен. – Право же...

– Будет тебе. Нам с тобой виски сейчас очень не повредит.

Лердмен наглухо застегнул свою черную куртку и натянул черные кожаные перчатки, а затем медленно, высвобождая палец за пальцем, стянул одну перчатку с руки. Решил, должно быть: уважу рогоносца ради любимой женщины, подумал Боланд.

– Вот увидишь, тебя сразу отпустит, – сказал он. – Дело ведь волнительное. Удачи тебе.

Они выпили. У Лердмена после всего сказанного вид был какой-то потерянный. В своей наглухо застегнутой черной куртке, в том, как он держится, он смахивает на священника, подумал Боланд. Он попробовал представить себе их за границей: сидят рядышком во французском ресторане, и Лердмен придирчиво косится на тарелку с едой. Насчет "сногсшибательного" чувства юмора она, пожалуй, несколько погорячилась.

– Про школу я вспомнил только потому, что и это тоже нас с тобой объединяет, – сказал Боланд.

– Кстати, я там сейчас член попечительского совета.

– Иди ты!

– Вот почему я сказал, что, очень возможно, мы отдадим туда детей.

– Надо же, как удачно!

– Я и сам доволен. Доволен, что позвали.

– Еще бы! Любой на твоем месте был бы доволен.

Дурак, а себе на уме, подумал Боланд. Историю с Рошем и Мазуриком-Смитом обошел молчанием. Все они в Дублине себе на уме. Себя в обиду не дадут!

– Значит, не помнишь?

– Что именно?

– Про унитаз.

– Послушай, Боланд...

– Ты что, обиделся? Прости, я не хотел.

– Да нет, нисколько я не обиделся. Просто не понимаю, чего ты на этом застрял...

– Давай поговорим о чем-нибудь другом.

– Если честно, я уже тороплюсь.

Он вновь натянул вторую перчатку, пробежал пальцами по пуговицам своей гладкой черной куртки – все ли застегнуты. Затем снова стащил с руки перчатку – вероятно, вспомнил, что без рукопожатия не обойтись.

– Спасибо за все, – сказал он.

Уже во второй раз Боланд, к своему удивлению, почувствовал, что не в состоянии остаться один. Может, дело в виски? Сначала ведь он долго ехал на машине, а потом пил на пустой желудок – позавтракать, как всегда, было нечем, в доме даже куска хлеба и того не было. "Я спущусь и

сделаю тебе яичницу с беконом, – обещала она ему накануне вечером. – Надо же что-то съесть перед дорогой".

– Ты сказал, что собираешься определить туда своих детей, – неожиданно для самого себя сказал он. – Ты что, имеешь в виду ваших с Аннабеллой детей?

Лердмен посмотрел на него так, будто он спятил. Его узкий, похожий на щель рот раскрылся в изумлении. Было непонятно, пытается он улыбнуться или у него тик.

– А каких же еще? – Лердмен, не переставая удивляться, покачал головой. Он протянул Боланду руку, но тот ее не пожал.

– Я думал, ты имеешь в виду каких-то других детей, – сказал он.

– Не понимаю, о чем ты?

– У нее не может быть детей, Лердмен.

– Послушай...

– И это медицинский факт. Эта несчастная женщина не способна испытать радости материнства.

– Ты перепил. Пьешь одну за другой. Потому и от школьных воспоминаний никак отвлечься не можешь. Аннабелла меня об этом предупреждала...

– А она случайно тебя не предупреждала, что навяжет тебе своих кошек? Не говорила, что не может рожать? Что со скуки приходит иногда в такое бешенство, что лучше держаться от нее подальше? Поверь, Лердмен, я знаю, что говорю.

– А про тебя она говорила, что не проходит и дня, чтобы ты не напился. Что из-за этого тебя даже на скачки не пускают.

– Я не играю на скачках, Лердмен, и без повода вроде сегодняшнего практически не пью. Во всяком случае, гораздо меньше, чем наша общая подруга, уверяю тебя.

– В том, что у Аннабеллы нет детей, виноват ты. Впрочем, она ни в чем тебя не винит – ей просто тебя жалко.

– Ей меня жалко? Да она за всю свою жизнь еще ни разу никого не пожалела.

– Послушай, Боланд...

– Это ты меня послушай. Я с этой женщиной двенадцать лет прожил. Забирай ее, я не против, только не говори о разводе. Говорить о разводе, Лердмен, в Англии или где-нибудь еще, нет никакой необходимости. Можешь мне поверить. Она будет жить с тобой в твоей семикомнатной квартире и в доме, если ты его купишь, тоже будет жить – но жди хоть до Второго пришествия, а детей тебе от нее не дождаться. Вместо детей ты получишь двух сиамских котов, которые искусают тебя до полусмерти.

– Ты ведешь себя непотребно, Боланд.

– Я говорю тебе правду, чистую правду.

– Ты забываешь, что мы с Аннабеллой все это предусмотрели. Она знала, что ты воспримешь случившееся близко к сердцу. Знала, что выйдешь из себя. И я тебя понимаю. Я же перед тобой извинился.

– Ты – жалкое ничтожество, Лердмен. Всю жизнь тебя головой в унитаз макают. Интересно, когда они тебя отпустили, ты так весь день мокрый и ходил? Жалко, я этого не видел, Лердмен.

– Заткни свою вонючую пасть. И не нарывайся на ссору, слышишь? Сегодня утром я настроился на серьезный разговор, не думай, я прекрасно понимаю, что ситуация возникла деликатная, и я не изображаю

из себя святого, вовсе нет. Но оскорблений я от тебя сносить не стану. И Аннабеллу не дам оскорблять.

— Если не ошибаюсь, Мазурик-Смит стал ветеринаром.

— Плевать, кем он стал.

И тут Лердмен вдруг исчез. Боланд же и голову в его сторону не повернул. Он пробежал глазами по бутылкам, стоящим за стойкой бара, и, минуту спустя, закурил очередную сигарету.

После ухода своего обидчика он пробыл в баре еще с полчаса. Стоял у стойки, курил и думал о Лердмене, мальчишке, на которого все в школе показывали пальцем из-за того, что́ учинили с ним два хулигана. Рассказывая об этой истории, истопник, старик Макардл, покатывался со смеху. Иногда, когда радиатор в классе грел плохо, жившие в школе ученики спускались к Макардлу и садились вокруг печки. Старик развлекал их неприличными историями, в которых неизменно участвовала экономка (она же повар), или же рассказом про Лердмена. Чем больше Боланд вспоминал школу, тем ясней в его памяти возникал Лердмен-подросток. Он мало в чем изменился: тот же щелевидный рот, из кармана пиджачка торчат автоматический карандаш и шариковая ручка. Боланд вспомнил, что у Лердмена был велосипед, новый велосипед "Золотой орел", который ему купили вместо старого. "Мы с ним познакомились у Филлис", — сообщила она ему, но понять, говорила она правду или врала, было невозможно. Очень может быть, все это было враньем от начала до конца.

Боланд обедал в ресторане отеля. За столиками сидели люди, которых он не знал, но которые, судя по всему, обедали здесь регулярно. Говорить, что спиртного он заказывать не будет, ему не пришлось — официантка его об этом даже не спросила. На столе в графине была кипяченая вода, и он решил, что протрезвеет и вернется домой сегодня же.

— Треска, — сказал он официантке. — Да, треска под соусом с сельдереем.

Ему вспомнилось, как тринадцать "живущих" разбили окно в школьном флигеле, уже давно стоявшем без всякого употребления. Почти все оконные рамы и без того уже были сломаны, крыша давно провалилась, а через всю стену тянулась трещина, да такая, что казалось, стена вот-вот обвалится. В это небольшое, ветхое здание ученикам входить строго запрещалось, и "живущие" этот приказ не нарушили. Они стояли ярдах в двадцати от дома и кидались камнями в окна с еще не побитыми стеклами точно так же, как бросают камни по мишени на ярмарках. Делали они это без всякого злого умысла, не понимая, что школьный флигель, пусть и сильно поврежденный, стоило сохранить. Расплата не заставила себя ждать. На следующее же утро Граф в присутствии "домашних" примерно отделал "живущих" своей тростью. Лердмен, размышлял, доедая суп, Боланд, наверняка присутствовал при экзекуции и мог бы при желании напомнить ему об этом эпизоде. Точно так же, как он, Боланд, напомнил ему историю с мытьем головы в унитазе. Но Лердмен, разумеется, был выше этого. Лердмен всегда ходил в умниках — и теперь, и во времена "Золотого орла" тоже.

Боланд отламывал хлеб, лежавший на маленькой тарелке справа, и перед тем, как проглотить очередную ложку супа, отправлял его в рот маленькими кусочками. Он представил себе, как уже совсем скоро будет входить в свой пустой, погруженный в тишину дом. Как летним вечером распахнет стеклянную дверь, ведущую из гостиной в сад, и будет прогу-

ливаться среди кустов фуксий и яблоневых деревьев. В этом доме, последнем в городке, стоявшем напротив автомастерской О'Коннора, он прожил всю жизнь, с самого рождения. Блекло-желтый, ничем не примечательный, он был ему очень дорог.

— Вы ведь заказывали рыбу, сэр? — донесся до него голос официантки.

— Да.

Свадьбу сыграли в Дублине — Аннабелла была дочерью дублинского виноторговца. Тогда его старик, да и ее мать тоже, еще были живы. "Ну, ты и лакомый кусочек отхватил!" — как-то раз заметил отец, но сказано это было игриво, без всякой задней мысли — в те дни Аннабелла и впрямь была "лакомым кусочком". Интересно, что бы старик сказал о ней сейчас?

— Тарелка очень горячая, сэр, — предупредила официантка.

— Большое спасибо.

Всем знавшим его с детства она очень нравилась. Его останавливали на улице, поздравляли, говорили, как ему повезло. В городе были за него рады, ведь он привез из Дублина, как кто-то выразился, "корону с бриллиантами". И тем не менее те же самые люди наверняка будут рады, когда она уедет. Красота куда-то подевалась, характер испортился. Из-за того, что не было детей, все и пошло наперекосяк. Только из-за этого.

Он медленно ел треску под соусом с сельдереем, капустой и картошкой. Разговоров о том, что между ними произошло, скорее всего, не будет. В городе узнают про ее отъезд и будут говорить, что когда-нибудь он обязательно женится снова. Женится ли? Он рассуждал с Лердменом о разводе, но на самом деле о том, что происходит в Ирландии с разводами, ровным счетом ничего не знал. Институт брака, смутно казалось ему, должен захиреть, должен сгнить и умереть; в отличие от рака, вырезать его невозможно.

Боланд заказал яблочный торт со сливками и кофе. Он был рад, что все кончилось; целью его визита в Дублин было поставить точку, и, в результате состоявшейся встречи, точка в каком-то смысле была поставлена. Все встало на свои места, он согласился с истинным положением дел, о котором обязательно должен был услышать от кого-то еще, кроме жены. Когда Аннабелла в первый раз все ему рассказала, он решил, что это выдумки. Приходила эта мысль ему в голову и потом. Даже когда он ждал Лердмена в баре отеля "Басвелл", он сказал себе, что нисколько не удивится, если никто на встречу с ним не придет.

Когда он шел на стоянку, двое нищих, мальчик и девочка, стали просить у него милостыню. Он понимал, им нужны не медяки, а его бумажник или что-нибудь столь же ценное. Мальчик протянул ему картонную коробку, девочка, держа руки под платком, подошла к нему вплотную. Этот трюк он знал — вот во что превратился Дублин!

— Пошли отсюда! — прикрикнул он на детей.

А все потому, что ей нечем было себя занять, подумал он, выезжая со стоянки на оживленную городскую улицу. И потом, с самого начала она испытывала отвращение к провинциальной жизни. Бездетной женщине, живущей в захолустном городке, видны, как никому другому, все его недостатки. Она поменяла мебель в доме, сама выбрала обои, которые впоследствии разодрали ее сиамские кошки. А вот играть в бридж и теннис Аннабелла упорно отказывалась и постоянно твердила, что ей не хватает кинотеатра, пусть и при кафе. Ему всегда казалось, что он ее понимает. Хотя сам Боланд к провинциальному прозябанию давно при-

вык, он прекрасно сознавал, что жизнь, которую он ей предложил, едва ли может ее увлечь. Вначале, пока она не стала сама ездить в Дублин в гости к Филлис, он старался возить ее туда почаще. Уже очень давно, много лет назад, он вполне отдавал себе отчет в том, что Аннабелла с ним несчастлива, но до тех пор, пока она не раскрыла ему свои карты, никогда не подозревал, что она завела себе любовника.

В Маллингаре он остановился выпить чашку чаю. Только что начали продавать вечерние дублинские газеты. "Геральд" писала о перестановках в итальянском правительстве после инцидента с Акилле Лауро. Доллар опять падает, в Корке закрывается завод по переработке мяса. Он вяло просматривал газету — домой ехать не хотелось. Лердмен, надо думать, уже ей звонил. "Почему бы тебе не приехать сегодня же?" — мог сказать он. Собирать вещи она, очень может быть, начала с самого утра — наверняка понимала, что встреча в "Басвелле" будет носить формальный характер. "Он не станет чинить препятствий, — скорее всего, сказал ей Лердмен. — Он даже готов представить основания для развода". Теперь, когда все трое понимали, на каком они свете, когда ей удалось от него избавиться, ее уже ничто не удержит — останется только собрать вещи и уехать.

В кафе жарко пылал камин.

— Так уютно, как у вас, в наши дни бывает нечасто, — сказал он женщине, которая его обслуживала, и подвинул стул поближе к огню. — Выпью, пожалуй, еще чашечку.

Маленький белый "фольксваген", который он ей подарил, возможно, уже мчится навстречу по дублинскому шоссе. Записку она не оставит — ни к чему. Если "фольксваген" уже проехал, она, наверно, удивится, что не встретила его на шоссе, — машину, припаркованную у входа в кафе, она ни за что не заметит.

— Да, в такую погоду камин не помешает, — сказала, вернувшись с чаем, женщина. — Целый месяц холодно и туман.

— Бывали деньки и получше, прямо скажем.

Выпив в общей сложности три чашки чаю, он вновь выехал на шоссе, поглядывая на встречную полосу — не едет ли белый "фольксваген". Может, она ему погудит? Или он ей? Поживем — увидим.

Он проехал миль пятьдесят, однако машины жены видно не было. Ничего удивительного, сказал он себе, да и с чего он взял, что она уедет сегодня днем? Вещей ведь у нее столько, что за один день все не соберешь. На протяжении последующих нескольких миль он пытался себе представить, каким будет ее отъезд. Из Дублина, чтобы помочь ей, приедет Лердмен? Этот вариант не обсуждался и даже не рассматривался — он бы сразу наложил на него вето. Или Филлис? Такой вариант, естественно, не вызвал бы у него возражений. Чем больше он думал об этом, тем менее вероятным ему казалось, что Аннабелла сможет собраться и уехать без посторонней помощи. Она имела обыкновение, когда возникали сложности, обращаться за помощью к другим. Он представил, как она сидит на второй ступеньке лестницы и болтает по телефону. "Слушай, а ты бы не мог..." — с этих слов начинались обычно ее просьбы и уговоры.

Фары выхватили из темноты знакомый знак с надписью по-английски и по-ирландски; его городок — следующий. Он включил радио. "Танец в темноте", — мурлыкал низкий женский голос. Вот и она с Лердменом танцует сейчас, очень может быть, в темноте. В песне говорилось о прелестях незаконной любви, о жарких объятьях. "Бедная Аннабел-

ла", — произнес он вслух. Угораздило бедняжку выйти за владельца пекарни из заштатного городка. Еще слава богу, что подвернулся этот проныра Лердмен! Что бы она без этого сосунка делала? Песня продолжалась, и он представил, как они, точно влюбленные в кино, бегут навстречу друг другу по пустой улице. Как бросаются друг другу в объятья, а потом, прежде чем обняться вновь, нежно улыбаются. На этом его роль — не злодея, но третьего лишнего — подходит к концу; больше ему в этой пьесе делать нечего.

Но стоило ему въехать в свой город, увидеть первые дома по обеим сторонам знакомой улицы, как он вдруг понял: все, что он вообразил себе дорогой, к реальной жизни отношения не имеет. Мало того, что она не уехала к Лердмену на своем белом "фольксвагене" в его отсутствие, — не уедет она к нему и завтра, и послезавтра, и через неделю. Не уедет и через месяц, и на Рождество, и в феврале, и весной следующего года. Не уедет никогда. Незачем было напоминать Лердмену о том унижении, которое он испытал в школе. Незачем было говорить ему, что она врунья, обзывать его скупердяем. Во время "мужской встречи без свидетелей" все эти подначки и уколы воспринимались естественными и предсказуемыми — тем более под воздействием виски "Джон Джеймсон". Однако что-то заставило его пойти еще дальше — низкорослые мужчины вроде Лердмена всегда ведь хотят иметь детей. "Это гнусная ложь", — наверняка уже сказала она Лердмену по телефону, и Лердмен попытался ее утешить. Но одного утешения и для него и для нее, пожалуй, недостаточно.

Боланд выключил радио. Он подъехал к пивной Донована и с минуту сидел в машине, вертя на указательном пальце ключи. Подойдя к стойке бара, поздоровался со знакомыми, заказал бутылку "Смитвика" с лаймом и стал слушать разговоры о скачках и политике. Постепенно завсегдатаи разошлись, а он все стоял у стойки, выпивал и раздумывал о том, почему же все-таки ему не удалось сплавить ее Лердмену.

Стол

ПРОСМАТРИВАЯ в публичной библиотеке газеты, мистер Джеффс наткнулся в "Таймс" на объявление Хаммондов и на обрывке бумаги записал номер телефона, по которому позвонил в тот же день.

— Да, — несколько нерешительно сказала миссис Хаммонд, — стол, надо полагать, еще продается. Сейчас уточню — подождите.

Мистер Джеффс живо представил себе, как по квартире идет, слегка покачиваясь, крупная немолодая женщина со слегка подсиненными волосами и полными, выступающими из узких туфель ногами.

— Этим, собственно, занимается мой муж, — пояснила миссис Хаммонд. — Во всяком случае, должен заниматься. Хотя вообще-то стол принадлежит мне — достался от бабушки. Да-да, он еще не продан. Никто пока, насколько я понимаю, на него не претендует.

— В таком случае... — начал было мистер Джеффс.

— И почему я решила, что муж мог уже договориться о продаже или даже продать его? Он бы никогда этого не сделал, не посоветовавшись со мной. Стол-то ведь мой. Впрочем, объявление составил и дал в газету он, а не я. У меня ведь, мистер Джеффс, на руках маленький ребенок,

дочка, только-только ходить начинает. Так за день намотаешься — не до объявлений!

— Маленькая дочка — это хорошо, — буркнул мистер Джеффс, глядя в потолок и не улыбаясь. — Достается вам, а?

— Вы бы зашли, раз стол вас заинтересовал. Он настоящий — упоминается в каталогах.

— Обязательно зайду, — сказал мистер Джеффс и назвал день и час.

Положив трубку, мистер Джеффс, маленький человечек, перекупщик мебели, прикинул в уме, что собой представляет миссис Хаммонд. Интересно, подумал он, эта женщина хоть что-то в антикварной мебели смыслит? Он явно ошибся, вообразив, что она полная и средних лет. Она моложе, раз у нее маленький ребенок, и, поскольку она заговорила о том, как устала, он вновь попытался представить ее себе — на этот раз в мягких шлепанцах, с челкой. "Выговор у нее культурный", — сказал себе мистер Джеффс и подумал, что деньги у Хаммондов наверняка водятся, а может, несмотря на ее жалобы на усталость, даже имеется служанка, и не одна. Мистер Джеффс, сделавший небольшое состояние благодаря внимательному отношению к такого рода мелким деталям, прошелся по не застеленному ковром полу своего викторианского дома, хмыкнул и вновь задумался. Все комнаты были заставлены только что купленной мебелью, которую теперь предстояло перепродать.

Миссис же Хаммонд забыла про мистера Джеффса, как только его голос перестал звучать в телефонной трубке. Мистер Джеффс не сохранился в ее сознании потому, что, разговаривая с ним по телефону, она в отличие от него не составила себе о нем ровным счетом никакого впечатления. Для нее мистер Джеффс оставался всего лишь безымянным приказчиком; такой голос мог принадлежать продавцу супермаркета или ювелирного отдела в "Либерти". Поэтому когда служанка, иностранка, изучавшая язык, объявила ей, что, согласно договоренности, явился мистер Джеффс, миссис Хаммонд нахмурилась и сказала:

— Дорогая Урсула, вы наверняка что-то перепутали.

Но девушка настаивала на своем: в назначенное время, по договоренности с ней, явился некий мистер Джеффс.

— Боже! — сообразила, наконец, миссис Хаммонд. — Какая же я дура! Это ведь пришли мыть окна. Скажите ему, чтобы сразу же приступал. И пусть начинает с кухни — там окна самые грязные. А то потом устанет и будет ворчать.

В результате Урсула, девушка из Центральной Швейцарии, провела мистера Джеффса на кухню и распорядилась, чтобы тот начинал с кухонного окна. Получилось, хотя она вовсе не хотела его обидеть, довольно грубо.

— Что?! — удивился мистер Джеффс.

— Начинать с кухни. Так говорит миссис Хаммонд. У этих окон самая большая грязь. Горячая вода в кране.

— Нет, — сказал мистер Джеффс. — Я пришел посмотреть стол.

— Стол я очистила сама. Вы можете встать на него, если подложите под ноги газету.

Не дослушав, что говорит ей в ответ мистер Джеффс, Урсула вышла. Ее не за тем нанимали, чтобы разговаривать с мойщиками окон.

— Странный человек, — доложила она миссис Хаммонд. — Он и стол хочет помыть тоже.

– Меня зовут Джеффс, – сообщил, стоя в дверях с черным котелком в руках, мистер Джеффс. – Я пришел по поводу пристенного столика.

– Как странно! – пробормотала миссис Хаммонд и хотела было добавить, что это какое-то недоразумение, поскольку именно сейчас некто Джеффс моет ее кухонные окна, но вместо этого вскричала: – О Господи! О, мистер Джеффс, какой ужас!

Именно эта путаница, эта глупая ошибка, которая – миссис Хаммонд нисколько не отрицала – произошла по ее вине, убедили ее уступить стол мистеру Джеффсу. Мистер же Джеффс, стоявший на пороге со шляпой в руке, смекнул, что получил некоторое психологическое преимущество, и не преминул им воспользоваться. Он видел, что миссис Хаммонд, хотя и держалась высокомерно, меньше всего хотела его обидеть. Она – славная женщина, решил он точно так же, как покупающий мясо решает, что выбранный им кусок сочен. Она – славный человек, успокоил он себя, и тем легче будет иметь с ней дело. И он не ошибся. По лицу миссис Хаммонд было видно, что она мучается угрызениями совести. Когда она наконец сообразила, в чем дело, и отдала себе отчет в том, что этот человек с чертами лица и произношением лондонского еврея занимается антиквариатом, он поймал на себе ее виноватый взгляд. Она боится, подумал довольный собой мистер Джеффс, что я сочту ее антисемиткой, и он назвал низкую цену, с которой миссис Хаммонд незамедлительно согласилась.

– Можешь меня поздравить, – сказала миссис Хаммонд мужу. – Я продала пристенный столик человечку по имени мистер Джеффс, которого мы с Урсулой вначале приняли за мойщика окон.

Мистер Джеффс сделал на купленном столе пометку мелом и что-то записал в блокнот. Он сидел на кухне своего большого дома и ел рыбу, запеченную в пергаментной бумаге. Его челюсти двигались медленно и заученно и рыбу перерабатывали, как машина. На вкус рыбы мистер Джеффс особого внимания не обращал; он думал о том, что если перепродать стол сэру Эндрю Чарльзу, то, вероятнее всего, можно будет рассчитывать как минимум на стопроцентную прибыль.

"Начинаем нашу ежедневную передачу о сельских жителях", – раздался голос в старом радиоприемнике мистера Джеффса. Мистер Джеффс встал, отнес тарелку на кухню, поставил ее в раковину, вытер руки кухонным полотенцем и, поднявшись на второй этаж, снял телефонную трубку.

– Сэр Эндрю в Африке, – сообщил женский голос, – и вряд ли будет в Лондоне раньше, чем через месяц.

Когда именно он вернется, неизвестно, подумал мистер Джеффс, но уж точно не раньше, чем через месяц. Мистер Джеффс не сказал больше ни слова. Он кивнул, словно в подтверждение полученного сообщения, однако женщина в доме сэра Эндрю Чарльза этого кивка видеть не могла и решила, что звонивший дурно воспитан, раз он даже не счел возможным поблагодарить ее за полученную информацию.

Мистер Джеффс сделал в своей записной книжке еще одну пометку – не забыть позвонить сэру Эндрю через полтора месяца. Как вскоре выяснилось, однако, запись эта не понадобилась, поскольку спустя три дня мистеру Джеффсу позвонил муж миссис Хаммонд и поинтересовался, не продан ли еще стол. Мистер Джеффс сделал вид, что пошел проверить, и, выдержав паузу, сообщил, что стол как будто бы еще "не ушел".

— В таком случае, — сказал муж миссис Хаммонд, — я, пожалуй, его у вас куплю.

Мистер Хаммонд выразил желание заехать и, вопреки уже сказанному, добавил, что стол хочет купить, собственно говоря, не он, а одна его знакомая, и поэтому, если только мистер Джеффс не против, они приедут вдвоем.

— Приезжайте с кем угодно, — сказал мистер Джеффс, заранее ощутивший неловкость, ведь мистеру Хаммонду или знакомой мистера Хаммонда рано или поздно придется сказать, что цена стола за эти три дня возросла вдвое. Так он, конечно же, не скажет, но мистер Хаммонд поймет, что новая цена именно такова.

Когда они пришли, мистер Джеффс сидел на кухне и пил чай. Услышав звонок, он подул на чай (мистер Джеффс был не расточителен), допил его почти до конца и вытер губы кухонным полотенцем. В дверь позвонили снова, и мистер Джеффс бросился открывать.

— Все из-за меня! — воскликнула некая миссис Голболли, стоявшая рядом с Хаммондом. — Это я затеяла историю со столом!

— Миссис Голболли еще его не видела, — пояснил Хаммонд. — Она, как и вы, позвонила по объявлению. Но вы ее опередили.

— Прошу, — сказал мистер Джеффс, вводя посетителей в комнату, где находился стол, и, повернувшись к миссис Голболли, добавил: — Вот он, миссис Голболли. Могу вам его продать, хотя, признаться, я держал его для другого клиента, он сейчас в Африке, но такую вещь ищет давно и готов дать за нее весьма солидную цену. Должен вас об этом предупредить.

Однако, когда мистер Джеффс назвал цену, ни миссис Голболли, ни Хаммонда она нисколько не смутила. Хаммонд извлек из кармана чековую книжку и тут же выписал чек.

— Доставить его вы сможете? — спросил он.

— О да, — ответил мистер Джеффс, — если только это не очень далеко. За доставку, правда, я беру отдельную цену, в нее входит страховка и все прочее. Четыре фунта четыре шиллинга.

На своем микроавтобусе "остин" мистер Джеффс выехал по адресу, который продиктовал ему Хаммонд. По дороге мистер Джеффс прикинул, какую выгоду он извлечет из поездки, которая отнимет у него три четверти часа. Четверть галлона бензина обойдется ему в один фунт и три пенса; если вычесть эту сумму из четырех гиней, то останется четыре фунта два шиллинга и девять пенсов. Время, потраченное на поездку, он в расчет не брал — время для него большой ценности не представляло. Те же три четверти часа он ведь мог простоять в одной из комнат своего большого дома или же прогуливаться взад-вперед, чтобы разогнать кровь в жилах. Не такие уж плохие деньги, решил он, и стал думать о миссис Голболли и Хаммонде, а также о миссис Хаммонд, которая приняла его за мойщика окон. Между Хаммондом и миссис Голболли наверняка что-то есть, хотя и несколько странно, что мужчина и женщина, между которыми что-то есть, заняты приобретением и доставкой антикварной мебели.

У них роман, сказал себе мистер Джеффс. Они познакомились, когда продавался стол, и у них начался роман. Он представил себе, как обстояло дело: к Хаммондам приезжает красавица миссис Голболли и говорит, что хочет купить у них стол. Быть может, даже устраивает сцену: напоминает Хаммондам, что уже звонила и договорилась о встрече.

"Прихожу и что же я вижу?! Что стол уже продан! — заявила миссис Голболли в воображении мистера Джеффса. — Вы должны были мне позвонить, черт возьми! Я занятой человек как-никак!" — "Проходите, миссис Голболли и выпейте коньяку! — говорил в воображении мистера Джеффса Хаммонд. — Как мы можем поправить положение?" — "Во всем виновата я, — призналась миссис Хаммонд. — Надо было окончательно лишиться разума, чтобы отдать наш замечательный стол еврею-перекупщику, некоему мистеру Джеффсу, которого Урсула, все на свете перепутав, отправила мыть кухонные окна". — "Этот стол приносит сплошные несчастья, — сказал Хаммонд, наполняя бокал миссис Голболли. — Выпейте коньяку, миссис Голболли. И про орешки не забывайте. Не церемоньтесь". — "А я уже настроилась, — сказала миссис Голболли в воображении мистера Джеффа. — Обидно до слез!"

Я привез стол для миссис Голболли, — сказал мистер Джеффс женщине с корзинкой для покупок, которая в это время выходила из подъезда.

— Вот как?

— Скажите, на каком она живет этаже? Мне дали этот адрес.

— Здесь таких нет, — ответила женщина. — Не знаю я никакой Голболли.

— Возможно, она въехала совсем недавно. Здесь есть пустая квартира? На этих звонках нет ни одной надписи.

— Я не имею права, — сказала женщина визгливым голосом. — Я не имею никакого права разглашать информацию о жильцах этого дома. Тем более водителю закрытого микроавтобуса. Да я вас знать не знаю.

Тут мистер Джеффс сообразил, что говорит с уборщицей и, хотя она не уходила и внимательно за ним наблюдала, перестал обращать на нее внимание. Он позвонил в одну из квартир наугад, и на его вопрос женщина средних лет ответила, что дом новый, поэтому и жильцы в нем новые, и посоветовала позвонить в двухкомнатную квартиру на чердаке.

— А, мистер Джеффс, — раздался голос красавицы миссис Голболли. — Так вы приехали?

Мистер Джеффс выгрузил стол из микроавтобуса и понес его на чердак. Уборщица стояла в дверях квартиры миссис Голболли и говорила, что за шесть шиллингов готова убирать ее комнаты в любое удобное для нее время.

Мистер Джеффс поставил стол в меньшую из двух комнат, совершенно пустую, если не считать свернутого ковра и ничем не примечательного торшера. Дверь во вторую комнату была закрыта, но он представил себе, как она обставлена: кровать, стенной шкаф, на прикроватном столике два коньячных бокала. Со временем, подумал мистер Джеффс, квартира будет что надо. "Любовное гнездышко", — сказал он себе.

— Большое спасибо, мистер Джеффс, — сказала миссис Голболли.

— Я вынужден взять с вас лишний фунт. Возможно, вам неизвестно, миссис Голболли, что, согласно требованиям Ассоциации антикварных дилеров, мы обязаны взимать с клиентов фунт стерлингов в том случае, когда товар приходится поднимать по лестнице. Если я не взыщу с вас эту скромную мзду, меня могут из Ассоциации исключить.

— Фунт, говорите? Но мне казалось, мистер Хаммонд...

— Это плата за доставку товара на верхний этаж. Я обязан выполнять устав Ассоциации антикварных дилеров. Поверьте, если бы не взносы,

которые я вынужден платить каждые два года, я бы с легкостью вам эту сумму простил.

Миссис Голболли нашла свою сумку, вручила мистеру Джеффсу пятифунтовую купюру, и тот вернул ей три фунта шестнадцать шиллингов, заявив, что больше мелочи у него нет.

— Подумать только! — воскликнула миссис Голболли. — А я-то решила, что уборщица — это ваша жена и что она пришла помочь вам со столом. Поэтому я никак не могла взять в толк, чего это она вдруг заговорила о шести шиллингах в час. Она — именно то, что мне надо.

Мистер Джеффс подумал, что это недоразумение чем-то напоминает ошибку, которую допустила служанка миссис Хаммонд, приняв его за мойщика окон. Подумал, но промолчал. Он представил себе, как миссис Голболли во всех подробностях рассказывает историю со столом Хаммонду, когда они лежат в постели в соседней комнате и курят или же предаются любовным утехам. "Представляешь, я решила, что она жена этого еврейчика. И что у них семейный подряд — у них ведь это в порядке вещей. Я была просто потрясена, когда она заговорила об уборке квартиры".

Мистер Джеффс естественно счел, что тем дело и кончится. Пристенный столик Людовика XVI, некогда собственность бабки миссис Хаммонд, теперь является собственностью любовницы ее мужа или совместной собственностью мужа и любовницы — этого мистер Джеффс точно не знал. Все это весьма любопытно, подумал мистер Джеффс, но тут вспомнил, что были у него и другие дела; чтобы сносно зарабатывать на жизнь, надо покупать и вовремя продавать и другую мебель, не только антикварные столики времен Людовика XVI.

Однако не прошло и двух дней после того, как он отвез стол миссис Голболли, как позвонила миссис Хаммонд.

— Это мистер Джеффс?

— Да, Джеффс слушает.

— Это говорит миссис Хаммонд. Быть может, вы помните, я продала вам стол.

— Я прекрасно вас помню, миссис Хаммонд. Помню, какая забавная произошла ошибка. — И мистер Джеффс — вполне, как ему казалось, правдоподобно — изобразил смех. На самом же деле он в этот момент без тени улыбки изучал потолок.

— Скажите, — продолжала миссис Хаммонд, — этот стол еще у вас? Если он у вас, мне бы хотелось заехать и с вами поговорить.

В воображении мистера Джеффса вновь возникла квартира на чердаке, на этот раз совсем другая; он вообразил, как миссис Хаммонд вносит туда стол и прочую, попавшую ей в руки мебель. Он видел, как миссис Хаммонд идет по улице, разглядывает в витринах магазинов кровати и ковры, и под руку ее держит вовсе не муж.

— Алло, мистер Джеффс, — сказала миссис Хаммонд. — Вы меня слышите?

— Да-да, — отозвался мистер Джеффс. — Я вас внимательно слушаю, мадам.

— И что же?

— Вынужден вас разочаровать, мадам.

— Вы хотите сказать, что стол продан? Уже?

— Боюсь, дело обстоит именно так.

— О Господи!

— Но у меня имеются в наличии и другие столы. В отличном состоянии и за вполне умеренную цену. Если приедете — не пожалеете.

— Нет-нет.

— Обычно я стараюсь дома клиентов не принимать. Однако в вашем случае... ведь мы знакомы...

— Нет, меня это не устраивает. Дело в том, что меня интересует именно тот стол, который я вам продала. Мистер Джеффс, не могли бы вы дать мне имя и адрес человека, который его приобрел?

Этот вопрос застал мистера Джеффса врасплох, и он тут же положил трубку. Когда же миссис Хаммонд, спустя несколько секунд, перезвонила, он уже прикинул, что отвечать в создавшейся ситуации, и сказал:

— Нас разъединили, миссис Хаммонд. Неполадки на линии. Не далее как сегодня утром мне звонил из Нигерии сэр Эндрю Чарльз, и нас дважды разъединяли. Извините.

— Я сказала, мистер Джеффс, что хотела бы узнать имя и адрес человека, купившего этот стол.

— Я не имею права называть имена своих клиентов, миссис Хаммонд. К великому сожалению, подобного рода информация противоречит уставу Ассоциации антикварных дилеров. За подобное нарушение меня могут исключить из рядов Ассоциации.

— О Боже, Боже, мистер Джеффс! Что же мне делать? Посоветуйте, как мне быть.

— Вам это важно? Есть ведь самые разные способы выхода из создавшегося положения. Я мог бы, например, стать вашим агентом. Мог бы в этом качестве связаться с нынешним владельцем стола и попытаться сделать все, что в моих силах.

— В самом деле, мистер Джеффс? Как это мило с вашей стороны.

— В этом случае, правда, мне придется взыскать с вас гонорар, который, по правилам Ассоциации, причитается агенту.

— Да-да, конечно.

— Не хотите ли узнать, какова сумма этого гонорара и как эта сумма высчитывается? Обыкновенно, впрочем, гонорар невелик — речь идет лишь о проценте со сделки.

— Об этом мы договоримся потом.

— Что ж, прекрасно, — сказал мистер Джеффс, который, когда он говорил о гонораре, имел в виду тридцать три и три десятых процента от стоимости покупки.

— Я готова заплатить вдвое больше той цены, которую заплатили мне вы. Если же ваш клиент запросит еще больше, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону для дальнейших инструкций.

— Это — в порядке вещей, миссис Хаммонд.

— Но прошу вас, постарайтесь снизить цену. Впрочем, это очевидно и так.

— Я с вами свяжусь, миссис Хаммонд.

Разгуливая по дому и разминая руки и ноги, дабы упорядочить кровообращение, мистер Джеффс задавался вопросом, отчего в наши дни антикварные столы играют столь значительную роль в любовных фантазиях. Этот вопрос, решил он, представляет для него немалый интерес, ведь, знай он ответ, и он мог бы приобретать столы соответствующей формы и умело их рекламировать. Еще какое-то время он предавался подобным размышлениям, а затем вышел из дому, сел в свой

микроавтобус и отправился к миссис Голболли в надежде застать ее дома.

– Мистер Джеффс? – удивилась миссис Голболли, услышав в домофоне его голос.

– Он самый, – отозвался мистер Джеффс.

Она провела его наверх. Думает, наверно, решил мистер Джеффс, что я приехал продать ей еще что-нибудь, но ведь она меня пустила, а стало быть, не боится, что я буду ее шантажировать.

– Чем обязана, мистер Джеффс? – Миссис Голболли не скрывала своего удивления.

– Я получил интересное предложение относительно стола Людовика XVI. Я бы даже сказал, весьма интересное предложение. Точнее говоря, предложение, которое может оказаться чрезвычайно привлекательным. Вы меня понимаете?

– Но ведь этот стол теперь мой. Вы что, хотите его у меня купить?

– Нечто подобное я и имею в виду. Получив это предложение, я счел необходимым немедленно вам о нем сообщить. "Буду действовать в качестве агента миссис Голболли, – сказал я себе, – в том случае, если бы она пожелала продать эту вещь за цену в полтора раза превышающую ту, которая за нее заплачена".

– О нет, мистер Джеффс.

– Вас такой вариант не интересует?

– Боюсь, что нет. Совершенно не интересует.

– А если мой клиент увеличит цену вдвое? Что бы вы сказали в этом случае? Или что бы сказал в этом случае мистер Хаммонд?

– Мистер Хаммонд?

– Видите ли, мне не вполне понятно, кому из вас принадлежит эта вещь. Вот почему я упомянул этого джентльмена. Может быть, мне следовало связаться с ним. Ведь чек мне вручил мистер Хаммонд.

– Стол – мой. Это подарок. Я бы не хотела, чтобы вы связывались с мистером Хаммондом.

– Нет – так нет. Но поскольку действовал я в ваших интересах, миссис Голболли, поскольку, желая без промедления сообщить вам об этом предложении, я понес определенные транспортные расходы, боюсь, мне придется взыскать с вас гонорар, который обычно взыскивает агент по продажам. Ассоциация антикварных дилеров настоятельно требует от нас взимать с клиентов в подобных случаях соответствующий гонорар. Надеюсь, вы понимаете?

Миссис Голболли сказала, что понимает. Она вручила мистеру Джеффсу деньги, с чем тот и отбыл.

По возвращении домой мистер Джеффс вновь погрузился в размышления и, в конце концов, пришел к выводу, что в сложившейся ситуации имеет смысл позвонить миссис Хаммонд и узнать у нее рабочий телефон ее мужа. Он вышел на улицу, держа в руке лист бумаги, где говорилось, что он глухонемой и ему срочно нужно позвонить. Этот листок он вручил пожилой женщине и указал пальцем на телефонную будку.

– Не могли бы вы дать мне рабочий телефон вашего мужа? – сказала пожилая женщина, набрав номер миссис Хаммонд. – Это очень срочно.

– А с кем я говорю? – спросила миссис Хаммонд.

– Я миссис Лейси, я звоню от имени сэра Эндрю Чарльза, который в настоящее время находится в Африке.

— Это имя я уже где-то слышала, — сказала миссис Хаммонд и продиктовала рабочий телефон своего мужа.

— Вы говорите, что побывали у миссис Голболли, — сказал Хаммонд. — И что же она сказала?

— Мне кажется, она не вполне уяснила себе, о чем идет речь. По-моему, она меня просто не поняла, — ответил мистер Джеффс.

— Этот стол — мой подарок миссис Голболли, и требовать его обратно я не вправе.

— Но предложение чрезвычайно выгодное, мистер Хаммонд.

— С этим я не спорю.

— Я просто позвонил справиться, не могли бы вы, используя ваше влияние на миссис Голболли, попытаться ее уговорить, только и всего. Если конечно вы ее увидите.

— Я вам перезвоню, мистер Джеффс.

Мистер Джеффс поблагодарил, после чего перезвонил миссис Хаммонд.

— Переговоры идут полным ходом, — сообщил он.

Но через два дня переговоры внезапно зашли в тупик. Хаммонд позвонил мистеру Джеффсу и сообщил, что стол остается неотъемлемой собственностью миссис Голболли, и мистеру Джеффсу ничего не оставалось, как ехать к миссис Хаммонд, чтобы получить с нее то немногое, что еще ему причиталось. Он решил, что сообщит ей, как обстоит дело, и на этом история со столом наконец завершится.

— К сожалению, ничем не смогу вам помочь, — сказал он. — Очень сожалею, миссис Хаммонд, но мне остается лишь взыскать с вас то, что мне причитается.

Он назвал сумму, но миссис Хаммонд словно его не слышала. По ее напудренным щекам бежали слезы. Она не обращала на мистера Джеффса никакого внимания. Слезы градом катились по ее лицу, все тело сотрясалось от рыданий.

Не в силах сдержаться, миссис Хаммонд вышла из комнаты. Мистер Джеффс остался — не мог же он уйти, не получив то, что ему причиталось. Он сидел, изучал обстановку и раздумывал, отчего миссис Хаммонд так долго и так горько плакала. Служанка внесла чай; накрывая на стол, она покраснела — вспомнила, должно быть, решил про себя мистер Джеффс, как она велела ему мыть окна на кухне. Он налил себе чаю и съел два песочных печенья. В комнате было очень тихо — как будто после похорон.

— Кто ты такой? — спросила, войдя, девочка лет пяти.

Мистер Джеффс посмотрел на нее и, обнажив передние зубы, выдавил из себя улыбку.

— Меня зовут мистер Джеффс. А тебя?

— А меня Эмма Хаммонд. Почему ты пьешь чай в нашем доме?

— Потому что мне его любезно принесли.

— А что у тебя со ртом?

— Так он у меня устроен. Ты хорошая девочка?

— Почему ты здесь сидишь?

— Потому что я должен забрать то, что приготовила мне твоя мама. Немного денег.

— Немного денег? Ты что, бедный?

— Это деньги, которые твоя мама мне должна.

— Иди играть, Эмма, — сказала, появившись в дверях, миссис Хаммонд, и, когда девочка убежала, добавила: — Извините меня, мистер Джеффс.

Пока она выписывала ему чек, он смотрел на нее и думал о Хаммонде, о миссис Голболли и столе — все трое находятся сейчас на последнем этаже большого жилого дома. Интересно, что будет дальше? Возможно, миссис Хаммонд останется с ребенком одна, и тогда миссис Голболли выйдет за Хаммонда замуж. Возможно, они переедут в этот дом и перевезут сюда стол, ведь миссис Голболли он так нравится. Возможно, они возьмут ту же самую служанку из Швейцарии. А может, миссис Хаммонд с ребенком будет жить теперь в квартире на чердаке. Все они одинаковы, решил мистер Джеффс; даже девочка и та — одного с ними поля ягода, такая же въедливая. Но если уж выбирать, больше всего ему нравилась миссис Хаммонд. Он слышал, что женщины в подобных случаях впадают в безумие и даже покушаются на свою жизнь. Миссис Хаммонд, надо надеяться, этого не сделает.

— Все дело в том, мистер Джеффс... — начала миссис Хаммонд.

— Какая разница. Теперь это не имеет никакого значения.

— Все дело в том, что этот стол принадлежал моей бабушке, которая, умирая, мне его завещала.

— Не огорчайтесь, миссис Хаммонд. Ничего страшного не произошло.

— Мы с мужем сочли, что стол уродлив, и решили от него избавиться.

— Ваш муж счел его уродливым?

— Ну да, и муж тоже. Но в первую очередь я сама. Муж у меня не особенно приметлив.

Мистер Джеффс подумал, что миссис Голболли он заприметил сразу. Миссис Хаммонд, сказал он себе, бесстыдно лжет, она пытается любой ценой сохранить лицо; прекрасно ведь знает, где находится ее стол, — на этот счет у нее наверняка нет никаких сомнений. Рыдала же она от мысли, что бабушкин стол находится в прибежище греха. Мысль эта была для нее непереносимой.

— Поэтому мы дали объявление. Отозвались лишь двое — вы и одна женщина.

Мистер Джеффс встал, готовясь уйти.

— Понимаете, — сказала миссис Хаммонд, — в такой квартире, как наша, для такого стола нет места. Он в нее не вписывается. Сами же видите.

Мистер Джеффс пристально посмотрел на нее — и не в глаза и даже не в лицо; он пристально и серьезно посмотрел на зеленую шерсть ее платья.

— Но почти сразу же после продажи стола, — продолжала миссис Хаммонд, — я пожалела о нашем решении. С этим столом у меня многое связано. Бабушка оставила мне его в знак своей любви и щедрости.

Стол, представил себе мистер Джеффс, стоял в коридоре бабушкиного дома. Маленькую миссис Хаммонд в качестве наказания в комнаты не пускали: часами она стояла в коридоре у стола и горько рыдала. Стол был свидетелем ее унижения тогда, в детстве; издевался он над ней и теперь, молча наблюдая за тем, что происходит в чердачной квартирке. Он видел, как эти двое, миссис Голболли и Хаммонд, ставят коньячные бокалы на стол, медленно идут навстречу друг другу и смачно целуются.

— После того как я его вам продала, стол не шел у меня из головы. Я вспоминала, как бабушка не раз повторяла, что его мне оставит. Только

она одна и любила меня, мистер Джеффс, и меня не покидало чувство, что, продав стол, я словно бы бросаю ей эту любовь в лицо. С того дня, как стол был продан, меня каждую ночь мучили кошмары. Вот почему я так расстроилась.

Жестокая, видать, была бабушка, подумал мистер Джеффс. Наказывала внучку каждый божий день, да еще оставила ей стол, чтобы тот постоянно напоминал о ней внучке, о ее жестокости и властности. Почему миссис Хаммонд не сказала ему всю правду? Почему не сказала, что дух старой мертвой бабушки вселился в стол и что они, бабушкин дух и стол, покатывались теперь со смеху в комнате миссис Голболли? Подумать только, сказал себе мистер Джеффс, до чего дошла эта женщина, а ведь поначалу он отнесся к ней с уважением.

— Простите, что морочу вам голову, мистер Джеффс. И что доставила вам столько хлопот. У вас хорошее лицо.

— Я — еврей, мадам. У меня еврейский нос. Я некрасив. И не умею улыбаться.

Он разозлился, ибо счел, что миссис Хаммонд с ним снисходительна. Она по-прежнему лгала, однако предметом ее лжи стал теперь он сам. Она оскорбляла его рассуждениями о его внешности. Она что, знает его недостатки, его слабости? Да как она смеет?!

— Стол должен перейти от меня к моей дочери. Остаться в семье. Я об этом не подумала.

Мистер Джеффс позволил себе закрыть глаза. Она тут сидит, подумал он, и врет напропалую, а ее собственная дочка в это время играет, ничего не подозревая, в соседней комнате. Со временем и девочка тоже станет лгуньей; она вырастет и научится точно так же скрывать перенесенные унижения — и все ради того, чтобы сохранить лицо, научится лгать и лицемерить.

Стоя с закрытыми глазами и прислушиваясь к своему внутреннему голосу, мистер Джеффс увидел самого себя в своем большом викторианском доме. Обстановка в доме менялась ежечасно, ни один стол, ни один стул не оставался здесь больше месяца. Одну вещь он продавал, другую покупал. Он не застилал пол коврами — и делать этого не собирался. Из всех вещей ему принадлежал лишь старый радиоприемник, да и то потому, что кто-то сказал, что за "это старье" все равно ничего не дадут.

— Почему вы мне лжете? — закричал мистер Джеффс. — Почему не говорите правду?

Он услышал свой собственный голос и, одновременно с этим, увидел, как он молча стоит на голом полу, в одной из комнат своего дома. Не в его обыкновении было кричать на своих клиентов, вмешиваться в их дела, требовать, чтобы они перестали врать. Эти люди сами знали, что им делать, их дела его не касались. Он сам себе готовил, своими проблемами он никого не обременял.

— Вашей бабушки давно нет в живых, — говорил, удивляясь самому себе, мистер Джеффс. — А вот миссис Голболли жива! Она раздевается, миссис Хаммонд, а потом в комнату входит ваш муж и раздевается тоже. И ваш стол все это видит. Тот самый стол, с которым у вас столько всего связано. Стол, который вы знаете с детства, все это видит, и эта мысль для вас непереносима. Почему было не сказать мне правду, миссис Хаммонд? Почему было не сказать прямо: "Послушай, еврей. Договорись с этой миссис Голболли и верни мне мой стол!" Я понимаю вас, миссис

Хаммонд. Я все это хорошо понимаю. Я готов торговать всем на свете, миссис Хаммонд, но такие вещи я понимаю.

В комнате опять воцарилась тишина, взгляд мистера Джеффса пробежал по обстановке и остановился на лице миссис Хаммонд. Он видел, как лицо ее словно бы покачивалось из стороны в сторону — это она качала головой.

— Я всего этого не знала, — говорила миссис Хаммонд. Ее голова перестала покачиваться и застыла, как у статуи.

Мистер Джеффс встал и в полной тишине направился к двери. Затем повернулся и пошел обратно — он забыл выписанный ему миссис Хаммонд чек. Казалось, она его не замечает, и он счел, что в сложившейся ситуации разумнее будет уйти не попрощавшись. Он вышел из дома, сел в свой "остин" и завел мотор.

Отъезжая от дома, он подумал о том, что мог бы поступить иначе: миссис Хаммонд сидит с поникшей головой, а он говорит ей, что ее ложь оправданна. По правде говоря, он мог бы немного утешить миссис Хаммонд, сказать ей несколько теплых слов, потрепать по плечу. Он же вместо этого нанес ей, не подумав, тяжелую травму. Он представил себе ее состояние: сидит неподвижно в той самой позе, в какой он ее оставил, лицо белое, голова от горя ушла в плечи. И сидеть в таком положении она будет до тех пор, пока с беззаботным видом не явится домой ее муж. Она посмотрит на него, на его беззаботное лицо, и скажет: "Только что приходил антиквар, еврей, которому мы продали стол. Сидя вот тут, на этом стуле, он рассказал мне, что миссис Голболли свила для вас у себя в квартире любовное гнездышко".

Мистер Джеффс ехал в своем "остине" и никак не мог отделаться от навеянных происшедшим грустных мыслей. Однако постепенно в этих мыслях и миссис Хаммонд, и ее муж, и красавица миссис Голболли занимали все меньше места. "Я сам себе готовлю, — сказал мистер Джеффс вслух. — Я хороший коммерсант и никого своими проблемами не обременяю". Никаких оснований надеяться, что он мог бы ее утешить, у мистера Джеффса не было. Никаких оснований считать, будто между ним и миссис Хаммонд могла бы возникнуть взаимная симпатия.

"Я сам себе готовлю. Я никого своими проблемами не обременяю", — вновь повторил мистер Джеффс, после чего всю дорогу ехал молча, ни о чем более не думая. Он перестал ощущать холодок грусти, и ошибка, которую он совершил, казалась ему уже непоправимой. Он заметил, что сгущаются сумерки. Он возвращался в дом, где он еще ни разу не разжег камин, где комнаты были заставлены чужой мебелью, наблюдавшей за ним угрюмо, без тени улыбки. Где никто никогда не плакал и никто никогда не лгал.

Эрик-Эммануэль Шмитт

Гость

Пьеса

Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

Эрик-Эммануэль Шмитт (род. в 1960 г.) — один из самых известных современных французских драматургов, чьи пьесы идут в театрах тридцати стран мира. Пьеса "Гость", одно из первых его драматических произведений, получила в 1994 году Мольеровскую премию, победив в трех номинациях: "театральное открытие", "лучший актер" и "лучший спектакль". Пьеса с триумфом прошла по французским и зарубежным сценам. В следующем году несколько европейских столиц увидели "Загадочные вариации" (известные российским зрителям по спектаклям питерского БДТ и московского Театра им. Маяковского). Два сезона подряд (1999 и 2000 гг.) не сходил со сцены парижского театра Мариньи шмиттовский "Отель двух миров". В 2001 году на Авиньонском фестивале была представлена пьеса "Господин Ибрагим и цветы Корана". В том же 2001 году Шмитт получил "Гран-при де театр" от Французской академии.

Мало-помалу Шмитт завоевывает и русскую сцену. Помимо упомянутых спектаклей, в Москве, Петербурге, Новосибирске с успехом идут постановки других его пьес ("Бульвар преступлений", "Последняя любовь Дон Жуана").

Шмитт — мастер неожиданных сюжетных поворотов, блестящих, отточенных диалогов. Одна из причин его популярности — выбор героев, среди которых Фредерик Леметр, Дидро, Гольбах, Дон Жуан и, наконец, загадочный Незнакомец, посетивший Зигмунда Фрейда в публикуемой ниже пьесе "Гость".

© ACTES SUD, 1994
© Н. Мавлевич. Перевод, вступление, 2004

Действующие лица

Зигмунд Фрейд.
Анна Фрейд, его дочь.
Офицер гестапо.
Незнакомец.

Кабинет доктора Фрейда в Вене на Берггассе, 19. Комната в строгом стиле, с панелями темного дерева по стенам, начищенными до блеска бронзовыми статуэтками, тяжелыми двойными шторами. Главенствуют два предмета: письменный стол и диван.

Предельная реалистичность декорации, однако, нарушается в самой верхней части. Над книжными полками раскинулось огромное небо в звездах, которое словно подпирают темные контуры наиболее примечательных зданий Вены. Кабинет ученого распахнут в бесконечность.

Сцена 1

Фрейд, Анна.

Фрейд медленно расставляет по полкам книги, грубо сброшенные кем-то на пол. Он уже в годах, но черные глаза его живо блестят. Старость не вяжется с такой неукротимой энергией, кажется каким-то недоразумением. Всю ночь он будет покашливать, несколько раз, не сдержавшись, скривится — его уже терзают боли в горле, разъедаемом раковой опухолью.

Анна выглядит более утомленной, чем отец. Она сидит на софе с открытой книгой в руках и зевает. Это типичная ученая женщина образца начала века, суровая на вид, с несколько комическими замашками "синего чулка". Внешность ее была бы карикатурной, если бы не детский взгляд и не выражение глубокой, бесконечной любви к отцу, которая читается на лице.

Фрейд. Поди отдохни, Анна.

Анна слабо качает головой.

Я же вижу — ты хочешь спать.

Анна, подавляя зевок, снова отказывается.
С улицы через открытое окно все слышнее становится пение нацистских солдат. Фрейд инстинктивно отшатывается от окна.

(Про себя.) И ведь не скажешь, что плохо поют...

Анна уронила голову на книгу. Фрейд подходит к ней сзади и обнимает.

Моей девочке пора спать.

Анна *(просыпаясь, удивленно).* Где я была?

Фрейд. Не знаю... Во сне...

Анна *(тем же удивленным тоном).* Куда мы уходим, когда засыпаем? Когда все проваливается и даже ничего не снится? Куда мы уносимся? *(Мечтательно.)* Скажи, папа, где мы очутимся, если вдруг проснемся и окажется, что все это: Вена, твой кабинет, книги и эти... вон там... — было только сном?

Фрейд. Ты так и осталась маленькой девочкой. Дети — стихийные философы, они всегда задают вопросы.

Анна. А взрослые?

Фрейд. Взрослые — стихийные болваны, они на них отвечают.

Анна снова зевает.

Ну иди, иди же спать! *(Настойчиво.)* Теперь-то ты уже взрослая!

Анна. А ты — уже нет.

Фрейд. Как это?

Анна *(с улыбкой)*. Ты уже не взрослый.

Фрейд *(улыбаясь в ответ)*. Ну да, я уже стар, это правда.

Анна *(ласково)*. И болен.

Фрейд *(эхом)*. И болен. *(Словно сам себе.)* Возраст... это что-то такое неосязаемое... абстрактное, как сами цифры... Пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят два — что это значит? Голые, ничего не значащие числа — они что-то говорят о других, но к нам самим не имеют никакого отношения. Никто не умеет считать собственные годы.

Анна. Можно забыть о возрасте, но моложе от этого не станешь.

Фрейд. Человек не меняется, Анна, меняется мир вокруг него: люди быстрее ходят и тише говорят, зимы становятся все холоднее, а лета — все жарче, ступеньки — все выше, а буквы в книгах — все мельче, суп теряет аромат, любовь теряет вкус... все сговорилось против тебя, а внутри-то ты такой же, как был. *(С наигранной веселостью.)* Видишь ли, трагедия старости в том, что она всегда обрушивается на молодых! Иди спать.

Анна зевает.

Анна *(раздраженная пением)*. И откуда их столько — разгуливают тут целыми оравами и дерут глотку.

Фрейд. Это не здешние. Немцы самолетами привозят своих людей, вот они и шляются по улицам. *(Упрямо.)* Своих нацистов в Вене нет.

Он натужно кашляет. Анна хмурит брови.

Анна. Да, конечно... Но здесь грабят и измываются над людьми почище, чем в Германии. Я сама видела, как штурмовики волокли старого рабочего с женой, чтобы заставить их стирать с тротуаров надписи в защиту Шушнига[1]. Толпа орала: "Пусть жиды поработают! Давно пора!", "Спасибо фюреру — нашел им работенку!" Тут же, в двух шагах, избивали хозяина бакалейной лавки на глазах у жены и детей... А еще подальше лежали тела евреев, которые не стали дожидаться, пока за ними придут, и выбросились из окна... Ты прав, папа, нацистов в Вене нет... для этой мрази надо придумать словечко посильнее.

Фрейд захлебывается кашлем.

Подпиши эту бумажку, папа, чтобы мы могли уехать!

Фрейд. Это подлая бумажка.

1. Курт Шушниг (1897–1977) — австрийский канцлер с 1934 г., смещенный в 1938 г. Гитлером. (*Прим. перев.*)

Анна. Благодаря твоим связям за границей у нас есть возможность выехать из Вены, причем легально. В нашем распоряжении не больше месяца. Не дожидайся, пока станет слишком поздно!

Фрейд. А как же солидарность, Анна?

Анна. С кем, с нацистами?

Фрейд. Нет, с нашими братьями, которые остаются здесь. С теми, кого грабят, унижают, убивают. Уехать — значит постыдно отречься от них.

Анна. По-твоему, лучше быть мертвым евреем, чем живым? Прошу тебя, папа, подпиши!

Фрейд. Ну хорошо, я подумаю. А теперь иди спать.

Анна мотает головой.

Упряма, как осел!

Анна. Упряма, как сам Фрейд.

Фрейд *(глядя в окно, внезапно оставляет ласково-шутливый домашний тон).* Ты обращаешься со мной как с приговоренным к смерти.

Анна *(живо).* Папа!

Фрейд. Конечно, все мы приговорены к смерти, а я так и вовсе отправляюсь с первым эшелоном. *(Поворачивается к Анне, подходит к ней.)* Не из-за нацистов ты сидишь здесь каждый вечер, и не судьбы Австрии тебя тревожат, ты не отходишь от меня, как будто я вот-вот свалюсь без сознания, вздрагиваешь, стоит мне закашляться, словом, дежуришь около меня. *(Целует ее в лоб.)* Но... не будь слишком заботливой, дочка. Вы обе, ты и твоя мать, так ласковы со мной... не надо этого, а то... а то я прилеплюсь к жизни так сильно, что будет трудно уходить.

Анна поняла и быстро встает.

Анна. Спокойной ночи, папа. Мне действительно хочется спать.

Подходит к отцу, Фрейд снова целует ее в лоб.

Сцена 2

Офицер гестапо, Фрейд, Анна.

Резкий стук в дверь. Грохот сапог.

Не ожидая ответа, в кабинет врывается гестаповский Офицер.

Офицер. Гестапо! *(Через плечо, своим людям.)* Стойте там!

Сапоги грохочут уже в коридоре.

Глаза Фрейда полыхают гневом.

Офицер по-хозяйски, не спеша прохаживается из конца в конец кабинета.

Я зашел к вам просто так, чисто по-дружески, доктор Фрейд... *(Смотрит на полки.)* Ага, мы тут, я вижу, книжечки расставляем. *(Как ему представляется, с тонкой иронией.)* Кажется, я в прошлый раз нарушил порядок у вас на полках, виноват! (*Сбрасывает новую порцию книг.*)

Фрейд *(в тон ему)*. Ничего-ничего, пожалуйста! Всегда приятно пообщаться с эрудированным человеком!

Офицер придирчиво оглядывает полки.

Анна. А что, интересно знать, вы сделали с нашими книгами? Сожгли, как все труды моего отца?

Фрейд. Чем ты недовольна, Анна, скажи спасибо прогрессу! В Средние века меня самого сожгли бы на костре, а теперь жгут всего лишь мои книги!

Офицер *(сквозь зубы)*. Сделать доброе дело никогда не поздно.

Анна инстинктивно подается к отцу, словно желая его заслонить.

Фрейд *(все так же насмешливо, пропустив угрозу мимо ушей)*. Вы нашли, что искали? Документы, подрывающие режим? Как, разве они не были спрятаны между страниц в тех книгах, которые вы унесли? *(Офицер раздраженно отмахивается. Фрейд понимающе кивает.)* Ну-ну... Ладно уж, признаюсь... вы их и не могли найти... потому что... *(переходит на шепот)* самые важные документы такого рода хранятся... да-да... (*Офицер, заинтригованный, подходит поближе.*) Я вам скажу где... *(Помедлив.)* Они хранятся... *(Фрейд тычет себя в грудь)* вот здесь!

Анна *(указывая на себя)*. И здесь!

Офицер угрожающе переводит взгляд с одного на другую.

Офицер. Это, надо полагать, еврейский юмор?

Фрейд *(все так же вызывающе)*. Конечно! Правда, я давно забыл, что я еврей, но нацисты мне напомнили. И я им очень благодарен: быть евреем перед нацистами — самая достойная позиция! Если б я и не родился евреем, то захотел бы им стать! Назло вам! Берегитесь, вы разбудите в людях потаенные силы!

Офицер швыряет на пол еще несколько книг. Потом хватает старинную статуэтку. Фрейд предостерегающе протягивает руку.

Офицер. Скажите-ка, эти штуковины очень ценные?

Анна. Осторожнее!

Фрейд *(перебивая дочь)*. Ничуть! Просто досталось по наследству. Я давно собирался их выкинуть... вам приглянулась вот эта? Хотите, подарю?

Офицер *(ставит статуэтку на место)*. Да нет, зачем мне такое барахло?

Анна и Фрейд облегченно вздыхают.

Анна *(с трудом сдерживая ярость)*. У вас есть ордер? Кто вас уполномочил являться сюда и грабить нас каждый день?

Офицер. Кто-то что-то сказал?

Анна. Вы меня прекрасно слышали, я спрашиваю: кто вам позволил каждый день терзать нас?

Офицер *(Фрейду)*. Надо же, как у вас тут интересно... Я слышу голоса...

Анна. Сдается мне, вы слишком много на себя берете для простого офицеришки. Не забывайте, что у нас есть друзья по всему миру. Сам

президент Рузвельт и даже Муссолини обратились к вашему фюреру, требуя, чтобы нас не трогали и выпустили из страны.

Офицер. Чудно́! А теперь ничего больше не слышу.

Анна *(грубо)*. Ну так убирайтесь вон!

Офицер *(как ужаленный)*. Что-что?

Анна. Довольно! Убирайтесь отсюда и скажите своим кретинам, чтоб не волочили ружья по полу. В прошлый раз Эмилю пришлось три дня драить паркет.

Офицер. Ты понимаешь, с кем разговариваешь, жидовская морда, а?

Анна. Лучше не спрашивай!

Фрейд. Анна!

Офицер замахивается, чтобы ударить Анну, Фрейд становится между ними и, твердо глядя в лицо гестаповцу, быстро и жестко говорит:

Принеси деньги, Анна.

Офицер *(мгновенно успокоившись, с хищной ухмылкой)*. Как вы меня хорошо понимаете, доктор Фрейд!

Фрейд. Это несложно.

Анна. Но, папа, у нас больше нет денег.

Фрейд. Сейф.

Указывает на стену в глубине сцены. Анна подходит к ней, приподнимает картину и открывает потайной сейф. Фрейд обращается к Офицеру самым светским тоном:

Вот о чем вы не подумали, не правда ли?

Офицер. У еврейских собак всегда где-нибудь да закопана косточка про запас.

Фрейд. Можете донести начальству.

Анна *(отцу)*. Зачем ты даешь им еще денег?

Фрейд. Чтоб обеспечить себе мир и покой.

Анна. Если это мир, то я не представляю себе, что такое война!

Фрейд. Не беспокойся, у них воображение побогаче твоего.

Анна *(Офицеру, кладя на стол деньги)*. Берите.

Офицер. Сколько тут?

Фрейд. Шесть тысяч шиллингов.

Офицер. Ничего себе! (*Восторженно присвистывает.*)

Фрейд. Да, недурно. Можете гордиться: мне никогда не удавалось заработать такую сумму за один сеанс.

Офицер *(поспешно сгребает деньги)*. Самое противное у вас, евреев, — это что вы почти не сопротивляетесь.

Анна *(срываясь)*. Ну хватит! Получили свои деньги, так заткнитесь и идите прочь!

Фрейд. Анна!

Анна *(отцу)*. Эта скотина будет тут хамить, а нам, по-твоему, все терпеть, только потому что таких скотов целое стадо?

Фрейд. Анна!

Анна. Да ты посмотри, отец, как у него блестят сапоги! Просто черный мрамор! Он наверняка полирует их часами напролет! *(Гестаповцу.)* Наваксишь и драишь щеткой вот так, вжик-вжик! Приятно, да?

Офицер. Я не...

Анна. А потом берешь тряпочку и водишь, водишь по сапогу, пока не заблестит. Круглый, блестящий! И чем больше блестит, тем тебе приятнее. А с женщиной небось давно не спал? С женщинами получается не так блестяще, а?

Офицер. Она пойдет со мной!

Анна. Куда это?

Офицер. В гестапо!

Анна. Он хочет, чтоб я ему еще что-нибудь рассказала, ему нравится слушать про себя... Хочешь, я тебе объясню, почему ты каждое утро тратишь добрых четверть часа, чтобы сделать идеальный проборчик, волосок к волоску? Или почему обожаешь отутюженные складочки? Почему грызешь ногти? А хочешь, скажу, почему ты воротишь нос от женщин и предпочитаешь пить пиво в мужском обществе?

Офицер *(хватает ее за руку)*. В гестапо!

Фрейд. Нет! Нет!

Анна. Перестань, отец! Так я и испугалась этих подонков!

Офицер. Знаешь, что с тобой сделают за такие слова?

Анна. Да уж как-нибудь знаю получше тебя!

Офицер подскакивает к ней с занесенной для удара рукой.

Фрейд. Дитя мое!

Анна *(дерзко выпрямившись)*. Кто ты такой? Мелкая сошка, пешка, которая понятия не имеет о правилах игры! Мы уезжаем, ты что, не знаешь? Весь мир знает, что мы уезжаем.

Офицер. А ну, за мной! Ты арестована!

Анна. Ну-ну, беги в свое стадо — почувствуешь себя сильнее!

Офицер *(Фрейду)*. Смотри на свое отродье, жид, больше ты ее не увидишь.

Анна. Не волнуйся, папа. Они тебя пугают, потому что знают, что уже поздно, они уже ничего не могут нам сделать.

Офицер. Ничего? Думаешь, ты умнее всех, образина такая? Удачная дочка у тебя получилась, жид!

Уходит и грубо тащит Анну, обхватив ее рукой.

Анна *(с порога)*. Папа, подпиши ту бумагу, слышишь? И ничего не говори маме. Подпиши, иначе мы никогда не получим визу на выезд. *(Вырываясь.)* Отпустите! Я иду с вами...

Они уходят.

Дверь захлопывается.

Сцена 3

ФРЕЙД (один).

ФРЕЙД *(потрясенный, машинально повторяет).* Бумага, бумага! Анна!.. Анна...

Усилием воли пытается успокоиться. Проводит рукой по лбу, подходит к письменному столу, на котором царит рабочий беспорядок. Все еще машинально, но уже не так нервно произносит:

Бумага...

Вдруг ему что-то приходит в голову. Он снимает трубку и решительно набирает номер.

Алло! Посольство Соединенных Штатов? Говорит профессор Фрейд. Вы можете соединить меня с мистером Уайли? Да, Фрейд. По срочному делу. *(Пауза.)* Алло, господин посол? Это Фрейд. Только что забрали Анну... мою дочь... да, гестапо конечно! Прошу вас, сделайте что-нибудь!.. Да... обещаю... подпишу... Да, пожалуйста, перезвоните, я буду ждать!

В волнении кладет трубку и только тогда, в пустоту, добавляет:

Спасибо.

Внезапно вспоминает, о чем просили его Анна и посол.

Бумага... бумага...

Находит наконец нужный листок, садится за стол и, прежде чем подписать, перечитывает.

"Я, нижеподписавшийся, профессор Фрейд, подтверждаю, что после присоединения Австрии к Германскому рейху немецкие власти, и в частности гестапо, проявили должное уважение к моей научной репутации, я имел возможность свободно жить и работать, мне ни в чем не чинили препятствий, и у меня нет ни малейших причин для недовольства".

Со вздохом берет ручку, но вдруг его осеняет идея. Он снова окунает перо в чернила и делает приписку:

"Post scriptum. От всей души рекомендую всем и каждому поближе познакомиться с гестапо".

Затем ставит подпись и посыпает листок песком, чтобы осушить чернила.

Сцена 4

ФРЕЙД, НЕЗНАКОМЕЦ.

НЕЗНАКОМЕЦ появляется внезапно, из-за оконных штор. Как он влезал в окно, видно не было. Появление его должно выглядеть и просто, и таинственно.

Одет он весьма — и даже чересчур — элегантно: фрак, перчатки, плащ, трость с набалдашником — ни дать ни взять денди на выходе из Оперы.

Он смотрит на Фрейда с явной симпатией.

Почувствовав на себе взгляд, Фрейд оборачивается.

Незнакомец *(самым непринужденным тоном)*. Добрый вечер.

Фрейд резко привстает, опираясь на письменный стол.

Фрейд. Что это значит? Кто вы такой?

Молчание.

Что вам угодно?

Незнакомец улыбается, но по-прежнему молчит.

Как вы вошли?

Все та же любезная улыбка и молчание.

Что вам тут нужно?

Фрейду приходит в голову, что перед ним вор.

Денег больше нет, вы опоздали.

Незнакомец *(морщится)*. Вам лучше удаются вопросы.

Фрейд. Кто вы?

Незнакомец улыбается, но отвечать не спешит.

Наконец Фрейд не выдерживает и выхватывает из ящика стола револьвер. Но тут же понимает, насколько нелепо выглядит, и потому держит револьвер в руке, не наводя на Незнакомца.

(Очень отчетливо.) Кто вы такой?

Незнакомец *(беззаботно)*. Вы мне все равно не поверите. А от этой игрушки толку мало. *(Подходит к дивану и изящно опускается на него.)* Давайте лучше поговорим.

Фрейд *(откладывает револьвер)*. Я не собираюсь разговаривать с человеком, который влезает ко мне в окно и не желает называть себя.

Незнакомец. Ну, раз вам непременно так хочется...

Быстро подходит к шторам и скрывается за ними. Через две секунды входит снова, запыхавшийся, расхристанный. Завидев Фрейда — как будто только что, — бросается к нему и падает в ноги.

Сударь, сударь, спасите меня, умоляю! За мной гонятся, спасите! *(Он играет превосходно.)* Вон они, уже там... *(Подбегает к окну.)* Гестапо! Они меня видели. Заходят в дом! *(Снова падает на колени.)* Спасите, не выдавайте меня!

Фрейд *(на минуту захваченный игрой)*. Гестапо?

Незнакомец *(преувеличенно театрально)*. Спрячьте, о, спрячьте меня!

Фрейд *(спохватившись, отталкивает Незнакомца)*. Прекратите!

Незнакомец *(обрывая игру)*. Вам не жалко несчастную жертву?

Фрейд. Вы никакая не жертва, а паяц!

Незнакомец встает.

Незнакомец. Вы сами захотели, чтобы я чего-нибудь вам наплел.

Фрейд *(овладев собой, уверенным тоном)*. Ну вот что, я вижу два возможных объяснения тому, зачем вы сюда явились: вы либо вор, либо больной. В первом случае, вам здесь нечего делать – ваши коллеги из гестапо уже выгребли все подчистую. Во втором же...

Незнакомец. А третьего вы не допускаете?

Фрейд. Вы не больной?

Незнакомец *(его коробит это слово)*. Больной! Какое мерзкое слово – законная лазейка для смерти.

Фрейд. Если вы не больной, то чего ради пришли ко мне?

Незнакомец *(фальшиво)*. Мало ли что еще могло меня привести: любопытство, восхищение.

Фрейд *(пожимает плечами)*. Так говорят все мои больные!

Незнакомец *(фальшиво)*. Может быть, я пришел по поводу одного знакомого...

Фрейд. Вот-вот, а потом так...

Незнакомец *(с досадой)*. Хорошо... предположим, я сам нуждаюсь в вашей помощи... что вы мне можете посоветовать?

Фрейд. Записаться на прием! *(Подталкивает Незнакомца к двери.)* Всего хорошего, сударь, мы выберем время, которое устроит нас обоих, и увидимся через несколько дней.

Незнакомец *(упирается)*. Невозможно. Завтра меня тут уже не будет, а через пару месяцев не будет и вас.

Фрейд. Как вы сказали?..

Незнакомец. Вы поедете в Париж, к принцессе Бонапарт... потом в Лондон, в Мерсфилд-Гарденс, если мне не изменяет память...

Фрейд. Мерсфилд-Гарденс?.. С чего это вам вздумалось... у меня и в мыслях такого нет...

Незнакомец. Точно вам говорю! Да не беспокойтесь, все будет хорошо. Вас примут с почетом, лондонская весна придется вам по душе, вы закончите свою книгу о Моисее.

Фрейд. Вы, я вижу, читаете научную прессу.

Незнакомец. Как там она у вас будет называться? "Моисей и монотеизм"? Не стану говорить, какого я о ней мнения.

Фрейд *(перебивает)*. Я еще не придумал название! *(Повторяет про себя, обдумывая предложение Незнакомца.)* "Моисей и монотеизм"... а что, неплохо... вполне в духе... Вы интересуетесь психоанализом?

Незнакомец. Скорее лично вами.

Фрейд. Кто вы?

Незнакомец *(продолжая прерванную тему)*. Но, что самое странное, вы будете жалеть о Вене.

Фрейд *(резко)*. Ну уж нет!

Незнакомец. Плод распробуешь хорошенько, только когда съешь. К тому же вы из тех людей, которым доступен лишь потерянный

рай. Да-да, вы будете жалеть о Вене... Уже жалеете — могли бы уехать месяц назад, а все не едете.

Фрейд. Просто я надеялся на лучшее. Думал, все уладится.

Незнакомец. Просто вам жаль расстаться с Веной. Здесь, по аллеям Пратера, вы бегали в коротеньких штанишках, в здешних кофейнях излагали свои первые теории, здесь, по набережным Дуная, гуляли в обнимку со своей первой любовью, а потом чуть не утопились в ласковых дунайских волнах... В Вене остается ваша молодость. А в Лондоне ждет старость. *(Прибавляет скороговоркой, словно сам себе.)* И все же я вам завидую...

Фрейд. Скажите, кто вы?

Незнакомец. Вы не поверите.

Фрейд *(желая покончить с раздражающей неопределенностью)*. В таком случае уходите!

Незнакомец. До чего же вы устали от людей, что так спешите отделаться от меня. Я думал, вы более внимательны к пациентам, доктор Фрейд. Выставляете меня вон! Разве можно так обращаться с невротиком? Может быть, вы — его последняя надежда. Что, если я сейчас пойду и брошусь под машину?

На Фрейда речи гостя произвели сильное впечатление, он опускается на диван.

Фрейд. Вы пришли не вовремя, нынче вечером нет никакого доктора Фрейда... Лечить людей... Думаете, если я лечу других, то не могу страдать сам? Иной раз меня разбирает зло на тех, кого я спас, — мне-то никто не поможет, я один со своим горем...

Незнакомец. Она вернется.

Фрейд вопросительно поднимает голову.

Анна. Ее долго не продержат. Никто им не позволит, и они это прекрасно знают. Она скоро вернется, и вы прижмете ее к груди с щемящим чувством, больше похожим на отчаяние, чем на счастье, — вот когда понимаешь, что жизнь держится на тонкой ниточке, и на этот раз она не оборвалась... эта хрупкость дает силы любить...

Фрейд. Кто вы?

Незнакомец. Когда вы вот такой, как сейчас, очень хочется признаться.

Порывается погладить Фрейда по голове.

Тот, удивленный, внезапно принимает решение. Пружинисто встает. В нем просыпается врач.

Фрейд. Вам нужна моя помощь?

Незнакомец *(с оттенком удивления)*. Да. То есть нет. То есть... Мне показалось... э, смешно подумать... пустые надежды... По правде говоря, сильно сомневаюсь...

Фрейд. ...что я смогу вам помочь. Ну, конечно! *(Привычно воодушевляясь.)* Каждый считает себя уникальным, наука же утверждает обратное. Я займусь вами — все равно остается только ждать до утра. *(Смот-*

рит в лицо Незнакомцу.) Странно, почему-то вы не вызываете во мне особой жалости.

Незнакомец. И правильно.

Фрейд *(потирая руки).* Ну что ж. Приступим. *(Заметно оживляется.)* Ложитесь сюда. *(Указывает на диван. Незнакомец укладывается.)* Ваше имя?

Незнакомец. Настоящее?

Фрейд. Таков порядок. *(Терпеливо.)* Назовите свое имя. Имя вашего отца.

Незнакомец. У меня нет отца.

Фрейд. Но вас же как-то зовут.

Незнакомец. Никто меня не зовет.

Фрейд *(раздраженно).* Вы мне не доверяете?

Незнакомец. Это вы мне не верите!

Фрейд. Ну хорошо, попробуем по-другому. Расскажите мне свой сон... самый последний.

Незнакомец. Я не вижу снов.

Фрейд *(ставит диагноз).* Блокировка памяти — случай серьезный, но классический. Тогда просто расскажите что-нибудь.

Незнакомец. Все равно что?

Фрейд. Что угодно.

Незнакомец пристально смотрит на Фрейда, как будто заглядывает ему в самую душу и подпитывается его внутренней энергией, прежде чем заговорить.

Незнакомец. Когда я был маленький, на меня каждый день глядело яркое солнце с безоблачного неба, надо мной щебетали добрые нянюшки, их приоткрытая грудь сладко пахнет ванилью.

И вот однажды утром, когда мне было пять лет, я сидел на полу в пустой кухне. Это была просторная комната, вся мебель в ней жалась по стенам, словно в страхе отступила от пустой середины, по которой во все стороны разбегались косые красные и белые плиточные дорожки. Я любил болтаться на кухне, ползать на четвереньках под ногами у прислуги, перехватить иной раз что-нибудь вкусненькое: ломтик колбасы или крошки от пирога... Почему в тот день там никого не было? Не знаю, это взрослый вопрос, тогда я об этом не задумывался, помню только, что сидел один посреди жгуче-красных и водянисто-белых узоров.

В цветных клеточках таился причудливый мир; это только взрослые видят под ногами просто пол, для ребенка каждая плитка живет сама по себе. На одной получается из бороздок и пятен дракон с разинутой пастью, на другой — цепочка монахов в капюшонах, на третьей — чье-то лицо, прижатое к забрызганному грязью стеклу, на четвертой — что-то еще... Кухня была целой вселенной, с которой соприкасалось множество других вселенных, готовых вырваться из тесных квадратов. И я вдруг закричал. Сам не знаю

зачем. Наверное, чтобы услышать собственный голос или позвать хоть кого-нибудь. Но мне никто не ответил.

Фрейд слушает с нарастающим изумлением.

Пол стал плоским и безликим. Печка спала крепким сном. Плита, на которой обычно всегда пыхтела кастрюля, казалась мертвой.

Фрейд с отрешенным видом, словно вглядываясь в память, шевелит губами вместе с Незнакомцем.

Я кричал и кричал... Мой крик поднимался на верхние этажи, метался в пустых комнатах, где некому было его услышать.

Фрейд *(продолжает, как будто знает все наперед).* Крик облетал весь дом и возвращался ко мне эхом, от которого пустота казалась еще оглушительнее.

Незнакомец *(подхватывает).* Кухня вдруг сделалась какой-то чужой: свежевымытый пол, мебель и то, как она расставлена, – все стало чужим и странным.

Фрейд. Я почувствовал себя отделенным от мира. И тогда я подумал...

Фрейд и Незнакомец *(синхронно).* "Вот это – я. Я – Зигмунд Фрейд, мне пять лет, и я навсегда запомню эту минуту".

Пауза. Фрейд медленно переводит взгляд на Незнакомца.

Незнакомец *(продолжает все тем же сомнамбулическим тоном).* А еще ты подумал, хотя и без слов: "Я кричу и плачу в пустом доме. Меня никто не слышит. Мир – такой же пустой дом, где никто не откликается на зов". *(Пауза.)* Я пришел сказать тебе, что это не так. Есть кто-то, кто всегда слышит тебя. И приходит к тебе.

Фрейд смотрит на Незнакомца со страхом. Подходит к нему, трогает рукой. Убедившись в его реальности, снова отступает.

Фрейд. Это невозможно. Откуда вы узнали? Вы были в гестапо и читали мои бумаги.

Незнакомец. Разве вы где-нибудь об этом писали?

Фрейд *(после паузы).* Нет. И даже никому не рассказывал. *(Пауза.)* Вы все это выдумали!

Незнакомец не отвечает.

Фрейд растерян, ищет, за что бы зацепиться, наконец его осеняет.

Не двигайтесь. *(Берет со стола карманные часы.)* Лежите, вот так...

Незнакомец не противится. Фрейд держит часы на весу у него перед глазами и начинает медленно раскачивать их, как маятник.

Вы устали, расслабьтесь...

Незнакомец *(усмехается).* Вот как, доктор, гипноз? Я думал, вы давным-давно отказались от этого метода.

Фрейд. Когда пациент слишком зажат и не идет на контакт, мои старые добрые часы – лучшее средство. *(Продолжая раскачивать часы, тоном внушения.)* Ваши веки тяжелеют... вам хочется спать... вы пытаетесь поднять левую руку, но не можете... вы устали, очень устали... Усните. Надо спать... спать...

Незнакомец засыпает. В продолжение всей сцены гипноза звучит таинственная, еле слышная, очень красивая мелодия. Мелодичным становится и голос Незнакомца, когда он отвечает на вопросы Фрейда.

Кто вы? Как вас зовут?

Незнакомец. Имя нужно, когда ты окружен себе подобными. Я же один в своем роде.

Фрейд. Кто ваши родители?

Незнакомец. У меня нет родителей.

Фрейд. Они умерли?

Незнакомец. Я сирота от рождения.

Фрейд. Вы ничего не помните о них?

Незнакомец. Ничего.

Фрейд. Почему вы не хотите ничего вспоминать?

Незнакомец. Я хотел бы. Но мне нечего вспомнить.

Фрейд. Что вы хотите забыть?

Незнакомец. Я никогда ничего не забываю, но у меня нет воспоминаний.

Фрейд. Когда вы познакомились с доктором Фрейдом?

Незнакомец. Первый раз, когда я услышал его, он сказал: "Вот это — я. Я — Зигмунд Фрейд, мне пять лет, и я навсегда запомню эту минуту". Его хрупкий, всхлипывающий голосок поднимался ко мне среди прочего земного гвалта.

Фрейд. Но Зигмунд Фрейд старше вас. Сколько вам лет?

Незнакомец. У меня нет возраста.

Фрейд. Вы не могли слышать Зигмунда Фрейда, вы тогда еще не родились.

Незнакомец. Что верно, то верно: не родился и не рождался.

Фрейд. Где вы были, когда слышали его голос?

Незнакомец. Нигде. Ни далеко, ни близко, ни даже в другом измерении. Это... невообразимо. Воображение мыслит образами, а тут их нет: ни лугов, ни облаков, ни лазурных пространств — ничего... Где вы находитесь во сне?

Фрейд. Вопросы задаю я. Где там... у вас... находятся люди?

Незнакомец. Во мне и нигде — так же, как сны в людях.

Фрейд. Где вы сами находитесь в данный момент?

Незнакомец. Сейчас, 22 апреля 1938 года, я нахожусь в столице Австрии Вене, на Берггассе, 19, в приемной доктора Фрейда.

Фрейд. Кто такой доктор Фрейд?

Незнакомец. Человек, автор множества смелых гипотез, как верных, так и ошибочных, — словом, гений.

Фрейд. Почему вы обратились именно к нему?

НЕЗНАКОМЕЦ. Провидцам выкалывают глаза, а пророков поражает рак горла. Он очень болен.

ФРЕЙД. Он скоро умрет?

НЕЗНАКОМЕЦ. Да.

ФРЕЙД. Когда?

НЕЗНАКОМЕЦ. 23 сент... *(Внезапно открывает глаза.)* Простите, доктор, на такие вопросы я не отвечаю.

ФРЕЙД *(обескураженный внезапным пробуждением и ответом Незнакомца).* Но... из гипноза не выходят так резко... вы...

НЕЗНАКОМЕЦ. Если бы я ответил на ваш вопрос, вы могли бы умереть в указанный день по самовнушению. И вина была бы на мне. *(Встает и прохаживается по комнате.)*

ФРЕЙД *(про себя).* Я, кажется, схожу с ума.

НЕЗНАКОМЕЦ. Часто безумие оказывается мудрее разума. *(Разминается.)* Тело – забавная штука, но до чего же быстро все затекает! Я давно отвык. *(Смотрится в зеркало.)* Как я вам нравлюсь? Смешная физиономия, верно? Я воспользовался внешностью одного актера, который родится, когда вас уже не будет.

ФРЕЙД *(машинально).* Красивое лицо.

НЕЗНАКОМЕЦ *(искренне удивленный, снова заглядывает в зеркало).* Нет, правда? Но на меня настоящего ничуть не похоже.

ФРЕЙД *(тоже подходит к зеркалу).* Думаете, я узнаю себя в бородатом старике, который глядит на меня из всех зеркал? Я привык, но все равно не верю, что это я...

НЕЗНАКОМЕЦ. Вам не нравится ваше отражение?

ФРЕЙД. Человек в зеркале открывает рот и поднимает руки вместе со мной, поэтому я говорю о нем: "Это я". Но этот морщинистый лоб, седые волосы, сухие, вялые губы – не мои. У меня лоб был гладкий, волосы темные, хотя разницы, по сути, никакой: мое тело уже и тогда могло не совпадать с моим "я".

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы описываете в точности то, что я испытываю каждый раз, когда приходится воплощаться. Вот уж не думал, что и вы, люди, чувствуете нечто подобное.

ФРЕЙД *(какое-то время молча смотрит на отражение Незнакомца в зеркале).* Простите, но я не могу поверить, что это вы.

НЕЗНАКОМЕЦ. Я знаю. Ты в меня не веришь. Доктор Фрейд – атеист, блистательный атеист, проповедник и неофит атеизма.

ФРЕЙД. Почему вы явились ко мне? Почему не к какому-нибудь кюре или раввину?

НЕЗНАКОМЕЦ *(небрежно).* Беседовать с поклонником – такая тоска! А кроме того...

ФРЕЙД. Что?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я не уверен, что священник поймет меня лучше, чем вы. Эта публика так привыкла вещать и действовать от моего имени, раздавать за меня советы... боюсь, как бы я им не помешал.

С улицы доносятся крики и топот сапог.

Фрейд. Но все же почему ко мне? *(Пауза.)* Чтобы обратить меня?

Незнакомец *(смеется)*. Какая гордыня! Нет. Да и поздно уже. Через несколько месяцев ты опубликуешь своего "Моисея"... Я тебя не обратил.

Фрейд. Но я вас вижу перед собой.

Незнакомец. Ты видишь просто человека.

Фрейд. Вы появились так внезапно.

Незнакомец. Я мог влезть в окно.

Фрейд. Вы знали, что Анну увели в гестапо.

Незнакомец. Об этом знает весь дом.

Фрейд. Не смейтесь надо мной. Как вы могли рассказать мне то, что случилось со мной в пять лет?

Незнакомец. Думаешь, ты уникум? Некоторые умеют сочинять истории, в которых каждый узнаёт себя, — такие люди называются писателями. Может, я не Бог, а просто хороший писатель?.. Мало ли мальчуганов вдруг осеняло посреди кухни, что они существуют!

Фрейд *(сердито отметая все эти доводы)*. Ерунда, меня не проведешь!

Незнакомец *(подходит к нему вплотную)*. Странное дело, дорогой мой Фрейд, с чего это ты вдруг жаждешь веры и знать не желаешь никаких сомнений... *(Неожиданно.)* Сколько тебе было лет, когда он умер?

Фрейд. Кто?

Незнакомец. Твой отец?

Фрейд. Сорок лет.

Незнакомец. Не прикидывайся, что не понимаешь: сколько тебе было лет, когда он умер в твоей голове?

Фрейд *(неохотно)*. Это было так давно...

Незнакомец. Тебе было лет тринадцать, да, ты прожил целых тринадцать земных лет, когда вдруг понял, что отец может ошибаться, мало того, упорствовать в своих ошибках, а то, что ты принимал за силу правоты, на самом деле косность невежества. Ты обнаружил в нем слабые стороны, увидел, что он бывает робким, нерешительным, боится соседей и жены... Тебе стало ясно, что отцовские принципы — не законы мироздания, вечные и непреложные, как солнце на небе, а просто его частные мнения, привычные, как старые тапочки, просто затверженные фразы, которые он без конца повторяет, как будто это делает их вернее и убедительнее. До тебя дошло, что он стареет, руки его становятся дряблыми, кожа тускнеет, спина горбится, рассудок слабеет. Словом, в один прекрасный день ты понял, что твой отец — обыкновенный человек.

Фрейд. В тот день во мне заговорил взрослый.

Незнакомец. Ты думаешь? Нет, Фрейд, в тот день в тебе заговорило малое дитя и ты кинулся к Богу. Обманутая любовь искала утеше-

ния в вере. Ты пожелал заменить смертного отца бессмертным, сверхъестественным, которого поместил на небо.

Фрейд. Но...

Незнакомец. Не спорь, об этом написано во всех твоих книгах. Поскольку земной отец для тебя умер, ты перенес его на небеса. Таково, по-твоему, происхождение идеи Бога: человек создает Бога, потому что очень хочет в него верить. Бог есть человеческий вымысел. Удовлетворение некой потребности. *(Говорит все громче.)* Выходит, я — иллюзорное утешение?! *(Кричит.)* Так?

Фрейд *(слабым голосом)*. Так.

Незнакомец. Ну, а если так, то ты просто бредишь, Фрейд. А я — всего лишь плод твоей фантазии.

На лестнице слышатся голоса и шаги солдат.

Фрейд. Ни один человек не мог бы сказать мне такого, как вы только что под гипнозом.

Резкий стук в дверь. Фрейд в смятении смотрит на Незнакомца, словно спрашивая его, что происходит.

Незнакомец (*шепотом*). Ну, отзовитесь же!

Незнакомец быстро прячется за шторой. В тот же миг входит Офицер гестапо.

Сцена 5

Фрейд, Офицер, Незнакомец за шторой.

Офицер подозрительно обшаривает взглядом комнату.

Офицер. Долго отзываетесь! *(Подает знак оставшимся в прихожей солдатам.)* Продолжайте без меня.

Фрейд. Где моя дочь?

Офицер *(озираясь)*. В гестапо.

Фрейд. Скоро вы ее отпустите?

Офицер. Видно будет. Пока что ребята с ней развлекаются. Она у вас прелесть! *(Меняя тон, резко.)* Вы тут один?

Фрейд *(через силу)*. Разумеется. Как видите.

Офицер *(подойдя к письменному столу)*. О, да вы, я гляжу, подписали документик... *(Он берет со стола подписанную бумагу и прячет в карман.)* Что ж, весьма разумный поступок.

Фрейд. А моя дочь?

Офицер *(все еще озираясь по сторонам, словно кого-то ищет)*. Немного терпения! Если вы уедете, вам непременно вернут ее... мы будем только рады избавиться от еврейской семейки.

Фрейд. И вы вернете ее... целой и невредимой?

Офицер *(смачно гогочет)*. А что? Вы еще надеетесь выдать ее замуж? *(Стоя перед книжными полками, серьезно.)* У меня на евреев особый нюх — я их чую не глядя.

Фрейд. В самом деле? Вы и меня унюхали?

Офицер *(со смехом)*. А как же!

Фрейд. И чем же от меня пахнет?

Офицер *(простодушно)*. Пахнет не от вас, а от меня, когда вы рядом.

Фрейд. Чем же?

Офицер. Говном.

Фрейд *(не веря своим ушам)*. Простите?

Офицер. Ну да, и так каждый раз. Если я вдруг начинаю чувствовать себя жалким ничтожеством, переживать, что у меня нет и не предвидится денег, что я не нравлюсь женщинам, значит, где-то рядом угнездился и смотрит на меня еврей. Стоит оглянуться — и точно! Уж это безошибочный признак! Как только появляется еврей, так от меня идет вонь. Всегда, всегда из-за евреев! Вот и сейчас, когда я тут, у вас, когда вижу эту роскошную мебель, эти картины, обои, этот стол, все эти книги, которых я не читал, у меня перехватывает горло: я знаю, что я у еврея.

Фрейд. Странно. Когда я собой недоволен, то виню самого себя.

Офицер. Самого себя, то есть еврея — все правильно! *(Упорно.)* В общем, говорю же — чутье у меня, особый нюх! *(Тут же, без всякого перехода, достает из кармана какую-то бумагу – из-за нее-то он и пришел.)* Это вам знакомо?

Фрейд не отвечает. Вид этого документа явно приводит его в смущение.

Странно, почему вы не запрыгали от радости... Наверняка же беспокоились, что потеряли... Завещание — полезная вещь... особенно в вашем возрасте... и в нынешние времена...

Фрейд. К чему вы клоните?

Офицер. Ясно к чему. Из вашего завещания я вижу, что у вас имеются банковские счета за границей. А вы нам ничего об этом не сказали — нехорошо!

Фрейд *(упавшим голосом)*. Вы меня не спрашивали...

Офицер. Переводить деньги за кордон непатриотично. Вы обкрадываете государство... Не угодно ли вернуть все на родину? И как можно скорее!

Фрейд. Эти деньги отложены для моих детей...

Офицер. Ну вот! Как раз сейчас они очень пригодились бы вашей дочери... может, ее будут допрашивать не так пристрастно... *(Вкрадчиво.)* О завещании знаю я один. Если я покажу этот листочек в гестапо, могут выйти неприятности. Для вас. И для вашей дочери.

Фрейд *(сдается)*. Чего вы от меня хотите?

Офицер. Ну, прежде всего, хорошенько поразмыслите... Уж это вы, наверное, умеете делать, профессор... *(Одной рукой встряхивает завеща-*

ние, другой показывает на бумагу, которую только что подписал Фрейд.) Ведь эта бумага, пожалуй что, может аннулировать вон ту, а?

В коридоре слышен топот солдат. Офицер поворачивается к двери и кричит им:

Здесь никого нет, проверьте следующий этаж.

ФРЕЙД *(машинально).* Вы кого-нибудь ищете?

ОФИЦЕР. А вы никого случайно не видели? Ну и ладно... *(Останавливается на пороге.)* Так подумайте и решите, что вам делать. По-моему, эта история должна остаться между нами... понимаете, что я хочу сказать? *(Широко улыбается.)* Я зайду попозже...

Уходит.

Сцена 6

ФРЕЙД, НЕЗНАКОМЕЦ.

НЕЗНАКОМЕЦ выходит из-за шторы. Он смотрит куда-то вдаль, как будто созерцает какое-то видение.

НЕЗНАКОМЕЦ. Этот человек лжет.

ФРЕЙД *(подавленный).* К сожалению, он прав. У меня действительно есть счета за границей.

НЕЗНАКОМЕЦ. Он солгал про Анну. Ее не допрашивают.

ФРЕЙД *(встревоженно).* Анна! Что с ней делают?

НЕЗНАКОМЕЦ *(пристально вглядываясь вдаль).* Она в гестапо, в отеле "Метрополь". Сидит в коридоре, ждет.

ФРЕЙД. Это хорошо.

НЕЗНАКОМЕЦ. Ничего хорошего. Она понимает, что если ее не допросят и она так и останется в коридоре, то вечером ее могут забрать вместе с другими евреями и отправить в лагерь... или расстрелять.

Фрейд с воплем бросается на Незнакомца и хватает его за воротник.

ФРЕЙД. Сделайте что-нибудь!

НЕЗНАКОМЕЦ. Надо, чтобы ее допросили.

ФРЕЙД. Действуйте же! Скорее!

Незнакомец спокойно отстраняет его и продолжает описывать то, что видит.

НЕЗНАКОМЕЦ. Она что-то нащупывает в кармане... не могу разобрать, что это... какой-то флакон...

Фрейд бессильно падает на стул.

ФРЕЙД. Я знаю, что это такое. Это веронал. Она выпросила его у Шура, моего врача. Хотела, чтобы мы вместе покончили с собой.

НЕЗНАКОМЕЦ *(на миг отрываясь от созерцания).* Она вам это предлагала?

ФРЕЙД. Да.

НЕЗНАКОМЕЦ. И что вы ответили?

ФРЕЙД. Что нацистам только этого и надо, а значит, делать этого ни в коем случае нельзя.

НЕЗНАКОМЕЦ *(снова углубляясь в созерцание)*. Пока что она просто сжимает флакон в руке, для успокоения. А теперь подносит руку ко рту и... (*Громко смеется.*)

ФРЕЙД. Что она делает?

НЕЗНАКОМЕЦ *(сквозь смех)*. Прокусывает себе запястье... ага, вот пошла кровь!

ФРЕЙД *(вне себя от волнения)*. Что такое? Что с ней?

Незнакомец отрывается от видения, словно выключает какой-то аппарат.

НЕЗНАКОМЕЦ. Отлично, все идет как по писаному.

ФРЕЙД. Что?! Что там происходит?!

НЕЗНАКОМЕЦ *(скороговоркой)*. Сбежались гестаповцы. Такие, как они, преспокойно уничтожат миллионы людей, но никогда не оставят без помощи женщину, если она поранилась до крови, какой бы пустячной ни была царапина. Анна добилась своего — привлекла к себе внимание, и сейчас ее допросят. Не беспокойся за свою дочь, дорогой Фрейд, она у тебя умница...

Фрейд потрясен рассказом.

ФРЕЙД. Я... я... мне кажется, я могу вам верить.

Незнакомец утвердительно кивает. Улыбаясь подходит к Фрейду, берет его за руки и ободряюще их пожимает. Но слова его плохо сочетаются с добродушной улыбкой.

НЕЗНАКОМЕЦ. Пятьсот самоубийств в Вене за последний месяц. В основном евреи.

ФРЕЙД. Откуда вы знаете?

НЕЗНАКОМЕЦ. Из газет. Нацистские власти опубликовали крохотное опровержение: дескать, слухи преувеличены, добровольно ушли из жизни не пятьсот, а только четыреста восемьдесят семь человек. Эти господа во всем любят точность.

В вестибюле снова раздаются шаги солдат и голос Офицера, выкрикивающего приказания.

ФРЕЙД *(в страхе)*. Вот он! Что я ему скажу? Если соглашусь, у нас не останется ни гроша.

НЕЗНАКОМЕЦ. Измени расстановку сил.

ФРЕЙД. Каким образом?

Незнакомец берет со стола фотографию и протягивает Фрейду.

НЕЗНАКОМЕЦ. Воспользуйся вот этим.

ФРЕЙД. Этой фотографией? Что от нее толку? Что мне ему сказать? Останьтесь со мной!

НЕЗНАКОМЕЦ. Ну-ну, дорогой мой Фрейд, не будь ребенком. Теперь-то уж, кажется, мог бы не сомневаться.

Фрейд. Останьтесь, пожалуйста! Поговорите с ним!

Незнакомец. Это просто смешно! Да он меня и не увидит. Сегодня я видим только для тебя.

Сцена 7

Фрейд, Офицер, Незнакомец за шторой.

При появлении Офицера Незнакомец быстро прячется. Фрейд все еще держит в руке фотографию, которую дал ему Незнакомец.

Офицер. Итак, профессор Фрейд, вы подумали?

В присутствии гестаповца к Фрейду мгновенно возвращается самообладание, хотя он по-прежнему не знает, что делать.

Фрейд. Подумал. (*Тянет время, расхаживая взад-вперед по кабинету. Медленно, глядя на гестаповца.*) Подумал, да... и вот... (*Лихорадочно соображая.*) Мне случайно попалась фотография моего дяди Симона (*сует ее под нос Офицеру*), и видите ли...

Офицер (*не глядя на фотографию*). Хватит болтать. Каким образом вы передадите мне деньги?

Фрейд (*придумав тактику*). Да-да, сейчас скажу... так вот, я разглядывал портрет дяди Симона и вспомнил то, что вы говорили о своем необыкновенном нюхе на евреев. А что такое нюх? Нюх — это нос. Понимаете, нос? И странное дело... мне показалось... да нет... я, должно быть, ошибся...

Офицер. Что такое?

Фрейд. Ну, просто мне пришло в голову... что этот нюх... что все из-за носа...

Офицер (*встревоженно*). Что-что?

Фрейд. У вас точь-в-точь такой же нос, как у дяди Симона, а он был равином.

Офицер инстинктивно прикрывает нос рукой.

Конечно, я не ахти какой физиономист, но тут такое сходство... прямо бросается в глаза... как будто вы в кровном родстве... Заметьте, у меня нос гораздо прямее, чем у вас... Но я еврей! Притом что я и в синагогу не хожу. Но я еврей! Притом что никогда не гонялся за деньгами. Но я еврей! Нет, это, право, странно, вам никогда никто не говорил про ваш нос?

Офицер (*пятясь*). Мне пора.

Фрейд. Может быть, среди ваших родственников...

Офицер. Все, я ухожу.

Фрейд. Вы правильно сделали, что ополчились на евреев. Надо выбрать, на чьей вы стороне. И истребить их всех! Всех до единого! Ведь чем опасны евреи — тем, что никогда нельзя быть уверен-

ным, что ты сам не еврей! *(С нажимом.)* Так вы хотели поговорить о моих заграничных вкладах?

Офицер *(поддаваясь на шантаж).* Да нет, не стоит.

Фрейд. Почему же, я охотно поговорю с вашим начальством... об этих деньгах... о том, что вы утаили от них мое завещание... и о моих любительских соображениях относительно некоторых ваших физических данных... приятная будет беседа...

Офицер. Не стоит. Я... я никогда не видел вашего завещания...

Фрейд. А моя дочь? Скоро она будет дома?

Офицер. Скоро.

Фрейд *(с иронической улыбкой).* Очень скоро?

Офицер. Возможно. А вы скоро уедете?

Фрейд *(с такой же улыбкой).* Очень скоро.

Офицер. До свидания, доброй ночи.

Фрейд. Доброй ночи. *(Офицер шагнул к выходу.)* Знаете, господин гестаповец, теперь я вижу, что́ есть во мне специфически еврейского и чего нет у вас: через несколько дней мы, то есть я, моя жена и дети, с узлами и баулами будем в дороге, в изгнании; еврей — всегда изгнанник, должно быть, это его главное свойство.

Офицер *(бесстрастно).* Прощайте.

Гестаповец уходит, Фрейд радостно потирает руки — он одержал победу. Он подходит к шторе, за которой спрятался Незнакомец, чтобы разделить с ним ликование. Но Офицер снова показывается на пороге: несмотря на свой конфуз, он все же вспомнил, что привело его в дом Фрейда.

Так, значит, вы никого не видели?

Фрейд *(он удивлен, но отвечает не раздумывая).* Никого.

Офицер *(удовлетворенно).* Ну хорошо.

Фрейд. А кого я мог видеть?

Офицер *(уходя).* Не важно, раз вы ничего не видели.

Фрейд *(с неожиданной настойчивостью удерживая гестаповца).* Да в чем дело? Что я должен был видеть?

Офицер. Да ничего, доктор. Просто сбежал какой-то тип. Он скрылся в одном из домов на Берггассе. Мы ищем его уже целый час.

Фрейд *(быстро и взволнованно).* Тут его нет.

Офицер. Я вам верю. До свидания. (*Снова порывается уйти.)*

Фрейд. А откуда он сбежал? Из тюрьмы?

Офицер. Из ближайшей лечебницы. Сумасшедший. Некоторые видели, что он забежал в ваш дом. Поищем на других этажах.

Фрейд. Что у него: истерия, депрессия, мания? Что значит — сумасшедший?

Офицер *(с профессиональной убежденностью).* Да псих! *(Пауза.)* Но неопасный. Всякие бредни про себя рассказывает, ну знаете... принимает себя за Гёте или там за Наполеона...

Фрейд *(с тревогой)*. Мифоман!

Офицер. До свидания, доктор, и заприте на всякий случай покрепче окна и двери... (*Уходит.*)

Сцена 8

Фрейд, Незнакомец.

Фрейд, потрясенный, не в силах пережить утрату своей едва обретенной веры, словно окаменел.

Незнакомец медленно выходит из-за штор и закрывает окно.

Потом поворачивается к Фрейду.

Незнакомец. Вальтер Оберзайт.

Фрейд *(безучастно)*. Что?

Незнакомец. Вальтер Оберзайт. Так зовут человека, которого они ищут.

Фрейд. То есть вас.

Незнакомец не возражает. Пауза.

Незнакомец. Вальтер Оберзайт. Несчастный, которого до двенадцати лет держали запертым в погребе. Так что он вырос в полном мраке, ни разу не видел света и не слышал человеческого голоса. Когда его выпустили, он сначала очень долго ни на что не реагировал и его сочли полоумным. А потом заговорил и стал выдумывать про себя невероятные истории, как будто хотел наверстать отнятую у него жизнь, тогда его назвали мифоманом.

Фрейду так тяжело, что он предпочел бы ничего не слышать.

Никто никогда не мечтал, склонившись над его колыбелью, о том, кем он станет. Не желал ему таланта, успеха, счастья в любви. Сумасшедшие вырастают из детей, о чьем будущем некому было мечтать. *(Пауза.)* Я сам почти такой же.

Фрейд *(беззлобно)*. Странно: вы меня одурачили, а я на вас не сержусь. (*Подходит к окну и открывает его.*) И даже наоборот: чувствую какое-то облегчение, как будто избавился от занозы, которая причиняла мне боль...

Незнакомец. Это было сомнение.

Фрейд *(стоя у открытого окна)*. Весь мир сегодня корчится от боли.

Слышно, как где-то далеко поют нацистские солдаты.

Его сотрясают злобные вопли. А у меня сегодня отняли дочь и первый раз в жизни я не хочу лечить пациента, который пришел ко мне за помощью. (*Поворачивается к Незнакомцу.*) Я не стану лечить вас. Ни сегодня, ни завтра. Я не верю больше в психоанализ. Не верю в этот мир... *(Про себя.)* Стоит ли спасать канарейку, когда гибнет весь город? Какое может быть лечение? Пытаться исцелить рассудок отдельного человека, когда сходит с ума целый

мир?.. *(Снова отвернувшись от Незнакомца.)* Вас в самом деле никто никогда не любил?

НЕЗНАКОМЕЦ *(дрогнувшим голосом).* Любил? По-настоящему? Не знаю.

ФРЕЙД *(не глядя на Незнакомца).* Без любви так страшно одиноко.

Незнакомец не отвечает — у него перехватило горло от волнения.

Если бы я не любил Анну, Марту, сыновей, я бы не смог больше жить.

НЕЗНАКОМЕЦ. Но это любовь не только ваша, а еще и тех, кого вы любите, — они вам платят тем же...

ФРЕЙД. Вы правы.

НЕЗНАКОМЕЦ. ...если же любишь без взаимности, то и в любви бываешь одинок, так одинок!..

ФРЕЙД *(оборачивается к Незнакомцу и неловко берет его за руку).* Дело не в том, что вы меня обманули, — я на вас не в обиде. Но сегодня я не в состоянии ничего делать, я только жду мою девочку, мою Анну. Приходите завтра. И мы... поговорим... Я... может быть, не сумею полюбить вас... но попытаюсь вылечить, а это тоже своего рода любовь... *(Принимает решение.)* Да, я возьмусь за лечение.

Незнакомец не выпускает руки Фрейда, и тот, при всей своей неприязни к таким проявлениям чувств, не отнимает ее.

Смотрите, мы с вами, два страждущих человека, одни со своей болью... Вот доказательство того, что Бога нет... Небо над нами пусто, безучастно к нашим страданиям.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы так думаете?

ФРЕЙД. Разум рассеял иллюзии... Нет больше никаких святых, надежда только на врачей. Человеку может помочь только другой человек. *(Пауза.)* Я помогу вам.

НЕЗНАКОМЕЦ *(задушевно).* Но только что... признайтесь... ведь вы поверили в меня... *(указывает на небо)* поверили в Него?

ФРЕЙД *(смущенно).* У меня помутился рассудок.

НЕЗНАКОМЕЦ *(с усмешкой).* А теперь затмение прошло? *(Фрейд кивает.)* Значит, вам легче поверить в Вальтера Оберзайта, чем в Господа Бога?

ФРЕЙД. Я уже стар, господин Оберзайт. Всю жизнь я боролся с глупостью и косностью, отстаивал разум, лечил людей, не зная ни покоя, ни отдыха, и что в результате получил? Иногда нарыв в горле так смердит, что даже Тоби, мой верный пес, не подходит ко мне и виновато смотрит из угла... Я хотел бы умереть чистой и быстрой смертью, а обречен на долгую агонию. Сколько раз хотелось мне воззвать к Богу, вкусить сладостного утешения, обрести в вере силы, чтобы выдержать боль и встретить смерть. Но я всегда подавлял эти порывы. Это было бы слишком просто. И сейчас едва не поддался искушению только потому, что во мне заговорил страх.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вот и надо было поддаться.

Фрейд. С меня достаточно других наркотиков, я не желаю еще и этого.

Незнакомец. Чем же он плох?

Фрейд. Это наркоз разума.

Незнакомец. Но если ваш разум нуждается в наркозе?

Фрейд. Не разум, а животное во мне хочет верить, тело ищет облегчения своих мук, затравленный зверь, косуля, окруженная сворой собак, еще надеется на спасение... Бог — это отчаянный вопль плоти!

Незнакомец. Значит, вы не хотите верить, потому что от веры вам стало бы легче?

Фрейд *(в ярости)*. Я не верю, потому что все во мне жаждет веры! Не верю, потому что хотел бы верить! Не верю, потому что был бы счастлив, уверовав!

Незнакомец *(с легкой насмешкой)*. Но послушайте, доктор Фрейд, если это желание так велико, зачем вытеснять его? Зачем препятствовать себе? Насколько я помню ваши труды...

Фрейд. Это опасное желание!

Незнакомец. Опасное для кого? Для вас?

Фрейд. Для истины... Я не могу позволить себе обольщаться.

Незнакомец. Истина — суровый повелитель.

Фрейд. И неумолимый...

Незнакомец. И ненасытный!

Фрейд. Удовлетворение — не признак истинности. *(Развивает свою мысль.)* Человек бредет по темной пещере, господин Оберзайт. Единственный свет, который у него есть, дает факел, сделанный из пропитанного маслом тряпья. Он знает, что пламя скоро погаснет. А вера заставляет его надеяться на то, что впереди в конце туннеля есть дверь, ведущая к свету... Атеист знает, что никакой двери нет, света у него ровно столько, сколько он сможет добыть своими силами, а туннель закончится вместе с жизнью. Поэтому, конечно, ему больнее, когда он натыкается на стену... утрата его страшнее, когда он теряет ребенка... И ему труднее вести себя достойно и честно... но он это делает! Ему страшно, жутко во тьме... но он идет. Хоть боль и страх становятся все нестерпимей, неизбежная смерть — все ближе... и сама жизнь превращается в смертельную болезнь...

Незнакомец. Ваш атеист — просто отчаявшийся человек.

Фрейд. Такое отчаяние называется мужеством. Атеист отказался от иллюзий, он променял их на мужество.

Незнакомец. И что же он при этом выиграл?

Фрейд. Достоинство.

Пауза. Незнакомец подходит к Фрейду. Заговаривает сердечно и мягко:

Незнакомец. Ты слишком горд этим своим мужеством.

Фрейд. Не говорите мне “ты”!

Пауза.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы на меня злы?

ФРЕЙД. Я не могу сейчас чувствовать ничего, кроме боли, для злости не осталось места.

Незнакомец снова порывисто берет его за руки.

НЕЗНАКОМЕЦ. Благодарю вас! *(Пауза.)* Вы можете упрекнуть меня за то, что я пришел только теперь. Но если бы я явился вам раньше, это ничего бы не изменило. Вы прожили бы ту же самую жизнь, Фрейд, достойную, благородную, прекрасную жизнь...

ФРЕЙД *(усталым голосом)*. Прекратите строить из себя Бога, Вальтер Оберзайт. Здоровая часть вашего сознания прекрасно знает, что это ложь. (*Высвобождает руки.*)

НЕЗНАКОМЕЦ *(отстраняясь с улыбкой)*. Значит, в Бога вы не верите, а в Вальтера Оберзайта верите. *(Кланяется.)* Ему это весьма лестно. *(Насмешливо.)* Но где доказательства тому, что Вальтер Оберзайт существует?

ФРЕЙД *(без улыбки)*. Послушайте, я слишком устал.

НЕЗНАКОМЕЦ. Дело не в усталости, просто вы непрестанно думаете об Анне. Это очень трогательно, но довольно оскорбительно.

ФРЕЙД *(с нарастающим гневом)*. Так или иначе, сегодня вам лучше оставаться собой, то есть самозванцем... потому что, будь вы действительно Богом...

НЕЗНАКОМЕЦ *(с интересом)*. Что же тогда?

ФРЕЙД *(приподнимаясь)*. Будь вы Богом, это значило бы, что вы выбрали самое неподходящее время, явившись мне здесь и теперь... О, если бы Бог существовал!

НЕЗНАКОМЕЦ. Если бы он существовал, то что?..

ФРЕЙД. Я ничего не имею против вас. Но Бог!.. Если бы он вдруг возник из небытия, куда я поместил его... то я бы...

НЕЗНАКОМЕЦ. Так что же, если бы он очутился перед вами?

ФРЕЙД. Если бы он очутился передо мной, я бы спросил с него за многое... Я бы спросил...

Гнев его нарастает, он вскакивает с места.

НЕЗНАКОМЕЦ *(раззадоривая его)*. Вы бы его спросили?...

ФРЕЙД. Я бы ему сказал... *(С прорвавшейся наружу яростью.)* Чтобы он посмотрел в окно и протер глаза! Знает ли он, Господь Бог, что зло топчет начищенными до блеска кованными сапогами мостовые Берлина и Вены, а скоро затопчет всю Европу? Знает ли он, Всемогущий, что к власти пришла партия ненависти и в ней сплотилась ненависть к евреям, цыганам, ко всем инакомыслящим и слабым?

НЕЗНАКОМЕЦ *(про себя)*. Еще бы ему не знать!

ФРЕЙД. Да если б даже зло не разлилось столь явно, не подняло оружие и не обагрилось кровью, его и без того хватает — я видел его всегда и везде, с того самого дня, когда, ребенком, сидел на кухонном

полу, кричал и звал кого-нибудь и никто в целом свете не отозвался. *(Подступает к Незнакомцу.)* Если бы Бог предстал передо мной, я обвинил бы его в том, что он морочит людей — раздает обещания и не держит их!

Незнакомец. Не держит обещаний?

Фрейд. Зло — это нарушение обещанного. *(Размышляет вслух.)* Ибо что такое смерть, как не нарушенное обещание жизни — той, что пульсирует в моих жилах вместе с кровью! Когда я ощупываю себя, когда мой ум пьянит блаженство бытия, я не сознаю себя смертным; смерти нету нигде — ни в голове, ни в утробе... я не чувствую смерти и знаю о ней лишь в теории, лишь понаслышке. Как бы я узнал о том, что умру, если бы мне об этом не сказали? Смерть коварно бьет в спину. Сам по себе я бы о ней и не помыслил, я бы считал себя бессмертным. Смерть ужасна не тем, что несет пустоту, а тем, что нарушает обещание, полученное с жизнью. И повинен в этом Бог! А что такое боль, как не разочарование в совершенстве телесной цельности? Вот наше тело, созданное для движения, для радости, целое и невредимое, — и вдруг оно оказывается уязвимым, уродуется, разрушается! Выходит, нас обманули! Нет, от боли страдает не плоть, любая рана калечит душу, ибо это нарушает обещание. И повинен Бог! Ну, а что такое вражда, зло, которое причиняют друг другу люди, как не нарушение гармонии? Все сулило гармонию: тепло материнской груди, глубокий нежный голос, обращенный к нам, когда мы еще не понимали слов, и то согласие с миром, что было нам даровано, когда весь мир еще сводился к двум заботливым рукам, которые ласкали, баюкали, кормили, — куда все это делось? Откуда взялись ненависть и злоба? Опять нарушенное обещание. И снова в нем повинен Бог!

Но горшее из зол, зло изощреннейшее, зло, которого не может искупить вся наша жизнь, — это наш убогий, куцый разум, тупящийся еще сильнее от наших собственных потуг развить его. Похоже, Бог даровал нам разум только для того, чтобы мы то и дело упирались в его ограниченность, он дал нам жажду, но не дал воды. Мы воображаем, будто можем все понять и познать, мним себя способными на самые смелые обобщения и тонкие построения, но нашего ума на это не хватает. И что же? Мы ничего не понимаем. Мы познаем жалкие крохи. Проживи я хоть три тысячи лет — я все равно не разгадаю тайну звезд на небе, пусть даже пересчитаю их все до единой, и все равно не постигну, что я делаю здесь, на этой земле, в этой грязи. Скудость нашего разума — вот последнее из несбыточных обещаний. Жизнь была бы прекрасна, когда бы она не была одним большим обманом... Жизнь была бы легка, когда бы я не воображал, что она должна быть долгой, счастливой и справедливой...

Незнакомец. Ты слишком много от нее ждал.

Фрейд. Надо было сделать меня глупее, чтобы я не питал лишних надежд... Так что, господин Оберзайт, если бы Бог существовал, то это был бы Бог-обманщик, который много сулит и ничего не исполняет! Такой Бог — творец зла. Ибо зло — это нарушение обещанного.

НЕЗНАКОМЕЦ. Позвольте я объясню.

ФРЕЙД. Объяснить значит оправдать, я не хочу никаких объяснений. Раз Бог доволен тем, что сделал, доволен этим миром, то это очень странный Бог: жестокий, коварный, преступный, Бог-человеконенавистник и отец всякого зла. Такому лучше вовсе не существовать. Потому что если он есть, то это не Бог, а дьявол!

Незнакомец отшатывается.

НЕЗНАКОМЕЦ. Фрейд!

ФРЕЙД. Вы, Вальтер Оберзайт, обманщик, искусный обманщик, но вы должны признать, что есть обманщик и почище, всем плутам плут — сам Господь Бог.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вы бредите.

ФРЕЙД. Так что, если бы Бог предстал передо мной сегодня и сейчас, когда мир переполнен слезами, а моя дочь в лапах гестапо, я бы сказал ему: "Тебя нет! Если ты всемогущ, значит, ты зол, а если ты не зол, то, значит, не всемогущ. Одно из двух: злодей или слабак, то и другое не достойно истинного Бога. В тебе нет никакой нужды. Существование Вселенной, в которой нет справедливости, объяснимо и так: атомы, игра случая, хаотические столкновения — всего этого вполне достаточно. А ты... ты — бесполезная гипотеза!"

НЕЗНАКОМЕЦ *(мягко)*. На это Бог ответил бы: "Если бы ты мог, как я, видеть грядущее, твои упреки были бы еще страшнее, но ты бы обратил их на подлинного виновника!" *(Прищуривается.)* Если бы ты заглянул вперед... *(Отрешенно, провидческим тоном.)* Этот век будет самым диковинным из всех, какие видела земля. Его назовут веком прогресса, но это будет также век великой чумы. Вслед за красной чумой на Востоке нагрянет коричневая — здесь, на Западе. Это она дошла ныне до стен Вены, но то, что вы наблюдаете, — лишь первые бубоны, еще немного — и она охватит весь мир, почти не встречая сопротивления. Вас изгоняют, доктор Фрейд? Считайте, что вам повезло. Других — твоих друзей, сестер, учеников — убьют. Уничтожат тысячи и тысячи невинных людей: их будут по несколько десятков загонять в камеры, похожие на душевые павильоны, только вместо воды пустят газ, а потом их же братьев заставят выгребать и сваливать в кучу трупы. Нацисты наловчатся делать мыло из жира убитых... намыливать себе задницу тем, что так ненавидишь, — странная идея, не правда ли?

И эти две чумы — не последние, причина же всех таких эпидемий — один и тот же вирус, тот самый, что мешает вам уверовать в меня, — гордыня! Гордыня человеческая никогда еще не заходила так далеко. Когда-то она бросала вызов Богу, теперь же пытается занять его место. В человеке есть божественное начало, и именно оно побуждает отрицать Бога. На меньшее вы не согласны. Вам понадобилось расчистить место, и вот, пожалуйста: мир — порождение случая, беспорядочного мельтешения молекул. Нет никакого высшего правителя, и диктовать свою волю отныне будете вы сами. Править всем! Никогда еще мания величия так не кружила головы, как в нынешнем веке. Человек управляет

природой — и вот вы загрязняете небо и землю! Человек управляет материей — и вы сотрясаете планету! Человек управляет политикой — и вы устраиваете тоталитаризм! Человек управляет жизнью — и вот вы заказываете себе детей по каталогу! Человек управляет своим телом — и вот вы так боитесь болезни и смерти, что готовы на все, лишь бы выжить, готовы не жить, а прозябать под наркозом, как овощи в теплице! Человек управляет моралью — и вы уверены, что нравственные законы изобретаются людьми, а значит, все они стоят друг друга, иначе говоря, не стоят ничего! Единственным идолом останутся деньги, ему построят храмы повсюду, во всех городах, человек же без Бога будет тешиться пустыми умствованиями.

Сначала вы будете радоваться тому, что убили Бога. Ведь если человек ничем не обязан Богу, значит, все в руках человеческих. Долгое время ваше мнимое величие останется неколебимым. Вы будете превозносить свой ум. Таких ничтожных и самодовольных философов не видел свет!

Но потом, и этого ты пока не видишь, Фрейд, — потом человечество лишится света. И юноше, который спросит у зрелых мужей, желая разрешить извечные сомнения молодости: “Скажите, в чем смысл жизни?” — никто не сможет дать ответа.

И это будет делом ваших рук.

Твоих в том числе.

Вы, великие века сего, сводите человека к человеку, а жизнь к жизни. И получается, что человек, точно запертый в одиночке безумец, разыгрывает шахматную партию между своим сознанием и подсознанием! Твоя теория навеки заточает человека в тюрьму. Ты сам еще испытываешь азарт первооткрывателя, ты вспахиваешь целину, закладываешь основы... но подумай о других, о тех, кто еще не родился: что за мир ты им оставишь? Вот он, твой атеизм! На деле это суеверие еще нелепей всех, что были раньше!

Фрейд *(ужасаясь)*. Я не хотел...

Вдруг Фрейд отдает себе отчет, что говорит с Незнакомцем, как будто тот и впрямь Господь Бог. Он хватается за голову, стонет и пытается совладать с собой.

Вы чрезвычайно умны, Вальтер Оберзайт, и, должно быть, очень несчастны. Но, к сожалению, я ничего не смыслю в пророчествах, это не по моей части... и я думаю, нам обоим будет лучше, если вы сейчас уйдете.

Незнакомец. Куда? В сумасшедший дом?

Фрейд. Мы увидимся завтра, обещаю!

Незнакомец. Тогда уж лучше выдайте меня вашему знакомцу из гестапо — он будет в восторге, и вы выиграете в его глазах.

Фрейд. Нет, возвращайтесь сами в свою палату...

Незнакомец *(уточняет)*. ...в свою камеру! *(Короткая пауза.)* Впрочем, по нынешним временам, пожалуй, даже безопаснее считаться сумасшедшим.

Пауза. Фрейд, взвинченный до предела, закуривает сигару несмотря на то, что у него саднит горло. Незнакомец участливо смотрит на Фрейда и садится прямо напротив него.

Но почему вы не хотите уступить самому себе?

Фрейд *(импульсивно)*. Уступить себе? Никогда! Да и в чем уступить?

Незнакомец. Поверить.

Фрейд *(с почти маниакальным упорством)*. Кем бы я был, если бы уступал себе? Заурядным еврейским врачом на покое, всю жизнь лечил бы насморки да вправлял вывихи! *(Встает.)* Я не нуждаюсь в вере. Мне нужно точное знание. Позитивные результаты. И доводов безумца, пусть даже гениального, слишком мало, чтобы... *(Внезапно осененный.)* Вы правда Вальтер Оберзайт, да или нет?

Незнакомец. А как по-вашему?

Фрейд. Я спрашиваю вас! Вы Вальтер Оберзайт?

Незнакомец. Я бы сказал вам "нет". Но ведь Вальтер Оберзайт ответил бы так же.

Фрейд *(с живостью)*. Отлично! Значит, вы утверждаете, что вы Бог? Ну так докажите!

Незнакомец. Что-что?

Фрейд. Если вы Бог, то докажите! Я верю только тому, что вижу собственными глазами.

Незнакомец. Но вы же видите меня.

Фрейд. Я вижу просто человека.

Незнакомец. Надо же мне было как-то воплотиться. Явись я в виде паука или цветочного горшка, мы вряд ли нашли бы общий язык.

Фрейд. Сотворите чудо.

Незнакомец. Вы шутите?

Фрейд. Сотворите чудо!

Незнакомец *(хохочет)*. Фрейд, доктор Фрейд, один из величайших умов всех времен и народов, доктор Фрейд просит у меня чуда!.. В кого прикажете мне превратиться, друг мой, в шакала, в солнце, в Зевса на небесном троне, в кровоточащего Христа на древе или в Пречистую Деву Марию в пещере? А я-то приберегал свои чудеса для глупцов...

Фрейд *(в бешенстве)*. Глупцы видят чудеса во всем, а провести ученого не так легко. Жаль, что Господь ни разу не явил какого-нибудь чуда в Сорбонне или в научной лаборатории.

Незнакомец *(с сарказмом)*. Если вы мне поверите, вот это будет чудо.

Фрейд. Не можете? *(Холодно.)* Ну же, чудо!

Незнакомец. Смешно! *(Внезапно уступая.)* Ну ладно! *(Притворно размышляет.)* Вы готовы? Будьте любезны, подержите мою трость.

Протягивает Фрейду трость, тот инстинктивно берет ее. В тот же миг трость переворачивается и превращается в пышный букет цветов. Фрейд изумлен, восхищен.

Незнакомец, глядя на его реакцию, хохочет.

Фрейд понимает фокус, видит всю нелепость своей просьбы и бросает букет на пол.

Фрейд. Уходите немедленно! Вы не только мифоман, но еще и невротик с садистскими склонностями. Настоящий садист!

Незнакомец не перестает смеяться и окончательно приводит Фрейда в ярость.

Да, надо быть садистом, чтобы нарочно выбрать эту страшную ночь! Воспользоваться моей слабостью!

Незнакомец резко обрывает смех. Говорит почти сурово.

Незнакомец. Не будь этой слабости, как бы я мог войти?

Фрейд. Довольно! Не хочу ничего больше слышать! Покончим с этим раз и навсегда! Вылезайте обратно через это окно и убирайтесь на все четыре стороны!

Раздается вежливый стук в дверь.

(Раздраженно.) Войдите!

Сцена 9

Офицер, Фрейд, Незнакомец.

Входит Офицер гестапо. Повадка его изменилась — он держится учтиво, даже почтительно.

Незнакомец при виде его отступает в темный угол. Фрейд саркастически следит за ним.

Офицер *(заискивающе)*. Профессор, я осмелился снова побеспокоить вас, чтобы вернуть вот этот документ... ваше завещание... которого я никогда не видел и не держал в руках.

Вопросительно смотрит на Фрейда, проверяя, согласен ли он пойти на мировую.

Фрейд. Где моя дочь?

Офицер. Ее сейчас допрашивают. Но это ненадолго, надо думать, простая формальность. По крайней мере, я дал кое-какие указания по этому поводу.

Фрейд вместо ответа протягивает руку и берет завещание.

Фрейд. Хорошо. Я вас больше не задерживаю.

Офицер неловко кланяется и собирается уйти.

Офицер. Ах да, еще я хотел вам сказать... об этом беглом сумасшедшем... он нашелся.

Фрейд. Что?

Офицер. Ну, этот шизанутый из психушки... он прятался в вашем дворе за мусорными баками. Его поймали и сдали санитарам.

Фрейд. Зачем вы мне это рассказываете?

Офицер. Простите, мне показалось, что вас это интересует. (*Снова поворачивается к двери.*)

Фрейд. Вы совершенно уверены в том, что сказали?

Офицер. О чем?

Фрейд. Об этом сумасшедшем? Это точно он?

Офицер. Без всякого сомнения.

Фрейд. Вальтер Оберзайт?

Офицер. Как-то так... Вы его знаете? Во всяком случае, врачи из лечебницы очень обрадовались, что его отыскали так быстро. Говорят, когда он в хорошей форме, то способен кого угодно заставить поверить во что угодно!.. Но не тут-то было, уж мы свою работу знаем — он снова под замком. Всего хорошего.

Фрейд (*растерянно*). До свидания.

Офицер *уходит.*

Сцена 10

Фрейд, Незнакомец.

Фрейд, чтобы справиться с волнением, закуривает толстенную сигару.

Незнакомец выходит из угла и смотрит на него с состраданием. Потом подходит и мягко отнимает сигару.

Незнакомец. Смертельный огонь и так уже пожирает тебя. Не стоит прибавлять углей...

Фрейд, присмирев, не противится.

Пауза.

Фрейд напряженно смотрит на Незнакомца.

Фрейд. Зачем ты пришел?

Незнакомец (*слегка смущенно*). Вы говорите так, потому что поверили или опять хотите от меня избавиться?

Фрейд. Так зачем же?

Незнакомец (*увиливая*). Я не уверен в вашей искренности.

Фрейд (*мягко и властно, с твердостью опытного врача*). Это вы неискренни. Зачем вы пришли? Скажите мне правду.

Незнакомец. Ну хорошо. Скажу...

Вдруг ему становится очень не по себе.

(*Тревожно.*) Фрейд! У меня прилила кровь к голове...

Фрейд (*спокойно*). Я вижу. Вы сильно покраснели...

Незнакомец. И в висках стучит... Что со мной?

Фрейд. Это робость.

Незнакомец. Что, так всегда бывает, когда собираешься сказать правду? Теперь я понимаю, почему люди так много лгут. *(Усмехаясь.)* Вот что значит добросовестно воплотиться!

Фрейд *(не сводя с него глаз).* Довольно отговорок. Зачем вы пришли?

Незнакомец *(сухо).* Во всяком случае, не затем, чтобы тебя обратить.

Фрейд. Так зачем же?

Незнакомец. От скуки...

Фрейд. Неправда...

Незнакомец. Остерегайтесь отбрасывать нелепые объяснения, они часто оказываются истинными. *(Помолчав, с оттенком вызова.)* Нет, причина не в скуке, а в зависти. Я вам завидую.

Фрейд. Завидуете? Вы? Чему?

Незнакомец *(тоном уайльдовского денди).* Тому, что вы люди. Тому, что вы тупые, грубые скоты! Вы думаете, так уж хорошо быть Богом? *(Садится, изящно закинув ногу на ногу.)* Я все ведаю, всем владею, я сам есмь всё. Самодостаточный, округлый, наполненный собою, как яйцо, — я сыт собою по горло, мне все успело опостылеть с начала мира! Чего я мог бы пожелать, раз все имею? Все, кроме конца. Ибо я бесконечен... мне не доступна ни смерть, ни загробная жизнь... я даже не могу поверить ни во что, кроме себя самого... Знаешь, что такое божественное бытие? Тюрьма, единственная, из которой никак не сбежать.

Фрейд. А как же мы?

Незнакомец. Кто "мы"?

Фрейд. Мы, люди? *(Нерешительно.)* Разве мы не... не забава для вас?

Незнакомец. Слушайте, вы когда-нибудь перечитываете свои труды?

Фрейд отрицательно качает головой.

(Лекторским тоном.) Я — превыше всего, и нет ничего превыше меня. Я создал все. И куда ни подайся — везде или я сам, или мои твари. Люди слишком самонадеянны, чтобы предположить, что Богу не так уж приятно их общество, а где ему взять другое?! Быть всем чудовищно скучно... И страшно одиноко...

Фрейд *(мягко).* Одиночество царя...

Незнакомец *(повторяет, как эхо, задумчиво).* Одиночество царя...

С улицы доносится шум погони. Нацисты преследуют мужчину и женщину. Затравленные вопли беглецов. Резкие выкрики нацистов. Фрейд и Незнакомец болезненно вздрагивают.

(Внезапно.) Вы мне верите?

Фрейд. Не совсем.

Незнакомец. И правильно.

Мужчину и женщину на улице догоняют и начинают избивать. Они страшно кричат. Это невыносимо.

Фрейд вскакивает и устремляется к окну. Незнакомец встает у него на пути.

Пожалуйста, не надо.

Фрейд. И вы все это допускаете!

Незнакомец. Я создал человека свободным.

Фрейд. Свободным творить зло!

Незнакомец *(не подпускает его к окну, между тем крики усиливаются).* Одинаково свободным творить добро и зло, иначе это не было бы свободой.

Фрейд. А сами ни за что не отвечаете?

Вместо ответа Незнакомец отступает и позволяет ему пройти. Фрейд подскакивает к окну. Крики стихают. Слышен только удаляющийся топот сапог.

Незнакомец устало опускается на стул.

Их схватили и увели... *(Поворачивается к Незнакомцу.)* Куда?

Незнакомец *(обессиленно).* В лагеря...

Фрейд. В лагеря?

Фрейд ошеломлен этим известием. Он подходит к Незнакомцу, который расстроен еще больше, чем он сам...

Остановите их! Прекратите все это! Как же можно верить в вас после всего этого? Остановите! (*Трясет его за ворот.*)

Незнакомец. Не могу.

Фрейд *(бешено).* Вмешайтесь! Остановите этот ужас! Ну! Быстро!

Незнакомец. Не могу. Я больше не могу!

Собрав все силы, Незнакомец встает, подходит к окну, закрывает его. Теперь хотя бы не слышно грохота сапог...

В изнеможении он прислоняется к стеклу.

Фрейд. Ты всемогущ!

Незнакомец. Нет. В тот миг, когда я сделал людей свободными, я утратил свое всемогущество и всеведение. Если бы я создал механических роботов, то мог бы все знать заранее и все держать под контролем.

Фрейд. Тогда зачем ты вообще сотворил этот мир?

Незнакомец. Из того побуждения, которое заставляет делать все глупости, через которое все возникло и без которого ничто бы не возникло... из любви.

Смотрит на Фрейда, тот в замешательстве.

Ты отводишь глаза, мой Фрейд, любящий Бог тебе не по вкусу? Ты предпочел бы Бога карающего, с насупленными бровями, гневным челом, и мечущего молнии? Все вы, люди, хотите не любящего, а грозного Отца...

Подходит к сидящему Фрейду и опускается перед ним на колени.

Чего ради стал бы Я создавать вас, если не потому, что возлюбил? Но вам не нужна Моя любовь, не нужен Бог, который проливает слезы... страдает... *(Ласково.)* Ну да, тебе милее Бог, пред которым ты бы простирался ниц, а не такой, коленопреклоненный...

Стоит перед Фрейдом на коленях. Держит его руку. Фрейд смущенно смотрит в сторону.

Незнакомец поднимается с колен и подходит к окну, откуда доносится мелодия. Открывает окно. Нацисты поют свои марши.

Правда, красиво поют?

Фрейд. К сожалению, да. Если бы глупость всегда была безобразна...

Незнакомец. Вы, люди, любите красоту...

Фрейд *(удивленно)*. А вы нет?

Незнакомец. Я?.. *(Припоминая.)* Пожалуй, как-то раз... было что-то такое необычайное...

Он поднимает голову и жадно расширяет ноздри. Все явственнее звучит поющий женский голос. Фрейд прислушивается.

Мне ведом шепот облаков, крик диких гусей, когда они, взяв курс на Африку, острым клином вспарывают небесную гладь, мне ведомы сны кротов, любовные стоны земляных червей, мятежный бег комет, но такого...

Музыка становится все громче...

Такого я не знал.

Музыка нарастает. Это ария Графини "Dove sono i bei momenti" из "Свадьбы Фигаро".

Сначала я подумал, что это какой-то из земных ветров заплутал на Млечном Пути... я подумал... что это любящая мать открывает мне объятия где-то в глубинах бесконечного Космоса... я подумал...

Фрейд. Что это было?

Незнакомец. Моцарт. Это может заставить уверовать в человека...

Громко звучит ария. Фрейд сидит за столом, опустив голову на руки, слушает с закрытыми глазами.

Незнакомец незаметно для него прячется за штору.

Сцена 11

Анна, Фрейд, Незнакомец за шторой.

Анна быстро входит в кабинет. Увидев отца за письменным столом, останавливается. Фрейд ее пока не видит и не слышит.
Стоя прямо перед ним, она взволнованно его окликает.

Анна. Папа!

Музыка обрывается. Фрейд выходит из забытья и, задыхаясь от боли и радости, шепчет имя дочери.

Фрейд. Анна...

Они обнимаются.

Фрейд, со слезами на глазах, гладит ее, как маленькую девочку.

Анна, радость моя, горе мое, счастье мое...

Анна прижимается к нему и плачет.

Они сделали тебе что-то плохое?

Анна. Пальцем не тронули.

Фрейд еще сильнее прижимает ее к груди.

Расспрашивали про наше общество... хотели знать, имеет ли Ассоциация психоанализа отношение к политике... Я, кажется, убедила их, что не имеет... Папа, ты меня раздавишь...

Фрейд ослабляет объятия.

...наврала, что мы просто кучка безобидных любителей... самой стыдно... *(Спохватывается.)* Нельзя медлить ни минуты. Я слышала там страшные вещи: насколько я поняла, евреев угоняют в какие-то лагеря, а что там с ними потом делают, неизвестно...

Фрейд *(мрачно)*. Я знаю.

Анна смотрит на него изумленно.

Анна *(продолжает)*. Но хуже всего, папа, что евреи молчат. Их сгоняют туда, в гестапо, они часами безропотно ждут, их оскорбляют, плюют им в лицо, увозят, а они — ни слова.

Раздраженно шагает из угла в угол.

Они ведут себя так, будто всё это заслужили! Но в чем их вина? В том, что они евреи? Это что, преступление, проступок — быть евреем? А маленькая Маша, твоя внучка, которая только-только родилась, чем она виновата? Тем, что родилась? Что живет на свете?

Фрейд. Мы уедем отсюда.

Анна. Уедем и все расскажем. Чтобы весь мир знал.

Фрейд. Уедем и будем молчать. Потому что в Вене у меня остаются две сестры... и им придется расплачиваться. Потому что остаются другие евреи, которым отомстят за нашу дерзость...

Анна. Как, ты тоже?! Тоже будешь молчать?

Фрейд. Меня, так или иначе, уже держит за горло смерть.

Анна бросается ему на грудь.

Уедем, мы скоро уедем, детка!

Фрейда душит кашель.

Анна. Ты курил!

Фрейд. Я дожидался тебя.

Анна. Все равно, тебе нельзя курить!

Фрейд хватается за горло, его мучает боль.

Фрейд. Узел затягивается, Анна. *(Собираясь с силами.)* Уедем отсюда. Я вел себя легкомысленно, держал тебя здесь несмотря на опасность, думал только о своей шкуре, старой, никому не нужной шкуре, которая присохла к Вене... *(Вдруг соображает, что Незнакомец исчез.)* Да где он? Я хотел вас познакомить. Он только что был здесь...

Анна. О ком ты говоришь?

Фрейд *(заглядывает за шторы)*. Пока тебя не было, ко мне пришел один гость... гость необыкновенный... он вселил в меня надежду...

Анна. Кто же это?

Фрейд *(торжественно)*. Незнакомец! Но с ним стоит познакомиться, большего я пока не могу тебе сказать. *(Безуспешно ищет повсюду.)* Но как же... он не выходил... ни через дверь, ни через окно... Мы разговаривали, когда ты пришла.

Анна. Ты был один.

Фрейд. Он просто спрятался, когда тебя увидел. Мы спорили.

Анна *(нежно)*. Папа, когда я вошла, ты спал сидя за столом.

Фрейд *(возмущенно)*. Не может быть! Я не спал!

Анна. Тогда где же твой гость?

Фрейд яростно хлопает по шторам.

Фрейд. Я не спал, я не спал! Ты слышала музыку?

Анна. Я пойду приготовлю травяной чай, а потом ты расскажешь, что тебе приснилось.

Она выходит.

Сцена 12

Фрейд, Незнакомец.

Незнакомец входит в дверь, через которую только что вышла Анна.

С растроганной и чуточку насмешливой улыбкой наблюдает за Фрейдом, который продолжает искать его.

Незнакомец. Я не хотел мешать вам с дочерью.

Фрейд *(оборачивается)*. Где вы были?

Незнакомец *(уклончиво)*. Ну, некоторые физические эффекты воплощения.

Фрейд не понимает. Незнакомец показывает жестом, что ходил помочиться.

Забавная штука — я прямо стал живым фонтаном!

Фрейд. Не уходите. Пусть Анна вас увидит.

Незнакомец. Не стоит.

Фрейд. Нет, пожалуйста, останьтесь!

Незнакомец. Лучше расскажите ей сами...

Фрейд. Вы ей нужны, ей тоже!.. Особенно сегодня.

Незнакомец. Если она так же упряма, как вы, нам не хватит ночи.

Фрейд. Прошу вас!

Незнакомец *(уступая)*. Ну хорошо, на ваш страх и риск...

Сцена 13

Анна, Фрейд, Незнакомец.

Входит Анна, неся на подносе красивую чайную посуду.

Незнакомца она сначала не замечает.

Происходит немая игра: Фрейд подталкивает Незнакомца, чтобы тот оказался в поле зрения Анны, но она каждый раз в последний момент отворачивается в другую сторону.

Наконец, отчаявшись, Фрейд обращается к ней.

Фрейд. Ты не видишь моего гостя?

Анна оборачивается, видит Незнакомца и спокойно, почти равнодушно произносит.

Анна. Ах, это вы?

Берет со стола пустой чайник. Говорит с холодной вежливостью:

Что ж, садитесь. Хотите чаю? Я принесу еще одну чашку.

Она выходит, оставив хозяина и гостя онемевшими от изумления.

Сцена 14

Фрейд, Незнакомец.

Фрейд, ошеломленный будничным спокойствием Анны, смотрит на Незнакомца и повторяет.

Фрейд. "Ах, это вы"! Как это "ах, это вы"? Вы что, знакомы?

Незнакомец. Нет, уверяю вас. Я сам не понимаю.

Возвращается Анна.

Сцена 15

Анна, Фрейд, Незнакомец.

Анна принесла еще кипятку и недостающую чашку.

Фрейд. Ты знаешь... этого господина?

Анна. Конечно. Правда, только в лицо...

Фрейд. Да за кого ты его принимаешь?

Анна. Что?

Фрейд. За кого ты его принимаешь?

Анна. За того, кто он есть.

Фрейд *(нетерпеливо)*. То есть?

Анна. Мне не хотелось бы быть неучтивой с твоим гостем, папа.

Фрейд. Анна! За кого ты принимаешь этого господина?

Анна. Я принимаю его за человека, который вот уже две недели каждый день увязывается за мной, когда я иду в детский сад. Он расточает мне улыбочки, которые я оставляю без внимания, и подмигивает, а я делаю вид, что не замечаю. Словом, это весьма невоспитанный господин.

Незнакомец. Но, уверяю вас, я никогда...

Анна. Не лгите. Я и так не слишком высокого мнения о вас, и оно только ухудшается, оттого что вы проникли к моему отцу, чтобы добраться до меня. Вы утомляете его, а мое отношение к вам ничуть не меняется.

Незнакомец. Поверьте, это не я!

Анна. Значит, у вас есть двойник! Идеальный двойник, сударь! Просто чудо какое-то! Я оставляю вас, отец, и вернусь, когда твой гость уйдет.

Выходит.

Сцена 16

Фрейд. Незнакомец.

Фрейд подчеркнуто холоден.

Незнакомец как ни в чем не бывало наливает себе чаю.

Фрейд. Вы могли бы это предвидеть. Должны были предвидеть, раз вы знаете все.

Незнакомец *(беспечно)*. Почти все.

Фрейд. Я требую объяснений!

Незнакомец. Так-так, опять заноза! Фрейд опять сомневается. *(Жалобно.)* Надеюсь, ты не собираешься начинать все сначала? *(Самым светским жестом, как заправская хозяйка дома, подает Фрейду чашку.)* Не лучше ли попробовать разобраться беспристрастно? *(Смеется.)*

Пауза.

На самом деле никто не может увидеть меня самого, но каждый видит во мне проекцию того, что ему больше по вкусу или что занимает его мысли. Мне уже пришлось побывать белым, черным, желтым, бритым, бородатым, десятируким... и даже женщиной. Наверное, твоей Анне в глубине души не так уж противен этот назойливый ухажер.

Фрейд *(машинально берет чашку)*. Допустим.

Оба пьют чай.

Незнакомец давится смешком.

Фрейд. Почему вы смеетесь?

Незнакомец. Да вот думаю: я выпью эту жидкость, а потом опять буду пускать фонтан?

Снова смеется и смотрит на Фрейда.

Доктор Фрейд осуждает мое ребячество. Но мы все становимся детьми, когда радуемся жизни.

Внезапно становится серьезным и кладет руку Фрейду на плечо.

Я ухожу, Фрейд. У меня нет ни отца, ни матери, ни пола, ни подсознания. Вы ничем не можете мне помочь, но вы меня выслушали, и за это я вам благодарен.

ФРЕЙД. Вы покидаете меня?

НЕЗНАКОМЕЦ. Я никогда тебя не покидал.

ФРЕЙД. Но я вас больше не увижу?

НЕЗНАКОМЕЦ. Можете увидеть, когда захотите. Только не глазами.

ФРЕЙД. То есть как?

НЕЗНАКОМЕЦ *(прикасается пальцем к груди Фрейда).* Я был вот здесь, Фрейд, всегда незримо оставался там. Ты никогда не обретал, но и не терял меня. И, когда ты говорил, что не веришь в Бога, мне казалось, я слышу соловья, который жалуется, что не обучен музыке. *(Открывает окно и высовывается наружу.)* Уезжайте скорее, доктор Фрейд. И возьмите с собой всех, кого сможете. Спасите их. *(Оборачивается и берет свой элегантный вечерний плащ.)* Прощай.

ФРЕЙД *(с внезапным ожесточением).* Вы не уйдете.

НЕЗНАКОМЕЦ *(мирно).* Я сказал: "Прощай, Фрейд!"

Фрейд загораживает окно, не пуская Незнакомца.

ФРЕЙД. А я сказал — нет!

НЕЗНАКОМЕЦ. Опомнитесь, Фрейд!

ФРЕЙД. Вы не выйдете через окно, как человек, как мошенник. Я хочу, чтоб вы исчезли не сходя с места, на моих глазах!

НЕЗНАКОМЕЦ *(с усмешкой).* Заноза не дает покоя.

Он подходит к окну и, пристально глядя на Фрейда, заставляет его, как будто с помощью какой-то невидимой силы, посторониться.

Доброй ночи.

Фрейд с усилием овладевает собой, хватает со стола револьвер и, вытянув руку, целится в Незнакомца.

ФРЕЙД. Я буду стрелять.

НЕЗНАКОМЕЦ *(с улыбкой).* Вот как?

ФРЕЙД. Говорю вам, я буду стрелять!

НЕЗНАКОМЕЦ. Да-да. *(Пауза.)* Но если я беглый сумасшедший, Вальтер Оберзайт, или тот человек, который не дает прохода Анне, то вы получите труп. Одна пуля — и готово! Подумайте, доктор Фрейд, лишиться разом веры и свободы, да еще загреметь в тюрьму за убийство и закончить там свои дни — стоит ли игра свеч?

ФРЕЙД *(дрожа).* Я верю. Пуля вам не страшна.

НЕЗНАКОМЕЦ. Вот и оставайтесь при этом. Вера не нуждается в доказательствах.

Фрейд *(с трясущимися руками).* Издеваетесь? Так мучить может только дьявол!

Незнакомец. Если бы Бог являл себя как Бог, он бы уподобился земным властителям. Я же скрываюсь в тень, я окутан тайной, иначе вам не над чем было бы ломать голову. *(Приставляя ствол револьвера к своему сердцу.)* Я не загадка, а тайна, Фрейд.

Фрейд. Ты не обратил меня.

Незнакомец. Но ты можешь обратиться сам — ты свободен! Голоса являются лишь тогда, когда их призовет сам человек...

Фрейд. Я ничего не приобрел.

Незнакомец. До сегодняшнего дня ты думал, что жизнь бессмысленна. Теперь ты знаешь, что она таинственна.

Фрейд. Помоги мне.

Незнакомец *(перешагивает через подоконник).* Прощай, Фрейд. (*Скрывается.)*

Сцена 17

Фрейд (один).

Пытается удержать Незнакомца, но тот ускользает.

Фрейд. Он исчез?

Перегибается и смотрит вниз.

Ах, ты меня дразнишь!.. Не желаешь исчезать... лезешь вниз по водосточной трубе, как вор! *(В бешенстве.)* Нет, ты у меня так легко не отделаешься!

Подбегает к столу, снова хватает револьвер и бежит к окну. Закрывает глаза и стреляет в сторону Незнакомца. Потом, кашляя от дыма, нагибается посмотреть.

Мимо!

Конец

Константин Абэлуцэ

Стихи

Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной

Спас на картофелине

В конце 70-х годов прошлого века, когда я ходила, по советским меркам, в начинающих переводчиках, меня, с моим румынским, случайно нашло как "перспективный кадр", издательство "Прогресс" и подключило к редакционной работе: надо было рецензировать поступающие из Румынии книги. Книги шли серые, тяжелые, не сказать чтобы целиком "правильные", в их соцреализме была какая-то странность, неортодоксальность. Я решила разобраться сама, на месте — что там за литература и нет ли чего-нибудь для души. Там, изнутри, все выглядело иначе. Яркая, полноценная духовная жизнь шла в Румынии при Чаушеску — чем тяжелее давил пресс, чем сильнее были голод и холод, тем лучше слагались стихи, тем искуснее подкладывалась взрывчатка в прозу, тем крепче сплачивалась интеллигенция в цеховое и диссидентское братство. И книги, написанные эзоповым языком, были чаще всего не те, что доходили до Москвы.

Константин Абэлуцэ, правда, не принадлежал ни к каким котериям. Я открыла его в ходе своих изысканий по одной публикации в "Ромыниа литерарэ" 1981 года. И сразу поняла, прочтя "Картофелину": мой автор. Поэты мне всегда нравились неправильные, непонятые, маргинальные. Я разыскала Абэлуцэ в Бухаресте. В свои сорок два года он показался мне именно таким. Мы нашли общий язык, он подсказал мне, что читать, и с тех пор всегда, когда я приезжала, дарил свою новую книгу. Архитектор по образованию, он часто оформлял свои сборники сам, он чуть ли не первым в постреволюционной Румынии открыл свое издательство — "Едитура уну" ("Издательство номер один"). Первой, и единственной для меня, много лет была и его "Картофелина" — никуда не подверстывалась, ни во

© C. Abăluţă, 1981, 2000, 2003
© А. Старостина. Перевод, вступление, 2004
Редакция благодарит Константина Абэлуцэ за любезно предоставленное право на эту публикацию.

что не укладывалась — одинокая, как ее автор. Прошло двадцать два года. Осенью 2003-го мы встретились с Абэлуцэ в Бухаресте на международном коллоквиуме, который устраивал журнал "XXI век", румынский аналог "ИЛ", и я получила в подарок ярко-желтую книгу с примитивистскими эротическими рисунками, билингву (румынско-французскую) под названием "Первобытные стихи". Беседа наша была сугубо приземленная, Абэлуцэ раздраженно говорил о своих бытовых проблемах, раздражало его и то, что меня застопорило на "Картофелине" (думал, наверное: "Тоже мне, нашла поэта одного стихотворения"). Хотя стихотворный перевод не входил в мои ближайшие планы (да и что сравнится с картофельным шедевром?), но поезд из Бухареста до Москвы идет теперь 48 часов, через 6 таможен, и дорога домой, благодаря ярко-желтой книжке, стала праздником чувств: купе обернулось камышовой хижиной, осень — истомой африканского лета, запахло маяманой (что такое маямана? — а этого и не надо знать, просто пахнет маяманой, цветет чилили, кто-то тихо отбивает ритм: имба-лааа-имбала). Пустыня. Ослепительная, чувственная молодость. Раеподобное незнание стыда. Потом открылась другая створка диптиха — Север. Северная первозданность погрустнее, но такая же подлинная. Не стилизация, ругательное слово для литераторов, — живая жизнь. Без надрыва, без пафоса, очень естественная. Первобытными стихами нынешний Абэлуцэ повернул меня к себе прошлому, "традиционному", к "поэту банальности", каким он числится на родине. Вернувшись, я первым делом отыскала дома его стихи, которые он сам отобрал для им же составленной антологии "Румынская поэзия после пролеткультизма". Наверное, и мне надо было дорасти до Абэлуцэ. Как же это не задело меня раньше? Шум воды из не закрытого на ночь крана, дарующий золотые сны несбывшегося... Прозрение, что черепаха ушла навсегда, чтобы сблизить хозяина с ему подобными... Наконец-то нашлись товарищи картофелине, на лице которой проступают предсмертные муки Спасителя. Поэт банальности? Лучше сказать: перевоплощенной банальности, когда абрис сакрального просвечивает сквозь камуфляж профанного, когда выверты и абсурд обэриутов сочетаются с чеховским отсутствием аффектации (поэт прекрасно знает русскую литературу и в книжках своей прозы говорит о ее влияниях). При этом условие игры — одиночество, которое поэт культивирует. Ему повезло: у него прекрасная жена, не мешающая ему быть одиноким, раз это его состояние души. Одиночество обостряет слух и зрение, одаривает роскошью чувств, завидной свободой демиурга. Не каждому, прямо скажем, дано в шестьдесят пять лет совершить прорыв в духовный мир "примитивных" народов, прочувствовать власть ритуала, придающего святость физиологии. Только Бог знает, откуда оно пришло, это первозданное, сильное, завораживающее, каким был толчок, где подслушаны эти неевропейские звуки, так хорошо легшие на румынский язык. На обложке "Первобытных стихов" — отзыв Сорина Александреску, видного критика (между прочим, племянника Мирчи Элиаде). Он без колебаний ставит Абэлуцэ в один ряд с крупнейшими поэтами Румынии, среди которых — Баковия, Аргези, Блага, Никита Стэнеску, Леонид Димов. Дело литературоведов — ставить поэта в те или иные контексты. Знаю только, что поэзия Румынии действительно хороша. И что мне повезло быть причастной к ее творцам не только в те минуты, когда они говорят с вечностью, но и в те, когда Аполлон не требует их к священной жертве.

Вода, как она течет в ванной

С вечера я оставил воду течь в ванной.
Я залез в постель и слушал воду, как она течет в ванной.
Никогда я не думал, что вода в трубах может течь
бесконечно, как речные потоки. Целую ночь
я слушал воду, как она течет в ванной. Засыпал,
просыпался, наяву ли, во сне вода текла в ванной.
Я чувствовал, как молодею, морщины уходят,
слух обостряется, пока
журчание ванной воды не переросло
в гул прибойной волны.
Я думал, что у меня будет много детей,
что в доме поселится радость.
Я думал, что буду писать стихи, что буду курить и
странствовать
по всему свету. Я готовился умереть на пустынном острове
и уже подбирал себе в провожатые пару облаков, когда
меня разбудил шум воды.
Я вспомнил, что с вечера оставил воду течь в ванной, просто
так,
просто чтобы текла.

Картофелина

...И вот, в Христовых муках
Лицо картофелины.

Иларие Воронка

Картофелина шла по аллее мучительно
как ходят в ортопедическом башмаке
и когда дошла до стены покраснела
подле нее выросли две собаки
примериваясь зубами с двух сторон обнюхивая
не глядя друг другу в глаза.
Я стоял у окна больницы
из трубы морга шел дым —
нет никакого смысла нагнетать страсти и я скреб
рукой фаянс умывальника
пока не сломал ноготь и тогда перестал
мне хотелось натянуть на лицо кожуру картофелины
или обуть ее ортопедический башмак.

Тука

Ровно первого марта
исчезла моя черепаха.
Я искал ее под диваном, под шкафом, за печкой.
Я обшарил чердак и погреб, и двор. Я исследовал

квадратик за квадратиком, как будто потерял пуговицу.
День за днем я прочесывал одни и те же места,
как автомат. Как это она исчезла? Куда подевалась?
Разве я не давал ей листочки салата,
разве не протирал ей спиртом панцирь и лапки?
А она смотрела в мои глаза из дали в десятки тысячелетий,
и в эту минуту я чувствовал в себе силу и твердость, как тот
безумец,
который водрузил камень на верх пирамиды.

Видя, как я убиваюсь, соседи — больше незнакомые,
чем знакомые —
стали сочувствовать и все время приносили мне вести о Туке.
То ее видели у автомойки, как она плескалась в луже,
то на рынке, где ее продавали с лотка два мальчишки.
Цыганка-цветочница говорила, что в сквере у цирка
на покрышке среди пруда она млела под солнцем. Еще
говорили,
что ее вела на леске хозяйка ювелирной лавки, что ее видели
в метро
на руках у слепого нищего. Не вспомню названий всех улиц,
где якобы видели Туку. Послушать молву —
Тука пронизала весь город. Несколько раз
она забредала и в наш квартал, я разминулся с ней разве на две
минуты.
Видя, как людям хочется внушить мне надежду, иллюзию,
я смотрел в их глаза из дали в десятки тысячелетий,
и вдруг вспышкой меня осенило, что это —
марцишор[1], который на прощанье мне оставила ты, Тука:
теплое и деятельное участие мне подобных,
для которых раньше я что был, что не был.

Из цикла "Дождевые дни"

***

Холстинкой рук
ты водишь мне по глазам
звезды то есть то нет на ночном небе
гиена воет далеко хозяин степей отвечает
и так хорошо в хижине нежить волосы
тепловатым маслом
имба-лааа-имбала
с тех пор как мы знаем друг друга
ведерко луны
было полным иссякло
и налилось опять

1. Марцишор — связочка белых и красных ниток, которую на Балканах дарят друг другу 1 марта, — в знак любви и надежды. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

***

Лоно моей любимой дрожит
как сепия[1] перед тем
как ей выбросить краску
в хижине пахнет маяма́ной
сегодня мы зачнем нашего первенца
мы не говорим
только ветер в рогозах
только взвизги
крокодилёнышей
дзингира дзингира дзингира

***

Мама, я съел сердце ястреба
бога
теперь ему не спалить меня молнией
я окунаюсь в большой пруд
я умащаю тело
твоей слюной.
С тех пор как я твой сын мне хорошо
губы у меня
мягкие и теплые
девушки ликуют
в моих руках гибких
как слоновий хобот
мама твою слюну они ищут
по всему моему телу
ищут ее лукавыми языками
девушки

***

(песня подрастающей девочки)

Наступают дождевые дни
а я не знаю кто я
один ветер подлезает под холст шатра
и познаёт мое тело
ветер и цветки чилили
я нарвала их с тоски
под вечер

где-то далеко гиена от ее воя
мне лучше:
я вспоминаю что у меня есть руки
что я могу зажать ими глаза
и сидеть и сидеть как камень

1. Сепия — вид каракатицы, которая производит в своем "чернильном мешке" краску, применяемую в живописи.

Из цикла "Охотник за тюленями"

***

В детстве
лёд был молод
и посвистывал под моей подошвой
на заливе льдинки
были у меня за игрушки
я налегал на них грудью
я подкидывал их с носка
как потом позже
я дурачился с Енкой
дочкой соседа
Лёд молодой лёд
чего бы я не дал
чтобы снова ты был под моей подошвой
лёд с посвистом
лёд скользящий

***

Зубы моря: льдины на кромке
берега трутся окунаются в воду
быстро стригут между ними птицы
и пропадают в пепельном небе
нигде ни души
только сломанную лапу
тюленёнка
перекатывает по льду
возит ветер

***

В углу гарпун
на нёбе горьковатый привкус сумерек
крик с фиорда
издалека: Кххалуу Кххалуу

как концы каната руки у меня
бессильно виснут
в мире
неопознанных звуков

Вирджиния Вулф
Между актов

Роман

Перевод с английского и вступление **Е. Суриц**

© Е. Суриц. Перевод, вступление, 2004

"Это будет забавная проба нового метода... здесь я лучше передам сгусток, суть, чем в прежних книгах... Кусочек будет пожирней, да и посвежей, чем эта тоска — 'Годы'", — написала Вирджиния Вулф в дневнике о замысле романа "Между актов".

Итак, отступление к давно ею отработанной, заброшенной и даже осмеянной традиционной манере на нее навеяло тоску, и, закончив "Годы" (1937), затем отдав последний долг умершему другу (биография Роджера Фрая закончена в 1940-м), она тотчас (приведенная запись датирована ноябрем) снова берется за свое, за вечные поиски: снова ловит летучий миг, останавливает время; снова чудом, обманывая усилия дотошных толкователей, строит свой непохожий мир и дарит жизнь героям, одному из которых, уже привычно, препоручает поиски "ви́дения"; снова, не растягивая на десятилетья, втискивает действие в один-единственный июньский день, тем самым повторяя счастливо найденную, облюбованную модель: ведь в "Миссис Деллоуэй" тоже все происходит в один июньский день, в романе "На маяк" — в два таких летних дня, разделенных мгновенным промельком десяти лет, и даже параллельная структура "Волн" — это по главам разбитый день, который начинается с восхода и кончается закатом.

Итак, один июньский день, но на сей раз июньский день 1939 года — этим многое сказано. В марте того года Гитлер захватил Прагу. Когда роман дописывался, уже пала Дания, немцы победно вошли в Париж. И хотя в новом романе, как и в перечисленных, ничего как будто не случается, герои спорят о пустяках, любуются пейзажем, пьют чай, цитируют и сочиняют стихи, а главный "сюжет" разворачивается у них в душе — любовь и ревность, томленье старости, страх смерти, но все же, все же: то кто-нибудь хватается за "Таймс", то мимоходом, вслух, а то серьезно, в мыслях комментирует нерадостные вести; автор живет в предощущении катастрофы; текучий миг наталкивается на Историю. И не случайно (как все всегда у Вулф) старшая героиня читает "Очерки истории". И не по чину важная роль отводится старинной арке, свидетельнице исторических событий. И в центре сельского праздника оказывается пьеса, ностальгически перепевающая историю доброй старой Англии — как не только автору тогда казалось, обреченной на погибель. И пестрый разговор, и гул, плеск, шорох, щебет вдруг накрывает грохот моторов в небе. На герметичный мир романа падает тень извне.

Не только эта тень делает последнюю книгу Вирджинии Вулф, замыкающую ряд главных ее романов, такой же отдельной и особенной, как все они.

Во-первых — странная композиция: пьеса в романе; и потом — эта нашпигованность цитатами трех родов: подлинные цитаты из классиков; самодельные стишки Айзы, героини; вирши, из которых сложена вставная пьеса.

Но, конечно, главная особенность "Между актов" — другая.

Мне кажется, что эта книга, ставшая прощанием Вулф "с творчеством и чудотворством", — самое откровенное из ее произведений.

Иронический, почти карикатурный образ мисс Ла Троб овеян такой грустью; и ремарка в новой пьесе, сразу после провала мерещащейся этой бедолаге, так подозрительно, так буквально совпадает с заключительными фразами романа: "Поднялся занавес. Они заговорили", что кажется — страшно сказать, — будто Вулф в ней видела себя. Айза украдкой записывает свои робкие стихотворные опыты в книгу расходов, чтоб муж не догадался, — но не так ли и сама Вулф прячет дар поэта в темных складках своей несравненной прозы, чтоб мы не догадались, чтоб вдруг самой не догадаться?

Вскоре после окончания романа, выслушав восторженный отзыв издателя, она оставила мужу записку, слова благодарности и любви, вышла из дому и утопилась. Было это 28 марта 1941 года.

И эта тень тоже падает на роман извне, придавая ему новую, странную значительность.

Рукопись этой книги была завершена, но не окончательно подготовлена к печати, когда умерла Вирджиния Вулф. Я думаю, никаких существенных поправок автор бы в нее не внес, но мог бы внести ряд мелких исправлений.

Леонард Вулф

ЛЕТНИМ вечером, под шелест сада в открытых окнах, в гостиной обсуждали сточную трубу. Муниципалитет обещал провести сюда воду, и хоть бы кто палец о палец ударил.

Миссис Хейнз, жена помещика, занятого хозяйством, дама с физиономией гусыни и глазками, так выпученными, будто ей явился домовой, вскричала с чувством:

— Ну и тема для разговора в такой вечер!

Все примолкли; и кашлянула корова; и дала даме повод заметить — как странно, в детстве она коров ну нисколечко не боялась, исключительно лошадей. Да, но ведь когда она была совершенная кроха, громадный ломовик прогрохотал прямо у самой колясочки. Их род, сообщила она старику в кресле, жил близ Лискерда веками. Памятники на кладбище вам это докажут.

Во тьме хохотнула птица.

— Соловей? — встрепенулась миссис Хейнз. Но нет, соловьи так далеко на север не залетают. Это дневная какая-то птица, вспомнив роскошества дня, червяков, улиток и зернышки, хохотнула во сне.

Старик в кресле — мистер Оливер, из Индийской государственной службы, в отставке, — сказал, что место для сточной трубы выбрано, если он верно расслышал, на Римской дороге. С аэроплана, он сказал, еще явственно видны шрамы, оставленные бриттами; римлянами; елизаветинской усадьбой; и плугом, которым бороздили холм, чтобы растить пшеницу во время наполеоновских войн.

— Но вы же не можете помнить... — не утерпела миссис Хейнз. О, разумеется. Но зато он помнит — и уже он взялся ей рассказывать, что именно, но послышался шорох за дверью, и Айза, жена его сына, вошла — волосы косами, капотик в линялых павлинах. Вошла, как лебедь плывет по воде; вдруг запнулась, остановилась; не ожидала увидеть людей; и что свет горит. С сыночком сидела, она извинилась, что-то он кукситься. И о чем тут у них разговор?

— Да вот, сточную трубу обсуждаем, — сказал мистер Оливер.

— Ну и тема для разговора в такой вечер! — вскричала снова миссис Хейнз.

А *он* — что он думает про сточную трубу; и вообще? — гадала Айза, кивая помещику, Руперту Хейнзу. Они виделись как-то на благотворительном базаре; на теннисе. Он подал ей чашку, подал ракетку — и всё. Но в этом усталом лице ей чудилась загадка; а в молчании — страстность. И на теннисе чудилась, и на благотворительном базаре. Теперь, в третий раз, опять почудилась, и, пожалуй, еще настойчивей.

— Да, помню, — старик перебил, — моя мама... — О своей маме он помнил, что она была статная; держала чайницу под замком; но зато в этой

самой комнате вручила ему томик Байрона. Да, тому уж больше шестидесяти лет, он им сообщил, мама ему вручила Байрона вот в этой самой комнате. Он помолчал.

— Она идет во всей красе...[1] — продекламировал он.

И опять:

— Не бродить нам вечер целый под луной вдвоем[2].

Айза подняла голову. От слов разошлись круги, два безупречных круга, и они подхватили их, ее с Хейнзом, и понесли, как двух лебедей вдоль потока. Но его белоснежная грудь была в грязных разводах ряски; а ее перепончатые лапки вязли, их затягивал муж, биржевой маклер. И она качнулась на своем табурете, и черные косы повисли, и тело стало как валик в этом линялом капоте.

Миссис Хейнз учуяла нечто, их замкнувшее кру́гом, ее выкинувшее вон. Она ждала, как ждут, когда отзвучит орган, чтобы уйти из церкви. В машине, по дороге домой, на розовую виллу в полях, уж она с этим покончит, как дрозд отклевывает бабочке крылья. Десять секунд переждав, поднялась; постояла; потом — будто замер орган — протянула руку миссис Джайлз Оливер.

Но Айза, хоть ей полагалось вскочить в ту минуту, как поднялась миссис Хейнз, продолжала сидеть. Миссис Хейнз на нее вылупила гусиные глазки:

— Миссис Джайлз Оливер, сделайте такую божескую милость, заметьте мое существование...

И пришлось-таки ей встать с табурета в этом линялом капоте, с болтающимися косами.

Пойнз-Холл в свете раннего летнего утра был дом как дом. До упоминания в путеводителях такой недотягивает. Слишком обыкновенный. Но в этом белесом доме с серой крышей — крылья выброшены под прямым углом, стоит в низине, пониже просади вязов, так что трубный дым цепляется за грачиные гнезда, — жить в этом доме многие бы не отказались. Проезжающие переговаривались: “Интересно, не собираются его продавать?” И — к шоферу: “А кто тут живет?”

Шофер не знал. Оливеры купили именье всего лет сто тому назад и не вошли в родство с Уэрингами, Элвисами, Мэннерингами или Бернетами: старинные семейства, которые, сплошь переженившись между собой, и в смерти лежат сплетясь, как корни плюща, в ограде погоста.

Всего лет сто двадцать с чем-то жили тут Оливеры. И, однако, как поднимешься по главной лестнице — сзади еще черный ход, для прислуги, — там портрет. Уже на полпути тебе в глаза блеснет парча; а как доберешься доверху, увидишь напудренное личико под огромным, жемчугами перевитым париком; в некотором роде основательницу рода. Шесть-семь спален выходят в коридор. Дворецкий был солдат; женился на хозяйкиной горничной; а под стеклом хранятся часы, отбившие некую пулю при Ватерлоо.

Было раннее утро. Трава в росе. С башенных часов упало восемь ударов. Миссис Суизин отдернула занавеску в спальне — белый ситчик, премиленький, когда смотришь из сада, зеленым исподом затенял окно. И

1. Первая строка из первого стихотворения цикла “Еврейские мелодии” Джорджа Гордона Байрона (перев. С. Маршака). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Стихотворение Байрона (перев. С. Маршака).

вцепившись старыми руками в раму, чтобы ее поднять, так она и застыла; сестра старика Оливера; вдова. Ей так всегда хотелось иметь свой дом; лучше в Кенсингтоне, нет, лучше в Кью, чтоб по паркам гулять; но на все лето она застревала тут; а когда зима туманила окна, забивала водостоки палой листвой, она говорила: "И зачем это, Барт, было строить дом в эдакой яме и фасадом на север?" На что брат отвечал: "Чтобы обойти природу, надо полагать. Ведь семейную карету через эдакую грязь небось и четверней не протащишь, а?" Потом он ей рассказывал знаменитую историю про великий мороз восемнадцатого века; целый месяц дом был отрезан от мира снегом. И валились деревья. Ну, и каждый год, как зима наступит, миссис Суизин ретировалась в Гастингс.

Но сейчас лето. Ее разбудили птицы. Как они поют! Атакуют зарю, как мальчишки-хористы всей ватагой налетают на торт-мороженое. От них никуда ты не денешься, и она взялась за любимое чтение — "Очерк истории"[1] — и от трех часов до пяти воображала леса рододендронов на Пиккадилли; когда континент, не разделенный еще, как она понимала, Ла-Маншем, был единое целое; и населен, как она понимала, слоноподобными, но притом длинношеими, тяжкими, неповоротливыми, лающими страшилищами; динозаврами, мастодонтами, мамонтами; от которых, вероятно, она думала, дергая раму вверх, мы и произошли.

Наяву ей понадобилось пять секунд всего, но в воображенье гораздо больше — чтоб отделить Грейс с голубым фарфором на подносе от сопящего чудища, которое, пока отворялась дверь, как раз и норовило обрушить первобытное дерево на дымящийся зеленью подлесок. И, конечно, она вздрогнула, когда Грейс, стукнув подносом, сказала: "С добрым утречком, мэм". "Га-га", — добавила Грейс про себя, встретив этот раздвоенный взгляд, адресованный отчасти чудищу топей, отчасти же горничной в ситцевом платьице с беленьким фартучком.

— Как поют эти птицы! — бросила наобум миссис Суизин. Окно теперь было открыто; птицы еще как пели. Сосредоточенный дрозд скакал через лужок; в клюве у него извивалась розовая резинка. Этот дрозд снова повернул мысли миссис Суизин к реконструкции прошлого, и она умолкла; вообще миссис Суизин была склонна расширять границы мгновенья, убегая в прошлое, в будущее; или вбок, по аллеям и коридорам; но она вспомнила, как мама — вот в этой самой комнате — ей выговаривала: "Ну что ты зеваешь, Люси, муху сглотнешь..." — как часто мама ей выговаривала вот в этой самой комнате; "Да, но совсем в другой жизни", — не преминул бы напомнить брат. И она села пить утренний чай, как любая старая дама бы села, с орлиным носом, худым лицом, кольцом на пальце и прочими атрибутами бедной, но благородной старости, в ее случае пополняемыми еще и сиянием золотого крестика на груди.

После завтрака няни возят коляски вдоль берега, взад-вперед; возят и разговаривают — они не обмениваются сведениями, не делятся мыслями, они перекатывают слова, как конфетки на языке; и те, истаивая до прозрачности, обнаруживают розовость, зеленость, сладость. Вот и нынче утром: "А повариха-то им насчет спаржи возьми и скажи; она тряcет колокольцем, а я: какой костюмчик миленький, и блузочка к нему в

1. "Очерк истории" (1920) Герберта Уэллса (1866—1946).

самый раз подходит"; они возят колясочки, перекатывают слова, пока разговор со всей неуклонностью не скатится к кавалеру.

Жаль, что строитель Пойнз-Холла сунул дом в эту яму, когда за садом, за огородом — такая чу́дная полоса высокой земли. Природа поставляет место для дома; а человек возьми и сунь его в яму. Природа поставляет муравчатую террасу, ровно ведет полмили, пока та вдруг не свалится в пруд, весь в кувшинках. Терраса широкая, тень от самого могучего вяза привольно потягивается поперек. Прогуливайся себе взад-вперед, взад-вперед под тенью могучих вязов. Два-три стоят чуть не обнявшись, другие поодаль, врозь. Корни пробили дерн, и зеленеют меж белых ребер ручьи и прошвы травы, и весной там растут фиалки, а летом лиловеет ятрышник.

Эми что-то говорила про кавалера, но Мейбл, рука на ручке коляски, вдруг обернулась, и — сглотнулась конфетка.

— Ну ладно копаться, пошли-ка, что ли, а, Джордж, — кинула грубо.

Мальчик отстал и рылся в траве. Тут младшая, Каро, выпростала кулачок из-под одеяла, и плюшевый мишка вылетел из коляски. И пришлось Эми гнуться. А Джордж рылся в траве. Цветок сверкал из-под корней. Лопались пленка за пленкой. Он уже засиял нежно-желтым, тихий свет в тонкой бархотке; и свет этот залил Джорджу глазницы. И темнота налилась желтым светом, пропахшим землей и травой. А за цветком стоял вяз; вяз, трава и цветок — стали одно. Он копал, сидя на корточках, он выкопал цветок весь, целиком. Но тут — рёв, горячее сопенье, и серая грива, хлынув, скрыла цветок. Он вскочил, шлепнулся от испуга и увидел, как навстречу вышагивает, размахивая руками, востроклювое, безглазое — ужасное чудище.

— С добрым утром, сэр, — прогудел полый голос из-под бумажного клюва.

Старик на него выскочил из своего укрытия за вязом.

— Скажи-ка, скажи, Джордж; скажи: "Доброе утро вам, дедушка", — понукала Мейбл и толкала его к старику. Но Джордж стоял, разиня рот; Джордж стоял, вытаращив глаза. И мистер Оливер скомкал газету, которую на себя нацепил, и явился в натуральном виде. Очень высокий старик, сверкающие глаза, щеки в морщинах, и голова, голая, как колено. Он повернулся.

— Ко мне! — рявкнул он. — Ко мне, зверюга ты этакая!

И Джордж повернулся; и няни повернулись, и плюшевый мишка; все повернулись и смотрели на Зораба, афганского пса, который резвился и бесился на травке.

— Ко мне! — рявкнул старик так, будто полком командовал. Чем весьма впечатлил нянь: старикашка в его-то годах, а как рыкнет, так и эдакого псину застращает. И афганец вернулся, приниженно, извиняясь. И пока он ластился к ногам своего господина, тот надел на него ошейник; силок, который мистер Оливер всегда носил с собой.

— Зверюга ты этакая... гадкая зверюга, — бормотал старик, наклоняясь. Джордж смотрел только на пса. Вздымаются и опадают волосатые бока; пена у ноздрей. И Джордж разревелся.

Старший Оливер выпрямился — вены вздулись, лицо налилось кровью; он рассердился. Невинная шутка с газетой вышла боком. Мальчишка — плакса. И мистер Оливер, кивнув, уже важно шагал прочь, на ходу разглаживая скомканную газету, и бормотал про себя, отыскивая ускользавшее место в колонке: "Плакса, плакса". А ветер играл газетной стра-

ницей; и он из-за края увидел: текучее поле, вереск и лес. В рамку — и вот вам готовый пейзаж. Будь я художник, я бы поставил мольберт здесь, на поле за вязами: готовый пейзаж. Тут ветер стих.

"Мистеру Даладье[1], — читал он, отыскав-таки место в колонке, — удалось удержать франк..."

Миссис Джайлз Оливер провела гребнем по спутанной пуще волос, которые, по зрелом размышлении, решила все-таки не стричь — ни за какие коврижки, ни под фокстрот, ни под мальчика; и взялась за щетку с узорной серебряной ручкой, свадебный подарок с дальним прицелом: потрясать гостиничных горничных. Взялась за нее и стояла перед трюмо, разглядывая сразу три версии тяжеловатого, но красивого лица; и еще, за зеркалом — отрезок дороги, лужок и кроны.

Там, в зеркале, в глазах, она разглядела то, что в них посеял вчера усталый, молчаливый, романтический помещик. "Влюбилась", — сказали ей глаза. Но за зеркалом, на умывальнике, на туалетном столике, среди серебряных коробочек и зубных щеток, была любовь другая; любовь к мужу, к биржевому маклеру. "Отцу моих детей", — она прибавила, соскальзывая в клише, готовно поставляемое чтивом. Любовь скрытая — в глазах; явная — на туалетном столике. Ну а это какое чувство в ней поднялось, когда над краем зеркала, там, на воле, показалась колясочка, катящая через лужок; две няни и сыночек, Джордж, и он плетется сзади?

Постучала в окно узорной щеткой. Они далеко, не услышат. Гул деревьев у них в ушах; птичий гомон; их занимают разные происшествия садовой жизни, которые тут, в спальне, ей не видны, не слышны. Одни на зеленом острове, огороженном подснежниками, оправленном сборчатым шелком, они плывут у нее под окном. И Джордж плетется сзади.

Она вернулась к этим глазам в зеркале. "Влюбилась". Возможно; раз его присутствие вчера вечером так ее задело; раз слова, которые он сказал, когда подавал чашку, когда подавал ракетку, так прицепились к памяти; и протянулись между ними двоими, как проволока, и звенели, дрожали — она выуживала из дебрей зеркала слово, которое бы отражало бесконечно быструю дрожь пропеллера на аэроплане, который она вдруг увидела тогда, на заре, в Кройдоне. Быстрей, быстрей, быстрей он свистел, он шипел, он жужжал, и все взмахи стали одним взмахом, и взмыл, и дальше, прочь, прочь летел аэроплан...

— Убежать бы в край нежданный, мимо рек, лесов и гор... — бубнила она. — Край далекий, безымянный...

Рифма — "в упор". Она положила щетку. Взялась за телефонную трубку.

— Три-четыре-восемь, Пайкомб, — сказала она. — Это миссис Оливер говорит... Какая у вас сегодня рыба? Треска? Палтус? Камбала? Скат?

— ...И взойти там на костер, — добубнила она. — Палтус. Филе, только чтоб вовремя к обеду, — сказала она трубке. — С пером, с голубым пером... Чтоб в навозе глупый петел отыскал наш нежный пепел. — Стишки вышли так себе, не стоит даже записывать в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтобы Джайлз не догадался. "Недоделанная" — вот для нее то самое слово. Чтоб хоть раз выйти из магазина, скажем, с платьем, которое радует душу; но от собственной фигуры в

1. Эдуард Даладье (1884—1970) — тогдашний премьер-министр Франции.

витрине на фоне темных рулонов брючного сукна тоже радости мало. Талия — сплошное недоразумение, руки-ноги большие, и (вот волосы только) жалкая раба моды — ммм, до Сафо далековато, что говорить, и, между прочим, до любого юного красавца, сияющего с журнальной обложки. Куда денешься. Дочь сэра Ричарда она и есть; племянница двух старых теток в Уимблдоне, которые, нося фамилию О'Нил, кичатся своим происхождением от королей Ирландии.

Одна дура-подхалимка как-то, замерев на пороге библиотеки, которую назвала "сердцем дома", тогда же высказалась: "После кухни библиотека — лучшая комната в доме". И, переступив порог, заключила: "Книги — зеркало души".

В данном случае — души потертой и в крапинку. Ведь в такую глушь — поездом тащиться три часа целых, а кто же отважится на столь долгий путь, не запасясь, для утоленья духовной жажды, книжицей в привокзальном киоске. Так что данное зеркало отражало и высокую душу, и душу праздную, скучливую. И никто, оглядев вороха грошовых романчиков, которые понакидали гости, не стал бы утверждать, что это зеркало отражает лишь муки королевы и юную отвагу короля Гарри.

В столь ранний час июньского утра библиотека была пуста. Миссис Джайлз пришлось наведаться на кухню. Мистер Оливер все мерил шагами аллею. Ну а миссис Суизин, конечно, была в церкви. Легкий, переменчивый ветер, который провидели метеорологи, трепля желтую шторку, встряхивал свет, встряхивал тень. Огонь в камине серел, занимался жаром, и крупный махаон бился о нижнюю створку окна; настойчиво; тук-тук-тук; так, будто, если не явится сюда человек, никогда, никогда, никогда, книги истлеют, погаснет камин и погибнет на стекле махаон.

Возвещаемый броском своей афганской борзой, явился мистер Оливер. Он дочитал газету; был сонный; и плюхнулся в ситцем обитое кресло, с собакой у ног — афганской борзой. Носом в лапы, втянув бока, пес был — как каменный пес, пес крестоносца, и в царстве мертвых стерегущий покой своего господина. Только господин не был мертв; просто спал; и видел, как в отуманенном зеркале: он сам, молодой, в шлеме; и — каскад. Но безводный; это, серые, клубятся холмы; и в песке — обруч из ребер; бык изъеден червями на зное; и под тенью скалы — дикари; и в руке у него пистолет. И сжалась во сне рука; наяву рука лежала на подлокотнике, жилы вздулись, но теперь всего только бурой жижей.

Дверь отворилась.

— Не помешала? — сказала Айза.

Еще как помешала — разрушила молодость, Индию. Сам виноват; дал ей так сучить нить его жизни, так тростить, тянуть. Но в общем, он был ей даже благодарен, глядя, как она ходит по комнате, за это продолженье.

У многих стариков ведь только Индия осталась — у стариков по клубам, у стариков на Джермин-стрит. А она, в своем платье в полосочку, вот, продолжает его, бормоча перед полками: "Уходи, потемнела равнина, бледный месяц несмело сверкнул..."[1]

— Я рыбу заказала, — заключила она вслух, обернувшись, — хоть насчет свежести не обещаю. Но телятина — дорого, а говядина и баранина

1. Перси Биши Шелли. Стансы (перев. К. Бальмонта).

всем уже поперек горла... Зораб, — тут она встала перед ними, — ну, как твои делишки?

Он и хвостом не повел. Этот не признавал никаких уз семейственности. Либо ластится, либо кусается. Сейчас вот уставил дикий желтый взгляд в ее взгляд. С таким — в гляделки не садись. Тут мистер Оливер вспомнил.

— Твой мальчишка рёва, — сказал презрительно.

— Ах, — она вздохнула, оседая на подлокотник, как пленный дирижабль, на мириадах волосяных нитей пригвождаемая к семейственности. — А что такое?

— Я беру газету, — объяснил он, — вот так...

Он взял газету и, скомкав, соорудил из нее клюв.

"Вот так" он выскочил на детей из-за дерева.

— А он разревелся. Он трус, трус твой парень.

Она нахмурилась. Он не трус, ее мальчик. И ей самой противно это семейное, собственническое; материнское. И он же знает, он нарочно дразнится, старый хрыч, ее свекрушка.

Она отвела взгляд.

— "Библиотека — лучшая комната в доме", — процитировала она и побежала глазами по полкам.

"Зеркало души" — вот что такое книги. "Королева фей", "Крым" Кинглейка[1], Китс и "Крейцерова соната". Да, эти — отражают. Но что? Какое лекарство есть для нее, в ее возрасте — тридцать восемь, ровесница века — в этих книгах? Она боится книг, как все его ровесники; и пушек она боится. И все же, как, озверев от зубной боли, в аптеке обрыскиваешь глазами зеленые пузырьки с желтыми сигнатурами в поисках одного, спасительного, так и она прикидывала: Китс или Шелли; Йейтс или Донн. Или, может быть, не стихи; жизнь. Чья-то жизнь. Жизнь Гарибальди. Жизнь лорда Палмерстона[2]. Или вообще не нужно человека; пусть будет графство. "Достопримечательности Дарема"; "Отчеты археологического общества Ноттингема". Но нет, зачем эта реальность, лучше наука — Дарвин, Эддингтон, Джинз[3].

Зубную боль никто из этих не уймет. Для ее поколения книгой стала газета; и раз свекор бросил газету, она ее подобрала и прочитала: "У лошади зеленый хвост..." — гм, нечто из области фантастики. Но дальше: "Стража в Уайтхолле" — о... уже романтично; глаза побежали по строчкам: "Кавалеристы сказали ей, что у лошади зеленый хвост; но она сочла, что это самая обыкновенная лошадь. И они ее потащили в казарму, где и швырнули на кровать. Затем один из них стал сдирать с нее платье, и она закричала и ударила его по лицу..."

Вот это уже реально; так реально, что вместо двери красного дерева она видела арку Уайтхолла; сквозь арку видела казарму; там кровать, и на кровати орала та девушка и била его по лицу, когда дверь (дверь все-таки) открылась и вошла миссис Суизин, с молотком в руке.

Она продвигалась осторожно, бочком, так, будто пол растекается под стоптанными прюнелевыми туфлями, и, поджав губы, улыбалась ис-

1. "Королева фей" — незаконченная поэма Эдмунда Спенсера (ок. 1552—1599); Александр Уильям Кинглейк (1809—1891) — автор обширной истории Крымских войн.
2. Генри Джон Темпл, третий виконт Палмерстон (1784—1865) — не раз был премьер-министром Великобритании.
3. Артур Стэнли Эддингтон (1882—1944) — английский астрофизик; Джеймс Джинз (1877—1946) — английский физик и математик.

коса своему брату. Никто не произносил ни слова, пока она следовала к угловому шкафу и водворяла на место молоток, который взяла без спроса; вместе — она разжала кулачок — с пригоршней гвоздей.

— Синди-Синди, — проурчал он, когда она захлопнула дверцу.

Люси, сестра, была на три года его моложе. Синди было такое уменьшительное от Люсинды. Так он в детстве ее звал, когда она топотала за ним, а он удил рыбу и в тугие букеты собирал луговые цветы, тесно-тесно их стягивая потом — раз, раз и еще — длинной травинкой. Как-то, помнится, он дал ей самой снять рыбу с крючка. А она испугалась крови. "Ой!" — закричала. Жабры были в крови. И он проурчал: "Синди!" Призрак того дальнего лугового утра встал у нее в душе, когда она водворяла молоток в подобавшее ему место на полке; и гвозди в положенное им на другой; и затворяла шкаф, к которому, по-прежнему держа там свою рыболовную снасть, он исключительно трепетно относился.

— Я плакат прибивала к Сараю, — объяснила она, легонько потрепав его по плечу.

Слова упали как первая капля в перезвонном разливе. В первой капле уже слышишь вторую; во второй слышишь третью. И когда миссис Суизин сказала: "Я плакат прибивала к Сараю", Айза знала уже, что дальше она скажет:

— Для праздника.

А он скажет:

— Сегодня? Бог ты мой! Совсем из ума вон!

— Если будет вёдро, — продолжала миссис Суизин, — играть будут под открытым небом...

— А если пойдет дождь, — продолжил Бартоломью, — то в Сарае.

— А вот как будет? — продолжала миссис Суизин. — Вёдро или дождь?

И далее, кряду в седьмой раз, оба посмотрели в окно.

Каждое лето, теперь уже седьмое, Айза слышала одни и те же слова; про молоток и гвозди; про погоду и праздник. Каждый год они гадали, будет дождь или вёдро; и каждый год бывало — то или сё. Каждый год шел этот перезвон, только на сей раз звякнуло сквозь перезвон: "Девушка закричала и ударила его по лицу молотком".

— В прогнозе, — мистер Оливер долго листал газету, — вот, сказано: "Переменная облачность; ветер умеренный; временами дождь".

Он отложил газету, и все посмотрели в небо, гадая, послушается ли оно сейсмологов. Да, облачность, конечно, была переменная. Сад зеленый; и вот сразу он серый. Солнце выплыло — и прямо-таки ликованье охватило каждый листик, каждый цветок. Но вот уже оно убегает, печалуясь, прячет лицо, будто не в силах смотреть на людские страданья. В облаках же — ни складу, ни ладу, и не понять, почему они вдруг тучнеют, почему вдруг тощают. Свой, что ли, такой закон у них, или никакому закону они не подвластны? Иное — просто седая прядка, и всё. Одно, высоко-высоко, затвердело золотистым алебастром; бессмертным мрамором. А дальше — синь, чистая синь, темная синь; никогда она не прольется на нас; ускользает от определений синоптиков. Никогда не упадет на землю тенью, лучом, дождем эта синь, она просто не замечает разноцветного нашего шарика. И лист ее никакой не чует; ни поле; и никакой сад.

Глаза у миссис Суизин остекленели, когда она на нее смотрела. Наверно, подумала Айза, глаза у ней застыли, потому что она видит там Бо-

га, Бога на троне. Но тотчас набежала на сад тень, миссис Суизин расслабила и опустила взгляд и сказала:

— Ужасно неустойчивая погода. Как бы дождя не было. Надо только молиться, — и она потеребила свой крестик.

— И захватить зонтики, — сказал ее брат.

Люси вспыхнула. Он задел ее веру. Она ему — молиться, он ей про зонтики. Сгребла крестик в ладони. Вся сжалась; съежилась; но в следующую минуту уже кричала:

— Ах! вот и они, мои миленькие!

Колясочка катилась через лужок.

Айза тоже глянула. Ну что за ангел эта старушка! Так встречать детей; так смело восстать против непостижимой сини и против насмешки брата, все отметая старыми своими руками, смеющимися глазами! Восстать против погоды, против Барта!

— Он дивно выглядит, — сказала миссис Суизин.

— Удивительно, как они поправляются, — сказала Айза.

— Он покушал за завтраком? — спросила миссис Суизин.

— Все умял до последней крошки.

— А маленькая? Сыпи нет?

Айза затрясла головой.

— Подержусь за деревяшку. — И постучала по столу.

— Барт, вот ты мне объясни, — миссис Суизин повернулась к брату. — Откуда это пошло: подержаться за дерево? Антей — ведь он же за землю держался?

Она могла бы быть, он подумал, очень умной женщиной, умей она на чем-то сосредоточиться. А тут — сплошное порхание. В одно ухо входит, в другое выходит. И все застопоривается на одном и том же вопросе, после семидесяти это часто. Вот и она: обосноваться в Кенсингтоне? или в Кью? Но каждый год, как наступит зима, она ни там ни сям не обосновывается. А оседает в меблирашке в Гастингсе.

— Подержаться за дерево; подержаться за дерево; Антей, — он бормотал, стараясь связать концы. Тут пригодился бы Лемприер[1]; или энциклопедия. Да, но в каких книгах есть ответ на его вопрос — откуда в черепе у Люси, так похожем на его собственный, взялась эта молитвенность? Не от зубов же, ногтей или волос, он думал, зависит она. Нет, скорей от силы какой-то, от свечения, ведающего дроздом и червем; псом и тюльпаном; ну а заодно им, стариком со вздутыми венами. И ее срывает с постели ни свет ни заря, ее гонит по слякоти поклоняться тому, чьим рупором служит Стретфилд. Славный малый, курит сигары в ризнице. Тоже ведь расслабиться надо, когда вечно талдычишь свои проповеди старым астматикам, вечно чинишь вечно обваливающуюся звонницу, путем плакатов, прибиваемых к Сараям. Любовь, он думал, надо бы отдавать своим близким, своей плоти и крови, а они отдают ее церкви... но тут Люси постучала пальцами по столу и сказала:

— Так откуда же пошло... откуда это пошло?

— От суеверия, — он сказал.

Она покраснела, и слышно стало, как она дышит, — опять он оскорбил ее веру. Но когда вы брат с сестрой, плоть и кровь у вас не стеной разделены, одним туманом. И ничто не могло изменить их привязанно-

1. Джон Лемприер (1765—1824) — автор много раз переиздававшегося справочного издания "Библиотека классики".

сти; ни доводы; ни факты; ни истина. То, что она видела, он не видел; то, что видел он, не видела она — и так далее, ad infinitum[1].

— Синди, — он проурчал.

И с размолвкой было покончено.

Сарай, к которому Люси пригвоздила свой плакат, был большое строенье на скотном. Был он такой же дряхлый, как церковь, даже сложен из того же камня, только звонницы не хватало. Его поставили на большие сваи из серого камня, для защиты от крыс и сырости. Те, кто бывал в Греции, всегда говорили, что Сарай напоминает храм. Те, кто в Греции не бывал — большинство, — все равно умилялись. Крыша выцвела до рыжины; а под нею был полый зал, рассеченный лучом, пропахший зерном, темный, когда закрывали дверь, но навылет простреленный светом, когда дверь оставляли открытой, и телеги, длинные, низкие, как корабли в море, рассекая зерно, не волны, вечером возвращались в вихрях соломы. И рой соломин метил их путь к Сараю.

Теперь поперек Сарая поставили скамьи. Если польет дождь, артисты будут играть в Сарае; в одном конце соорудили из досок сцену. Дождь ли, вёдро, публика все равно здесь будет пить чай. Молодые люди и девушки — Джим, Айрис, Дэвид, Джессика — уже развешивали гирлянды из белых и алых бумажных роз, оставшихся с коронации. От мякины и пыли они расчихались. Айрис обвязала голову носовым платком; Джессика надела брючки. Парни были в рубашках. В волосах застревала солома, и ничего не стоило занозить палец.

Старый Пушок (прозвище миссис Суизин) прибивала к Сараю новый плакат. Прежний — ветром сдуло, или это местный идиот, он вечно сдирал все, что ни прибьют, содрал его и хихикал теперь над плакатом где-то в тени плетня. Работники тоже смеялись: старая Суизин, куда ни пойдет, оставляла по себе раскат смеха. При виде старушки под седеньким веющим пухом, в туфлях, до того шишковатых, в них не ноги засунуты, а канарейкины лапки, в перекрученных, сползших черных чулках, Дэвид, уж конечно, сделал большие глаза, а Джессика подмигнула ему в ответ, подавая гирлянду. Снобы, что поделать; долго проторчали в одном углу, и местный обычай на них оттиснулся трехсотлетним невыводимым тавром. Вот они и смеялись; но ее уважали. Уж если миссис Суизин жемчуг наденет, так это жемчуг, будьте уверены.

— Наш Пушок все летает, — сказал Дэвид. Сто раз она будет носиться туда-сюда, но в конце концов принесет им большой кувшин лимонада и бутерброды на блюде. Джесси держала гирлянду; он стучал молотком. В Сарай занесло курицу; потом мимо двери прошли чередой коровы; потом собака; потом пастух, Бонд; этот остановился.

Посмотрел, как молодежь розы развешивает по стропилам. Плевать ему было на всех, на простых и на благородных. Молча, неодобрительно прислонясь к косяку, он стоял, как плакучая ива стоит, склонясь над ручьем, разронявши все свои листья, и шаловливый бег воды играл у него в глазах.

— И-и-кха! — гаркнул вдруг. Это был, надо думать, коровий язык, потому что буренка, сунувшая в Сарай голову, тотчас опустила рога, хлестанула хвостом и степенно двинулась прочь. Бонд пошел следом.

1. До бесконечности (*лат*).

— Вот в чем вопрос, — сказала миссис Суизин. Пока мистер Оливер мучил энциклопедию, под "суеверием" ища разгадку выражения "подержаться за деревяшку", они с Айзой обсуждали рыбу; будет ли она свежая, преодолев такой путь.

Они же так далеко от моря. Миль сто, сказала миссис Суизин; нет, даже сто пятьдесят, наверно.

— Но говорят, — она продолжала, — в тихую ночь можно услышать море. После шторма, говорят, слышно, как разбиваются волны... какой прелестный рассказ, — она затуманилась. — "Услышав за полночь грохот волн, он оседлал коня и поскакал к морю". Кто это, Барт, кто это поскакал к морю?

Он уже углубился в чтение.

— Тут тебе их не принесут в ведре к самому порогу, — говорила миссис Суизин, — как, помню, в детстве, когда мы жили в таком домике прямо у моря. Омары, свежие, только что из садка. Как они в прутик вцеплялись, когда им кухарка протянет! А лосось! Можно сразу определить, что они свежие, потому что тогда у них вши на чешуйках.

Бартоломью кивнул. Совершенно верно. Он помнил тот домик у самого моря. И того омара.

С моря несли полные сети рыбы; но Айза видела — сад, переменный, как и предсказывали синоптики, на легком ветру. Снова прошли мимо дети, она постучала по стеклу, послала им воздушный поцелуй. Никто его не замечал в гуле, звоне и шелесте сада.

— Нет, правда, — она обернулась, — неужели отсюда сто миль до моря?

— Тридцать пять всего-навсего, — сказал ее свекор, будто, щелкнув извлеченной из кармана рулеткой, произвел самый точный замер.

— А кажется — больше, — сказала Айза, — как посмотришь с аллеи — земля и земля, без конца и края.

— А раньше вообще моря не было, — сказала миссис Суизин. — Никакой воды между нами и континентом. Утром в книге вычитала. На Стрэнде были рододендроны; и мамонты на Пиккадилли.

— И мы были дикарями, — сказала Айза.

Потом она вспомнила; ей дантист рассказывал, что дикари умели делать сложные операции на мозге. У дикарей были вставные зубы. Вставные зубы изобрели — так он сказал, кажется, — во времена фараонов.

— Так мне, по крайней мере, сказал мой дантист, — заключила она.

— А ты к кому теперь ходишь? — спросила миссис Суизин.

— К той же старой парочке; Бэтти и Бэйтс на Слоун-стрит.

— И это мистер Бэтти тебе сказал, что вставные зубы были во времена фараонов? — удивилась миссис Суизин.

— Бэтти? Нет, почему Бэтти. Это Бэйтс, — поправила Айза.

Бэтти, она вспоминала, исключительно говорил о королевской семье. Бэтти, она сообщила миссис Суизин, пользовал ее королевское высочество.

— И по часу заставлял меня дожидаться. А в детстве, сами знаете, это кажется вечностью.

— Браки между близкими родственниками, — сказала миссис Суизин, — вредны для зубов.

Барт запустил в рот палец и выдвинул вперед весь верхний ряд. Зубы были вставные. И однако, он сказал, у Оливеров не было браков между близкими родственниками. Оливеры не могут проследить свою родо-

словную дальше чем на две-три сотни лет. А вот Суизины могут. Суизины еще до Нормандского завоевания были.

— Суизины... — начала миссис Суизин. Но осеклась. Барт отмочит новую шуточку, насчет святых[1], так нет же, такого удовольствия она ему доставлять не намерена. Две свои шуточки он уже отмочил; про зонтики — раз; и насчет суеверий.

И потому она вовремя осеклась и сказала:

— Да, так с чего у нас зашел разговор?.. — Она загибала пальцы. — Фараоны. Дантисты. Рыба... Ах да, Айза, ты говорила, что заказала рыбу; и сомневаешься, будет ли она свежая. А я сказала: "Вот в чем вопрос..."

Рыба была доставлена. Посыльный от Митчелов, держа корзину на сгибе локтя, спрыгнул с мотоцикла. Нет, какое там угощать пони сахаром, буквально слово сказать некогда, куча заказов. Надо на гору, к Бикли; потом делать крюк и — к Уэйторнам, Роддамам, Пэйминстерам, все имена, как и его собственное, занесены в кадастровую книгу. А вот кухарка — миссис Сэндс ее звали, но для старых друзей просто Трикси — в свои пятьдесят на горе никогда не бывала, и не больно хотелось.

Плюхнул на кухонный стол палтусов — филе, полупрозрачных, бескостных. Миссис Сэндс еще даже с них бумагу не посчищала, а мальчишки и след простыл, зато успел-таки шлепнуть по заду благородного рыжего кота, который, величаво восстав из своей корзины, шествовал к столу, учуяв рыбку.

Не попахивают ли чуть-чуть? Миссис Сэндс их подносила к носу. Уж как терся кот о ножку стола, о ее ногу. Ничего, она уделит кусочек Сынку — будучи Сэн-Дзеном в гостиной, на кухне он преобразовался в Сынка. Под присмотром кота палтусы были отнесены в кладовку, уложены на поддон в этом отчасти святилище. Ибо при доме, как у всех по соседству, раньше, до Реформации, была часовня; и часовня сделалась кладовкой, претерпев изменения, как имя кота изменилось, как изменилась вера. Мастер (это он в гостиной был Мастер; а на кухне-то Барти) приведет, бывало, господ в кладовую — а миссис Сэндс там стоит, не одета. И не на окорока посмотреть, главное, водит, как свисают с крюков, или на круги масла, или для завтрашнего обеда баранину, а на погреб, куда ход из кладовки, и резная там арка. Постучишь — у одного господина был молоточек — и звук такой странный; раскатный; нет сомнения, говорит, там тайный ход, и когда-то прятался кто-то. И свободно могло быть. Но, по миссис Сэндс, лучше бы не ходили они на кухню, не рассказывали бы эти сказки при девушках. Разная чушь потом лезет в глупые головы. Уже они слышали, как покойники бочки двигают. Уже видели, как бледная леди под деревьями разгуливает. Как стемнеет, ни одна на аллею ни-ни. Кот, Сынок, чихнет, а они: "Привидение!"

Сынок получил свой кусочек филе. Затем миссис Сэндс взяла яйцо из темной корзины, где лежали яйца; некоторые с рыжим пушком на скорлупе; потом зачерпнула муки — обвалять прозрачные ломтики; потом сухарной крошки из большой глиняной миски молотых сухарей. И потом вернулась на кухню и принялась орудовать у печи, чем-то гремя, шипя, что-то скребя и плюхая, по всему дому рассылая особенное эхо, так что в библиотеке, в гостиной, в столовой, в детской, кто бы там что

1. Святой Суизин (800–862). У англичан есть примета: если в его день, 15 июля, погода ясная, значит, будет ясно все последующие сорок дней.

ни делал, ни говорил, ни думал, все знали, каждый знал, что скоро будет завтрак, обед или ужин.

— Сэндвичи... — сказала миссис Суизин, входя на кухню. Она не добавила к сэндвичам "Сэндс", это бы вышло бестактно. "Нельзя никогда обыгрывать, — мама учила, — чужие фамилии". Но Трикси — это имя же совсем не подходит, как Сэндс подходит — к этой тощей, кислой, рыжей, колючей чистюле, которая пока еще ни разу шедевра не создала, что правда, то правда; зато уж и шпильку в суп не уронит. "Что за черт?" — рыкнул Барт, выуживая шпильку из супа, в старые времена, пятнадцать лет назад, до эры Сэндс, в эпоху Джесси Пук.

Миссис Сэндс принесла хлеб; миссис Суизин принесла бекон. Одна нарезáла хлеб; другая бекон. Кухаркины руки строгали — раз-раз-раз. Тогда как Люси, обнимая каравай, держала нож лезвием вверх. Почему черствый хлеб, она рассуждала, режется легче, чем свежий? И вбок скользнула: закваска — алкоголь; брожение; опьянение; Бахус; и уже под пурпурными лампионами в италийском вертограде лежала, где леживала, бывало; а миссис Сэндс меж тем слушала, как часы тикают; как муха жужжит; за котом присматривала; и досадовала, по губам было видно, а вслух ведь не выскажешь, что на кухне морока лишняя от этой блажи — гирлянды в Сарае развешивать.

— Погода не подведет? — спросила миссис Суизин, с ножом наперевес. Они на кухне приноровились уже к старухиной придури.

— На то похоже, — ответила миссис Сэндс, остро глянув в кухонное окно.

— В прошлом году подвела, — сказала миссис Суизин.— Помните, что творилось — вдруг хлынуло и мы заносили стулья? — Она опять стала резать. Потом спросила про Билли, племянника миссис Сэндс, проходившего ученье у мясника.

— Ведет, как не положено малому, — сказала миссис Сэндс, — грубиянит хозяину.

— Ничего, все будет в порядке, — сказала миссис Суизин, имея в виду племянника, имея в виду сэндвич, который просто чудо как хорошо вышел, треугольненький, аккуратный.

— Мистер Джайлз, возможно, опоздает, — прибавила она и, довольная, положила свой сэндвич на блюдо.

Потому что муж Айзы, биржевой маклер, ехал из Лондона. А местный поезд, который подают к лондонскому, ходит шаляй-валяй, и даже если мистер Джайлз успеет в Лондоне на более ранний поезд, все равно ничего тут не рассчитаешь. А в таком случае... но каково в таком случае придется миссис Сэндс — люди опаздывают на поезда, а ей все дела побросай и толкись у плиты, чтобы еда была с пылу с жару, — это только она сама знает.

— Ну вот! — сказала миссис Суизин, озирая сэндвичи, одни удачные, другие не очень. — Ладно, несу их в Сарай.

А насчет лимонада — она знала без тени сомнения, что Джейн, кухонная девушка, его следом понесет.

Кэндиш задержался в столовой, чтоб поправить желтую розу. Желтые, белые, пунцовые — так он их расставил. Он любил цветы, любил их расставить, всадить острый зеленый листик, листик сердечком, чтобы ловко пришелся меж ними. Странно, как он любил цветы, при том что картежник и пьяница. Вот все и готово — белизна, серебро, вилки,

салфетки, и посредине ваза с разноцветными брызгами роз. И, все окинув последним взором, он удалился.

Две картины висели рядком напротив окна. В жизни они никогда не встречались — эта длинная дама и господин, держащий коня под уздцы. Дама была картина, даму Оливер купил, потому что ему приглянулась картина; господин же был предок. У него было имя. Он держал коня под уздцы. Он говорил художнику: "Если желаете снять с меня подобие, сударь, черт с вами, малюйте, когда распустятся на деревьях листочки". Распустились на деревьях листочки. Тогда он сказал: "Для Колина-то сыщется местечко, с Бастером вместе?" Колин был его знаменитый пес. Но место нашлось только для Бастера. Вот досада, он, кажется, говорил, но уже не художнику, что рядом не поместился Колин, которого он собирался похоронить у себя в ногах, в своем склепе, в году примерно 1750-м, да только этот стервец преподобный, как бишь его, согласия не дал.

Он был вечная тема для разговоров, предок. А дама была картина. В желтой робе, томно склонясь к колонне, с серебряной стрелою в руке, с пером в волосах, она поводила взглядом вверх, вниз, к прямизне от изгиба, сквозь зеленые прошвы и тень серебра, сквозь сумрак и розовость, к тишине. В столовой было пусто.

Пусто, пусто, пусто; тихо, тихо, тихо. Комната стала раковиной и пела о том, что было в довременье; и в самом центре дома стояла ваза, алебастровая, прохладная, гладкая, в себя вобравшая самую суть пустоты, тишины.

По ту сторону коридора открылась дверь. Один голос, другой, третий выплеснулись в коридор; хриплый — голос Барта; дряблый — Люси; и матовый голос Айзы. Голоса, налетая друг на друга, сталкиваясь, сшибаясь, долетали из коридора, обранивая клочья фраз: "...поезд опоздает"; "не остыло бы"; "мы не будем, нет, Кэндиш, мы не будем ждать".

Вылившись из библиотеки, голоса в коридоре запнулись. Наткнулись, видимо, на препятствие; на скалу. Неужели никак невозможно даже здесь, вдалеке от всего, побыть одним? Это была скала. В нее уперлись, потом ее обогнули. Досадно, да, но что поделать. Гости так гости. Да, немного досадно, но даже приятно было, выйдя из библиотеки, наткнуться на миссис Манреза и незнакомого молодого человека — волосы цвета пакли, вытянутое лицо. Бежать было некуда; встреча была неизбежна. Их не ждали, не приглашали, да, но их сманил с шоссе тот же инстинкт, что сбивает в стадо овец и коров, и они пришли. Но у них с собою корзина еды. Вот.

— Просто не могли устоять, как увидели на указателе вашу фамилию, — распиналась миссис Манреза. — А это приятель мой, Уильям Додж. Собрались в одиночестве посидеть, в чистом поле. Ну, и я говорю: почему бы нам не попросить у друзей дорогих — когда указатель увидела, — не попросить ли убежища? Место за столом — больше нам ничего не надо. Жратва у нас есть. И стаканы. Нам надо только... — общества, очевидно, слиться с себе подобными.

И она помахала рукой, на которой была перчатка, но под перчаткой перстни угадывались, помахала старому мистеру Оливеру.

Он низко склонился к ее руке; столетье назад он бы руку поцеловал. К потоку приветствий, протестов, извинений и снова приветствий подмешалась струйка молчанья, которую, разглядывая молодого человека, подбавила Айза. Конечно, он хорошего круга; по носкам и брюкам видно;

интеллигентный — галстук в крапинку, расстегнутая жилетка; городской, кабинетный — такой нездоровый, глинистый цвет лица; страшно нервный, так задергался, когда его вдруг представили, и адски, кошмарно суетный — презирает щебет миссис Манреза, а сам же с нею прикатил.

Айзу все это не очень грело, но — ей было любопытно. Миссис Манреза прибавила для порядка: "Он художник", Уильям Додж поправил: "Канцелярская крыса" — и что-то он промямлил насчет образования, не то про налоги, — и она нащупала узел, так туго стянутый, что чуть не перекосилось и уж точно дергалось его лицо.

И они пошли к столу, и миссис Манреза буквально лопалась от восторга, что так ловко, палец о палец не ударив, сумела преодолеть небольшой общественный кризис — и вот вам, пожалуйста, — два лишних прибора на столе. Недаром она доверялась человеческой природе, верно? Все ведь мы из плоти и крови? И зачем огород городить, если все мы из плоти и крови под нашей кожей — мужчины и женщины! Но она предпочитала мужчин — это очень было заметно.

— А зачем тогда тебе эти перстни и эти ногти, эта просто обворожительная соломенная шляпка? — спрашивала Айза, молча адресуясь к миссис Манреза, своим молчаньем внося, таким образом, существенный вклад в беседу. Шляпка, перстни, ногти, как розы пунцовые, гладкие, как ракушки, были выставлены на обозрение. Но не ее жизнь. Тут только ошметки достались им всем — за исключением, видимо, Уильяма Доджа, которого она называла Биллом на публике — знак, наверно, того, что он знал побольше их всех. Кое-что из того, что он знал, — она бродит ночами в шелковой пижаме по саду, у нее громкоговоритель, она слушает джаз, есть бар, — они тоже знали, конечно. Но ничего интимного; никаких прямых биографических фактов.

Она родилась, но это только сплетни, в Тасмании; ее дед был вывезен за какой-то викторианский скандал; неблаговидное что-то; присвоение казенных средств, что ли? Но повесть, в тот единственный раз, когда ее слышала Айза, не двинулась дальше этого "вывезен", ибо муж общительной дамы — миссис Бленкоу, на мызе, — придрался к неточности и сказал, что скорей он был "выслан", но и это не то, слово вертится на языке, никак не поймать. И рассказ сразу как-то увял. Иногда она ссылалась на какого-то своего дядю, епископа. Но он, кажется, только в колониях считался епископом. Очень уж легко все прощают и забывают в этих колониях. Еще говорили, что ее алмазы-рубины собственными руками выкопал из-под земли ее "муж", но только не Ралф Манреза. Ралф, еврей, стал выглядеть типичнейшим сельским аристократом, когда ведущие городские компании — это точно — его буквально озолотили; и у них нет детей. Но когда на троне Георг VI[1], как-то немодно, пошло, траченными молью мехами попахивает это занятие, и камеями, бисером, писчей бумагой с черным обрезом, — та́к вот рыться в чужом грязном белье, да?

— Все, что мне нужно, — и миссис Манреза состроила глазки Кэндишу, будто он настоящий мужчина, не чучело, — так это штопор.

У нее бутылка шампанского, а штопора нет.

— Видишь, Билл, — она сказала, вывернув большой палец (открывала бутылку), — эти портреты, а? Говорила я тебе, что получишь удовольствие?

1. Георг VI (1895—1952) — английский король с 1936 г.

Вульгарная, да, эти жесты, и вообще, явная брючница, и — так разрядиться для пикника! Но какое нужное, ценное, во всяком случае, свойство — ведь каждый, едва она рот откроет, сразу чувствует: "Вот, она сказала, а я — нет, и почему не я", и, воспользовавшись брешью в декоруме, в которую хлынула свежесть, уже веселым дельфином кувыркается у ледокола в кильватере. И она же восстановила для старого Бартоломью те пряные острова, его юность, не так ли?

— Я ему говорила, — теперь она уже Барту строила глазки, — что он и смотреть не захочет на наши вещи (которых у них буквально пруд пруди) после ваших. И я ему пообещала, что вы ему покажете эту... эту... — Тут вскипело шампанское, и она настояла, чтоб Барт себе первому наполнил бокал. — Ну, по чему еще вы, образованные господа, с ума-то сходите? Ну, арку? Норманнскую? Саксонскую? Кто тут у нас недавно из школы? Миссис Джайлз?

Теперь она глазки строила Изабелле, одаряя ее юностью; но когда с женщинами разговаривала, она застилала взгляд, чтоб эти, участницы сговора, там чего лишнего не прочитали.

Так, гол за голом — шампанское, глазки, — она выигрывала, утверждалась: дитя природы, вихрем ворвавшееся в эту... — она усмехалась тайком — тихую заводь; после Лондона просто комическую; но кое в чем и получше Лондона. И она предлагала им образцы своей жизни на пробу; немножечко сплетен; чушь сплошную; но она ни на что другое и не замахивалась; как в прошлый вторник сидела с таким-то, с таким-то; и после фамилии вдруг всплывало имя; вот уже вспархивало уменьшительное; и он сказал — кто я такая? мне все можно выложить! — и "по строгому секрету, мне бы не надо болтать" она все им выбалтывала. И они навостряли уши. Потом — легким жестом руки, будто швырнув за борт эту дурацкую, гадкую лондонскую жизнь, — бах! — она вскрикнула: "Вот! И что я перво-наперво делаю, когда сюда приезжаю?" Они выехали вчера вечером, катили по июньским лугам, с Биллом, само собой, парочкой, бросив Лондон, который вдруг просто осточертел, чтоб просто посидеть-пообедать. "Ну и что я делаю? Можно я скажу, да? Вы разрешаете, миссис Суизин? Ах, в этом доме все можно сказать. Я рассупониваюсь (уперла руки в боки — статная дама) и катаюсь по траве. Катаюсь! Вы не поверите..." И она от души расхохоталась. Наплевала на фигуру и почувствовала себя свободной!

Да, это правда, это без дураков, думала Айза. Конечно, правда. И эта ее любовь к природе. Часто, когда Ралфа Манреза не пускали дела, она одна сюда мчала; в потрепанной шляпе; учила деревенских женщин — не мариновать и закатывать, нет; но как плести из цветной соломки миленькие такие корзиночки; им тоже надо от жизни получать удовольствие, она объяснила. Она сама, например, как ни пройдете мимо, услышите — напевает среди георгинов: "Тра-ля-ля-ля!"

Нет, просто отличная тетка. Барт при ней даже помолодел. Поднимая бокал, уголком глаза он заметил белый промельк в саду. Кто-то прошел под окнами.

Судомойка, пока посуду не вынесли, остужала щеки у пруда с кувшинками.

Тут всегда были кувшинки, ветром посеянные, и плавали, красные, белые, на зеленых лиственных блюдцах. Вода за столетья осела в своей лохани и лежала теперь слоем в четыре-пять метров на илистой черной

подушке. Под зеленой плитой ряски, застекленные в собственном царстве, плыли рыбы — золотые, в белую крапинку, черно-полосатые, серебряные. Молча проплывут по своему водному царству, замрут на синем отражении неба или бесшумно метнутся к краю, где дрожит трава и ложится на воду мохнатой кивающей тенью. Там, на водной панели, оставляют тоненькие следы пауки. Семечко упадет и уходит спиралью вниз; упадет навстречу своему отражению лепесток, сольется с ним, взбухнет, тонет. И тогда флотилия этих живых корабликов замрет; зависнет; во всем снаряженье; в броне; и скроется с волнистым взблеском.

Вот там, в самой середке, утопилась та леди. Десять лет назад осушали пруд и нашли берцовую кость. Правда, кость, к сожаленью, оказалась овцы, не леди. А не бывает у овец привидений, потому что нету душ у овец. Но, не сдавались слуги, ходит привидение, ходит; а привидение — чье ж, как не леди; которая утопилась от несчастной любви. И кто ж после этого пойдет ночью к пруду с кувшинками; нет, только сейчас, когда солнце светит и господа еще не встали из-за стола.

Утонул лепесток; судомойка побежала на кухню; Бартоломью отхлебнул свое вино. Он был счастлив, как мальчик; безответствен, как старик; странное, дивное ощущение. Пошарив в памяти, что бы такое сказать этой очаровательной даме, он брякнул первое, что пришло на ум; изложил историю про овечью берцовую кость. "Слугам, — он сказал, — нужны привиденья". Судомойкам нужны леди, утопившиеся от несчастной любви.

— Ах, и мне, и мне! — крикнула миссис Манреза, дитя природы. Ни с того ни с сего стала важная, как сова. Да, когда Ралф был на войне, она знала, знала — она говорила, для пущей убедительности отщипывая от хлеба кусочек, — что он не погиб, не то бы он ей явился, "где бы я ни была, чем бы ни занималась", — и она взмахнула руками, расплескивая с пальцев бриллиантовый блеск.

— Я этого не понимаю, — сказала миссис Суизин, покачав головой.

— Ну конечно, — миссис Манреза залилась смехом. — И никто из вас не поймет. Видите ли, я на уровне... — она выждала, пока ретируется Кэндиш, — ваших слуг. Я не такая взрослая, как вы все.

И нахохлилась, гордясь своей подростковостью. Придуривалась? Или нет? Струйка чувства в ней пробивалась сквозь ил. У них он выложен плитами мрамора. Для них овечья кость — это овечья кость, не останки бедной благородной утопленницы.

— Ну а вы к какому лагерю принадлежите? — Бартоломью повернулся к неизвестному юнцу. — Взрослых или не взрослых?

Изабелла открыла рот, в надежде, что он раскроет свой, дав ей шанс составить о нем впечатление. Но он только глаза таращил.

— Прошу прощенья, сэр? — произнес-таки наконец. Все на него уставились. — Я вот на портреты смотрел.

Портрет ни на кого не смотрел. Портрет их вел в тишину, по тропам молчания.

Миссис Суизин его нарушила.

— Миссис Манреза, хочу попросить вас об одном одолжении. Если вечером будет крайняя надобность, вы споете?

Вечером? Миссис Манреза пришла в ужас. Праздник! Она понятия не имела, что это сегодня! Неужели же они бы сюда сунулись, знай они, что это сегодня! И, разумеется, опять начался перезвон. Айза слышала первый колокол; и второй; и третий, если дождь — будем в Сарае; если

вёдро — на воле. Но что будет, дождь или вёдро? И все посмотрели в окно. И тут дверь отворилась. И Кэндиш возвестил, что мистер Джайлз приехали. Мистер Джайлз сию минуту сойдут к столу.

Джайлз приехал. Увидел у входа большой серебристый автомобиль с вензелем Р. М., так выкрученным, что издали сходил за корону. Гости, он заключил, припарковываясь сзади; и поднялся к себе — переодеться. Призрак условностей вынырнул из глубин, как под давлением чувства выступают слезы или румянец; так этот автомобиль надавил на какую-то клавишу. Надо переодеться. И в столовую он вошел, одевшись как на крикет — белые штаны, синий пиджак с медными пуговицами; хотя сам же бесился. Разве еще сегодня, в поезде, он не прочитал в газете, что шестнадцать человек убиты, остальные захвачены в плен прямо там, за бухтой, на плоской земле, их отделяющей от континента? И вот вам, пожалуйста, — переоделся. А все из-за тети Люси — увидела его, ручкой машет, — из-за нее он переоделся. Он на нее повесил свою досаду, как вешают пальто на крюк, бездумно, привычно. Тете Люси — ей-то что, дуре; вечно, с тех пор как после колледжа он выбрал свою лямку, она высказывает недоумение по поводу некоторых, жизнь кладущих на то, чтоб покупать-продавать — плуги? или это бисер? или акции? — дикарям, которым надо зачем-то — будто они и голые не хороши? — одеваться и жить, как живут англичане. Легкомысленный, злой даже, взгляд на проблему, которая — у него же ни талантов особых не было, ни капитала, и он без памяти влюбился в свою жену — он ей кивнул через стол — терзает его уже десять лет. Будь у него выбор — тоже небось занялся бы сельским хозяйством. Но не было выбора. И так — одно цепляется за другое; все вместе на тебя давит, плющит; держит, как рыбу в воде. И он приехал на выходные и переоделся к обеду.

— Добрый день, — сказал он всем за столом; и кивнул незнакомому гостю; настроился против него; и занялся своим палтусом.

Он был совершенно, ну совершенно во вкусе миссис Манреза. Волосы вьются; подбородок не скошенный, как с подбородками часто, нет, абсолютно твердый; нос прямой, пусть чуточку и коротковат; глаза, при таких волосах, конечно же, голубые; и, наконец, для полноты картины, что-то такое дикое, неукротимое было у него во взгляде, что миссис Манреза даже в свои сорок пять подготовила старые орудия к бою.

"Мой муж, — Изабелла думала, пока они друг другу кивали через пестрый букет, — отец моих детей". И — сработало, испытанное клише; гордость прихлынула к сердцу; нежность; и снова гордость — за себя, которую он избрал. И как это странно, после утрешнего стоянья у зеркала, после стрелы Амура, которой запустил в нее вчера вечером этот помещик, — и вдруг теперь ощутить, когда он вошел не хлыщом городским, спортсменом, — такое сильное чувство любви; и ненависти.

Они познакомились в Шотландии; рыбу удили — она с одной скалы, он с другой. У нее запуталась леска; она плюнула на все это предприятие и стала смотреть, как он, во вспененной воде по колено, целился, целился, целился — пока, серебряным слитком, изогнутым посредине, подпрыгнула семга, попалась, и — Айза полюбила его.

Бартоломью тоже его любил; и заметил, что он сердится — из-за чего? Но помнил — у них гости. Семья — не семья при чужих. Надо пообстоятельней им рассказать про портреты, которые незнакомый молодой человек рассматривал, когда вошел Джайлз.

— Это, — он показал на мужчину с конем, — мой предок. У него был пес. Знаменитый пес. Оставил свой след в истории. И хозяин распорядился в письменном виде, чтобы пса этого похоронили с ним вместе.

Все разглядывали портрет.

— Я так и слышу, — Люси прервала молчанье, — как он говорит: нарисуйте мою собаку.

— Ну а лошадь, насчет лошади что? — спросила миссис Манреза.

— Лошадь, — Бартоломью нацепил очки. Оглядел Бастера. Задние ноги явно подкачали.

А Уильям Додж все смотрел и смотрел на даму.

— А-а, — сказал Бартоломью, который купил эту картину, потому что картина ему понравилась, — да вы, батенька, художник.

И снова Додж отпирался, за полчаса второй раз, отметила Айза.

Зачем роскошной бабе, как эта Манреза, таскать за собой этого недоноска? — спрашивал себя Джайлз. И молчаньем внес свой вклад в разговор — то есть Додж тряхнул головой:

— Мне нравится этот портрет.

Больше ничего он не мог из себя выдавить.

— И вы совершенно правы, — сказал Бартоломью. — Один человек — ах, ну как его? — связанный с каким-то там учреждением, ну, который советы дает, бесплатно, потомкам, как мы, вырождающимся потомкам, так он сказал... сказал... — и Бартоломью умолк. Все смотрели на даму. А она смотрела куда-то мимо них, ни на что не смотрела. И по зеленым просекам их вела в самую глушь тишины.

— Кажется, это сэр Джошуа?[1] — миссис Манреза резко сломала молчанье.

— Нет-нет, — Додж сказал быстро, но шепотом.

И чего он боится? — спрашивала себя Айза. Бедняга. Стесняется собственных вкусов — а сама она мужа не боится? Не записывает стихи в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтоб Джайлз не догадался? Она посмотрела на Джайлза.

Он разделался с палтусом; ел быстро, чтоб остальных не задерживать. Подали вишневый пирог. Миссис Манреза считала косточки.

— Куколка, балетница, воображала, сплетница, куколка, балетница, воображала... это я! — крикнула она, страшно довольная, что вишневый пирог дал ей возможность продемонстрировать, какое она истинное дитя природы.

— Вы и в это, — старик галантно ее поддел, — тоже верите?

— Ах, ну как же, ну конечно я верю! — она снова чувствовала себя как рыба в воде. Отличная тетка. И всем стало хорошо; и можно, резвясь у нее в кильватере, оставлять серебристые, темные тени, уводящие в самую глушь тишины.

— Мой покойный отец, — зашептал Додж Айзе, которая села рядом, — любил живопись.

— Ой, а у меня! — выпалила Айза. Быстро, сбивчиво, она пояснила. В детстве, когда болела коклюшем, ее оставляли у дяди, он был духовная особа; ходил в скуфье; и ничего абсолютно не делал; даже проповеди не читал; но сочинял стихи, бродил по саду и вслух их выкрикивал.

1. Сэр Джошуа Рейнолдс (1723—1792) — великий английский художник.

— Все его сумасшедшим считали, — она сказала, — а я... — И осеклась.

— Балетница, воображала, сплетница, куколка... Выходит, — сказал старый Бартоломью и положил ложку, — выходит, что я куколка. Кофе в саду будем пить? — и он встал.

Айза волокла свой шезлонг по гравию и бубнила: "В какие дебри шелкового дня, в какую чащу, всхлестнутую ветром, нам суждено бежать? Или качаться от звезды к звезде, плясать в тумане лунном? Или..."

Она несла шезлонг под неправильным углом. И вывихнулась рама.

— Песни любимого дядюшки? — Уильям Додж услышал её бормотанье. Он отобрал у нее шезлонг и вправил ему сустав.

Она покраснела, будто напевала в пустой комнате и кто-то вышел вдруг из-за шторы.

— А вы, когда что-то руками делаете, не бубните разную чушь? — выговорила кое-как. Но что он своими руками будет делать, такими белыми, утонченными?

Джайлз пошел в дом, принес еще стулья и поставил полукругом, так, чтоб все наслаждались видом, защищенные старой стеной от ветра. Игрою случая стену поставили некогда как продолжение дома, возможно с намерением протянуть второе крыло туда, на террасу, на солнышко. Но не хватило средств; план забросили, а стена осталась, просто стена. Потом уже следующее поколение посадило абрикосовые деревья, и они в свое время широко раскинули ветки над красным выцветшим кирпичом. Миссис Сэндс говорила, что хороший тот год, когда из абрикосов этих шесть банок варенья наваришь — так к столу не подашь, нет, кислые больно. Может, три абрикоса и стоили, чтоб их в кисею обмотать. Но они были такие красивые голенькие, одна щечка розовая, другая зеленая, и миссис Суизин их голыми и оставляла, и осы в них буравили дыры.

Земля тут так поднимается, что, согласно путеводителю Фиггиса (1833), "открыт прекрасный вид на округу... шпиль Болниминстерского собора, Раф-Нортонские леса, и левей, на возвышенности, Каприз Хогбена, названный так потому...".

Путеводитель все еще соответствовал действительности. Соответствовал в 1833-м, и в 1939-м. Ни одного дома не выстроили; никакой город не возник. Хогбеновский Каприз все так же торчит; и сама плоская, раскроенная на участки земля изменилась только в одном — плуг в какой-то мере заменен тракторами. И нет лошадей; но коровы остались. Будь сейчас с нами Фиггис, Фиггис бы все повторил слово в слово. Так всегда они говорили, сидя тут летом за кофе, когда у них были гости. Когда были одни, ничего не говорили. Просто смотрели; смотрели на то, что наизусть знали, смотрели — вдруг сегодня что-то изменится. Обычно все оставалось по-прежнему.

— Оттого этот вид так печален, — говорила миссис Суизин, погружаясь в шезлонг, который принес ей Джайлз, — и так прекрасен. И все это будет тут, — она кивнула дымчатой дали полей, — когда нас не станет.

Свой шезлонг Джайлз поставил рывком. Только так он мог выказать свое раздражение, свою злость — сидят, разглядывают виды, прихлебывая кофе со сливками, шляпы несчастные, когда вся Европа — там — ощетинилась, как... он был не мастер метафор. Лишь бедное слово "еж" отвечало его ви́дению Европы, ощетинившей пушки, поднявшей в небо аэропланы. В любую секунду пушки могут вспахать эту землю; аэропланы в куски разнесут Болниминстер, а от всех их Капризов мокрое место

оставят. Он и сам любит этот вид. А ругает тетю Люси, разглядывающую виды, вместо того... вместо чего? Что ей еще прикажете делать на этом свете? И так уже — вышла за помещика, он теперь умер; родила двоих детей, один в Канаде, другой в Бирмингеме, женат. Отца-то он любит, отец — вне критики; ну а у него самого — одно цепляется за другое; и вот — сидит с этими шляпами, виды разглядывает.

— Просто мечта, — сказала миссис Манреза, — мечта... — она промычала. Закуривала папироску. Ветер загасил огонек. Джайлз, сложив ладонь лодочкой, зажег ей новую спичку. Она тоже была вне критики — почему, неизвестно.

— Коль скоро вас интересует живопись, — Бартоломью повернулся к немотствующему гостю, — быть может, вы растолкуете мне, почему мы, как нация, так нелюбопытны, безответственны и бесчувственны, — видно, это шампанское так разливалось в три ручья, — к такому благороднейшему искусству, тогда как миссис Манреза, если она мне позволит мою стариковскую вольность, Шекспира наизусть знает?

— Шекспира наизусть! — вскинулась миссис Манреза. Приосанилась. — "Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Что благородней духом..." Ну а теперь вы! — и локотком подтолкнула Джайлза, который сидел рядом.

— "Душа моя мрачна — скорей, певец, скорей"[1], — Айза выпалила первое, что в голову пришло, лишь бы выручить мужа.

— "Вот арфа золотая..."[2], — подхватил Уильям Додж.

— То-то! — крикнул Бартоломью, воздев перст. — Каких же вам еще доказательств! А какая пружина нажмется, какой тайник откроет свои сокровища, когда я скажу, — он поднимал остальные пальцы, — Рейнолдс! Констэбл! Кром![3]

— А почему его называют "Старый"? — блеснула миссис Манреза.

— У нас и слов таких нет — нет слов, — объясняла миссис Суизин, — в глазах; на губах; и всё.

— Мысли без слов, — призадумался брат, — такое возможно?

— Нет, это не моего ума дело! — вскричала миссис Манреза и затрясла головой. — Ничего не поняла! Можно я себе еще подбавлю? Сама знаю, не надо. Но в таком возрасте — и при такой комплекции — уже все позволено.

Взяла серебряный маленький сливочник и подлила обильно-кудрявую струю в свою чашку, куда подбавила еще и сахару — ложку с верхом. И ритмично, с наслаждением, аппетитно помешивала кофе, кругами, кругами.

— Берите что хотите! Угощайтесь! — прокричал Бартоломью. Он чувствовал, что действие шампанского вот-вот погаснет, и спешил добрать последние крохи веселости, попользоваться; так окидывают соловеющим взглядом освещенную комнату, перед тем как отправиться спать.

Дитя природы, снова, как рыба в воде резвясь в этом приливе стариковского благоволенья, над краем чашки глянуло на Джайлза, ощущая себя с ним в тайном сговоре. Какая-то нить их опутала, видимая, невиди-

1. Первая строка стихотворения Байрона из цикла "Еврейские мелодии" (перев. М. Ю. Лермонтова).
2. Додж продолжает дальше то же стихотворение.
3. Джон Констэбл (1776–1837) — знаменитый английский пейзажист; Джон Кром (1768–1821) — особенно славен изображением деревьев. Обычно его называют "Старый Кром", чтоб отличить от сына, известного пейзажиста.

мая, как тенетник — то видно его, то нет, — опутывает былинки перед осенним рассветом. Она всего раз его видела, на крикете. И сплелась между ними та ниточка в первом брезге, когда еще не проступили из темноты побеги и листики более крепкой связи. Перед тем как глотнуть, она глянула. Этот взгляд подбавлял еще сладости чашечке кофе. К чему обирать себя, будто спрашивал этот взгляд, терять хоть единую каплю, которую можно выдавить из нашей спелой, тающей, нашей обворожительной жизни? И она прихлебнула из чашки. И воздух вокруг нее накалился. Бартоломью это чувствовал; Джайлз это чувствовал. Будь он конь, темную холку его передернуло бы, словно туда сел овод. Айзу тоже передернуло. Злость, ревность ей царапали кожу.

— А теперь, — миссис Манреза поставила чашку. — Насчет этого праздника, куда мы вломились. — И это тоже у нее вышло кругло и сладко, как абрикос, который буравят осы. — Расскажите же мне, что это будет такое? — она повернулась. — Я, кажется, слышу? — прислушалась. И услышала смех в кустах, там, где терраса ныряет в кусты.

За прудом с кувшинками земля опять опускалась, и там, в ложбине, куманика наступала на пятки подлеску. И вечно была тень; летом в солнечных бликах, холодная и сырая зимой. Летом вечно летали бабочки: промахивали аполлоны; парили торжественные адмиралы; капустницы скромно облетали кусты, как надевшие кисейные платья, довольные судьбою молочницы. Ловле бабочек из поколения в поколение учились именно здесь; Бартоломью и Люси; Джайлз; Джордж только позавчера приступил к ученью, когда прихлопнул капустницу крохотным зеленым сачком.

Лучше не придумаешь места для гримерной, а для представленья, положительно, нет лучше места, чем терраса.

— Самое подходящее место! — скрепила мисс Ла Троб, когда в самый первый визит ей показывали окрестность. Тогда был зимний день. Деревья стояли голые. — Какое место для празднества, мистер Оливер! — она воскликнула. И помахала рукой деревьям, безлисто дрогшим в четком январском свете. — Вот тут сцена; там публика; а там, пониже, в кустах, отличнейшие грим-уборные.

Вечно ее хлебом не корми, только дай что-нибудь поставить. И откуда она такая взялась? С этой своей фамилией — вряд ли чистокровная англичанка. С Нормандских островов, нет? Глаза вот только, и еще что-то эдакое, даже не скажешь, всегда наводило миссис Бингем на подозрение, что тут не обошлось без русских корней. "Эти проваленные глаза; эта квадратная челюсть" напоминали миссис Бингем — не то чтоб та побывала в России, — напоминали татар. Слух такой был, якобы она держала в Уинчестере чайную; прогорела. Стала актрисой; опять-таки провалилась с треском. Купила четырехкомнатный домик и жила там с одной актрисой на пару. Вечно ругались. Ну что про нее еще можно сказать? Из себя такая смуглая, плотная; по полям расхаживает в халате; иной раз с папироской в зубах; а то и с хлыстом в руке; любит запустить очень даже крепким словцом — так, может, никакая она и не леди? Но обожает пьесы ставить, это у нее не отнимешь.

Смех замер.

— И они будут играть на сцене? — спросила миссис Манреза.

— Играть; танцевать; петь; всего понемножку, — сказал Джайлз.

— У мисс Ла Троб просто неистощимая энергия, — сказала миссис Суизин.

— Для всех придумывает дела, — сказала Изабелла.

— Нам отведена роль зрителей, — сказал Бартоломью, — кстати, очень ответственная роль.

— И мы еще чай подаем, — сказала миссис Суизин.

— Может, пойти помочь? — вскинулась миссис Манреза. — Бутербродов настрогать?

— Нет-нет, — сказал мистер Оливер, — мы зрители.

— Как-то мы ставили "Иголку матушки Гуртон"[1], в другой раз сами пьесу сочиняли. У сына нашего кузнеца — Тони? Томми? — дивный голос. А Элси с Перекрестка — как она умеет подражать! Всех нас изобразила; Барта; Джайлза; Старого Пушка — это я. Народ талантлив — очень. Вопрос только — как это вытащить? О, она это удивительно умеет — мисс Ла Троб. Конечно, вся литература английская к нашим услугам — пользуйся на здоровье. Но как выберешь? В иной дождливый день сижу, прикидываю — вот это я читала; вот это нет.

— И книги на полу оставляешь, — сказал ее брат, — как поросенок из той притчи; или это осел?

Она засмеялась и легонько потрепала его по колену.

— Осел; он не мог выбрать между сеном и репой и умер с голоду, — вмешалась Айза, первое, что пришло на ум, бросая между мужем и тетушкой; он сегодня особенно кисло слушал такое. Ставки открыты; ничего не решено; а ты тут сиди и играй роль зрителя.

— Мы сидим — мы зрители... — слова отказывались сегодня смирно строиться фразой. Стоят, щетинятся, грозят тебе кулаками. Он сегодня не Джайлз Оливер, которому хочется посмотреть, как деревенские сыграют свой ежегодный спектакль; нет, он прикован к скале и должен бездейственно созерцать невыразимый кошмар. Все это отражалось у него на лице; и Айза, не зная, что бы такое сказать, вдруг, отчасти нарочно, уронила кофейную чашку.

Уильям Додж ее подхватил на лету. Подержал минутку. Перевернул. По нежно-голубому клейму (скрещенные клинки) на блестящем донце он заключил, что чашка английская, изготовленная, по-видимому, в Ноттингеме; году примерно в 1760-м. Его мина — вот изучается клеймо, вот рождается вывод — Джайлзу послужила новым крюком, на который можно повесить злость, как вешают на крюк пальто, привычно, бездумно. Подлиза; втируша; темная лошадка; такой будет тянуть, вертеть и ощупывать чувства; прицеливаться, приценяться; жеманная мямля; разве способен такой на простую любовь к женщине — сидит с Айзой чуть ли не голова к голове — нет, просто обыкновенный... При этом слове, которое не произносят на людях, он стиснул зубы; и перстень совсем покраснел у него на мизинце — так побелел сам палец, когда рука вцепилась в шезлонг.

— Ой, до чего интересно! — проворковала миссис Манреза. — Всего понемножку; песни; пляски; и пьеса, разыгранная пейзанами. Только вот, — тут она, склоня голову, повернулась к Изабелле, — я уверена, *она* это все сама сочиняет. А вы, миссис Джайлз?

Айза покраснела и не согласилась.

1. Раннеелизаветинская комедия в стихах, поставленная впервые в Кембридже в 1566 г. Автор неизвестен.

— Я лично, — продолжала миссис Манреза, — откровенно говоря, двух слов связать не могу. Даже не понимаю — такое трепло, язык без костей, а возьмусь за перо... — Она скорчила рожицу, сложила пальцы так, будто держит перо. Но перо, которое она держала так на маленьком столике, абсолютно отказывалось ее слушаться. — А почерк у меня! Буквы сикось-накось, большущие, безобразные... — она снова скорчила рожицу и отбросила невидимое перо.

Очень точным движением Уильям Додж водворил злополучную чашку на блюдце.

— А вот он — наоборот, — сказала миссис Манреза, будто в точности его жеста усмотрела доказательство тому, как мастерски он владеет пером, — дивно пишет. Каждая буковка — просто конфетка.

И снова все на него посмотрели. Он тут же спрятал руки в карманы.

Изабелла догадалась, какое слово Джайлз не мог выговорить. Да, и что с того, что Додж — ну, это слово? Зачем нам судить друг друга? Разве мы знаем друг друга? Не здесь, не сейчас. Но позже когда-нибудь этот туман и бурьян, эти тучи тоски и ненастья... — она ловила рифму; рифма убегала; ах, все равно — но позже когда-нибудь просияет солнце и все озарит.

Она вздрогнула. Опять этот хохот.

— Я их, кажется, слышу, — она сказала, — видно, они готовятся. Наряжаются там в кустах.

Мисс Ла Троб ходила взад-вперед среди потупленных берез. Одна рука сунута глубоко в карман; в другой — листок бумаги. Она в него заглядывала и вышагивала взад-вперед. Так капитан корабля мерит шагами палубу. Нежно-плакучие березы в черных браслетах по серебристой коре строем застыли на носу и на корме корабля.

Вёдро будет или дождь? Выглянуло солнце; и, заслонив ладонью глаза, как это сделал бы капитан корабля на своем капитанском мостике, она решила рискнуть и устроить представленье под открытым небом. Прочь сомненья! Весь реквизит она приказала тащить из Сарая в кусты. Что и было исполнено. И артисты, покуда она шагала так взад-вперед — всю ответственность взяв на себя и всецело положившись на вёдро, — переодевались среди куманики. Откуда и шел этот смех.

Реквизит валялся в траве. Картонные короны, мечи из спрессованной фольги, тюрбаны — они же кухонные полотенца по шесть пенсов штука — лежали в траве или были развешаны по кустам. Ручьи багреца и лиловости струились по тени; дрожал на солнце серебряный блеск. Костюмы приманивали бабочек. От багреца и лиловости шло тепло, шла сладость. Адмиралы жадно вбирали роскошь кухонных полотенец. Капустницы пили прохладу фольги. Порхая, ощупывая, возвращаясь, дегустировали цвета.

Мисс Ла Троб перестала шагать и окинула место действия взором. “Это можно использовать...” — бормотнула она. Ибо за пьесой, которую она только что написала, вечно маячила новая пьеса. Ладонью защищая глаза, она посмотрела. Кружили бабочки; свет дрожал; прыгали дети, матери хохотали... “Нет, не выйдет”, — пробормотала она и снова стала шагать.

Командирша — они её звали за глаза, как миссис Суизин была у них Старый Пушок. Голос грубый, сама топором деланная; лодыжки опухли, грубые башмаки; то одно решит, то другое, гаркает, как из бочки, — все

это им “во как надоело”. Кому это понравится, чтоб тебя туда-сюда гоняли? Но вместе они к ней тянулись. Кто-то должен командовать. И есть на кого вину свалить. А вдруг дождик польет?

— Мисс Ла Троб! — вот, уже кричат. — А с этим-то что делать?

Она остановилась. Дэвид и Айрис — каждый одной рукой схватился за граммофон. Его следовало спрятать; но поближе к зрителям, чтобы слышно. Как! Разве не было указаний? Где увитые листвой плетни? Доставить. Мистер Стретфилд обещал обеспечить. Где мистер Стретфилд? На горизонте не наблюдалось никакой духовной особы. Может, он в Сарае? “Томми, гони за ним, живо!” — “Томми в первой сцене выступает!” — “Ну так Берил...” Матери спорили. Одну девочку взяли; другую нет. Чем светлые волосы лучше темных? Миссис Эбьюри вообще не велела своей Фанни выступать — из-за крапивницы. В деревне ходило для этой крапивницы другое название.

Дом миссис Болл не назвать приличным. В войну миссис Болл с другим жила, пока муж торчал в окопах. Мисс Ла Троб все знала, конечно, но ни во что не желала вникать. Она плюхнулась в эту тонкую сеть, как огромный камень падает в пруд с кувшинками. И рвет ряску. Только корни в глубине, под водой, составляли для нее интерес. Тщеславие, например, — надо только умело на нем сыграть. Парням подай главные роли; девушкам подай красивые платья. А надо ужать расходы. Десять фунтов — предел. Но это попранье приличий! Опутанные приличиями, они не видят, как видит она, что намотанное на голову кухонное полотенце под открытым небом гораздо шикарней смотрится, чем настоящий шелк. Вот они и склочничают; ее дело сторона. И в ожидании мистера Стретфилда она вышагивала среди берез.

Другие деревья стояли великолепно прямые. Не то чтобы уж очень ровным строем; но все же ровным, как колонны собора; как собор без кровли; храм под открытым небом, и ласточки облетают ровные прямые колонны; штопают воздух, вышивают узор, и пляшут, как пляшут эти русские, но не под музыку — под неслышный стук собственных диких сердец.

Смех затих.

— Придется спасать наши души терпением[1], — снова заговорила миссис Манреза. — Или надо помочь, — она глянула через плечо, — с этими стульями?

Кэндиш, горничная и садовник — все тащили стулья — для публики. Публике было нечего делать. Миссис Манреза раздавила зевок. Все молчали. Вперили глаза в пейзаж так, будто что-то вдруг вынырнет из этих полей, чтоб избавить их от невыносимого бремени: сидеть, молчать, всей компанией ничего не делать. Каждый чувствовал, как близко к нему другой, и телом и духом, и все-таки — недостаточно близко. Невозможно, думал каждый порознь, думать и чувствовать порознь; и не вздремнешь. Слишком мы близко друг к другу; и все-таки — недостаточно близко. Это действовало на нервы.

Жара наваливалась. Растаяли облака. Все стало — сплошное солнце. Вид, оголенный солнцем, сплющился, смолк, застыл. Не переступали коровы; кирпичная стена уже не служила укрытием от ветра; выдержи-

1 См.: Евангелие от Луки. 21:19 — “Терпением вашим спасайте души ваши”.

вала напор жары. Старый мистер Оливер тяжко вздохнул; дернулась голова; упала рука. Упала в нескольких сантиметрах от собачьей морды, рядом, в траву. И он, рывком, ее опять положил на колено.

Джайлз смотрел. Тесно сжав руками колени, смотрел на плоский простор полей. Пристально смотрел и молчал.

Изабелла себя чувствовала как в тюрьме. Сквозь решетку, затупясь о сонное марево, в нее попадали стрелы; любви, ненависти. Но из-за этих чужих тел любовь и ненависть плавятся, мутятся. Всего отчетливей — выпила за завтраком сладкого вина — хотелось пить. "Стакан холодной воды, стакан холодной воды" — стучало в мозгу, и воображенье подсовывало забранную стеклянным сверканьем воду.

Миссис Манреза мечтала свернуться калачиком где-нибудь в уголке — с подушкой, глянцевым журнальчиком, кульком конфет.

Миссис Суизин и Уильям созерцали вид отвлеченно, рассеянно.

Как заманчиво, ах, как заманчиво отдаться на волю пейзажа; отражать его зыбь; и душу пустить по зыби; чтоб контуры расплывались и опрокидывались — вот так, рывком.

Миссис Манреза отдалась волнам, нырнула, пошла ко дну — и всплыла на поверхность — вот так — рывком.

— Упоительный вид! — она воскликнула, якобы собирая в ладонь папиросный пепел, на самом деле прикрывая проглоченный зевок. И вздохнула, собственную сонливость маскируя под тонкое чувство природы.

Никто ей не ответил. Плоские поля сверкали зелено-желтым, сине-желтым, красно-желтым и снова синим. Повторенье было бессмысленно, скучно, оно угнетало.

— Ну вот, — сказала миссис Суизин тихо, так, будто пришел ее час, будто что-то она обещала и вот пришла пора исполнить. — Пойдемте, пойдемте, я покажу вам дом.

Она ни к кому в отдельности не обращалась. Но Уильям Додж понял, что это к нему. Он встал рывком, как кукла, которую дернули за веревочку.

— Какая прыть! — миссис Манреза не то вздохнула, не то зевнула.

А хватит у меня духу тоже пойти? — спрашивала себя Изабелла. Они уходили; больше всего на свете ей хотелось выпить воды; стакан холодной воды; но желанье увяло под свинцовым прессом хозяйского долга. Она смотрела им вслед — миссис Суизин семенила нетвердо, но бойко; Додж разогнулся и выпрямился, шагая с ней рядом по раскаленным плитам вдоль горячей стены, пока они не ступили под тень дома.

Упал коробок — у Бартоломью. Пальцы разжались; он выронил спички. Он вышел из игры; его лучше было не трогать. Голову уронив на плечо, мотая рукой над собачьей мордой, он спал; он храпел.

Миссис Суизин постояла минуту в прихожей между столиками на золотых львиных лапах.

— А вот это, — она объяснила, — лестница. Теперь мы пойдем наверх.

И пошла наверх, на две ступеньки опережая гостя. Золотой атлас стлался по старым холстам, пока они поднимались.

— Она не из наших предков, — сказала миссис Суизин, поравнявшись с головой дамы на портрете. — Но мы ее оприходовали, потому что знаем ее — ох, уже тысячу лет. Кто она была? — посмотрела на даму. — И кто ее написал? — потрясла головой.

Дама сияла, как на пиру, — ее заливало солнце.

— Но мне она больше нравится в лунном свете, — решила миссис Суизин и пошла дальше, наверх.

Когда дошли доверху, она слегка запыхалась. Как по свирели, пробежала пальцем по книжным корешкам вдоль стены площадки.

— А тут поэты, от которых мы происходим, духовно то есть, мистер... — и скомкала. Забыла его имя. Но все-таки она его выбрала. — Брат говорит, дом строили северней, чтобы жить, а не южней, чтобы на солнышке нежиться. И вот зимой у них сыро. — Она помолчала. — Ну а дальше у нас что?

И остановилась. Дальше была дверь.

— Утренняя комната, — она открыла дверь, — мама тут принимала гостей. — Через рифленый камин смотрели друг на друга два кресла. Додж заглянул за ее плечо.

Она затворила дверь.

— А теперь наверх, наверх. — Опять они поднимались. Так они шли — выше, выше, — она запыхалась и, кажется, оглядывала незримое шествие, — выше и выше, спать.

— Один епископ; один путешественник — даже забыла, как звали. Не знаю. Не помню.

Остановилась у лестничного окна, отодвинула штору. Внизу купался в солнечном плеске сад. Трава сияла, лоснилась. Жеманно семенили три белых голубя, нарядные, как дамы на балу. Элегантно покачивались, мелко переступали по траве розовыми лапками. И вдруг — вспорхнули, потрепетали, описали круг, унеслись.

— А теперь, — она сказала, — в спальню. — И очень отчетливо, дважды, постучалась в дверь. Склонив голову, вслушалась. — Никогда не известно, — пробормотала, — вдруг там есть кто-нибудь. — И распахнула дверь.

Он чуть ли не опасался, что кто-то там окажется — голый, полуодетый, или на коленях, погруженный в молитву. Но комната была пуста. Комната была чиста, вылизана, в ней месяцами не спали, — гостевая. Свечи на комоде. Заправленное покрывало. Миссис Суизин остановилась возле постели.

— Здесь, — она сказала, — да, да, — она похлопала по покрывалу, — здесь я родилась. В этой самой постели.

Голос ей изменил. Она опустилась на край постели. Понятно, устала — такая лестница, и жара.

— Но есть у нас и другая жизнь, я так думаю, я так надеюсь, — пробормотала она. — Мы живем в других, мистер... Живем в разных вещах.

Она говорила просто. Она говорила с трудом. Говорила, будто обязана одолевать утомление из вежливости к постороннему, к гостю. Она забыла его имя. Дважды сказала "мистер..." и осеклась.

Мебель была викторианская, куплена в "Мейплзе"[1], в сороковые, наверно, годы. На ковре лиловатые крапины. Белым кругом означено место под умывальником, где стояло ведро.

Может, сказать ей — зовите меня просто Уильям? Ему хотелось сказать. Старая, больная, карабкалась по такой лестнице. Высказывала свои мысли, не беспокоясь, не заботясь о том, что он их сочтет (он счел)

1. Большой мебельный магазин в Лондоне.

бессвязными, сентиментальными, пустыми. Сама протянула руку, чтоб он ей помог на крутом подъеме. Угадала его заботы. Сидит на постели и мурлычет, качая маленькими своими ножками: "Приходи ко мне, дружок, покажу тебе свисток..." – старые детские стишки для умиротворенья дитяти. Стоя перед комодом в углу, он видел ее отраженье в стекле. Отделясь от тел, их глаза улыбались, их глаза бестелесно улыбались друг другу в стекле.

Она соскользнула с кровати.

– Ну вот, что у нас дальше? – и затрусила по коридору. Одна дверь стояла распахнутая. Все ушли в сад. Комната была – как покинутое командой судно. Тут играли дети – лошадка в яблоках замерла посреди ковра. Няня, бывало, шила – на столе остался полотняный лоскут. Леживал в колыбели младенец. Теперь колыбель пуста.

– Детская, – сказала миссис Суизин.

Слово взошло, раскатилось и стало символом. Она как будто сказала: "Колыбель нашего рода".

Додж прошел к камину, поднял глаза: с рождественской прикнопленной к стене картинки сверху вниз посмотрел на него ньюфаундленд. Пахнуло теплом и сладостью; сохнущими одежками; молоком; теплой водой и печеньем. "Добрые друзья" – так называлась картинка. В открытую дверь ворвался гул. Додж обернулся. Старушка вышла в коридор и высунулась в окно.

Он дверь оставил открытой – для команды, когда вернется, – и пошел к миссис Суизин.

Под окном, во дворе, съезжались машины. Черные узкие крыши выкладывались паркетной плиткой. Выпрыгивали шоферы; старые дамы опасливо переставляли черные ноги в туфлях о серебряных пряжках; старые господа – полосатые брюки. Короткие брючки юнцов спешили в одну сторону; телесного цвета чулки – в другую. Взбивался, хрустя, желтый гравий. Публика собиралась. А они смотрели сверху – прогульщики, посторонние. Оба высунулись из окна.

Но вот задул ветерок, и все кисейные занавески разом дрогнули, блаженно вздохнули, потянулись прочь, будто величавая богиня встала с трона в окружении равных и тряхнула янтарной своей оснасткой, и разом зашлись хохотом другие боги, видя, как она встает, уходит, и волны этого хохота ее унесли прочь.

Миссис Суизин подняла обе руки к волосам – их трепал ветер.

– Мистер... – она начала.

– Просто Уильям, – быстро перебил он.

И тут она улыбнулась чу́дной девичьей улыбкой. Или это все ветер, ветер овеял зимнюю синеву этих глаз янтарным теплом?

– Я лишила вас общества ваших друзей, Уильям, – извинялась она, – потому что у меня сжало вот тут, – она тронула свой костистый лоб, на котором синим червячком билась синяя жилка. Но в костяных впадинах светились глаза. Только эти глаза он видел. И вдруг ему захотелось броситься перед ней на колени, поцеловать ей руку, сказать: "В школе меня сунули в помойное ведро, миссис Суизин; я глянул вверх, и весь мир был грязный, миссис Суизин; потом я женился; но мой сын – не мой сын, миссис Суизин. Я недочеловек, миссис Суизин; дрожащий, неуверенный червь в траве, миссис Суизин; Джайлз заметил; но вы меня исцелили..." Так захотелось ему сказать; но он ничего не сказал; а ветер шлялся по коридорам и выдувал занавески.

Снова он глянул и она глянула на желтый гравий, полукругом оторочивший подъезд. Нагрудный крест мотнулся, когда она высунулась, сверкнул на солнце. Зачем ей себя морочить этим истасканным символом? Такой зыбкой, такой переменчивой — зачем ей себя припечатывать этим идолом? Он смотрел на крест, и — они не были уже два прогульщика. И вдруг стало членораздельным постанывание колес на гравии. "Скорей, скорей, скорей, — говорили колеса, — опоздаете. Скорей, скорей, скорей, а то все лучшие места займут".

— Ах, — крикнула миссис Суизин, — вот и мистер Стретфилд! — И они увидели духовную особу, весьма крепкую духовную особу с охапкой листвы в руках. Он вышагивал среди машин как облеченный властью, как тот, кого ждали, на кого возлагали надежды, и вот — наконец — он пришел.

— Пора, — сказала миссис Суизин, — идти и присоединиться... — она не кончила фразу, как будто сама не знает, как быть, и их качнуло направо, потом налево, как вспорхнувших с травы голубей.

Публика собиралась. Шли группками, парами, по траве, по дорожкам. Кто старый; кто в самой поре. Были и дети, были. Были, как мистер Фиггис не преминул бы отметить, представители лучших семейств — Дайсы из Дентона; Уикемы из Оулсуика; ну и так далее. Некоторые тут жили веками, не продав ни единого акра. С другой стороны, встречались и новенькие, такие Манрсза, которые старинные дома перекраивают по моде, присобачивая ванные комнаты. Ну и разные-всякие тоже, как Коббет из Коббс-корнер, в отставке, живущий на ренту с чайных плантаций. Не позавидуешь. Самому хлопотать по дому, самому копаться в саду. А недавно построенные поблизости автомобильный завод и аэродром вообще привлекли изрядное количество случайного, пришлого люда. Как, скажем, мистер Пейдж, репортер, представитель местной газеты. И все-таки, в общем и целом, явись сюда вдруг мистер Фиггис во плоти, устрой перекличку, половина присутствующих дам и господ откликнулась бы: "Здесь; здесь я, там, где был мой дед и мой прадед". И в этот самый миг, в половине четвертого, в летний день 1939 года, они здоровались, занимая места, и норовили сесть поближе друг к дружке, и говорили: "Этот жуткий дом на Пайз-корнер! Глаза бы мои не смотрели! А эти *ихние* кирпичные одноэтажки! Вы видели?"

И начни Фиггис, скажем, выкликать деревенских, уж они бы отозвались. Миссис Сэндс — была в девушках Иллиф; Кэндиша мать — из Перри. Зеленые холмы погоста набросаны их кротовой работой, веками рыхлившей землю. Кое-кто, конечно, отсутствовал, когда мистер Стретфилд в церкви устраивал перекличку. Мотоцикл, автобус, кинематограф — в них мистер Стретфилд, делая перекличку, усматривал главное зло.

Стулья, шезлонги, золоченые кресла, чьи-то плетеные стулья и невозможные садовые стульчики сволокли к террасе. Сидений для всех хватало. Но кто-то предпочел устроиться на земле. Мисс Ла Троб была совершенно права, когда определила: "Самое место для представления!" Лужок — ровный, как пол в театре. Приподнятая терраса служит естественной сценой. Вязы, как колонны, обрамили сцену. И потом — человеческая фигура так выгодно выделяется на фоне неба. Ну а насчет погоды — вопреки всем предсказаньям, денек выдался ясный. Отменный выдался денек.

— Повезло! — говорила миссис Гартер. — А то в прошлый год...

Но уже начиналась пьеса. Пьеса? Или нет? Ж-ж, ж-ж, ж-ж — прожужжало в кустах. Так машина жужжит, когда в неисправности. Кто поскорее сел; кто виновато смолк. Все смотрели на кусты. Ибо сцена была пуста. Жж, жж, жж — жужжало в кустах. Кто-то глянул с опаской, кто-то на полуслове оборвал разговор, а тем временем девочка, как бутончик, вся в розовом, вышла из-за кустов; встала на коврик за раковиной, увитой листвой, и пропищала:

Дворяне и простолюдины...

Ага, уже пьеса. Или это пролог?

Сюда, сюда скорей, все к нам на праздник! (она продолжала)
То праздник истории нашей.
Я – Англия...

— Она — Англия, — шептались в рядах, — началось.
— Пролог, — прибавляли, глянув в программку.

– *Я – Англия*, — пропищала она снова; и смолкла.
Забыла слова.
— Внимание, внимание! — бодро крикнул старик в белом пиджаке. — Браво! Браво!
— Ах, ч-чтоб их черт! — выругалась мисс Ла Троб, спрятанная за березой. Она оглядела первый ряд. Закоченели, как будто их щиплет и обездвиживает мороз. Только Бонд, пастух, чувствует себя совершенно в своей стихии.
— Музыка! — жестом повелела мисс Ла Троб. — Музыка!
Но граммофон жужжал свое — ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж.

— *Дитя, рожденное...* – понукала она.

– *Дитя, рожденное*, – подхватила Филлис Джонс.
Дитя, рожденное из вод,
Игрою волн и крепостью ветров
От галлов и германцев отделенный,
Наш остров.

Она глянула через плечо. Ж-ж, ж-ж, ж-ж — жужжал граммофон. Длинная цепь деревенских, наряженных в рубахи из мешковины, начала ходить гуськом, туда-сюда, позади нее, между деревьев. Они пели, но ни единого слова не долетало до публики.

— *Я – Англия*, — продолжила Филлис Джонс, глядя на зрителей.
Пока мала я и слаба,
Еще дитя, как видите вы сами...

Слова ссыпались на зрителей градом меленьких острых камешков. Миссис Манреза улыбалась, сидя на видном месте; но чувствовала, что кожа у нее вот-вот лопнет от этой улыбки. Огромная пустота ее отделяла от этих поющих пейзан, от этой щебечущей девочки.
Ж-ж, ж-ж, ж-ж — жужжал граммофон, как коса о траву на зное.

Деревенские пели, но половину слов сносил ветер.

Путь проторив... Мы взошли на вершину... В долине вепрь и зубр, и носорог, олень... пробирались к вершине... молотили зерно... и... под землю легли...

Слова сносило ветром. Ж-ж, ж-ж, ж-ж — жужжал граммофон. И вот — вытолкнул-таки из себя мелодию!

Своей судьбе навстречу
Поднялся Родерик[1]*,*
Собой прекрасен,
Могуч и властен,
Поспешает на бой, на бой,
На помощь друзьям, друзьям,
На погибель врагам...

Пошло-парадный мотив блеял, взвывал, спотыкался. Мисс Ла Троб смотрела из-за березы. Мышцы расправились; лед тронулся. Вот — пышная дама в третьем ряду уже рукой отбивает такт. Миссис Манреза напевала:

Мой дом стоит в Виндзоре,
Он рядом с кабаком.
"Король Георг", вот так-то
Зовется милый паб.
И, мальчики, ах там, ах там,
Кейфую я по вечерам...

Волны мелодии ее несли. Царственно, удоволенно, добродушно сияя, дитя природы сделалось Королевой бала. Пьеса началась.

Но опять возникла помеха.

— О, — взвыла мисс Ла Троб за своей березой, — какая пытка эти помехи!

— Простите, что опоздала, — извинялась миссис Суизин. Она протискивалась вдоль рядов к своему креслу рядом с братом. — Про что это? Я пролог пропустила. Англия? Эта девочка? Но вот же она ушла...

Филлис скользнула со своего коврика.

— А это кто? — спрашивала миссис Суизин.

Это была Хильда, плотникова дочка. Встала там, где только что стояла Англия.

— *О, Англия уж подросла...* — подсказывала мисс Ла Троб.

— *О, Англия уж подросла,* — пропела Хильда.

— Какой дивный голос, — не удержался кто-то.

Увито розами ее чело,
Дикими розами, алыми розами,
И по лугам она гуляет,
Ромашки собирает,
Себе венок сплетает.

1. Последний король готов, правивший в VIII в. Роберт Саути (1774—1843) написал о нем поэму "Родерик, последний из готов" (1814).

— А-а, подушечка? Премного благодарна, — миссис Суизин подпихнула подушку себе под спину. И вся подалась вперед. — Англия времен Чосера, я так понимаю. Собирает цветы и орехи. На голове венок... Но вот эти, которые сзади, ходят, ходят куда-то... — она на них показала рукой. — Кентерберийские паломники?[1] Смотрите!

Деревенские все ходили взад-вперед между березами. Они пели; но редко какое слово долетало до публики. *"Пролагали тропы... в долине строили дом..."* Ветер сносил слова, и вот, дойдя до самой последней березы, они заголосили:

Ко гробу Святого... к раке его... любя... и веруя... мы пришли.

И сбились в кучу.

И опять был шорох, опять помеха. Задвигались стулья. Айза оглянулась. Наконец явились мистер и миссис Руперт Хейнз, задержанные каким-то дорожным происшествием. Сидит с правой стороны, на несколько рядов дальше, — человек в сером.

Меж тем паломники, отдав свои почести раке Святого, по-видимому, ворошили граблями сено.

Я девушку поцеловал
И с миром отпустил,
А вот другую повалил,
Да, в сено повалил... — так они пели, наклоняясь и вороша незримое сено, когда снова она оглянулась.

— Сцены из английской истории, — объясняла миссис Манреза. Она обращалась к миссис Суизин так громко и весело, будто старуха глуха как тетерев. — Добрая старая Англия.

И энергично захлопала.

Паломники шустро шмыгнули в кусты. Музыка пресеклась. Жжж, жжж, жжж — жужжал граммофон. Миссис Манреза заглянула в программку. Эдак они нас до полуночи тут протомят, если ничего не опустят. Ранние бритты; Плантагенеты; Тюдоры; Стюарты — она загибала пальцы; хоть, очень возможно, династия-другая у нее и вылетела из головы.

— Смелый замысел, а? — сказала она Бартоломью во время запинки. Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж — жужжал граммофон. Поговорить-то можно? Можно поразмяться? Нет, пьеса продолжалась. Хотя сцена была пуста; двигались только коровы в лугах; тишину нарушало только тиканье граммофонной иголки. И это тик-тик-тиканье держало их вместе, как под гипнозом. Ничего абсолютно не происходило на сцене.

— Вот не думала, что мы так мило выглядели, — шепнула Уильяму миссис Суизин. Почему же? Эти дети; паломники; а за ними деревья, а дальше поля, поля — от красоты мира у него захватило дух. "Тик-тик-тик", — тикал граммофон.

— Отмечает время, — шепнул старый мистер Оливер.

— Которого нет у нас, — бормотнула Люси. — У нас только теперешний миг.

Разве этого мало? — думал Уильям. Красота — этого мало? Но тут Айза заерзала. Нервно потянулась к голове загорелыми руками. Просто

1. "Кентерберийские рассказы" — главное сочинение Джефри Чосера (1340—1400).

вывернулась на стуле. “Но не у нас, не у нас, у которых есть будущее”, — не это ли она говорила? А будущее разрушает теперешний миг. Кого она там высматривает? Уильям посмотрел по направлению ее взгляда, но увидел только какого-то господина в сером.

Тиканье прекратилось. Поставили танцевальный мотив. В такт ему Айза бубнила: “Чего мне жаль? Сейчас, сейчас, умчаться вдаль, где день погас, где светит ночь, умчаться прочь, где нет разлук, лишь встреча глаз, лишь встреча рук...”

— Ой, — сказала она вслух, — посмотрите на нее!

Все хлопали, все хохотали. Из-за кустов явилась Королева Елизавета — Элиза Кларк, у которой лицензия на продажу табака. Неужели же это миссис Кларк из нашей лавочки? А разодета! Голова, увитая жемчугами, гордо встает из высоченного плоеного воротника. И всю ее обтекают блестящие атласы. Как рубины, как изумруды, горят грошовые броши; жемчуга смотрят вниз; на макушке — серебро, серебро, а если точней, наждачная бумага, которой кастрюли скребут. Ну типичное олицетворение века. А как еще взошла на ящик из-под мыла, означающий, надо думать, скалу в океане, так стала, при своем этом росте, ну прямо гигант. В лавке-то она одним махом сгребает окорок, пива бочонок. Так стояла она минуту гордо, державно, а позади проплывали синие облака. Задувал ветерок.

Владычица страны великой...

Вот первые слова, поднявшиеся над хлопками и хохотом.

Владычица судов, мужей брадатых, – горланила Элиза, —
Хокинса, Фробишера, Дрейка[1],
Ссыпавших апельсины и лимоны,
И слитки серебра, алмазы и дукаты,
На молы запада, на брегах дальних
(ткнула кулаком в горящее синевой небо) —
Владычица дворцов, шипцов и башен
(простерла руку в сторону дома),
И для меня, для Королевы,
Пел мой певец Шекспир
(промычала корова; чирикнула птичка) —
Малиновка и дрозд
В лесу зеленом, диком,
Хвалу мне пели, славу Королеве,
И Англии любимой пели славу,
Но слышался всечасно
По городам и весям
От Виндзора до Оксфорда повсюду
Смех громкий, или тихий.
Любовник, воин,
Мальчик светлокудрый

1. Все трое — знаменитые мужи Елизаветинской эпохи: сэр Джон Хокинс (1532–1595) – отважный мореплаватель; сэр Мартин Фробишер (1535–1594) – выдающийся навигатор, открыватель новых морских путей; сэр Фрэнсис Дрейк (1540–1596) – первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие; фактически командовал английским флотом при разгроме испанской “Непобедимой армады” в 1588 г.

(простерла крепкую, загорелую руку),
С приветом простирал он руку,
Когда домой от островов далеких
Отважные стремились мореходы...

Тут ветер подергал ее головной убор. Ничего, он был тяжелый из-за жемчугов. Зато пришлось придержать воротник, он буквально на ниточке держался.

– Смех, смех громкий, смех тихий, – себе под нос пробрюзжал Джайлз.

Мелодия на пластинке вихлялась, качалась, как пьяная от радости. Миссис Манреза отбивала ногой такт и тихонько подпевала.

– Браво! Браво! – выкрикнула она. – Есть еще порох в пороховницах!

И, сминая, корежа, отбарабанила слова песни с лихостью, которая, как ни была вульгарна, спасла Елизаветинский век. Ибо плоеный воротник окончательно отстал и Великая Элиза забыла слова. Но публика хохотала, хохотала, и все, все было не важно.

– "Боюсь, я не совсем в своем уме"[1], – под ту же мелодию пробубнил Джайлз. Слова вынырнули на поверхность – припомнилось: "Как раненый олень, отбившийся от стада..."[2] Изгнанная со своего праздника, обиженная музыка ударилась в иронию... "Неспящих солнце! Грустная звезда! Как слезно луч мерцает твой всегда... всегда... всегда"[3], – он повторял, забыв слова и глядя на тетю Люси, которая вся подалась вперед на стуле, разинув рот и стиснув маленькие костистые ручки.

Над чем это они там смеются?

А над Албертом, местным идиотом. Этого можно не наряжать, не гримировать. Вот кто играет свою роль идеально. Бегает, гримасничает, корчит рожи.

Я знаю, где в кусточках,
Таится синица,
Я знаю, я знаю,
Чего уж я не знаю?
Все ваши секретики, девчонки,
И ваши секретики, ребята...

Пробежал вдоль первого ряда, каждому по очереди осклабясь в лицо. Вот – дернул за юбки Великую Элизу. Как она его оттаскала за ухо! Он ущипнул ей задницу. Сам не свой от восторга.

– У Алберта звездный час, – пробормотал Бартоломью.

– Лишь бы припадка не было, – пробормотала Люси.

– *Я знаю... я знаю...* – квохтал Алберт, носясь вокруг ящика из-под мыла.

– Местный идиот, – шепнула рослая, темная дама – миссис Элмхерст; за десять миль притащилась, из деревни, мало ей своего идиота. Нет, это не дело, не дело. А вдруг он какую-нибудь жуть выкинет? Вот, за юбки Королеву хватает. Миссис Элмхерст даже глаза прикрыла рукой, на случай, если он... выкинет какую-нибудь жуть.

1. Шекспир. Король Лир. Акт 4, сц. 7 (перев. Б. Пастернака).
2. Строка из стихотворения Уильяма Каупера (1731–1800) "Сад".
3. Стихотворение Байрона "Неспящих солнце! Грустная звезда!" (перев. А. К. Толстого).

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, — голосил Альберт, —
Рраз – в окошко, рраз – за дверь,
Что синичка слышит?
(Свистнул, сунув в рот два пальца.)
Глядь! Ведь это мышка...
(Изобразил охоту на мышь в траве.)
Вот – бьют часы!
(Выпрямился, надул щеки, будто из одуванчика часы выдувает.)
Раз, два, три, четыре...

И заковылял прочь, как бы кончив сцену, под аплодисменты.

— Так-то оно лучше, — миссис Элмхерст высвободила из-под пальцев глаза. — Дальше что у них? Живые картины?..

Ибо рабочие сцены, поспешая из-за кустов с досками в руках, окружили трон Королевы обклеенными бумагой щитами, долженствующими изображать стены. Землю усеяли тростником. Паломники же, до сих пор исполнительно ходившие с песнями взад-вперед, теперь сплотились вокруг Элизы на ящике из-под мыла, как бы образуя публику в театре.

Что ли пьесу в присутствии королевы Елизаветы будут разыгрывать? Так, может, это театр "Глобус"?

— А что в программе? — и миссис Уинтроп подняла к глазам лорнет.

Она бормотала себе под нос, продираясь сквозь слепую печать. Да. Это сцена из пьесы.

— Про самозваного герцога; принцессу, переодетую мальчиком; давно пропавший наследник оказывается уличным попрошайкой, благодаря родинке на щеке; Каринтия — она дочь того герцога, только потерялась в пещере — влюбляется в Фердинандо, которого в раннем детстве старая карга положила в корзину. И они женятся. Вот что происходит, как я понимаю, — заключила она, подняв от программки глаза.

— *Играйте пьесу,* — повелевает Великая Элиза. Старая карга семенит вперед ("Миссис Оттер с околицы", — пробормотал кто-то.), садится на ящик и начинает поправлять свои лохмы, качаться из стороны в сторону: вот она вам — старая бабушка у камелька. ("Та старуха, которая спасла истинного наследника", — оповестила миссис Уинтроп.)

— *Была зима и ночь была,* — каркает старуха, —
Хотя по мне теперь одно, что лето, что зима.
Ты говоришь про солнца свет? Не спорю я с тобой.
Но вот сейчас стоит зима,
И над землей туман.
А бедной Элсбет все одно, что лето, что зима,
Когда у камелька сидит
И четки теребит.
Считает. Есть ей, что считать.
Каждая бусина
(зажимает бусину между большим и указательным пальцем) —
Преступленье!
Была зима, и ночь была, и петел не пропел,
Но петел пел, когда ушел,
Тот от меня ушел –
Лица не видно, кровь на нем,
В корзине же – дитя.

– Агу-агу, – лепечет,
Несчастный дуралей!
– Агу-агу! ?Убить его
Никак я не смогла!
За то простит мои грехи
Владычица сердец,
Какие совершала я,
Покуда петел не пропел!
Я на заре пошла к ручью,
Где чайки в вышине,
Где цапля замерши стоит,
Как веха на краю
Трясины...
Кто там?
(Трое молодых людей вываливаются на сцену и надвигаются на старуху.)
— Вы здесь, чтобы меня пытать?
В моих руках так мало крови
(выпрастывает из-под рубища тощие локотки),
Да охранят меня Святые в Небесах!

Она вопит. Те вопят. Все вопят хором, и трудно разобрать, о чем речь; в общих чертах:

— *Ты помнишь, как снесла к реке корзину и укрыла в камышах, тому назад лет двадцать? Дитя в корзине, старая!* — они вопят. — *Ветер воет, выпь кричит*, — отвечает она.

— В моих руках так мало крови, — повторила Айза.

Это единственное, что она поняла. На сцене так все спуталось, глухота старухи, вопли юнцов, невнятица сюжета — ничего не разберешь.

А черт ли в нем, в сюжете? Она поерзала, оглянулась через правое плечо. Сюжет только на то и годен, чтоб вызывать чувства. А чувств есть только два: любовь; и ненависть. И стоит ли распутывать сюжет? И может, мисс Ла Троб права, что с маху рубит узел?

Но что там у них? Является Принц.

Карга тут же вцепляется ему в рукав, видит родинку; и, откинувшись в своем кресле, голосит:

— *Мое дитя! Мое дитя!*

Далее — сцена узнаванья. Принц (Алберт Перри) чуть не задушен хилыми старческими руками. Наконец ему удается вырваться.

— *Смотрите! Вот она!* — кричит он.

Все посмотрели — явилась Сильвия Эдвардс в белом сатине.

Кто это? Айза посмотрела. Песнь соловья? Перл в черной мочке ночи? Любовь сама.

Все руки поднялись; все глаза смотрели.

— *Привет тебе, прекрасная Каринтия!* — Принц взмахивает шляпой. А она ему, поднимая взор:

— *Любовь моя! Мой повелитель!*

— Хватит. Хватит. Хватит, — твердила Айза.

Дальше пошло совсем уж невозможное — словесный хлам, повторы.

Меж тем старуха — и давно пора, хватит уже, — откидывается в кресле, и четки виснут у нее на пальцах.

— *Смотрите на старушку – старой Элсбет дурно!*

(Ее окружают.)
Умерла!
Она безжизненно откидывается в кресле. Толпа пятится. Мир праху твоему. Покой тебе, которой было все одно, зима ли, лето.
Покой — вот третье чувство. Любовь. Ненависть. Покой. Три чувства — тройной узел, которым завязана наша жизнь.

Тут священник произносит благословенье, с трудом выпрастывая каждый слог из ваты своих усов:

Запутавшиеся в пряже жизни руки
Ей разомкните.
(Ей размыкают руки.)
Не будем помнить боле
О слабости ее.
Зовите ласточку, дрозда, зарянку[1],
И розами они осыпят тело.
(Ее осыпают лепестками из корзинок.)
Укройте труп. И да почиет с миром.
(Труп укрывают.)
А вот на вас
(он обращается к счастливой паре)
Пусть Небо милостей дождем прольется.
Спешите же, пока закат
Пологом ночи не задернут.
Пусть музыка гремит,
Пусть вольный воздух Неба
Покоем дышит!
Идите танцевать!

Взвой граммофона. Герцоги, прелаты, пастухи, паломники, слуги берутся за руки и пускаются в пляс. Местный идиот прыгает, путается у всех под ногами. Взявшись за руки, сталкиваясь лбами, они пляшут вокруг Елизаветинского века, олицетворенного могучей миссис Кларк, обладающей лицензией на продажу табака и высящейся на ящике из-под мыла.
Перепутаница; дребедень; дух захватывающее зрелище (для Уильяма): полуголые, нагло размалеванные, в пятнах солнца, в пятнах тени, как они скачут, прыгают, выбрасывают руки, ноги. Он хлопал, пока ладони себе не отбил.
Миссис Манреза хлопала от души. Как-никак — она была королева, а он (Джайлз) — ее рыцарь, ее суровый герой.
— Браво! Браво! — кричала она, и от ее энтузиазма корежило сурового героя. И благородная леди в кресле-каталке, леди, которая, выйдя за местного лорда, растворила в хлипком титуле то имя, которое еще тогда гремело, когда шиповник и куманика росли на месте нынешней церкви, — леди исконная, такая, что своим артритным телом напоминала зверя неведомой, ночной, почти уже вымершей породы, — даже эта леди захлопала в ладоши и захохотала — как спугнутая сойка.
— Ха-ха-ха! — хохотала она, тиская ручки кресла артритными пальцами без перчаток.

1. Эта строка — цитата из трагедии Джона Уэбстера (1580—1625) "Белый дьявол".

– Мы цветы сбираем, мы венки сплетаем, – голосят актеры. – По полям гуляем и венки сплетаем, сплетаем, сплетаем...

Слова – чушь; кто что поет – плевать. Кружат, кружат, пьяные от музыки. Потом, по знаку затаившейся за дубом мисс Ла Троб, пресекается танец. Образуется шествие. Великая Элиза нисходит со своей тары. И, подобрав юбки, машистым шагом, в окружении принцев и герцогов, с влюбленной четой, резвящимся идиотом Албертом и похоронными дрогами в хвосте, Елизаветинский век удаляется со сцены.

– О, чтоб их черт! – мисс Ла Троб в бешенстве пнула ногой корень и больно ударилась. Тут провал; тут яма. Перерыв. Настряпав столько дичи[1], в своем обиталище, она согласилась было тут оборвать пьесу; раба публики – сдалась на канюченье миссис Сэндс – насчет чая; насчет обеда; и рубанула по живому. Только заварила чувства – и выливать? А потому она дала сигнал: Филлис! И посреди ковра опять водворилась Филлис.

Дворяне и простолюдины, – она пропищала, –
К вам, к вам слова мои.
Наш акт окончен.
Мы рассказали
О старой бабушке и двух влюбленных.
И почка лопнула; опал цветок.
Но скоро засияет новый день,
Другого времени мы станем на пороге,
И мы увидим, о, мы увидим,
Да, увидим....

Голос растаял в шуме. Никто не слушал. Зарыв носы в программки, читали: "Перерыв". И, прерывая Филлис на полуслове, громкоговоритель ясно возгласил: "Перерыв". На полчаса; будет подан чай. И грянул граммофон:

Поднялся Родерик,
Могучий, смелый воин,
Навстречу злой судьбе,
И воинов отряды... и т. д. и т. д. и т. д.

Всё пришло в движенье. Кто сразу вскочил; кто согнувшись нашаривал трость, сумочку, шляпу. Поднимались, оглядывались, а музыка изменилась. Музыка пела: *нас разбросало.* Она стонала: *нас разбросало.* Она жалобилась: *нас разбросало,* когда пошли, яркими пятнами на траве, через лужайки, по тропкам, *нас разбросало.*

Миссис Манреза ухватила мотив.

– Смело, без страха (пнула мешавшийся под ногами шезлонг), девушки, парни (оглянулась; но Джайлз к ней стоял спиной). За мною, за мною... О! Мистер Паркер! И вы туда же? Какой сюрприз! Чаю до смерти хочется!

1. Отсылка к Шекспиру: "Где столько дичи мне переварить?". Генрих Четвертый. Акт 3, сц. 1 (перев. Б. Пастернака).

— Нас разбросало, — бубнила Айза, идя за ней следом. — Все кончено. Волна разбилась. Нас бросила на берег. Всех врозь на дикой гальке. Тройной разрублен узел... а я иду (она оттолкнула свой стул... человек в сером потерялся в толпе возле падуба) за этой старой шлюхой (то есть цветистой и тугой миссис Манреза) чай пить.

Додж плелся сзади.

— Пойти, — он бормотал себе под нос, — или остаться? Смыться или идти, идти, идти за разбредающейся толпой?

Нас разбросало, рыдала музыка; *нас разбросало*. Джайлз стоял, как забивная свая, в отливе толпы.

— Пойти? — он отпихнул свой стул. — Куда? За кем? — легкой теннисной туфлей ударился о деревяшку. — Некуда. Никуда. — Он стоял как вкопанный.

Коббет из Коббс-корнера стоял одиноко под лиственницей, бормоча:

— И что было у ней на уме, а? И куда она метила, а? И зачем было старину такую откапывать, и так их разряжать, и чтоб они все перли, перли на эту лиственницу?

Нас разбросало, жалобилась музыка, *нас разбросало*. Коббет повернулся и медленно побрел вслед уходившей компании.

Люси меж тем, вытягивая из-под кресла сумочку, щебетала брату:

— Барт, дружочек, идем... А помнишь, когда маленькие были, в какую это мы игру играли в детской?

Он помнил. В индейцев — такая игра; воинский вызов — бумажку — наворачивают на окатыш; протыкают тростинкой.

— Но для нас с тобой, моя милая Синди, — он подобрал свою шляпу, — игра окончена. — Шум, гам, треск, блеск и там-тамы — он разумел. Он ей подал руку. И они прошествовали вослед остальным. И мистер Пейдж, репортер, отметил: "Миссис Суизин; мистер Б. Оливер", затем, оглядевшись, добавил: "Леди Хазлип из Хазлип-Мэнор", о благородной леди в каталке, которую, замыкая шествие, толкал лакей.

Под прощальный стон спрятанного в кустах граммофона зрители расходились. *Нас разбросало*, он сетовал, *нас разбросало*.

Мисс Ла Троб вышла из-за укрытия. Растекались, струились по траве, по гравию, собранные вместе ее волей — пока еще — зрители. Пусть недолго, пусть двадцать минут, но они ведь смотрели на то, что она им показывала? Сказаться, разделить свое видение — освободиться от муки... хоть на миг... хоть на миг. Но музыка оборвалась на последнем — *нас*. Она услышала, как ветер шуршит в ветвях. Увидела, как стоит Джайлз Оливер, ко всем спиной. И Коббет из Коббс-корнера — туда же. Этим она ничего не сумела сказать. Провал, опять провал, о черт! Как всегда. Сказать не удалось. Ви́денье подкачало. И, повернувшись, она шагнула к актерам, переодевавшимся в лощине, где на серебряных бумажных рапирах пировали капустницы; где кухонные полотенца желтыми лужами растекались по тени.

Коббет вынул из кармана часы. До семи еще три часа, он прикинул; потом цветы поливать. Он повернул — за всеми.

Джайлз, сложив свой шезлонг, тоже повернул, но в другую сторону. Пошел по полю, срезав путь к Сараю. В засуху тропа твердая, как кирпич. В засуху тропа усеяна камешками. Он лягнул желтый камень, остроконечный, будто дикарь его навострил для стрелы. Варварский камень; доисторический камень. Детская игра такая — камешек катить. Правила он не забыл. По правилам этой игры камешек, определенный, один и тот же, положено докатить до цели. До калитки, скажем, или до дерева.

И он стал играть — сам с собой. Цель — калитка; докатить, когда до десяти досчитаю. Первый удар — миссис Манреза (похоть). Второй — Додж (омерзение). Третий — я сам (трус). И четвертый, пятый, шестой — то же самое, то же, то же, то же.

На счете десять он успел к калитке. Там, в траве, свернувшись оливково-зеленым кольцом, лежала змея. Дохлая? Нет, удушенная застрявшей в пасти жабой. Змея никак не могла сглотнуть; жаба никак не могла подохнуть. Судорога сжала ребра; сочилась кровь. Роды наоборот — мерзкая пародия. И — он поднял ногу и на них наступил. Хрустнуло, осклизло. Белый холст теннисных туфель — липкий, в кровавом крапе. Но это поступок. И ему полегчало. И в кровью крапленных туфлях он зашагал к Сараю.

Сарай, благородный Сарай, Сарай, построенный семьсот лет назад и кому-то навевавший мысль о греческом храме, кому-то о средневековье, большинству же — о прошлом, и едва ли кому-то о настоящем, Сарай был пуст.

Большие ворота были распахнуты. Пыльный луч желтым стягом косо свешивался с крыши донизу. С балок никли гирлянды бумажных роз, оставшихся с коронации. Длинный стол — чайник, тарелки, чашки, пироги, хлеб с маслом — протянулся в одном углу. Сарай был пуст. Мыши шныряли от норки к норке, или они стояли столбиком, что-то грызли. Ласточек занимала забившаяся между балок солома. Несчетные жучки-паучки въедались в сухое дерево. Приблудная сука приспособила темный уставленный мешками закут для своих кутят. Глаза, глаза, глаза, расширенные, суженные, одни привычные к свету, другие привычные к тьме, смотрели под разными углами, из разных углов. И — тишина, только хруст, шелест, шорох. То и дело натекала в Сарай струйка сладости, сочное веяние. Муха пристроилась к пирогу и бурила его золотистую гору своим коротеньким буром. И роскошествовала капустница, принимая солнечную ванну на золотистой тарелке.

Но миссис Сэндс приближалась. Протискивалась в толпе. Вот — за угол завернула. Увидела, значит, большие распахнутые ворота. Но бабочек, она их в упор не видит; мыши — просто черные катышки в кухонных шкафах; бабочек загребают ладонью и вышвыривают за окно. Суки свидетельствуют исключительно о халатности девчонок-уборщиц. Случись тут кошка — о, ту бы миссис Сэндс заметила; только кошка, голодная кошка с лишайной проплешиной на боку могла отворить шлюзы ее бездетного сердца. Но не было кошки.

Сарай был пуст. И, запыхавшись, торопясь занять свое место возле чайника, пока компания не собралась, миссис Сэндс вбежала в Сарай. И вспорхнула капустница, и муха вспорхнула.

За ней поспешали помощники — Дэвид, Айрин, Джон, Луис. Кипела вода. Клубился пар. Нарезáли пирог. С балки на балку перелетали ласточки. Компания собиралась.

— Милый старый Сарай... — миссис Манреза замерла на пороге. Ей ли проталкиваться через пейзан? Нет, ей положено дух затаить от красоты Сарая; отойти в сторонку; смотреть и смотреть; и пусть себе другие проходят.

— У нас тоже такой в Лейтоме, копия буквально, — миссис Паркер остановилась из тех же резонов. — Ну разве что, — она прибавила, — чуть-чуть поменьше.

Деревенские останавливались. Потом, с оглядкой, входили.

— А уж украшения... — миссис Манреза поискала глазами, кого бы за них похвалить. Стояла, улыбалась, ждала. И вошла старая миссис Суизин. И тоже глянула вверх, но не на украшения, нет. Оказывается, на ласточек.

— Каждый год прилетают, — она сказала, — одни и те же птички.

Миссис Манреза снисходительно улыбнулась над бзиком старушки. Маловероятно, решила она, что птички одни и те же.

— Гирлянды, я полагаю, остались от коронации, — сказала миссис Паркер. — Мы свои тоже оставили. Такой павильон в приходе отгрохали.

Миссис Манреза хмыкнула. Вспомнила. Анекдот; на кончике языка вертелся. Как в честь того же события открывают общественный сортир, и мэр... Рассказать? Нет, нельзя. Чересчур у старухи, озирающей ласточек, благородный вид. "Бла-ародный" — миссис Манреза скособочила слово, дабы не уронить свой собственный образ — "дитя природы". Уж какая есть, да-с, уж какая есть. Ничего, со старческим бла-ародством мы сладим, да-с, как и с юной шутливостью. Но где же прелестный Джайлз? Что-то его не видно; и Билла тоже. Пейзане всё толклись у порога. Ждали, когда кто-нибудь вбросит мяч в игру.

— Ах, до смерти чаю хочется! — возгласила она своим голосом для публичных оказий; и шагнула вперед. Завладела тяжелой фарфоровой кружкой. Миссис Сэндс, оказывая, естественно, все свое почтение гостье из благородных, мигом ей налила чаю. Дэвид подал пирог. И пришлось ей первой пить, первой откусывать от пирога. Пейзане всё толклись у порога. "Чушь сплошная, все эти разговорчики насчет демократии", — решила миссис Манреза. То же подумала и миссис Паркер и тоже схватила кружку. На них смотрели. Они вели; остальные последовали их примеру.

— Какой дивный чай! — раздавалось вокруг, хоть чай был кошмарный, и если с чем и сравним, то с тщательно прокипяченной ржавчиной, а пирог не пропекся. Но общественный долг превыше всего.

— Они каждый год прилетают, — повторяла миссис Суизин, оставляя без внимания тот факт, что говорит в пустоту. Как прилетали, она полагала, еще когда Сарай был болотом.

Сарай заполнялся. Поднимались пары́. Стучали кружки; жужжали голоса. Айза протискивалась к столу.

— Нас разбросало, — пробубнила она. И протянула под струю свою кружку. Приняла кружку. — Бежать, бежать, — она бубнила, — сквозь этот строй, — она сиротливо озиралась, — бежать скорее той тропой, что мимо дуба, мимо ивы, выводит на поток счастливый, куда когда-то прачкин сын... — бросила сахар, два кусочка, — бросил булавку. Говорят, коня получил. Ну а я — какое бы мне задумать желание, бросая булавку в счастливый поток? — она озиралась. Что-то его не видно, человека в сером, помещика; вообще никого знакомых. — Чтоб воды покрыли меня, — она прибавила, — воды того потока.

Стук фарфора и гул голосов глушили ее бормотание. "Сахару?", "Чуть-чуть молока?", "Мне без молока и без сахару, я всегда так пью", "Не слишком крепко? Давайте подбавим воды".

— Вот ведь что бы я загадала, — вспомнила Айза, — бросая свою булавку. Воды. Воды...

— Надо признать, — жужжал голос рядом, — король с королевой молодцом. Говорят, собрались в Индию. Она изумительно выглядит. А у него волосы, один мой знакомый рассказывал...

– Туда, – звенело в голове у Айзы, – и мертвый лист падет, когда падет листва, – на воду. И что с того, что больше не увидеть мне ни дуба, ни березы? И не услышать, как дрозд поет на ветке, не увидеть, как желтый дятел, по вóлнам воздуха плывя, то вдруг нырнет, то вынырнет опять?

Она оглядывала канареечно-желтые гирлянды, оставшиеся с коронации.

– По-моему, речь шла о Канаде, не об Индии, – говорил голос сзади.

И другой голос отвечал:

– И вы верите газетам? Вот насчет герцога Виндзорского, например. Он высадился на южном побережье. Его встречала королева Мэри. Да она мебель покупала – это факт. А в газетах пишут, якобы она его встречала...

– Одной, под ивой, под сонной ивой, которой снится шелест моря, и цокот конника в дозоре...

Айза ловила конец фразы. Потом она вздрогнула. Рядом стоял Уильям Додж.

Он улыбался. Она улыбалась. Они были в тайном сговоре; каждый бормотал песни своего любимого дядюшки.

– Всё эта пьеса, – сказала Айза. – Такие привязчивые слова.

– Привет тебе, прекрасная Каринтия! – продекламировал Додж.

– Моя любовь! Мой повелитель! – Айза склонила голову в ироническом поклоне.

Красивая, он думал. Увидеть бы ее не рядом с этим чайником, рядом с белой лилией и виноградною лозой увидеть эти зеленые глаза, широкий стан и шею как колонна. И хорошо б она сказала: “Пойдемте. Я вам покажу оранжерею, и хлев, и конюшни”. Но ничего она такого не говорила, и они стояли рядом, держали чашки, вспоминали пьесу. Но вот он увидел, как лицо у нее изменилось, будто она сняла одно платье и надела другое. Маленький мальчик пробивался в толпе, сквозь юбки, брюки, как плыл вслепую.

– Сюда! – она крикнула и подняла руку.

Тот мигом метнулся к ней. Ее сынишка, значит, ее маленький, ее Джордж. Она дала ему пирога; потом кружку молока. Далее возникла няня. И вот опять она переоделась. На сей раз, по глазам судя, во что-то вроде строгого жакета. Пышноволосый, мужественный, красивый молодой человек в синем пиджаке с медными пуговицами стоял в пыльном луче – ее муж. И она – его жена. Отношения у них, он еще за ланчем заметил, как пишут в романах, “сложные”. А во время пьесы, он видел, она нервно подняла голую руку к плечу, оглянулась и – кого же искала? Но вот он – явился. И, мускулистый, пышноволосый, мужественный, вверг его в пучину чувств, в каких не властен разум. Он забыл про то, как бы там она выглядела в оранжерее, на фоне лилии, на фоне виноградной лозы. Он смотрел только на Джайлза; смотрел и смотрел. О ком он думает, отворотив лицо? Не об Айзе, нет. О миссис Манреза?

Миссис Манреза прошла в глубь Сарая и сглотнула свой чай. Как бы теперь отвертеться, она себя спрашивала, от этой миссис Паркер? Когда они из твоего собственного круга, какую тоску они наводят – бабы то есть! Те, что попроще, еще ничего – поварихи, жены лавочников, фермеров; ну, и высшие – жены пэров, герцогини; а от баб твоего собственного круга – тоска, спасу нет. И она взяла и бросила эту миссис Паркер.

— Ах, миссис Мур, — окликнула жену лесника, — ну и как вам? А маленькому как? понравилось? — щипнула маленького. — По-моему, в точности как всё, что я видела в Лондоне, один к одному... Но мы же держим марку! Нам же подавай собственную пьесу. В собственном Сарае! Уж мы им покажем (она покосилась на стол; пирожные чуть не сплошь покупные; всего ничего домашних), где раки зимуют!

Отмачивая свою шутку, она озиралась; завидела Джайлза; поймала его взгляд; и взглядом его подманила. Он подошел. Но что это — она глянула вниз — он со своими туфлями сотворил? Все в пятнах крови. Мелькнуло туманно, что так он доказал свою доблесть ее одобрения ради; смутно польстило. Туманно, но ах, как приятно мелькнуло. И, беря его на буксир, она чувствовала: я Королева, он мой рыцарь, мой суровый герой.

— А вот и миссис Нил! — она крикнула. — Вы просто чудо, да, миссис Нил? На ней вся наша почта держится, на миссис Нил. Она все в уме считает, правда, миссис Нил? Двадцать пять марок по полпенса, две пачки конвертов с марками и пачка открыток — на сколько это потянет, а, миссис Нил?

Миссис Нил хохотала; миссис Манреза хохотала; улыбнулся и Джайлз, оглядывая свои туфли.

Она таскала его за собой по Сараю, от одного к другому. Она всех тут знала. Все сплошь — прелесть что за люди. Нет, она и слышать не хочет про больную ногу Пинсента. "Нет-нет, мы ваших отговорок не принимаем, Пинсент". Не можешь подавать — можешь стоять в воротах. Джайлз был с ней совершенно согласен. Ровно тем же, чем для Пинсента, была для него рыба на крючке; и сороки, и сойки. Пинсент остается здесь; Джайлз ездит на службу. Вот и всё различие. А она роскошная баба, с ней меньше себя чувствуешь зрителем, больше действующим лицом, кружа по Сараю у нее на буксире.

Наконец, у самого выхода, они наткнулись на старую парочку, на Люси с Бартоломью, которые сидели в виндзорских креслах.

Им оставили кресла. Миссис Сэндс им послала чай. Слишком было бы хлопотно; да и труда не стоило — утверждая принципы демократии, топтаться в толпе у стола.

— Ласточки, — говорила Люси, держа чашку и глядя на птиц. Возбужденные обществом, те перепархивали с балки на балку. Через Африку, через Францию они прилетали, чтобы здесь угнездиться. Год за годом они прилетали. Когда еще не было здесь никакого канала, когда земля, на которую поставили виндзорские кресла, вся клубилась рододендронами и колибри дрожали над багровыми жерлами, как утром она читала в "Очерках истории", и тогда они прилетали... Но Барт вдруг поднялся с кресла.

Миссис Манреза ни за что не хотела садиться.

— Сидите-сидите, — и прижала его плечо. — А я на корточках посижу. — И села на корточки. Суровый герой верно остался стоять подле. — Ну и как вам пьеса? — спросила она.

Бартоломью посмотрел на сына. Сын молчал.

— А вам, миссис Суизин? — наседала миссис Манреза на старую даму.

Люси что-то бормотала, глядя на ласточек.

— А я-то думала, вы мне скажете, — не сдавалась миссис Манреза. — Это старинная пьеса? Или это современная пьеса?

Никто не отвечал.

— Смотрите! — вскрикнула Люси.

— Птицы? — миссис Манреза вскинула взор.

Ласточка держала в клюве соломинку; и соломинка выпала.

Люси захлопала в ладоши. А Джайлз двинулся прочь. Ей бы все смеяться, над ним потешаться, тетке.

— Идем? — сказал Бартоломью. — Пора на второй акт?

Он тяжко высвободился из кресла. Даже не глянув на миссис Манреза и на Люси, потащился к выходу.

— Ласточка, милая моя сестрица[1], — пробубнил, нашаривая сигару, идя вслед за сыном.

Миссис Манреза клокотала. И зачем на полу уселась как дура? Или чары уже не те? Ушли, ушли оба. Но, как женщина предприимчивая, она не собиралась, раз мужчины ее бросили, терпеть пыточную скуку с этой бла-ародной старушенцией. И она встала и подняла руки к волосам, будто ей — ну срочно понадобилось бежать, при том что бежать никуда не требовалось, а прическа была — волосок к волоску. Коббет из своего угла наблюдал эти штуки. Он на востоке насмотрелся на натуру человеческую. На западе — все то же самое. То ли дело цветы — гвоздика, цинния, герань. Он глянул на часы; прикинул время до семи, до поливки; и продолжал наблюдать штуки бабы, которая ведь как миленькая потащится за мужчиной к столу, — все они одним миром мазаны, что на востоке, что на западе.

Стоя у стола между Айзой и миссис Паркер, Уильям смотрел, как подходит суровый герой. Собой прекрасен, могуч и властен, поспешает на бой, на бой, на помощь друзьям, друзьям, на погибель врагам — пошлый марш звенел у него в мозгу. И Уильям сжал пальцы на левой руке, изо всех сил, суеверно.

Миссис Паркер, понизив голос, пеняла Айзе за местного идиота.

— Ах, этот идиот! — говорила она. Но Айза, не шевелясь, глядела на мужа. Так и чувствовала, как за ним тащится эта Манреза. Так и слышала выяснение отношений в сумеречной спальне. Ах, не играет роли — его неверность; теперь важнее — моя.

— Идиот? — Уильям за нее ответил миссис Паркер. — Но тут традиция.

— Нет, ну правда, — и миссис Паркер поделилась с Джайлзом тем, как из-за идиота — "у нас свое нещечко есть в нашей деревне" — у нее буквально мурашки по коже. — Нет, ну правда, мистер Оливер, мы же слишком для этого цивилизованные люди!

— *Мы?* — эхом откликнулся Джайлз. — *Мы?* — и глянул на Уильяма, глянул вскользь. Он не знал, как того зовут; но заметил, что выделывает его левая рука. Просто повезло — можно на кого-то злиться, вместо самого себя. И на эту миссис Паркер. Но не на Айзу, нет — не на жену. Она ни слова ему не сказала. Ни полслова. Даже и не взглянула.

— Нет, ну правда, — миссис Паркер перебегала взглядом с одного лица на другое, — мы же цивилизованные люди?

Тут Джайлз проделал свой маленький трюк — уж Айза-то наизусть его выучила; сжал зубы, набычился; встал в позу: несу на себе все скорби мира, зарабатывая деньги, чтоб жена их могла мотать.

1. Первая строка стихотворения Алджернона Чарлза Суинберна (1837–1909) "Итис" (перев. Г. Кружкова).

— Нет, — сказала Айза, всем своим видом сказала, откровенней некуда, — не нравишься ты мне, — и посмотрела, не в глаза ему, на туфли ему посмотрела. — Глупый мальчишка с кровью на туфлях.

Джайлз переступал с ноги на ногу. Так кто же тогда ей нравится? Не Додж. Еще не хватало. Но кто? Кто-то, кого я знаю. Кто-то здесь, в Сарае, да, определенно. Кто же? Джайлз озирался.

Тут принесло мистера Стретфилда, духовную особу. С кружками в обнимку.

— Душой жму вам руки! — возгласил он, склоняя благолепные седины и осторожно высвобождая посуду.

Миссис Паркер приняла галантность пастыря на свой счет.

— Мистер Стретфилд! — простонала она. — Делает всю работу! А мы тут болтаем!

— Оранжерею хотите посмотреть? — Айза вдруг повернулась к Уильяму Доджу.

Только не сейчас! — чуть не крикнул он. Но пришлось ему идти, оставив Джайлза на приближающуюся Манреза, которая его полонила.

Тропа была узкая. Айза пошла вперед. Она-то была широкая; всю тропу занимала, и слегка раскачивалась на ходу, и отщипывала там листок, там веточку с изгороди.

— Со мной, со мной, — она бубнила, — под этой сенью стойте тихо, вы, лань с оленем, лось с лосихой. Нет, мчите прочь, я здесь останусь, сама не рада. У той поваленной ограды я травы горькие сорву, листочки липкие сомну...

Отшвырнула метелку ломоноса, которую подобрала на ходу, пнула дверь оранжереи. Додж отстал. Она ждала. Взяла с лавки нож. Так он ее увидел — на фоне стеклянной стены, смоковницы, голубой гортензии, а в руке — нож.

— И молвила она, — бубнила Айза, — клинок блестящий из белой груди извлекая. Рази, клинок! — сказала, и — опять клинок вонзила! Неверный! — она вскричала. И нож мне изменил! Сломался. Как сердце мое сломалось, разбилось.

Она иронически усмехалась ему навстречу.

— Хоть бы уж она от меня отвязалась, эта пьеса. — И села на скамью под виноградной лозой. И он сел рядом. Гроздья над ними были зеленые, жалконькие; листья желтые, беспомощные, как пушок на птичьих лапках.

— Всё не отвяжется? — он спросил. Она кивнула. — Это сын ваш был? — он сказал. — В Сарае?

У нее еще и дочь есть, сказала она. В колясочке.

— А вы — женаты? — спросила Айза. По тону ее он понял, что она догадалась. Женщины всегда догадываются. Сразу чуют, что им нечего бояться, не на что надеяться. Сначала им обидно — торчать как статуи в оранжерее. Потом входят во вкус. Можно брякать (вот как она сейчас) что в голову взбредет. И дарить ему (вот как она сейчас) цветы.

— Вот вам, всадите себе в петлицу, мистер... — она ему подала пахучую веточку герани.

— Просто Уильям, — сказал он, принимая дар и сминая в пальцах шерстистый листик.

— А я — Айза, — ответила она. И они стали болтать, будто всю жизнь знакомы; и это странно, она сказала (они всегда говорят), — учитывая,

что она всего час назад с ним познакомилась. Но ведь они заговорщики, правда, искатели потаенных лиц? После этого признанья она помолчала, потом стала удивляться (они всегда удивляются), почему им так легко и просто друг с другом.

И предположила:

— Потому, наверно, что мы никогда раньше не встречались и больше никогда не увидимся.

— Смерть может вдруг смешать все карты, — сказал он. — Ни вперед, ни назад ходу нет, — он думал про старушку, которая ему дом показывала, — что им, что нам.

Будущее наползало тенью на убегающий миг, как вот лист пропитало солнце, высветив плетево жилок, не сопряженных в узор.

Дверь они оставили открытой, и теперь в нее залетали ноты. До-ре-ми-фа-соль, до-ре-ми-фа-соль, до-ре-ми-фа-соль — кто-то твердил гаммы. Потом отдельные звуки сложились в слово "трон". Оно сошлось с другими словами. Мелодия была простенькая — как детская песенка.

Где король? На троне
Пишет манифест.
Королева в спальне
Хлеб с вареньем ест[1].

Они слушали. Второй голос, третий голос напевал что-то простенькое. И, сидя в оранжерее, на скамье, в виноградной тени, они слушали, как мисс Ла Троб, или кто там еще, твердит гаммы.

Он так и не нашел сына. Потерял в толпе. А потому старый Бартоломью ушел из Сарая и пошел к себе, держа сигару и бубня:

Ласточка, милая моя сестрица,
Как твое сердце с весною мирится?[2]

— А как мое сердце может с весною мириться? — спросил он вслух, останавливаясь перед книжным шкафом. Книги: сокровища бессмертных умов, сбереженные для потомства[3]. Поэты; законодатели рода человеческого[4]. Кто спорит. Но Джайлз несчастлив. "Как в моем сердце, как в моем сердце", — повторил он, пыхнув сигарой. — "Что благородней духом? Покоряться пращам и стрелам яростной судьбы..." — подбочась, стоял перед своим сельским джентльменским набором. Гарибальди; Веллингтон; Летописи ирригационного общества; и Гибберт — о лошадиных болезнях. Человеческий разум собрал неплохой урожай; но на черта, на черта, зачем мне это все — когда мой сын...

— Зачем, зачем, — он рухнул в кресло, бубня: — Зачем, зачем... И как твое сердце с весной мирится?

Процокавший за ним коготками пес плюхнулся на пол в ногах у хозяина. Ходят бока, длинный нос уткнут в лапы, в одной ноздре капля пены, — добрый дух и защитник, Зораб.

1. Перев. С. Маршака.
2. Мистер Оливер продолжает то же стихотворение Суинберна (перев. Г. Кружкова).
3. Перефразированная мысль из "Ареопагитики" Джона Мильтона.
4. Ср.: "Поэты суть тайные законодатели рода человеческого". Перси Биши Шелли. Защита поэзии (1821). Мистер Оливер, как всегда, перевирает цитату.

Дверь дрогнула на блоке, осталась приотворенной. Такая у Люси манера входить — будто она не знает, что ее ожидает в комнате. Ах! Скажите пожалуйста! Барт! И Зораб! Можно подумать — первый раз в жизни их увидела. Или у нее тела нет вовсе? Воздушным шаром паря в облаках, ее разум время от времени с испугом ударяется оземь. Нет в ней этого веса, какой, скажем, Джайлза гнетет к земле.

Села на краешек стула, как птичка на телеграфный провод присаживается — перед дорожкой в Африку.

— Ласточка, милая моя сестрица... — промурлыкал он.

Из сада — в распахнутое окно — долетали чьи-то скучные гаммы. До-ре-ми, до-ре-ми. Потом отдельные звуки сложились в слово "стая". Потом во фразу. Простенькую мелодию подхватил голос.

Лают собаки!
В город во мраке
Идет попрошаек стая —
Кто в рваной одежде,
Кто в драной рогожке,
Кто в бархате и горностае[1].

Потом песенка потянулась, растянулась, стала вальсом. И они слушали, они смотрели — в окно, а деревья раскачивались, и плясали птицы, будто кто-то, оторвав от частных забот, от личных дел, им велел пособить музыке.

Огонь любви горит высокой,
Над темною рощею горит,
Горит высокой он и ясный,
Как в небе ясная звезда...

Старый Бартоломью отбивал такт пальцем у себя на коленке.

Покинь свой терем, моя отрада,
Я жду тебя, я жду тебя...

Он насмешливо поглядывал на Люси, сидевшую на краешке стула. Интересно, и как ей детей удалось родить?

Все пляшут, все танцуют,
Кузнечик, стрекоза...

Она, наверно, думает, что Бог есть покой, думал Бартоломью. Бог есть любовь. Потому что она — из объединителей; я — разъединитель.

Потом мелодия, топчась на месте, сделалась приторной, пресной; плешь в голове проела назойливым этим призывом к вечной любви. Что ли — он не силен в музыкальных терминах — перешла в минорный ключ?

Пляски, песни, щебет, грай,
Светлый, ясный месяц май,
Года светлое начало,

1. Старинная детская песенка. Перев. С. Маршака.

Все пройдет, как не бывало
(он отстукивал такт пальцем по колену),
Травы скосят,
Хлеб сожнут,
Все пройдет, и все пройдут.
И зима настанет,
Реки лед затянет,
А дрова в камине
Выгорят дотла,
Зола, зола, зола, –
И жара нет в полене.

Он вытряхнул пепел из трубки, поднялся.
– Надо так надо, – сказала Люси; будто он вслух сказал: "Пора идти".

Зрители стекались. На зов музыки. Снова спешили по тропам, по лугам, напрямки. Миссис Манреза возглавляла процессию в сопровождении Джайлза. Тугими круглыми складками реял шарф вокруг ее плеч. Поднялся ветер. Она шла под гром граммофона, легким, плывущим шагом, как богиня с рогом изобилия, наполненным до краев. Бартоломью шел следом, благословляя свойство человеческой плоти делать наш мир плодоносным. Джайлз останется на орбите, покуда она ему заменяет закон тяготения. Даже зеленую ряску его собственного старого сердца она сумела расколыхать, лужу, где захоронены старые кости; и стрекозы звенят и дрожит трава, когда миссис Манреза плывет через луг под гром граммофона.

Хрустел под ногами гравий. Трещали голоса. А другой голос, внутренний голос увещевал: зачем отрицать, что эта бравая музыка, летящая из-за кустов, задевает в нас тайные, сладкие струны? "Только проснешься (думали некоторые) – день на тебя обрушивается кувалдой". "На службе (думали некоторые) ты человек подневольный. Туда-сюда, туда-сюда – гоняет звонок. Дзинь-дзинь-дзинь – дребезжит телефон. Вперед! Служить! – служба есть служба. Изволь подчиняться идиотским приказам начальства всю жизнь напролет. Слушаться. Исполнять. Покоряться. Работать, работать, работать, выслуживаться, стараться, толкаться, лезть вон из кожи, отрабатывать жалованье, чтобы тратить – сейчас же? О господи, нет. И здесь? Нет, но где-то, позже когда-нибудь. Когда рак свистнет. Когда уши заложит, иссохнет сердце".

Коббет из Коббс-корнер нагнулся – цветок разглядеть, – но толпа на него напирала сзади.

Вот я слышу музыку, думал каждый. Музыка будоражит. Музыка дает откопать зарытое, склеить разбитое. Прочищает глаза и уши. Ты только погляди на цветы, как они сияют лиловым и белым, отливают серебряным. А деревья – всеми листочками сразу, ах, как же они нас листают, тасуют, сдают – каждого – всем, и заклинают слететься, как грачи и стрижи, и толпиться, тесниться, лепиться, болтать, веселиться, пока рыжие коровы переступают по лугу, а бурые коровы стоят себе тихо.

Зрители пробирались к своим местам. Кто-то сел; кто-то еще постоял, любуясь видом. Сцена оставалась пустой; актеры переодевались в кустах. Зрители уже ерзали, вертелись, переговаривались. Обрывки и клочья долетали до мисс Ла Троб, которая с рукописью в руках стояла у березы.

– Они там не готовы еще... Я слышу, смеются (такой шел у них разговор)... Наряжаются там. Великое дело – костюм. Полегчало, да? Солнце

вроде не так печет... Одна радость от этой войны — дни стали длиннее... Да, так на чем мы остановились? Не помните? На елизаветинцах... Может, она и до наших дней доберется, если кое-что выпустит... Как, по-вашему, — люди меняются? Моды — само собой, это понятно, а вот мы сами? Я недавно шкаф разбирала, старый папин цилиндр нашла... Нет, но мы сами — меняемся? Вот вопрос.

— А, да ну их, политиков. У меня один знакомый в России был. Так он говорит... А у меня дочка только что из Рима, так она говорит, простые люди, в кафе, ненавидят диктаторов... Ах, кто одно говорит, кто совсем другое...

— А вы видели в газетах — эту историю про собаку? И вы поверите, что есть суки, у которых не бывает щенков?.. А королева Мэри и герцог Виндзорский на южном берегу?.. И вы еще верите газетам?.. Да я лучше спрошу у мясника, у зеленщика спрошу... Ой, мистер Стретфилд охапку тащит... Хороший священник, я вам доложу, работает больше, а денег получает меньше иных-прочих... Вся беда от этих жен...

— А евреи? Эти беженцы... Эти евреи... Те, кому, как вот нам с вами, пришлось хлебнуть... А-а, вечно одно и то же... Моей маме за восемьдесят, так она еще помнит... Да-да, и читает без очков... Да что вы! Да неужели? Но ведь говорят, что после восьмидесяти... Ой, идут... Нет-нет, я так, я ничего... Я бы штрафовала, кто мусор оставляет, но тогда, мой муж говорит, кто штрафы будет собирать?.. А-а, вон она, мисс Ла Троб, за березой стоит...

Там, за березой, мисс Ла Троб скрежетала зубами. Терзала рукопись. Артисты мешкали. Того гляди публика сорвется с поводка; рассыплется на обрывки и клочья.

— Музыка! — она подала знак. — Музыка!

— А почему говорят, — интересовался кто-то, — "дама с мухами в носу"? Откуда это пошло?

Повелительно опустилась рука мисс Ла Троб.

— Музыка! Музыка!

И граммофон завел до-ре-ми, до-ре-ми, до-ре-ми.

Где король? На троне
Пишет манифест.
Королева в спальне
Хлеб с вареньем ест...

Мисс Ла Троб смотрела, как старая песенка детской баюкает их. Мирно, уютно сложились руки, опустели и разгладились лица. Она подала знак. И наконец-то, насилу управившись с капризным головным убором, Мейбл Хопкинс вышагнула из кустов и заняла место на возвышении перед публикой.

Глаза жадно ели ее — так рыба всплывает на хлебный мякиш. Кто это? Что собой олицетворяет? Красивая — очень даже. Щеки напудрены; но сквозь пудру нежно сияет румянец. Серое атласное платье (постельное покрывало), падая каменными складками, ей сообщает торжественность статуи. В одной руке держит скипетр, в другой маленький мячик державы. Англия, что ли? Или королева Анна? Кто это? Сначала она очень тихо заговорила; только они и расслышали, что

...разум в стороне.

Старый Бартоломью захлопал в ладоши.

— Внимание! Внимание! — он крикнул. — Браво! Браво!

Таким образом поощренный, Разум возвысил голос.

Время, опершись на косу, стоит и смотрит. Торговля между тем из рога изобилья свою ссыпает золотую дань. На дальних копях дикари потеют; глина нам дарит расписной кувшин. По моему хотенью воин свой щит слагает; язычник оставляет свой алтарь, дымящийся от крови жертвы нечестивой. Роза и фиалка сплетаются в один венок. Беспечный путник отныне может змеи смертельного укуса не страшиться. И в шлеме боевом свивают улей пчелы.

Она умолкла. Сзади, под деревьями гуськом ходили взад-вперед, взад-вперед деревенские.

– *Мы тропы пролагаем, в долине строим дом,* — они пели, но ветер сносил слова.

– *Под сенью реющих моих одежд* (она распростерла руки) *изящные искусства процветают. Музы́ка для меня бессмертную гармонию струит. По моему хотенью скряга нетронутой кубышку отставляет; мать мирно смотрит, как резвятся дети... резвятся дети...* — она повторила, и, по мановению скипетра, несколько фигур явилось из-за кустов.

– *Цветет подлунный мир, Зефир струит эфир, и нимфа пляшет с пастушком, играет в вешнем поле, и весь воздушный океан моей послушен воле.*

Граммофон грянул бодрую старинную песенку. Старый Бартоломью сложил ладони крышей; миссис Манреза оглаживала у себя на коленях юбку.

Молил Дэмон у Синтии:
Приди ко мне с рассветом,
Покой сошел на Англию,
Ну как не знать, ну как не знать,
Ну как не знать об этом.
И разум правит нами.
С печальной ночи снами
Простись! О, ночь прошла давно,
Приди ко мне с рассветом!

— *Мы цветы сбираем, мы венки сплетаем,* — пели деревенские, гуськом проходя под деревьями, — *зима ли, лето, все едино... опять зима, и снова лето; мы дома возводим, пролагаем тропы... плодимся, размножаемся, растем и умираем... а время все идет, идет, идет, идет...*

Ветер сносил слова.

Музыка смолкла. Нимфы и пастушки ретировались. Разум одиноко держал площадку. Распростерши руки со скипетром и державой, в реющих одеждах, Мэри Хопкинс смотрела величаво — куда-то, мимо публики, поверх голов. Публика пожирала ее глазами. Она никого не замечала. И пока она так смотрела мимо публики, служители, вылезшие из-за кустов, устраивали вокруг нее нечто вроде комнаты о трех стенах. Посредине поставили стол. На стол поставили фарфоровый чайный сервиз. Разум недвижно, с гордой своей высоты, озирал эту сцену домашности. На сцене царило молчанье.

— Другая сцена из другой пьесы, как я понимаю, — сообразила миссис Элмхерст, справясь с программкой. И прочитала громко — для своего мужа, он был глух: — "Была бы воля, путь найдется". Это название. А действующие лица... — она громко читала, — "леди Гарпия Карган, влюбленная в сэра Спаниеля Сюсюлли. Деб, ее горничная. Флавинда, ее пле-

мянница, влюбленная в Валентина. Сэр Спаниель Сюсюлли, влюбленный в Флавинду. Сэр Мирвам, духовное лицо. Леди и лорд Лежебоки. Валентин, влюбленный в Флавинду". Какие странные у них у всех фамилии! Ой, смотри — вот и они!

Выходили из-за кустов — мужи в цветистых камзолах, в белых камзолах, в туфлях с пряжками; дамы во взбитой, складчатой парче; орденские звезды из стекла, голубые ленты из гаруса, поддельный жемчуг — ну типичнейшие лорды и леди.

— "Сцена первая, — шипела миссис Элмхерст мужу в самое ухо, — в будуаре леди Карган..." это, значит, она... — показала пальцем, — миссис Оттер, по-моему, с околицы; но как разнаряжена, ну ты. А это Деб, горничная. А кто такая, хоть убей, и не разберу.

— Ш-ш, ш-ш, — не выдержал кто-то.

Миссис Элмхерст уронила программку на колени. Началось действие.

Леди Гарпия Карган входит в свой будуар в сопровождении горничной.

Леди Г. К. *Подай сюда духи. И мушки. Зеркало подай. Так. Теперь парик... Чума возьми девчонку – заснула, что ли!*

Деб. *Я думаю, барыня, про то, что говорил тот господин, как вас увидел в парке.*

Леди Г. К. (глядится в зеркало). *Ну и что он такое говорил? Что нес? Бредни какие-то. Стрела Амура – ха-ха-ха! – зажгла его факел – хм! – от моего взора! Когда это было! Уж двадцать лет тому... А теперь – как-то он теперь заговорит?* (Глядится в зеркало.) *То есть Спаниель Сюсюлли...* (Стук в дверь.) *Ба! У ворот его коляска! Беги, дитя! Полно тебе зевать!*

Деб (идет к двери). *Заговорит? Да он будет языком молотить, как работник на гумне. Никак слов для вас не подберет. Уставится, как баран на новые ворота... Да вот и он, к вашим услугам, сэр Спаниель.*

Входит сэр Спаниэль Сюсюлли.

Сэр С. С. *Привет тебе, мой нежный ангел! Как, уж на ногах, чуть свет? По Мэллу[1] идучи, подумал я, что свет сегодня ярче, чем обыкновенно... Вот что тому причиной... Венера, Афродита, да что! Галактика! Плеяды! О, пускай я грешен, но вы – сама Аврора Бореалис!* (Взмахивает шляпой.)

Леди Г. К. *О, льстец, ох и льстец! Уж я ухватки ваши знаю. Но заходите же. Садитесь... Стаканчик Аква Виты. Сядьте, сэр Спаниель. Мне нужно с вами кое о чем переговорить, об очень важном деле... Получили вы мое письмо, сэр?*

Сэр С. С. *Ношу его на сердце!* (Бьет себя в грудь.)

Леди Г. К. *Мне надобно, сэр Спаниель, просить вас об одной услуге.*

Сэр С. С. (поет). *В какой услуге откажет прекрасной Хлое верный Дафнис? Впрочем, оставимте стихи. Бог с ними, со стихами. Будем изъясняться презренной прозой. Чего угодно Асфодилле от верного слуги Сюсюлли? Говорите же, ваше совершенство. Чего-то эдакого, чтоб обезьянка с кольцом в носу иль рослый юный вертопрах рассказывал про нас, когда нас уж не будет в этом мире?*

Леди Г. К. (играя веером). *Фи, фи, сэр Спаниель, вы меня в краску вгоняете. Нет, ну правда. Однако подойдите ближе.* (Подвигается поближе к нему.) *Мы ведь не хотим, чтоб нас слушали все кому не лень.*

1. Улица Лондона в центральной части.

Сэр С. С. (в сторону). *Поближе? Чума на мою голову! Старая карга воняет, как селедка, вниз головой стоявшая в смоленой бочке!* (Вслух.) *Я слушаю, прелестнейшая. Что вы хотите мне сказать?*

Леди Г. К. *Есть у меня племянница, сэр Спаниель, по имени Флавинда.*

Сэр С. С. (в сторону). *Ого, та самая барышня, в которую я влюблен!* (Вслух.) *У вас есть племянница, вы говорите? Да, что-то я такое слышал, помнится. Единственное дитя, оставленное братом вашим на руках вашей светозарности. Когда брата вашего поглотило море.*

Леди Г. К. *Истинно так, сэр Спаниель. Теперь она вошла в пору, и самое время ее выдать замуж. Я обвила ее, как шелкопряд, печальным саваном невинности, сэр Спаниель. Она окружена одними горничными, и никого мужчин, насколько мне известно, кроме Клаута, слуги, да и у того бородавка на носу и рожа что твоя терка. Какой-то болван однако ж изловчился снискать ее симпатию. Какая-то там мошка и пичужка*[1]*. Какой-то Гарри, Дик; зовите как хотите.*

Сэр С. С. (в сторону). *Это юный Валентин, я нимало не сомневаюсь. Я видел, как они вместе забавлялись.* (Вслух.) *О, что вы говорите?*

Леди Г. К. *Она собой не до того дурна – красота у нас в роду, – чтоб господин с вашим воспитанием и вкусом не мог отнестись к ней со снисхождением.*

Сэр С. С. *Если бы не ваше наличие, миледи. Глаза, видевшие солнце, не ослепляются более скромными светилами – Кассиопеей, Альдебараном, Большой Медведицей, ну и тому подобное. Плевать на них на всех, коль в небе светит солнце!*

Леди Г. К. (строит ему глазки). *Вы воспеваете моего парикмахера, сэр, или мои подвески?*

Сэр С. С. (в сторону). *Звякает, как ослица на ярмарке! Разряжена, как рождественская елка.* (Вслух.) *И вам угодно мне повелеть, ваше совершенство?*

Леди Г. К. *Да, сэр, именно так. Братец Боб, ибо отец мой, будучи простым помещиком, не терпел затейливых имен, какие понавезли к нам иноземцы – вот я себя хоть и называю Асфодилла, а крещена-то простецким именем Сью, – братец Боб, я говорю, бежал за море; и даже, говорят, стал императором Индии; а там дороги мощены яхонтами да смарагдами. Которые, поскольку не бывало на свете более доброго сердца, он бы непременно приволок домой, дабы поправить дела семейства, сэр. Однако бриг, фрегат, ну я не знаю, как там их называют, эта морская тарабарщина сразу вылетает у меня из головы, его корабль, одним словом, который канаву не пересечет бывало, не сказавши "Отче наш" вдоль и поперек, разбился об утес. И бедного Боба поглотил кит. Но колыбельку, благодаренье Господу, волнами вынесло на берег. С малюткой; стало быть, с Флавиндой. И, что еще важнее, с волей; в полной сохранности, спеленутой в пергамент. С последней волей братца Боба. Деб! Сюда! Деб, я говорю!* (Громко зовет Деб.)

Сэр С. С. (в сторону). *Ха-ха! Запахло жареным! Последняя воля, скажите пожалуйства! Была бы воля, путь найдется!*

Леди Г. К. (вопит). *Последняя воля, Деб! В эбеновой шкатулке, направо на бюро против окна... Чума на девку! Спит на ходу! И всё романы, сэр Спаниель, всё эти романы. Видит, свечка оплыла – нет, это ее сердце горит и тает. Фитиль не может загасить, покуда всех имен в Амурном календаре не перечтет.*

Деб входит с пергаментом в руке.

Леди Г. К. *Так... Подай сюда. Вот она, последняя воля братца Боба.* (Бормочет над завещанием.) *Короче говоря, сэр Спаниель, ибо у этих крючкотворов даже и в антиподах речи слишком длинны...*

1. Ср.: Шекспир: "Повинны в том же мошки и пичужки". Король Лир. Акт 4, сц. 4 (перев. Б. Пастернака).

Сэр С. С. *Равно как их уши...*

Леди Г. К. *Истинно так, истинно так. Короче говоря, сэр Спаниель, мой братец Боб все свое достояние оставил единственной своей дочери Флавинде; с одним условием, однако, заметьте себе это. Что она вступит в брак с соизволенья тетушки. Тетушки ее; а это я. В противном случае, заметьте себе это, всё, то есть – десять бушелей алмазов; плюс столько же рубинов; плюс двести квадратных миль плодородных земель к северо-северо-востоку от Амазонки; плюс его табакерка; плюс его флажолет – ах, как он любил музыку, сэр Спаниель, мой бедный Боб; плюс шесть попугаев ара, и наложниц, сколько было у него в наличии ко времени кончины, – все это, кроме не стоящего упоминанья мелкого вздора, если она вступит в брак без соизволенья тетушки, всё пойдет на возведенье храма, сэр Спаниель, где шесть бедных дев будут до скончания века петь псалмы ради упокоения его души – что, по совести сказать, сэр Спаниель, весьма не помешает братцу Бобу, который шатался по Гольфстриму и снюхался с сиренами. Да вот, читайте сами, сэр.*

Сэр С. С. (читает). *"Понеже вступит в брак с соизволенья тетушки". Яснее ясного.*

Леди Г. К. *Тетушки. А это я. Яснее ясного.*

Сэр С. С. (в сторону). *Тут карга не врет!* (Вслух.) *И я смею заключить, любезнейшая...*

Леди Г. К. *Ш-ш! Подойдите ближе! Я вам на ушко шепну... Мы с давних пор составили благоприятное сужденье друг о друге, сэр Спаниель. Играли в мячик. Сплетали руки вместе венками из ромашек. Если я верно помню, вы меня звали своей маленькой невестой... тому назад полвека. А стало быть, сэр Спаниель, ежели фортуне будет угодно... вы меня поняли, сэр Спаниель?*

Сэр С. С. *Да будь это начертано огромными золотыми письменами, видимыми от собора Святого Павла до сельской глуши, и то не могло бы быть ясней... Ш-ш. Я перейду на шепот. Я, сэр Спаниель Сюсюлли, беру тебя... ну как зовут девчонку, которую вынесло на берег в верше для омаров, оплетенной водорослями? Флавинда, э? Флавинду, стало быть, себе в жены... ах, крючкотвора бы сюда, все это записать!*

Леди Г. К. *При одном условии, сэр Спаниель.*

Сэр С. С. *При одном условии, Асфодилла...*

Говорят вместе.

Что деньги будут поделены между нами поровну.

Леди Г. К. *И никакого нам не надо крючкотвора! Вашу руку, сэр Спаниель!*

Сэр С. С. *Ваши уста, мое сокровище!*

Целуются.

Сэр С. С. *Ух! Как она воняет!*

– Ха-ха-ха! – закатилась природная леди в своей каталке.

– Разум, о господи! Разум! – крякнул старый Бартоломью и оглядел своего сына, как бы заклиная его стряхнуть с себя эти бабьи нюни и быть мужчиной, сэр.

Джайлз сидел, как струнка прямой, поджав под себя ноги.

Миссис Манреза достала зеркальце и занялась своими губами и носом.

Граммофон, пока убирали декорации, нежно оповещал о ряде фактов, давно никем не оспариваемых. Более или менее о том, как утро, вокруг себя сбирая платье, стоит в сомненье перед тем как уронить росис-

тый свой наряд. Как, вела мелодия, пасутся мирные стада. Как в хижину на склоне дня бедняк приходит, жене и детям о трудах своих ведет простой рассказ: что урожай приносит борозда; что гнездышко скворца упряжка пощадила; и яйца пестрые в тепле остались. Жена тем временем нехитрый собирает ужин; насытившись, он дудочку берет, и музыка выводит за собою веселый хоровод из нимф и пастушков по росной мураве. Потом роняет вечер свой покров, и нежными власами прикрывает холмы и долы, реки и луга и прочее, и прочее, и прочее. Далее это все еще раз повторилось.

Пейзаж по-своему вторил песне. Солнце садилось; таяли краски; человек вкушал отдохновенье после дневных трудов, и об этом тоже не мог не рассказать пейзаж; как жар проходит; и побеждает разум; и, освободя от плуга свои упряжки, соседи копаются в саду, на огороде или стоят, облокотившись о плетни.

Коровы, сделав шажок вперед, потом застывая на месте, как нельзя лучше говорили о том же самом.

Спеленутая этой тройной мелодией публика сидела, смотрела; смотрела кротко, смирно, не задаваясь лишними вопросами, на неотвратимое явление пальмы в зеленой кадке на месте прежнего будуара; а на то, что означало собою стену, уже навесили часы; и стрелки показывали время; семь без трех минут.

Миссис Элмхерст очнулась от мечтаний; справилась с программкой.

— "Сцена вторая", Мэлл, — она вычитала. — "Время; раннее утро. Входит Флавинда". Вот и она!

На сцену вышла Милли Лобстер (продавщица у Ханта и Диксона в магазине тканей) в цветастом сатине, изображая собой Флавинду.

Ф. *Семь, он сказал, а сейчас семь, часы тому порукой. Но Валентин? Где же Валентин? О! Как бьется сердце! А ведь не рано, часто солнце еще не встало над лугами, а я уж на ногах... Ох, идут какие-то господа... выступают как павлины, распустя хвосты! А я в таком платьишке, хоть у тетушки в кокнутом зеркале оно очень недурно выглядело... ой, а это что там за чучело... а уж волоса они взбивают, что твой именинный торт с воткнутыми свечками... это бриллиант – это рубин... Но где же Валентин? На Мэлле, под померанцевым деревом, так он назначил. Дерево – вот оно. И никакого нет Валентина. Вон там придворный, об заклад побьюсь, старый лис, поджавший хвост. А там служанка чья-то, гуляет, не сказавшись господам. А этот, с метлой, дорожку расчищает для важных дам, чтоб подолами ее мели... А уж румянец на щеках! Поди, в полях такого не бывает! Ах, неверный, жестокий, бессердечный Валентин. Валентин! Валентин!* (Ломает руки, вертится во все стороны.)

А я-то, я-то! Уж я ли не вышла из спальни тихохонько, как мышка, чтоб тетушку не разбудить? И волосы не вымазала пудрой из ее шкатулки? И щеки не натерла, чтоб блестели? Без сна в постели не лежала, глядючи, как звезды взбираются на дымовые трубы? И свою золотую гинею, которую мне крестный на Крещенье подарил, не отдала Деб, чтобы меня не выдавала? И ключ в замке не смазала, чтоб тетка не проснулась, не заорала – Флавви! Флавви! Ах! Валентин!.. Идет... Нет, я вам его походку за милю отличу, он рассекает волны, как этот, ну как его, в книжке с картинками... Но это не Валентин. Так, франт какой-то; какой-то пишют; ишь, поднял свой лорнет, уставился... лучше я домой пойду. Нет, не пойду я... Маленькую девочку из себя корчить, вышивать по канве?.. Разве я с Михайлова дня не стану взрослой? Еще три месяца и получу наследство... А? Или в тот день, как мячик угодил в шкатулку, где тетка держит свои бумажки, и крышка распахнулась, я не подглядела в завещанье? "Все свое

имущество я оставляю дочери...” До этих пор и прочитала, тут тетка затопала по коридору, как слепец с клюкой... Я не какая-нибудь потерпевшая кораблекрушение, смею вас уведомить, сэр; не русалка с рыбьим хвостом, выброшенная морем для вашей милости. Я не хуже иных-прочих, с кем вы время проводите, а мне назначаете свидание под померанцевым деревом, пока сами глаз еще не продрали после ихних ласк. Стыдно вам, сэр, так насмеяться над бедной девушкой... я не заплачу, клянусь, я не заплачу. Ни слезинки не уроню из-за такого, кто так со мной обошелся. Но подумать только, как мы на сыроварне прятались в тот день, когда еще кот прыгнул. И романы читали под омелой. Ах! Как же я плакала, когда герцог бросил бедную Полли! И тетка меня потом застала с красными глазами. “Какая тебя муха укусила?” – говорит. И как заорет: “Живо, Деб, мой синий мешочек!” Да я уж тебе рассказывала... Ах, подумать только, я все это прочитала в книжке и плакала над чужой судьбой!.. Тсс, что там за деревьями? Вот... и опять нет. Ветер? Вот в тени... вот на солнце... Валентин! Он! Ой, надо спрятаться. Спрячусь за это дерево! (Прячется.)

Вот он... вертится... мечется... со следа сбился... смотрит... туда, сюда... Ничего, пусть красотками полюбуется, пусть смотрит, думает: “Вот с той я танцевал... вот с той лежал... с той целовался под омелой...” Ха! Да ему плевать на них на всех! Храбрый Валентин! Глаза уставил в землю! Нахмурился – и как ему к лицу! “Где Флавинда? – вздыхает. – Та, кто мне дороже жизни?” Ой, вытащил часы! “О, неверная!” И ножкой, ножкой топнул. Теперь на пятках повернулся... Меня увидел – нет, солнце ему слепит глаза. А в них слезы... Господи боже, за шпагу ухватился! Еще в грудь себе воткнет, как этот герцог в книжке!.. Стойте, стойте, сэр! (Выходит из укрытия.)

ВАЛЕНТИН. *О Флавинда. О!*

ФЛАВИНДА. *О Валентин. О!*

Бросаются друг другу в объятия.

Часы бьют девять.

– И стоило шум поднимать! – крикнул чей-то голос. Публика засмеялась. Голос смолк. Но голос видел; голос слышал. Минуту мисс Ла Троб за своей березой сияла торжеством. В следующую, поглядев на деревенских, ходивших взад-вперед под березами, уже гаркала:

– Громче! Громче!

Ибо сцена была пуста; а следовало продлить напряженье; и продлить его могла исключительно песня; а было не слышно слов.

– Громче! Громче! – она им погрозила кулаком.

Пролагая тропы (они пели), *в долине строя дом, мы идем, мы идем... Зима пройдет, и весна промелькнет... и воротится лето... Все минет, мы пребудем... все переменится... Мы будем навеки неизменны...* (ветер задувал в прогалы строк).

– Громче! Громче! – ярилась мисс Ла Троб.

Дворцы крушатся (они затянули снова), *и Вавилон, Ниневия, Троя... и Цезаря великое творенье... всё лежит во прахе... Где было чибиса гнездо, воздвиглась арка... в какую римляне вступали... пласты земли наш плуг вздымает... Где Клитемнестра, подстерегая мужа... увидела в горах огни... мы тропы пролагаем, мы проходим... И Королева падет, и башня сторожевая падет... Конь Агамемнона умчит... Что Клитемнестра? Прах...*

Ветер сносил слова. Только несколько великих имен — Вавилон, Ниневия, Клитемнестра, Агамемнон, Троя — парили над простором. Потом ветер стал пуще, и шелест листьев заглушил даже великие слова; и зрители сидели, уставясь на деревенских, которые открывали рты, ни звука не произнося.

Сцена была пуста. Мисс Ла Троб налегала на березу, как бы окаменев. Сила ее оставила. На лбу выступили капли пота. Мечты обманули. "Это смерть, — она бормотала, — смерть".

И вот, когда уж совсем истощилась мечта, вдруг всё взяли на себя коровы. Одна потеряла теленочка. И тютелька в тютельку когда надо было подняла большую волоокую голову и замычала. И поднялись все большие волоокие головы. И корова к корове обращала то же тоскующее мычание. Весь мир взбухал бессловесной тоской. В уши нового времени трубил предвечный, довременный голос. И вот все стадо подхватило заразу. Били хвостами, отверделыми, как кочерги, задирали головы и мычали, мычали, будто Эрос, каждой пустив стрелу в бок, их всех разъярил. Коровы заполнили брешь; перекинули мост; заполнили пустоту и продлили напряжение.

Мисс Ла Троб восторженно махала рукой коровам.

— Слава богу! — кричала она.

Вдруг коровы перестали мычать; опустили головы и стали щипать траву. Зрители тоже опустили головы и глянули в программки.

"Режиссер, — прочитала миссис Элмхерст вслух в интересах супруга, — просит снисхожденья у почтеннейшей публики. Из-за недостатка времени одна сцена опущена; и режиссер просит публику вообразить, что в промежутке мистер Спаниель добивается помолвки с Флавиндой; и та как раз должна произнести неотвратимые обеты; но Валентин, спрятанный в напольных часах, тут выступает вперед; объявляет Флавинду своей невестой; разоблачает замысел о лишении ее наследства; и, пользуясь возникшим смятением Спаниеля и тетушки, влюбленные убегают, оставя стариков наедине".

— Нас просят все это вообразить, — сказала миссис Элмхерст, снимая очки.

— И очень умно она придумала, — миссис Манреза адресовалась к миссис Суизин. — Если все это сюда напихать, нам бы до ночи не выдраться. Так что придется нам вообразить, миссис Суизин, — и она похлопала старушку по колену.

— Вообразить? — отозвалась миссис Суизин. — Как это верно! Актеры слишком много нам показывают. Китайцы, знаете, положат на стол кинжал — и битва у них готова. И Расин...

— Ага, прям морит скукой, — перебила миссис Манреза, учуяв культуру, возмутясь выступлением старухи и решив за себя постоять. — На днях племянника водила — шикарный парень, сейчас в Сандхерсте[1] — на "Денежки-то пфу"[2]. Видали? — она повернулась к Джайлзу.

— По дороге городской[3], — промычал тот вместо ответа.

— А, вам няня это пела! — обрадовалась миссис Манреза. — И моя. И как до "пфу" дойдет, так губами делала, будто пробка слетает с пивной бутылки. Пфу! — воспроизвела этот звук.

1. Сандхерст — престижное военное училище.
2. Мюзикл. Название — строчка из детского стишка.
3. Первая строчка этого стишка.

— Ш-ш, ш-ш, — зашипел кто-то.

— Да, я веду себя бякой и шокирую вашу тетушку, — сказала миссис Манреза. — А надо быть паиньками и смотреть. Значит, акт третий. Будуар леди Гарпии Карган. В отдалении слышится цоканье лошадиных копыт.

Цоканье лошадиных копыт, в виде отчаянного стука Альберта-идиота деревянной ложкой по подносу, замерло вдали.

Леди Г. К. *Теперь они уж, верно, на полпути в Гретна-Грин*[1] *! О, неблагодарная! Ты, которую спасла я из соленых вод и сушила подле пастушьего костра! Отчего кит не пожрал тебя со всеми потрохами! О, коварная, о, вероломный крокодил! Как первая твоя азбука с картинками тебя не научила чтить свою тетушку! Или ты читала задом наперед, раз только и выучилась что воровать и лгать, подсматривать завещания в эбеновых шкатулках и прятать вертопрахов в беспорочных часах, секунды не утерявших со времен короля Карла! О, Флавинда! О, крокодил!*

Сэр С. С. (пытаясь стянуть с себя ботфорты). *Старый... старый... старый. Он обозвал меня старым... "Ложись в постель, старый болван, и выпей горячего молочка!"*

Леди Г. К. *А она! Повернулась на пороге, ткнула в меня пальцем и говорит: "Старая", сэр, "женщина", сэр, тогда как я во цвете лет и я дама!*

Сэр С. С. (дергает ботфорты). *Но я с ними поквитаюсь! Я к суду их притяну! Я их выведу на чистую воду!* (Прыгает по комнате в одном ботфорте.)

Леди Г. К. (кладет руку ему на плечо). *Пощадите свою подагру, сэр Спаниель. Одумайтесь, сэр, – не будем сходить с ума, ведь над нами едва воссиял шестой десяток! И что их эта юность? Гусиное перо, сносимое порывом северного ветра! Сядьте же, сэр Спаниель. Положите вашу ногу... вот так...* (Подкладывает ему под ногу подушечку.)

Сэр С. С. *И он будет меня называть старым! Выскакивая из часов, как черт из табакерки! А она! Насмешничать! Тыкать в мою ногу пальцем и кричать: "Стрела Амура, сэр Спаниель, стрела Амура!" О, с каким бы счастьем я их поджарил на одной сковороде и горяченькими подал на алтарь... О, моя старая подагра! Моя старая подагра!*

Леди Г. К. *Эти речи, сэр, не к лицу человеку здравомыслящему. Помнится, сэр, еще совсем недавно вы поминали... гм... Плеяды. Кассиопею, Альдебаран; Авфору Бореалис... Не будем отрицать – одна из них сошла с орбиты, закатилась, сорвалась, упала, а ясней сказать, сбежала с часовой начинкой, с всего лишь маятником заслуженного механизма. Но, сэр Спаниель, есть звезды... гм... которые еще остались в небе; которые... гм... одним словом, никогда не светят ярче, чем над костром в прохладе раннего рассвета.*

Сэр С. С. *О, если бы мне было двадцать пять и на боку разящий меч!*

Леди Г. К. (вскидываясь). *О, я вас понимаю, сэр Спаниель. Разумеется, я не меньше вашего грущу. Но юность? Что такое юность? Сказать вам по секрету, я и сама прошла этот меридиан. Перевалила за экватор. Ночью вкушаю сладкий сон и не ворочаюсь в постели. Минули, промчались эти кошмарные денечки... Подумайте, однако же, сэр. Ведь была бы воля, путь найдется.*

Сэр С. С. *Истинная правда, леди Гарпия! Ох, нога, нога моя горит, как конское копыто у дьявола на наковальне! Ох!.. Но что вы хотите этим сказать?*

1. Гретна-Грин — пограничная шотландская деревня, где в прежние времена для заключения брака не требовалось соблюдения всех формальностей.

Леди Г. К. *Что я хочу этим сказать, сэр? Презреть ли мне мою скромность и извлечь на свет то, что покоилось в лаванде уж двадцать лет, с тех пор как супруг мой – да будет мир его душе – почил во гробе? Короче говоря, сэр, Флавинда убежала. Клетка опустела. Но мы, оплетавшие, бывало, руки наши маргаритками, можем их соединить более прочной цепью. Покончив с цифрами и счетами. Вот я – Асфодилла, а если проще – Сью. Зовите меня как хотите – Сью, Асфодилла, – я, в полном здравии, к вашим услугам. Раз заговор сорвался, богатства братца Боба переходят к бедным девам. Яснее ясного. Так и в завещании прописано. "Девы... до скончанья века... петь псалмы... об упокоении его души". А должна вам сказать, ему это ох как не повредит... Ах, не важно, не важно. Хотя мы бросили на ветер огромные богатства, я отнюдь не нищая. Остались еще усадьбы; службы; скот; белье и серебро; мое приданое; и описи. Я вам их покажу; все выведено на пергаменте; вполне довольно, поверьте, для общей нашей с вами безбедной жизни в будущем супружестве.*

Сэр С. С. *В супружестве! Так вот она – простая правда! О, миледи, да я скорее брошусь в бочку со смолой, дам привязать себя к терновому кусту в штормовой ветер! Тьфу!*

Леди Г. К. *В бочку со смолой – скажите пожалуйста! К терновому кусту – скажите пожалуйста! А не ты ли мне тут пел про галактики и млечные пути? Клялся, что я всех их затмеваю? Чума на твою голову! Изменщик! Шакал! Змея в ботфортах! Так вы отрекаетесь от меня, сэр?* (Протягивает ему руку, он её отпихивает.) *Вы отвергаете мою руку?*

Сэр С. С. *Спрячь свои подагрические суставы в шерстяные варежки! Тьфу! Мне их не надо! Да будь это алмазы, алмазы чистой воды, и полмира со всеми наложницами вместе как бусы повешены тебе на шею... мне ничего этого не надо... ничего не надо. Оставь меня, сова, сыч, филин, ведьма и вампир! Пусти меня!*

Леди Г. К. *А-а, так все слова ваши были не более как блестящая обертка рождественской хлопушки!*

Сэр С. С. *...Колокольчики на шее у осла! Бумажные розы!.. Ах, моя нога, моя нога... стрела Амура, негодница еще позволила себе шутить... старый, старый, он назвал меня старым!* (Ковыляет прочь.)

Леди Г. К. (одна). *И все ушли. Как ветром сдуло. Он ушел; она ушла; старые часы, к которым встерся маятником юный негодяй, одни лишь и остались. Чума на них – дом честной дамы превратить в бордель! Была Аврора Бореалис, а стала хуже бочки со смолой! Была Кассиопея, стала ослицей. Голова кругом. Нет, нельзя верить мужчинам; нельзя верить женщинам; ни сладости речей; ни прелести очей. Сброшена овечья шкура; прочь уползла змея. Ну и катитесь в Гретна-Грин; валяйтесь там на мокрой мураве, гадюк кормите. Ах, моя голова, моя голова... Бочка смолы... Кассиопея... Андромеда... терновый куст... Деб, Деб, я говорю.* (Кричит в голос.) *Расшнуруй меня. Я сейчас лопну... принеси зеленый столик, да карты положи... И мои туфли с меховой опушкой, Деб... И чашку шоколада... Я с ними поквитаюсь... Я их всех переживу... Деб! Деб! Чума на девку! Оглохла, что ли? Деб, я говорю, цыганское отродье, которое я подобрала в канаве и научила вышивать по канве! Деб! Деб!*

Распахивает настежь дверь в комнату горничной.

Пусто! Тоже сбежала!... це-це-це! Что это у нее тут на комоде?

Берет листок, читает.

"На кой мне нужна ваша пуховая перина? Меня влекут цыгане шумною толпой". О! И подписано: "Ваша прежняя горничная Дебора". О! Та, кого я кор-

мила яблочной кожурой и крошками с собственного моего стола, которую научила играть в шашки и шить сорочки... и она меня оставила. О, Неблагодарность, Дебора, тебе имя! Кто теперь будет мыть за мной посуду; приносить мне молочко в постель, терпеть мой нрав, расшнуровывать мой корсет?.. Все-все ушли. Я совсем одна. Без племянницы, без любовника; и без горничной.

И вот к концу подходит пьеса.
Прибавим лишь мораль для веса:
Амур порой хитер бывает –
Он в ногу стрелы посылает.
И, право слово, поделом.
А девы пусть поют псалом,
Им, бедным, вечно петь придется:
"Была бы воля, путь найдется".
И ставим точку мы на том.

Присев в реверансе, леди Г. К. удалилась.

Действие кончилось. Разум снисшел со своего пьедестала. Подбирая юбки, важно принимая аплодисменты публики, Мэри Хопкинс плыла по сцене; лорды и леди в звездах и лентах за нею следовали; сэр Спаниель, хромая, вел усмехающуюся леди Гарпию Карган; Валентин с Флавиндой, держась за руки, приседали и раскланивались.

— Истинная правда, — возгласил переимчивый Бартоломью, — и мораль для веса!

Откинулся на кресле и захохотал — как кони ржут.

Мораль. Какая мораль? Джайлз прикинул — мораль вот в чем: была бы воля, путь найдется. Слова стучали в голове насмешкой, издевкой. В Гретна-Грин со своей зазнобой; закусить удила. И будь что будет.

— Оранжерею хотите посмотреть? — выпалил он, вдруг повернувшись к миссис Манреза.

— Мечтаю! — и с этим воплем она вскочила со стула.

Антракт? Да, и в программке указано. В кустах жужжало: ж-ж, ж-ж, ж-ж. А что у них дальше?

— "Викторианская эпоха", — прочитала миссис Элмхерст. Стало быть, есть время размять ноги, прогуляться по парку, а может, и в дом заглянуть. Но почему-то все чувствовали себя — ну как бы это сказать? — несколько не в своей тарелке. Пьеса будто выбила мячик из сетки, что ли; и шарики заскочили за ролики; и то, что было мое *я*, неприкаянное, витает и никак не может осесть. Все были чуть не в себе. Или просто вдруг их стала теснить одежда? Узкие муслиновые платьица; фланелевые брюки; панамы; и даже оплетенные малиновым тюлем шляпки, совершенно как у ее королевского высочества герцогини в Аскоте[1], почему-то ну совсем не смотрелись.

— Ах, но костюмы! — вздохнул кто-то, жадным взглядом провожая упархивающую Флавинду. — Так украшают человека. Мне бы пошло...

— Ж-ж, ж-ж, ж-ж, — жужжало в кустах, непреложно, упорно.

1. Аскот — ипподром близ Виндзора, где проходят ежегодные скачки, важное событие в жизни английской аристократии. Отсюда и определения одежды: аскотский галстук, аскотский шарф.

Бежали по небу тучки. Облачность была переменчивая. То Хогбеновский Каприз станет пепельным, сизым. То снова солнце, глядишь, пальнет в золоченый флюгер Болниминстерского собора.

– Дождя бы не было, – сказал кто-то.

– Пошли... надо размяться, – сказал другой голос. И рассыпались по лугам островки разноцветных одежд. Кое-кто, правда, остался сидеть.

– Майор Мэйхью с супругой, – пометил Пейдж, репортер, послюнив карандаш. Ну а касательно пьесы, надо прижать эту мисс Как-бишь-ее-там и с ней провентилировать насчет смысла. Но мисс Ла Троб куда-то исчезла.

Она трудилась за кустами, как негр. Флавинда стояла в одних штанишках. Разум сбросил свои ризы на изгородь. Сэр Спаниель стягивал ботфорты. Мисс Ла Троб что-то расшвыривала, что-то искала.

– Викторианская накидка, шитая бисером... и куда подевалась, будь она неладна? О, ч-черт... Уф, и бакенбарды...

Ныряя, выныривая, она острым птичьим глазком из-за кустов косила на публику. Публика разбредалась, публика растекалась по лужайкам и тропам. Держалась от грим-уборных подальше; соблюдала приличия. Но если они черт-те куда разбредутся, углубятся в парк, сунутся в дом, тогда... Ж-ж, ж-ж, ж-ж – жужжало в кустах. Время шло. Долго ли оно продержит их вместе? Тут дело случая; тут игра; риск... И она в поте лица расшвыривала по траве реквизит.

Сквозь кусты к ней летели беспризорные голоса, бесплотные голоса, символические, так ей казалось: она их почти не слышала, совсем не видела, но чуяла из-за кустов незримые нити, сплетавшие бесплотные голоса.

– Мрачноватая перспектива, – сказал кто-то.

– И кому это надо, кроме проклятых немцев?

И – замолчали.

– Я бы деревья эти повырубила...

– И как они тут розы выращивают!

– Да вроде тут уже пятьсот лет назад сад был...

– Но ведь даже старик Гладстон[1], надо отдать ему должное...

И опять все смолкло. Голоса прошли дальше, прошли мимо кустов. Шелестели деревья. Множество глаз – мисс Ла Троб не сомневалась, чуяло ее сердце, – множество глаз озирало пейзаж. Краем глаза она видела Хогбеновский Каприз; и подмигнул флюгер.

– Барометр падает.

Чуяло ее сердце: ускользают у нее между пальцев, пейзаж разглядывают.

– Куда запропастилась эта миссис Роджерс, будь она неладна? Эй, кто-нибудь! Кто видел миссис Роджерс? – орала она, тиская викторианскую накидку.

Тут, попирая приличия, среди дрожания веток проклюнулась голова: миссис Суизин.

– Ах, мисс Ла Троб! – она вскрикнула; увяла. Расцвела вновь. – Ах, мисс Ла Троб! Я вас от души поздравляю!

Споткнулась.

1. Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) – несколько раз был премьер-министром при королеве Виктории.

— Вы мне доставили такое... — переглотнула, перескочила. — Еще в детстве я чувствовала... — глаза ей заволокло, заслонило теперешний миг. Она принялась было ворошить детство; бросила потуги; и, легонько взмахнув рукой, как бы заручившись одобреньем мисс Ла Троб, понеслась: — Весь день хлопочешь; вверх-вниз по лестницам; спрашиваешь себя: и зачем я сюда пришла? Ах, очки? Но они у меня на носу...

В мисс Ла Троб уставился старый, синий, безоблачный взор. Взгляды скрестились в совместном усилии высечь искру, понять. Искра не высекалась; и миссис Суизин, отчаянно ловя за хвост верткую мысль, наконец разразилась:

— Мне досталась такая скромная роль! Но вы мне дали почувствовать, что я могла бы сыграть... Клеопатру!

Поклонилась, расколыхав ветки, и засеменила прочь.

Деревенские переглянулись. Га-га — ну как иначе назвать Старого Пушка, вламывающегося в кусты.

— Я могла бы быть... Клеопатрой, — повторила мисс Ла Троб. — Вы во мне всколыхнули мою несыгранную роль, вот в чем весь смысл.

— Ну, влезаем в юбки, миссис Роджерс, — она приказала.

Миссис Роджерс стояла как дура в своих черных чулках. Мисс Ла Троб натягивала ей через голову пышные воланы викторианской эпохи. Закрепляла тесьму. "Вы задели незримые струны", — хотела сказать старушка; да, и я открыла в ней — Клеопатру, ни больше ни меньше! Мисс Ла Троб ликовала. Ах, разве она только дергает кого-то там за какие-то струны; она в общем котле кипятит разбредающиеся тела, беспризорные голоса, она из бесформенной глины лепит новую явь. Вот он, великий миг, миг славы наступил.

— Так! — она закрепила черные ленты у миссис Роджерс на подбородке. — Готово! Теперь займемся джентльменами. Хэммонд!

Пришла очередь Хэммонда. Тот стыдливо приблизился и безропотно оброс черными бакенбардами. Так, прикрыв глаза, откинув голову, он, по мнению мисс Ла Троб, напоминал короля Артура — благородный, рыцарственный, тощий.

— Где старый майорский сюртук? — взывала она, доверяясь преображающей силе майорской оснастки.

Ж-ж-ж, ж-ж, ж-ж — жужжало в кустах. Время шло.

А публика где-то шляется, бродит. Только жужжание граммофона и держит их вместе. Вон там, вдалеке, одиноко огибает куртину миссис Джайлз, намереваясь смыться.

— Музыка! — гаркнула мисс Ла Троб. — Живо! Следующую пластинку! Номер десять!

— Ну, могу я сорвать, — бормотала Айза, срывая розу, — единственный цветок. Белый, красный? И зажать его в пальцах, вот так...

Среди проходящих лиц она высматривала лицо человека в сером. Вот он мелькнул; но не один, неподступный. Вот снова пропал.

Она выронила розу. Какой бы зажать между пальцев одинокий листок? Никакой. И не дело одной бродяжить возле клумбы. Надо идти дальше; она свернула к конюшням.

Куда я иду? — она думала. По каким сквозным переходам? Где, слепой, тычется ветер. И ничто не растет. Ни единой розы. Куда я приду? К бесплодным, сирым полям, не знающим ласки заката; где солнце не всходит. И все скучно, серо. И роза не цветет, не растет. Где ничто не ме-

няется; и невозможно полюбить; и нет ни разлук, ни встреч; ни поисков, ни находок; и руки не ищет рука, глаз не ищет спасенья от глаза.

Она вышла на конный двор; там были цепные псы; и стояли ведра; и огромная груша приставила к стене лестницей размашистые ветки. Корни проросли сквозь плиты, ветки прогнулись от твердых зеленых груш. Айза пощупала одну, пробубнила:

— Так и меня пригнетает то, что вытянуто из земли; воспоминанья; именье. Этот груз на меня навьючило прошлое — на последнего ослика, бредущего по пустыне за караваном. "На колени, — командует мое прошлое, — вьюки наполни плодами нашего дерева. Встань, ослик. Иди своим путем, пока не сотрешь ноги, не разобьешь копытца".

Груша оказалась твердая как камень. Айза глянула на треснутые плиты, под которыми распустило покореженные корни старое дерево. Этот груз, она думала, навьючен на меня с колыбели; нашептан волнами; надышан бессонными вязами; набаюкан пением нянь; о том, что нам следует помнить; о том, что мы позабудем.

Она подняла взгляд. Золоченые стрелки часов на конюшне непреложно ползли к новому часу. Через две минуты — пробьет.

— Молния ударит, — Айза бубнила, — с ясного неба. Лопнут ремни, закрепленные мертвыми. Рассеется наше именье.

Ее отвлекли голоса. Мимо конюшни шли, перебрасывались словами.

"Одни говорят — славен будет день, когда нас догола разденут. Другие говорят, то будет конец времен. Все увидят гостиный двор и хозяина. Но никто не заговорит своим собственным голосом. Свободным от вибраций породы. Вечно я буду слышать противные призвуки; звяканье золота и металла. Полоумную музыку..."

Еще какие-то голоса. Публика стекалась к террасе. Айза сосредоточилась. Взяла себя в руки. "Вперед, ослик, труси, покорно труси. Не слушай дикого воя погонщиков, ослик, они заведут тебя далеко-далеко и бросят. Ни болтовни не слушай фарфоровых, гладких и жестких лиц. Лучше слушай, как кашляет пастух у забора; как вздыхает засохшее дерево, когда скачет мимо Всадник на бледном коне; слушай тот гогот в казарме, когда с девушки сдирают одежду; или крик, когда в Лондоне я отворяю окно, а там крик..."

Она вышла на тропку, бежавшую мимо теплицы. Дверь толкнули изнутри. Вышли миссис Манреза и Джайлз. Незамеченная, Айза за ними проследовала по лугам, к первому ряду стульев.

Ж-ж-ж, ж-ж-ж — жужжанье смолкло в кустах. По команде мисс Ла Троб сменили пластинку. Номер десять. "Крики лондонских улиц" — так называлась пластинка. "Попурри".

— Лаванды, душистой лаванды, кому душистой лаванды, — свистела и щелкала музыка, безуспешно подхлестывая публику. Кто внимания не обращал. Кто еще шлялся где-то. Другие останавливались, да так и стояли, ни туда ни сюда. Некоторые, например полковник Мэйхью с супругой, не покидавшие своих мест, размышляли над изготовленной к их услугам подслеповатой машинописью.

"Девятнадцатый век".

Полковник абсолютно не отнимал у режиссера полного права проворачивать два столетья за менее чем пятнадцать минут. Но его смущал выбор сцен.

— Как же так — не показать британские вооруженные силы? Какая без вооруженных сил история, э? — рассуждал полковник. Склонив голову, миссис Мэйхью возражала, что, в конце концов, нельзя слишком многого требовать. И вдобавок, возможно, все в конце концов торжественно соберутся вокруг Юнион Джека — такой задуман финал? В любом случае у них остается прекрасный пейзаж. Оба полюбовались пейзажем.

— Лаванды... душистой лаванды... — подтягивая мелодию, старая миссис Линн Джонс (с Холма) оттолкнула стул. — Сюда, Этти, — она сказала, сама плюхаясь рядом с Этти Спрингет, с которой, как овдовели обе, они поселились вместе. — Помню... — она кивала мелодии в такт, — и ты тоже помнишь, конечно, как это выкликали по улицам.

Обе помнили — занавески вздуваются, продавцы надрываются: "Кому? Кому? Налетай! Свежих, сладких, прямо с грядки!" — и проносят по улице герань и горошек в горшочках.

— Помню арфу, и бричку помню, и дрожки. А тишина какая, бывало, на улицах! Кому коляску? Кому дрожки? И наша Эллен — на улице, в чепчике, в фартучке — им свистела, сюда, мол, сюда? Помнишь? А носильщики? Господи Боже ты мой, как они неслись за тобой с вокзала до самого дома, если у тебя был багаж!

Мелодия изменилась.

— "Железный лом, старье берем"? Помнишь? Мужчины кричали в тумане. Приезжие с Севен-Дайелз. У всех красные косынки на шее. Удавленники, так мы их прозвали, да? После театра — ни-ни — и думать не моги возвращаться пешком. Риджент-стрит. Пиккадилли. Гайд-Парк-корнер. Эти падшие женщины... И вечно хлебные горбушки валялись в канаве... А ирландцы у Ковент-Гардена?.. Или — возвращаешься с бала, мимо часов на Гайд-Парк-корнер, белые перчатки так и ласкают руку, да?.. А папа встречал в парке старого герцога. Два пальца... вот так... прикладывал к шляпе. Я мамин альбом сберегла. Озеро, влюбленная парочка... Она Байрона переписывала, каллиграфическим почерком...

— А это— Ах! "И застигли их на старой на дороге Кентской"[1]. Помню, еще посыльный насвистывал. Ой-ёй-ёй, эти слуги... Наша старая Эллен... Семнадцать фунтов в год жалованья... А кувшины с горячей водой! А кринолины! Корсеты! Помнишь, Хрустальный Дворец, фейерверк, а Майра бальную туфельку в грязи утопила?

— Смотри-ка, молодая миссис Джайлз... помню ее мать. В Индии умерла. А сколько мы тогда на себя нижних юбок напяливали! Негигиенично? Кто спорит... А теперь на мою дочь посмотри. Чуть правей, да-да, сразу за тобою. Сорок стукнуло, а стройная, как тростинка... Каждой квартире холодильник... Мама целое утро убивала, чтобы обед заказать... нас у нее было одиннадцать. Считая с прислугой, восемнадцать ртов накормить... А теперь сняла себе трубочку и звони в магазин... А вон Джайлз идет, с миссис Манреза. Как-то она не совсем в моем вкусе. Может, я недопонимаю чего-то... А-а, мистер Коббет — притулился под лиственницей... Редко его вижу... За что и люблю эти праздники: можно на людей посмотреть, себя показать. В наше время у всех хлопот полон рот, а когда-никогда хочется... Программка? Есть у тебя? Дай-ка сюда, глянем, что там дальше у них... Девятнадцатый век... Смотри, хор, деревенские ходят взад-вперед под березами... Но сперва пролог...

1. Название песни английского поэта Алберта Шевальей (1861—1923).

Огромный ящик, крытый зеленым сукном в тяжелых золотых позументах, поставили посреди сцены. Шорох платьев, шарканье стульев. Публика виновато суетится, занимая места. Мисс Ла Троб не спускает с них глаз. Пять секунд им дается на то, чтоб привести в порядок физиономии. И — она взмахнула рукой. Грянул пышный марш. "Собой прекрасен, могуч и властен" и т. д. и т. д...

И вот снова является из-за кустов могучий символический образ. Это Бадж, хозяин паба; но в таком виде, что даже дружкам-приятелям, ежевечерне с ним выпивающим, его не признать; и смешки, и вопросы относительно его личности шелестят по рядам. На нем длинный черный плащ с капюшоном; непромокаемый плащ; блестящий; плотный и жесткий, как у статуи на Парламентской площади; полисменская каска; вся грудь в медалях; и в простертой правой руке полицейская дубинка (любезно предоставленная мистером Уиллертом из местной управы). Зато голос, сдобный, низкий голос, прогудев из-под черных ватных усов, выдал его с головой.

— Бадж, Бадж, это же мистер Бадж, — пронеслось по рядам.

Бадж заговорил, помавая жезлом:

— *Работенка не из легких, на углу Хыйд-Парка стоючи, движение, стало быть, направлять. Автомобили, конки. Эдакий грохот по мостовой. Пправа держи, эй! Оглох, что ли?*

Он помахал жезлом.

И куда лезет, старая, зонтик свой лошади аж в самую морду тычет.

Жезл недвусмысленно указывал на миссис Суизин.

Она заслонилась тощей рукой, будто и в самом деле вдруг сорвалась с тротуара и навлекла на себя властный праведный гнев. Получила, подумал Джайлз, беря сторону власти против собственной тетушки.

Туман ли, ясная ли похода, а я на своем посте , — продолжал Бадж. *На Пыккадылли; у Хыйд-Парка – правлю, значит, движением в Империи ее величества. Персидский шах; султан марокканский; будь хоть лично ее величество своей персоной; да хоть путешественники; белые; черные; хоть матросы; хоть солдаты; кто рассекает моря-окияны; возглашает ее величеству славу и честь; для всех как есть мой жезл наипервейший указ.*

Он величаво, справа налево, взмахнул жезлом.

И на том должность моя не кончается. Я защищаю, я просвечаю всех ее величества подданных; во всех самых что ни есть дальних ее владеньях; я смотрю, я слежу, чтобы, значит, блюли они законы божеские и человеческие.

Законы божеские и человеческие (он повторил, сделав вид, будто сверяется с уставом; для чего сунул нос в пергаментный лист, с большим тщанием извлеченный из кармана штанов).

По воскресеньям чтобы в церковь ходили; по понедельникам в девять тик в тик чтобы в омнибус залазили. По вторникам посещали бы собрания в Мэншон-Хаузе[1] *во искупление грехов; в среду уже другое прописано – черепаховый суп; ну, в Ирландии, там, конечно, бывает всякое; голод; фении. Мало ли. В четверг уроженцы Перу нуждаются в наших советах и нашей защите; они получают чего им положено. Однако, заметьте себе, на этом наше правление не кончается. Мы живем в христианской стране; под белой королевой Викторией. Мысли и вера; питье; поведенье; одёжа; ну, само собой, и женитьба – тут без моего жезла никуда. Блахостояние и блаародство всегда, сами знаете, рука об руку ходят. Страны управитель должон и за детской люлькой приглядывать; и за кухней сле-*

1. Мэншн-Хаус — резиденция лорд-мэра лондонского Сити.

дить; и залой; за библитекой; где один или двое, хоть я, скажем, с вами, собираются вместе. Наш пароль – честность; блаародство и блахостояние. А кто не желает, пусть катится...

Он помолчал – нет-нет, он не забыл слова.

...в Криппльгейт; Сент-Джайлз; Уайтчепел; Майнори[1].

Пусть в копях потеет; кряхтит на галерах; влачит жалкий жребий. Такая, стало быть, цена Империи; такое бремя белых[2]*. И, скажу я вам, как следовать быть править движением, что на углу Хыйд-Парка, что на Пыккадылли, – это нагрузка на полный день для белого человека.*

Он помолчал, величаво, властно всех озирая со своего пьедестала. Весьма внушительная фигура, все согласились, – с этим простертым жезлом; в непромокаемом этом плаще. Только мороси не хватало, да порхания голубей над его головой, да перелива колоколов Вестминстерского аббатства, собора Святого Павла, чтобы окончательно его превратить в констебля времен Виктории; а публику перенесть в лондонский вечерний туман, в котором потренькивают колокольцы пирожников да морем разливанным катит колокольный, викторианский победный звон.

Произошла заминка. Паломники пели, конечно, взад-вперед топчась меж березами; но слов было не разобрать. Публика сидела, ждала.

– Ну-ну-ну, – миссис Линн Джонс осталась не очень довольна, – среди них были такие чудесные люди...

Трудно объяснить почему, но как-то такое ей мнилось, что насмешка метит в ее родителя; а стало быть, и в нее.

Этти Спрингет тоже слегка покоробило. Да, дети возили в копях тележки с углем; и был подвальный этаж; зато папа после ужина читал им вслух Вальтера Скотта; и не допускались ко Двору разведенки. Ах, как все это сложно! Уж скорей бы начинали новую сцену. Хочется, уходя из театра, знать все-таки, что́ тебе показали. Конечно, тут всего-навсего сельская постановка... Вот, новую сцену уже готовят, ящик покрыли красным сукном. Она прочитала в программке:

– Пикник. Время действия – около 1860 года. У озера. Действующие лица...

Она зашнулась. По террасе расстелили простыню. Озеро, по всей вероятности. Грубо намалеванная зыбь – стало быть, вода. Зеленые палки – камыш. И очень красиво – над простыней носились настоящие ласточки.

– Минни, смотри! – не удержалась она. – Настоящие ласточки!

– Ш-ш, – ее призвали к порядку. Уже начиналось действие. На берег озера вышел молодой человек в брюках со штрипками, в бакенах, со стеком.

Эдгар Т. *...Разрешите я помогу вам, мисс Хардкасл! Вот так!*

Помогает мисс Элеанор Хардкасл, девице в кринолине и капоре, подняться на холм. Мгновение оба стоят, слегка задыхаясь, молча любуясь видом.

Элеанор. *Какой махонькой кажется церковь, там, между деревьев!*

1. Нищие кварталы тогдашнего Лондона.
2. "Бремя белых", знаменитое стихотворение Киплинга: "Твой жребий – бремя белых! / Как в изгнанье пошли / Своих сынов на службу / Темным сынам земли; На каторжную работу, / Нету ее лютей – / Править тупой толпою / То дьяволов, то детей. / Твой жребий – бремя белых!/ Терпеливо сноси, Угрозы и оскорбленья / И почестей не проси" (перев. В. Топорова).

Эдгар Т. *Это Утеха Путников, место встреч.*

Элеанор. *Пожалуйста, мистер Торолд, закончите свою мысль. Вы начали говорить, но нам помешали. Вы сказали: "Нашей целью в жизни..."*

Эдгар Т. *...должна бы быть помощь ближним.*

Элеанор (глубоко вздыхая). *Как это верно – как это глубоко верно!*

Эдгар. *Зачем вздыхать, мисс Хардкасл? Вам-то не в чем себя укорить. Вся жизнь ваша отдана на служенье людям. Нет, я думал о себе самом. Я уж не молод. В двадцать четыре года увянул жизни лучший цвет. Юность моя миновалась* (бросает камешек в воду), *как эти круги на воде.*

Элеанор. *Ах, мистер Торолд, вы не знаете меня. Я не то, чем кажусь. Я тоже...*

Эдгар. *Не говорите так, мисс Хардкасл... нет, я не могу этому поверить... Вас тоже посещают сомненья?*

Элеанор. *Хваленье Небу, нет, не то... В неге и холе, под верной защитой родительской ласки, не зная забот и печали, какой вы меня знаете, какой вы меня видите... Ах, что же это я говорю? Да! Была не была! Я должна вам сказать всю правду, пока не пришла матушка. Я тоже стремлюсь обращать язычников!*

Эдгар. *Мисс Хардкасл! Элеанор!.. Неужто! Могу ли я надеяться? Нет! Вы так молоды, так невинны. Подумайте, я вас молю, прежде чем дать мне ответ...*

Элеанор. *Я уже думала... стоя на коленях!*

Эдгар (вынимая из кармана кольцо). *А тогда... моя маменька заклинала меня на смертном одре отдать это кольцо только той, для кого всю жизнь провести в африканской пустыне, среди дикарей, было бы...*

Элеанор (берет кольцо). *...высшее блаженство! Но – ш-ш-ш.* (Прячет кольцо к себе в карман.) *Это маменька!* (Отпрянула от Эдгара.)

Появляется миссис Хардкасл, корпулентная дама в черном бомбазине, верхом на осле, которого ведет под уздцы почтенный господин в охотничьей войлочной шляпе.

Миссис Х. *О, вы обогнали нас, молодые люди. Бывали времена, сэр Джон, когда мы всегда первыми добирались доверху. Не то теперь...*

Он помогает ей спешиться. Сбегаются дети, юноши, девушки, кто с корзиной, кто с рампеткой, с подзорными трубами, с ботанизирками. Возле озера расстилают плед, и миссис Х. и сэр Джон садятся на походные стульчики.

Миссис Х. *Кто чайники наполнит? Кто щепок соберет? Элфрид* (маленькому мальчику), *не носись так за бабочками, у тебя голова закружится... мы с сэром Джоном распакуем наши корзины вон там, где сгорела трава, где мы в прошлом году пировали.*

Молодежь разбегается кто куда. Миссис Х. и сэр Джон заняты корзиной.

Миссис Х. *В прошлом году мистер Бич был еще среди нас, бедняжка. Мирная, безболезненная кончина...* (Утирает глаза платочком с траурной каймой.) *Что ни год, еще кого-нибудь мы не досчитываемся. Это бекон... Это куропатки... тут бездна всякой дичи...* (Раскладывает еду на траве.) *Да, так я говорю, бедный милый мистер Бич... Надеюсь, сливки не прокисли... Мистер Хардкасл доставит бордо. Это я всегда ему доверяю. Но только когда мистер Хардкасл затевает с мистером Пиготтом спор о римлянах... в прошлом году они так увлеклись... Джентльмену полезно иметь своего конька, хоть из-за этого такая пыль в доме – от всех этих черепов и прочее... Да, так я говорю, бедный мистер Бич... Я у вас хотела спросить,* (понижает голос) *как у друга дома, относительно нового пастора... Нас никто не слышит, нет? Нет, они же щепки*

собирают... В прошлом году нас постигло такое разочарование. Только-только все разложили, и нате вам – дождь. Да, так я вас хотела спросить насчет нового пастора, который заменит бедного мистера Бича. Мне сказали, его фамилия Сибторп. По-моему, я не могла спутать, потому что один мой кузен женат на девице с такой фамилией и мы с ними накоротке. Но когда у тебя дочь – ах, как я вам завидую, сэр Джон, у вас всего одна дочь, а у меня их четыре! Да, так я вас хотела спросить по секрету, про этого юного Сибторпа... не так ли?.. потому что, должна вам сказать, третьего дня миссис Поттс рассказывала: проходит она мимо пасторского дома, белье проносила, а там мебель разгружают; и что же она видит? На шифоньере? Грелку на чайник! Ну, конечно, она могла обознаться... Но я решила спросить у вас, как у друга дома, по секрету, есть ли у мистера Сибторпа супруга?

Тут хор деревенских в викторианских одеждах, бакенбардах и цилиндрах поет:

О, есть ли у мистера Сибторпа супруга? О, есть ли у мистера Сибторпа супруга? Вопрос это сложный, вопрос неотложный, он матери сердце тревожит, он матери сердце терзает и гложет, ах, им не задаться, ах, им не терзаться, когда у вас взрослая дочь, невозможно. Скорей расскажите, скорей объясните, облегчите сердца тревогу: неужто и правда – вместе с Библией, требником; вместе с халатом и стеком; вместе с удочкой; семейным альбомом; приволок он с собой этот символ супружества, домашнего символ уюта, эту несчастную грелку на чайник? Скажите, скажите, скажите! О, есть ли у мистера Сибторпа супруга? О, есть ли у мистера Сибторпа супруга?

Не успел хор допеть, появились участники пикника. Летят пробки. Нарезаны бекон, цыплята и куропатки. Уста жуют. Осушаются бокалы. Ничего не слышно, кроме жеванья и звона бокалов.

– Ну и лопают, – миссис Линн Джонс шепнула миссис Спрингет. – Даже для здоровья не полезно.

Мистер Хардкасл (стряхивая с усов волоконца мяса). *Ну, а теперь...*

– Что – а теперь? – шепнула миссис Спрингет, опасаясь нового подвоха.

...А теперь, отдав должное потребностям тела, удовлетворим же потребности духа. Я прошу одну из юных дев спеть нам.

Хор юных дев. *Ах, не я... Только не я... Я, право, не могу... Жестокие, вы же знаете, я не в голосе... Я не могу петь без инструмента...* и т. д. и т. д. и т. п.

Хор молодых людей. *И, полно, вздор какой! Спойте нам "Лета последняя роза". Спойте "Я не ласкал мою газель"*[1].

Миссис Х. (властно). *Элеанор и Милдред нам сейчас споют "Быть бы мне бабочкой"*[2].

Элеанор и Милдред покорно встают и поют дуэтом "Быть бы мне бабочкой".

Миссис Х. *От души вас благодарю, мои милые. А теперь очередь молодых людей. "Правь, Британия!"*[3]

Артур и Эдгар поют "Правь, Британия".

Миссис Х. *Благодарю, благодарю. А теперь мистер Хардкасл...*

1. Популярные песни на стихи Томаса Мура (1779–1852). Первая из "Ирландских мелодий", вторая из поэмы "Лалла Рук".
2. Романс на стихи Томаса Хенза Бейли (1797–1839).
3. Песня из пьесы Джеймса Томсона (1700–1748) "Алфрид", ставшая столь популярной, что превратилась в нечто вроде национального гимна.

Мистер Хардкасл (вставая и прижимая к груди свое ископаемое). *Помолимся.*

Все встают.

– Ну нет, это уж слишком, это уж слишком, – не вытерпела миссис Спрингет.

Мистер Х. *Всемогущий Господи, податель всякого блага, благодарим Тебя; за нашу пищу и питье; за красоты природы; за мудрость, какой Ты нас наделяешь.* (Ласкает свое ископаемое.) *И за великий дар Мира на земле. Дозволь нам быть Твоими верными рабами; дай нам нести свет Твоего...*

Тут задняя часть осла, воплощаемая идиотом Албертом, пришла в движение. Намеренно или непроизвольно? "На осла поглядите! На осла!" Заключительная часть молитвы мистера Хардкасла утонула в смешках; потом наконец стало слышно:

...счастливого возвращения, плотью укрепясь от Твоих даров, духом вдохновившись Твоей премудростью. Аминь.

Держа перед собой свое ископаемое, мистер Хардкасл строевым шагом удаляется прочь. Осел укрощен; корзины сложены; выстроившись в процессию, участники пикника постепенно исчезают за холмом.

Эдгар (замыкая шествие вместе с Элеанор). *Обращать язычников!*

Элеанор. *Помогать своим ближним!*

Бадж. *Пора, леди, пора, жентльмены, собираться и отправляться восвояси. Стоя здесь, с жезлом в руке, блюдя блаародство, блахостояние и чистоту викторианской страны, я вижу перед собой* (указывает: перед ним Пойнз-Холл; кружат грачи; реет дым.) *дом, родной уютный дом*[1].

Граммофон подхватывает: *Нет тебя любимей, нет тебя верней, дом, дом, родной уютный дом* и т. д.

Бадж. *Дом, жентльмены; дом, леди. Домой-домой. Пора собираться и отправляться восвояси. Там, я гляжу, кажись, огонек* (показывает: одно окно горит красным светом.), *разгорается все пуще, нет? На кухне; в детской; в зале или библитеке? Стало быть, огонь очага. До́ма! И гляньте! Наша Джейн принесла чай. А ну-ка, детки, где ваши игрушки? Мамаша, скорей откладывай свое вязанье. Потому как* (он очертил жезлом Коббета из Коббс-корнер) *кормилец возвертается домой – из города, домой из-за стойки, домой из лавки. "Мамаша, чайку", "Детишки, ко мне скорей сюда. Я вслух вам почитаю. Чего бы почитать? Синдбада-морехода? Или чего-нибудь из Писания? Или вам картинки показать? Не хочете? Тогда скорей кубики сюда. И будем строить! Чего? Теплицу? Библитеку? Или лучше башню; и, может, вывесим там флаг, после чая, когда Королева-вдова сбирает вокруг себя королевских сироток?" Да, пора-пора домой, леди, домой, жентльмены. Нет места слаще, чем дом, родной уютный дом!*

Граммофон запел "Дом, дом, родной уютный дом", и Бадж, слегка покачнувшись, слез со своего пьедестала и вслед процессии удалился со сцены.

Сцена опустела.

– А по-моему, было прекрасно, – припечатала миссис Линн Джонс. Дом, она имела в виду; озаренная зала; малиновые занавески; и папа читает вслух.

1. Популярная песенка; автор – американский актер Джон Хауард Пейн (1791–1852).

Озеро скатывали, выдирали тростник. Настоящие ласточки носились над настоящей травой. А она одно видела — дом.

— Это было... — повторила она, разумея дом.

— Дешевка и пошлость, — отрезала Этти Спрингет, разумея пьесу, и нехорошим взглядом окинула зеленые штаны Доджа, галстук в крапинку, расстегнутый жилет.

А миссис Линн Джонс одно видела — дом. Может, и было, она размышляла, пока свертывали красный пьедестал Баджа, что-то — ну, не сказать несвежее, не то слово, но негигиеничное, что ли, в этом их доме? Вроде чуть почерствелого сыра, заветренного, как говорила прислуга? Не то с чего бы ему развалиться? Время идет, идет, как стрелки на кухонных часах. (В кустах жужжал и жужжал граммофон.) Не встречая препятствий, она рассуждала, не одолевая трения, так бы они все вертелись, вертелись по циферблату. И остался бы — дом; и папина борода, она рассуждала, росла бы, росла; и мамино вязанье — и что она вывязала в результате? Перемены необходимы, решила она, не то наросли бы метры и метры папиной бороды, маминого вязанья. Вот теперь — зять гладко выбрит. У дочки холодильник... О господи, опять я отвлекаюсь, она спохватилась. Да, так о чем я: перемены нужны; все на свете становится лучше и лучше; пока не достигнет совершенства; а уж тогда, наверно, Время будет бессильно. Рай — не меняется.

— А они и вправду были такие? — вдруг спросила Айза. И посмотрела на миссис Суизин так, будто та — динозавр или крайне тщедушный мамонт. Пора бы и вымереть, раз жила в эпоху Виктории.

Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж — жужжало в кустах.

— Викторианцы, — задумалась миссис Суизин. — Нет, не верю, — она сказала со странной своей усмешкой, — что такие люди существовали. Просто ты, да я, да Уильям, только иначе одеты.

— Вы не признаете истории, — сказал Уильям Додж.

Сцена была пуста. Коровы переступали в лугах. Тени уплотнялись под вязами.

Миссис Суизин гладила свой крестик. Туманно оглядывала пейзаж. Пустилась, было ясно, по волнам своей обычной фантазии: все на свете — едино. Овцы, коровы, трава, деревья, мы сами — всё вместе сливается в единое целое. И при всей какофонии складывается в гармонию — пусть не для нас, но для гигантского, гигантской голове принадлежащего уха. А раз так — она улыбалась блаженно, — муки отдельной овцы, коровы и человека необходимы; а значит — она серафически улыбалась золоченому флюгеру вдалеке, — нам бы открылось, что все на свете гармония, сумей мы только прислушаться. И мы сумеем. Взгляд ее был устремлен поверх пышного белого облака. Ну, раз эта мысль ее тешит, — Айза и Уильям переглянулись с улыбкой, — пусть, на здоровье.

Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж — жужжало в кустах.

— Вы поняли, что она хотела сказать? — вдруг миссис Суизин вернулась на землю. — Мисс Ла Троб?

Айза, блуждая взглядом, затрясла головой.

— Но то же можно сказать про Шекспира, — сказала миссис Суизин.

— Шекспир и стеклянные гармоники[1], — вставила миссис Манреза. — Господи, каким я из-за вас себя чувствую варваром!

1. Намек на роман Оливера Голдсмита "Векфильдский священник": "Модные темы, как картины, вкус, Шекспир и стеклянные гармоники" (гл. 8).

Она повернулась к Джайлзу. Ожидая, что он вступится за наивную прекрасную душу.

— Ерунда какая, — сказал Джайлз.

Жаркие перстни миссис Манреза метали красные, зеленые стрелы. Он перевел взгляд с них на тетю Люси. С нее на Уильяма Доджа. С него на Айзу. Она взглядом оттолкнула его взгляд. И он стал смотреть вниз, на свои окровавленные белые туфли.

Он говорил (без слов):

— Я дико несчастен.

— Я тоже, — вторил Додж.

— И я, — думала Айза.

Всех их поймали и сунули в клетку; заточили; обязали смотреть эту пьесу. На сцене ничего решительно не происходило. Жужжанье в кустах сводило с ума.

— Вперед, ослик, — пробубнила Айза, — иди... через пустыню... неси свою ношу...

Она почувствовала взгляд Доджа на своих шепчущих губах. Вечно чьи-то холодные глаза ползут по тебе, как зимняя трупная муха! Она их стряхнула.

— И чего они тянут! — выпалила раздраженно.

— "Снова антракт", — прочитал Додж, поглядев в программку.

— А что потом? — спросила Люси.

— "Наше время. Мы сами", — он прочитал.

— Дай бы бог, чтоб хоть на этом кончилось, — буркнул Джайлз хрипло.

— Вот. А теперь вы себя ведете бякой, — укорила миссис Манреза своего маленького мальчика, своего сурового героя.

Никто не шелохнулся. Сидели, смотрели на пустую сцену, на коров, луга, на пейзаж, и жужжало, жужжало в кустах.

— А какова цель, — Бартоломью вдруг поднялся, — этого мероприятия?

— "Вырученные деньги, — прочитала Айза по слепой машинописи у себя на коленях, — поступят в фонд средств для проведения электричества в церкви".

— Все наши деревенские празднества, — фыркнул мистер Оливер, повернувшись к миссис Манреза, — кончаются просьбой о деньгах.

— Ну конечно, конечно, — она бормотнула, не одобряя его суровости, и звякнула монетами в бисерной сумочке.

— Ничто в Англии не делается задаром, — продолжал старик. Миссис Манреза была не согласна. Может, относительно викторианцев оно и верно; но к нам ведь никак не относится? — Она что, действительно верит в наше бескорыстие? — пытал мистер Оливер.

— Ах, вы моего мужа не знаете! — набычась, вскричало дитя природы.

Поразительная женщина! Можете не сомневаться — прокукует кукушкой, когда час пробьет; замрет, как старая лошадь, когда брякнет звоночек конки. Мистер Оливер ничего не ответил. Миссис Манреза вынула зеркальце и принялась за свое лицо.

Все нервничали. Сколько еще тут торчать? Это жужжанье в кустах. Надсадные взвизги автомобильных рожков с проезжего тракта. И свист деревьев. Да кто мы такие, собственно? Неизвестно; не викторианцы,

нет, и вообще неизвестно кто. Будто, пустые, висим в пустоте, в лимбо. Ж-ж-ж, ж-ж-ж, ж-ж-ж — жужжало в кустах.

Айза дергалась; смотрела налево, направо через плечо.

— Шалтай-болтай сидел на стене, — бубнила она себе под нос. —
Шли страус и орел,
И с ними повар шел.
Кого из вас — спросил он, —
Скорей подать на стол?
Скорей сюда, красотки,
Скорее, господа,
Готовы сковородки,
Давно кипит вода,
Какое, ах какое
Я вам подам жаркое!

Долго она еще их собирается тут томить? "Наше время. Мы сами". Это они прочитали в программке. Прочитали и дальше: "Вырученные деньги поступят в фонд средств для проведения электричества в церкви". И где она, эта церковь? Ах, вон там. Шпиль виден из-за деревьев.

"Мы сами". Каждый опять уткнулся в программку. Но что она про нас знает? Про елизаветинцев — да; про викторианцев — пожалуй; но про нас, нас самих; как мы тут сидим, сейчас, в июньский день 1939 года? — просто смешно. "Я" на этой сцене — нет, невообразимо. Другой кто-нибудь, ну почему бы нет... Коббет из Коббс-корнер; майор; старый Бартоломью; миссис Суизин — эти куда ни шло. Но меня ей не раскусить, нет. Зрители нервничали. Смех летел из-за кустов. И ничего решительно не происходило на сцене.

— И чего она нас тут мурыжит? — возвысил недовольный голос полковник Мэйхью. — Раз время нынешнее, кажется, незачем и переодеваться.

Миссис Мэйхью с ним согласилась. Если, конечно, она не планирует на закуску большой парад. Армия; флот; Юнион Джек; а за ними за всеми — лично миссис Мэйхью так бы распорядилась, будь она режиссером, — за ними за всеми — Церковь. Из картона. Одно окно на восток, и так ярко-ярко освещено, как символ всего, всего... ну, тут еще потом можно обдумать.

— Вон она там, за березой! — она шепнула, кивая на мисс Ла Троб.

Мисс Ла Троб там стояла, упершись взглядом в рукопись. "После Викт. — было намечено в рукописи, — попроб. 10 мин. наст. врем. Ласточ., коровы и проч.". Она хотела их, можно сказать, как душем обдать реальностью текущего часа. Но опыт, кажется, не удался. "Реальность им не по зубам, — она бормотала, — А-а-ах, да ну их всех к черту!" Разве влезешь в их шкуру! Разве на публику угодишь! О-о, написать бы пьесу без публики, настоящую пьесу! Но зрители — вот они, тут сидят. И с каждой минутой расслабляют поводок. Номер не прошел. Опыт не удался. Сейчас бы сюда задник, повесить между березами, выгородить коров, ласточек, настоящее время! Но задника нет у нее. И музыку она отменила. Царапая ногтями кору, она костерила публику. Ужас, ужас. Кровь будто капает из башмаков. Смерть, смерть, смерть, помечала она у себя на полях рассудка; когда подвела мечта. Она стояла, смотрела на публику не в силах рукой шевельнуть.

И вдруг — грянул дождь, ливень как из ведра.

Никто не заметил, как подкатила туча. И вот она, черная, взбухшая, повисла над головами. Лило, лило, лило, лило так, будто все люди на свете расплакались разом. Слезы, слезы, слезы.

— Ох, если б на этом кончились все наши муки! — пробормотала Айза. Глянула вверх, и две тяжелые блямбы ей угодили в лицо. И потекли по щекам, как слезы. Слезы всех, всех, всех — над всеми. Кто-то заслонялся рукой. Там и сям распускались зонтики. Дождь грянул, накрыл все и вся стеной. И — перестал. Дохнуло свежестью, пахнуло землей от травы.

— Вот так-то, — мисс Ла Троб перевела дух, смахивая со щек брызги. Снова природа взяла ее под защиту. Давая представленье под открытым небом, она шла на риск — и риск оправдался. Она взмахнула рукописью. Музыка! До-ре-ми, до-ре-ми. Мелодия проще простого. Но теперь, когда прошел дождь, заговорил другой голос, ничей голос. И голос, который плакал только что над человеческой болью, сказал:

Где король? На троне
Пишет манифест,
Королева в спальне...

— Ох, если бы на этом кончилась моя жизнь! — бормотала Айза (стараясь не шевелить губами). С каким бы счастьем отдала она этому голосу всё, что есть у нее, лишь бы кончились слезы. Изгиб звука, самый простой, может из нее веревки вить. На промокшую землю, на этот алтарь она сложит свою жертву...

— Ой, посмотрите! — крикнула она вдруг.

Лестница. И (грубо подмалеванный холст) — стена. И человек, взваливший на спину бак с известкой. Мистер Пейдж, репортер, послюнил карандаш и отметил: "Использовав весьма скромные подручные средства, мисс Ла Троб представила публике Цивилизацию (стену) в руинах; восстанавливаемую (см.: работник с известкой) трудом человека; см. также: женщина, подносящая кирпичи. Просто, как апельсин. Далее появляется некто черный в курчавом парике; и, опять же, некто, уже кофейного цвета, в серебристом тюрбане; по всей видимости, олицетворяют собой Лигу..."

Взрыв аплодисментов накрыл эту лесть нам самим. Грубую, впрочем. Но мисс Ла Троб приходилось считаться со скудостью средств. Подмалеванный холст говорил, вероятно, о том же, о чем "Таймс" и "Телеграф" сегодня говорили в передовицах.

А музыка пела:

Где король? На троне
Пишет манифест,
Королева в спальне
Хлеб...

И вдруг оборвалась. Изменилась. Вальс, что ли? Знакомая музыка, нет?.. И под нее пляшут ласточки. Кругами, кругами, туда-сюда. То близкие, то дальние. Настоящие ласточки. А деревья, о, деревья важны и строги, как сенаторы на совете, как просторные колонны собора... Они делят на такты музыку, складывают ее, множат; а всё текучее оберегают от перетеканья. Ласточки — или это стрижи? — стриж, обитатель храмо-

вых карнизов[1] — вот, летят, как всегда, всегда летали... И, притулясь к стене, словно предвещают то, что, в сущности, вчера уже предугадывала "Таймс". Дома будут строиться. В каждой квартире будет свой холодильник на обветшалой стене[2]. Человек освободится; посуду будет мыть машина; аэропланы не будут нарушать тишину; все свободны; все станут единым целым...

Мелодия подсеклась; надломилась; вильнула. Фокстрот, что ли? Джаз? Какой-то ломкий, рваный и странный ритм. И шум, звон, грохот! Ну, при таких куцых средствах, положим, чего же вы ждали? Ох, ну какофония! Взрыды, взбрыки, вздрыги! И конца не видно. Нет, неприятно. Отвратно. Просто обидно; оскорбительно даже. Ерунда какая-то. Очень современно, конечно, тут ничего не скажешь. Да зачем это всё? Цель какая? В этой рыси? Прыти? Против рожна переть? Нам нос утереть? Играть с нами в прятки? В жмурки? Ну и наглость у поколения, которому — слава тебе господи! — недолго ходить в "молодых". Молодежь! Строить ничего не умеют, только ломать; на щепу разносить всеми признанное; расщеплять на атомы целое. Трам-тарарам, бух, стук — дятлу впору, насмешливой птице, мотающейся с вяза на сосну.

Смотрите-ка! Вон, из кустов выходят — черт-те кто. Дети? Эльфы? Бесенята? А в руках? Банки? Склянки? Жестянки? Плошки? Ой, держите меня! Стенное зеркало из пасторского дома. А это уж мое — сама ей дала. Мамино. Треснутое. Какая цель? Все, что блестит. Отражать? Показать? Уж не нас ли?

Нас! Нас!

Все ерзали, вертелись, вскакивали. Вспышки, блеск, слепящие, пляшущие лучи. А-а, старый Барт... попался. А-а, Манреза. Чей-то нос... Чья-то юбка... Брюки сами по себе... Лицо, кажется... Мы сами? Но это грубо. Выхватить, выдернуть, не дав времени себя привести... И главное, вот так, частями... Вот что особенно обидно, досадно и ужасно несправедливо.

Мерцая, играя, сверкая, зеркала клонились, качались, ловили, изобличали. В задних рядах вставали, чтоб получить свое удовольствие. И, тут же попавшись, плюхались на место. Какой кошмар — когда тебя вдруг выставляют на всеобщее обозрение! Даже для стариков, которым давно бы пора, кажется, наплевать на свою наружность... И — силы небесные! Этот блеск, плеск, треск, шум и гам! Коровы и те включились. Обнаглев, они дико хлестали хвостами и, нарушая скромность природы, преступали барьеры, отъединяющие Человека, Хозяина — от Твари. Ой, и собаки туда же. Шум, гам, тарарам, вот они и заявились! Поглядите на них! А этот, афганский-то пес... ой, поглядите на него!

И тут опять, когда стало твориться совсем уже черт-те что, смотрите-ка, по знаку мисс Как-бишь-ее-там, за березой, — или это сами они рванули — из-за кустов явились Королева Бесс; Королева Анна; и та девушка с Мэлла; и Век Разума; и Бадж-полисмен. Все явились. И паломники. И влюбленные. И напольные часы. И старик с бородой. Все-все-все. И мало им этого — каждый произносил отрывок из своей роли... *Боюсь, я не совсем в своем уме* (кто-то говорил)... Кто-то еще: *Я Разум... А я– Старый цилиндр... Мотивчик песни путевой, "Ах за рекою, за горой"*[3]. *Домой, домой. До-*

1. "Стриж, обитатель храмовых карнизов". См. Шекспир. Макбет. Акт 1, сц. 4. (перев. Ю. Корнеева).
2. Перефразирована первая строка, давшая название стихотворению Алфреда Теннисона (1809–1892) "Цветок на обветшалой стене".
3. Роберт Луис Стивенсон. Путевая песня (перев. В. Рогова).

мой? Где мается бедняк и где шутя живется богачу...[1] *Была бы воля, путь найдется... Я предлагаю вам руку и сердце... Задумчив и один спешу я к роще той...*[2] *Быть бы мне бабочкой... быть бы мне бабочкой... Откуда ты, кинжал, возникший в воздухе передо мною...*[3] *Вот, папочка, твоя книга, ты почитай нам вслух... Где король? На троне...*

Это стенное зеркало оказалось почти неподъемным. На что уж мускулы у младшего Бонтропа, а больше он был не в состоянии дергать проклятую штуковину. Он и перестал. И остальные тоже — ручные зеркальца, банки, тазы, черепки, осколки и зеркала в витой серебряной оправе — все разом перестали прыгать. И зрители увидели самих себя, ну не целиком, конечно, но в спокойно-сидячих позах по крайней мере.

Стрелки часов отметили настоящий миг. Итак — сейчас. Мы сами.

Так вот она что задумала! Выставить на посмешище нас всех, как мы есть, здесь и сейчас! Все ерзали, ежились и вертелись; поднимали руки; возили ногами. Даже Барт, даже Люси отворачивались. Кто пригибался, кто прятал лицо в ладонях — кроме миссис Манреза, которая, глядя в это зеркало, использовала его как зеркало; вытащила пудреницу; прошлась по носу пуховкой; и поправила локон, потревоженный ветерком.

— Сногсшибательно! — крикнул старый Бартоломью. Единственная, она, не смущаясь, оставалась собой и, глазом не моргнув, на себя смотрела. И спокойно подводила губы.

Зеркалоносцы опустились на корточки; зловредно; наблюдательно; выжидательно; демонстративно.

"Попались", — хмыкали в задних рядах. "Неужто мы будем безответно терпеть это хамство?" — спрашивали в передних. Каждый отворачивался, якобы сообщить — что первое придет на язык — своему соседу. Каждый норовил уклониться чуть-чуть от испытующего, наглого взгляда. Кое-кто порывался уйти.

— Представленье окончено, я так понимаю, — сказал полковник Мэйхью, берясь за шляпу. — Давно пора...

Но прежде чем вызрело общее решение, прорезался голос. Чей — абсолютно неизвестно. Раздался из-за кустов — мегафонный, безымянный, гулкий и твердый голос. И он сказал:

Прежде чем нам расстаться, леди и джентльмены, прежде чем расходиться... (те, кто поднялся, сели) *давайте поговорим просто, прямо, без ужимок и уловок, без прикрас и выкрутас. Сломаем ритм, отбросим рифмы. Спокойно присмотримся к себе. Вот мы. Кто жирный. Кто худой.* (Зеркала это подтверждали.) *Обманщики по большей части. И воры.* (Зеркала воздерживались от комментариев.) *Бедняк ничем не лучше богача. А то и хуже. Не надо прятаться под рубищем. И хвастаться нарядом. Равно как чтеньем книг; или виртуозностью на фортепьяно; или владеньем кистью. И нечего ссылаться на невинность детских лет. Смотрите на овец. На верность любящих. Смотрите на собак. На добродетель тех, кто дожил до седых волос. Подумайте о тех, кто палит из пушек, кто бросает бомбы. Они совершают явно то, что мы творим втайне. Вот, предположим,* (тут мегафон вдруг перешел на будничный, интимный тон) *одноэтажка мистера М. Навеки испоганенный пейзаж. Это убийст-*

1. Ср.: Шекспир. Сонет 66 (перев. Б. Пастернака).
2. Томас Мур. Ирландские мелодии (перев. И. Козлова).
3. Шекспир. Макбет. Акт 2, сц. 1 (перев. Б. Пастернака).

во... Или помада миссис Е., кроваво-красные ногти... Тиран, возьмите это на заметку, наполовину раб. Или, предположим, тщеславие мистера Х., романиста, разгребающего горы дерьма ради грошовой популярности. Или любезная снисходительность, изысканные манеры богатой дамы из высшего общества. А она скупает акции на бирже и перепродает!.. О, все мы одним миром мазаны. Меня возьмите. Разве избегну собственного порицанья, взывая к вашему негодованью, сидя в кустах, среди листвы? То-то и оно, опять меня на рифмы повело, хоть и стремлюсь к их отрицанию и, нужно сделать вам признание, имею в некотором роде кой-какое образование. Взгляните на себя, леди и джентльмены! А потом на эту стену; и задайтесь вопросом, как эта стена, великая стена, которую, пусть ошибочно, мы именуем цивилизацией, может быть воздвигнута (зеркала опять задергались, запрыгали, засверкали, замигали) *такими ошметками, оскребышами, последышами, отрывками, обрывками, каковы мы с вами?*

Здесь, однако, я перехожу (ритма ради, прошу заметить) к более возвышенным материям – тут много чего можно сказать: о нашем кошколюбии; заметьте также в сегодняшней газете: "Горячо любим своей супругой"; и о том порыве, который толкает нас – когда никто не видит, прошу заметить, – к полночному окну, вдыхать душистый аромат горошка. Или о том, как прыщавый жалкий оборванец наотрез отказывается продавать свою душу. Такое водится. Не станем отрицать. Что? Вы не желаете рассматривать?.. Вам показывают только ошметки, обрывки, отрывки, вас дробят? А, тогда ладно, слушайте граммофон...

Но тут застопорило. Пластинки перемешались. Фокстрот, "Лаванда", "Родной, уютный дом", "Правь, Британия" – обливаясь потом, Джимми, приставленный к музыке, их отметал, выискивая подходящую – Баха, что ли, Генделя, Моцарта, Бетховена или вообще никого не знаменитого, просто народную песню? Все равно, слава тебе господи, хоть человеческую речь послушать, после блеянья проклятого громкоговорителя.

Как стекаются ртутные капли, как тянутся к магниту железные опилки, так собрало рассеянных. Началась музыка; первая нота влекла вторую; вторая третью. Но вот на глубине рождается противовес; еще, еще. На разной глубине проходит расслоенье. Из недр мелодии, из разных ее слоев, вперед выходим мы; кто поверху цветы сбирает; кто вглубь спускается, чтобы сразиться со смыслом; все включены; все на учете. Все, закатившиеся давным-давно за край души, восходят скопом; и хляби разверзаются; встает восход; горит лазурь; и какофония рождает меру; не только ход звука ее блюдет; нет, воины в плюмажах, прочь рвущиеся из цепкой хватки. Чтоб разойтись? Нет. Призванные с горизонтов дальних; отозванные от страшных пропастей земли; они схватились; слились; они соединятся.

Кто-то уже расслабил пальцы; кто-то расправил ноги.

Так значит, этот голос – мы? Последыши, обрывки, ошметки? Голос замер.

Как обнажает, отбежав, волна; как открывает туман, растаяв; так, подняв глаза (у миссис Манреза они были мокрые; на минутку слезы подпортили макияж), все увидели – как волна, отбежав, демонстрирует нищий стоптанный башмак, – что на ящик из-под мыла взбирается тишком господин в пасторской столе.

"Его преподобие Д. У. Стретфилд, – репортер послюнил карандаш и отметил, – затем сказал..."

Все на него уставились. Как он невыносимо все обузил, сжал, скукожил, на смех курам! Ничего глупей, чем священник в атрибутах своего служенья, сейчас произносящий резюме, даже себе представить невозможно! Он открыл рот. О Господи, пронеси, спаси и сохрани от лишних слов, нечистых слов! Да и чему нас сейчас поучать?

Как будто грач украдкой скакнул на заголившуюся ветку, он, оглаживая столу, хрипло гаркнул в качестве вступленья. Лишь один факт смягчал этот кошмар; привычно воздетый перст был желт от табака. Да он же очень даже ничего; его преподобие Д. У. Стретфилд; примелькавшийся предмет церковной утвари; угловой комод; резные вереи ворот, поколениями местных плотников возводимые к зарытому в пыли веков античному лекалу.

Он оглядел публику; потом воздел взор к небу. Всем, благородным и простым, стало неловко, за него, за себя. Стоит — глашатай, представитель; символ; мы сами; шмот, кус осмеянного зеркалами; коровы его знать не знают; тучи его осуждают, величаво потягиваясь в вышине и перекраивая небесный пейзаж; столб, свая, всаженная в тихое струенье летнего, молодого мира.

Первых слов (поднялся ветер; шелестели листья) никто не слышал. Потом он сказал: "Какой". К этому слову он пристегнул второе — "смысл"; и наконец-то родилась законченная фраза; не очень-то понятная; но слышная хотя бы. "Какой смысл, — он, что ли, спрашивал, — вкладывался в это представление?"

Все привычно сложили руки крышей, будто сидели в церкви.

— Я все спрашиваю себя, — завел он снова, — какая мысль, какая идея предложена нам этим представленьем?

Ну, если уж он не понимает, этот магистр и преподобие, так кто ж тогда поймет?

— Как один из зрителей, — он продолжал (наконец-то понятно заговорил), — я могу предложить мое скромное, ибо я не критик, — он коснулся белых шлюзных врат, замкнувших шею, желтым пальцем, — сужденье. Впрочем, и это смело сказано. Высокоталантливая леди... — Он пошарил глазами. Мисс Ла Троб не обнаружилась. — Говоря всего лишь как один из зрителей, признаюсь, я был озадачен. Для чего, спрашивал я себя, нам показали эти сцены? Со всей возможной краткостью, впрочем. В нашем распоряжении сегодня были весьма умеренные средства. Однако нам показали различные группы. Нам показали, если я не заблуждаюсь, непрестанные усилия. Мало избранных; многие остаются за бортом. Это нам, без сомненья, показали. Но вдобавок — разве не дали нам понять... но не чересчур ли я самонадеян? Нескромен? Не слишком ли много на себя беру? Но мне, по крайней мере, дали понять, что все мы связаны. И каждый — часть целого. Да, это мне открылось, покуда я сидел в рядах и смотрел вместе со всеми вами. Не прозреваю ли я в мистере Хардкасле (он на него указал) викинга былых времен? А в леди Карган — простите, если что напутал, — кентерберийскую паломницу? Нам отведены разные роли; но мы все — одно. Впрочем, оставляю вам решать. К тому же, пока шла пьеса, внимание мое бывало отвлекаемо. Быть может, это предусмотрено мыслью режиссера? Но я, мне представляется, постиг, что природа принимает во всем участие. И вправе ль мы, я спрашивал себя, сводить всю жизнь только к нам самим? Не лучше ли принять за данность, что существует дух, который объемлет, животворит, путеводит и проникает... (Над ним кружили ласточки. В знак подтвержденья? Потом умчались

прочь.) Решайте сами. Я здесь не для того, чтоб объяснять. Мне не отведена такая роль. Я говорю лишь как один из публики, один из вас. Я тоже был отражен — в собственном, кстати, зеркале... (Смех.) Последыши, ошметки и обрывки! Конечно, мы должны объединиться?

Но... ("но" помечало завершенье темы и переход к другой). Я говорю еще и в ином качестве. Как казначей. В каковом качестве (он сверился с бумажкой) я рад возможности вам доложить, что сумма в тридцать шесть фунтов десять шиллингов и восемь пенсов была собрана вследствие сегодняшнего праздника на предназначенную цель: освещение нашей любимой старой церкви.

"Аплодисменты", — рапортовал репортер.

Мистер Стретфилд помолчал. Послушал. Может, слышал дальнюю музыку?

И продолжал:

— Но недостает еще (он сверился с бумажкой) ста семидесяти пяти фунтов стерлингов. И каждый, кто наслаждался представлением, имеет еще воз... — Слово преломилось надвое. Грохот его рассек. Двенадцать аэропланов, в безупречном построенье, как стая диких уток, летели у них над головой. Вот она — музыка! Публика глаза открыла; публика разинула рты. Грохот стал рокотом. И пролетели аэропланы.

— ...можность, — продолжал мистер Стретфилд, — внести свою лепту. — Он подал знак. Тотчас в дело пошли кружки для сбора денег, ящички, коробки. Явились из-за укрытия зеркал. Гремела медь. Звенело серебро. Но тут — ах, право, как это досадно! — вылез Алберт-идиот, позвякивая своей копилкой — какой-то оловянной плошкой. Ну как ему, убогому, откажешь? Аж шиллинги бросали. Он хмыкал и гремел; болтал, хихикал. Когда миссис Паркер сделала свой взнос — полкроны, между прочим, — она воззвала к мистеру Стретфилду, чтоб он исторгнул это зло, воспользовавшись силой сана.

Добрый человек смотрел на идиота со снисхожденьем. Вера его, он давал даже понять, вмещает и этого Алберта. Он тоже, как бы говорил мистер Стретфилд, — часть нас самих. Но не такая часть, которую приятно признавать, — про себя добавила миссис Спрингет, бросая свой шестипенсовик.

Рассматривая идиота, мистер Стретфилд потерял нить; как бы утратил власть над словом. Теребил крест на часовой цепочке. Потом рука его потянулась к брючному карману. Тихонько извлекла маленькую серебряную коробочку. Всем стало ясно, что естественная потребность одолела человеческое естество. Тут слова бессильны.

— А теперь, — начал он опять, лелея на ладони зажигалку, — перехожу к приятнейшей части моего долга. Я предлагаю сообща поблагодарить одареннейшую леди...— Он озирался, выискивая объект, соотносимый с этим определеньем. Такового в поле зрения не оказалось. — Которая, кажется, пожелала остаться неизвестной. — Он помолчал. — Итак... — Он снова помолчал.

Трудный момент. Как завершить? Кого благодарить? Стали болезненно слышны все звуки; свист веток; глотки́ коров; даже лёт ласточек над самой травой — все стало слышно. Никто, однако, не говорил. Кого винить? Кого благодарить за развлеченье? Неужто некого?

И вот зашуршало за кустами; подготовительный, разгонный скрип. Игла скребла пластинку; ж-ж, ж-ж, ж-ж; потом, попав в бороздку, с раскатом, с трепетом, произвела — *Боже...* (все встали) *храни Короля.*

Публика стоя смотрела на артистов; те тоже стояли неподвижно — копилки не бренчат; припрятаны зеркала; застыли складки отыгравших роль костюмов.

Сильный и славный,
Царствуй над нами.
Боже, храни Короля.

И замерли ноты.

Конец? Артистам не хотелось уходить. Они мешкали; мялись. Баджполицейский болтал со старой королевой Бесс. Век Разума запанибрата шушукался с передней частью осла. И миссис Хардкасл разглаживала складки кринолина. И маленькая Англия, ребенок он и есть ребенок, сосала мятные леденцы из кулечка. И каждый все-таки доигрывал неконченную роль по воле своего костюма. Красота их окутывала. Красота их раскрывала. Может, это все свет? — дымный, томный, не пытливый, но проникающий свет вечера, который вскрывает глубину воды и даже пошло кирпичную одноэтажку одевает сияньем?

— Смотрите, — шептались в публике, — ой, смотрите, смотрите, смотрите, — и снова хлопали; и артисты складывали ладони и кланялись.

Старая миссис Линн Джонс, нашаривая сумочку, вздыхала:

— Какая жалость — им надо переодеваться?

Но пора была собираться и отправляться восвояси.

— Домой, джентльмены; домой, леди; пора собираться, — репортер присвистнул, схватывая резинкой свой блокнот.

Но миссис Паркер все стояла, не разгибаясь.

— Я тут, по-моему, перчатку уронила. Так не хочется вас беспокоить. Вот там, под стульями...

Граммофон заявлял в тонах, не терпящих возраженья, победно, хоть прощально: *нас разбросало; тех, кто шел гуртом. Но,* уверял граммофон, *надо, надо, давайте же беречь то, чем гармония нас одарила.*

Давайте, давайте — эхом откликалась публика (наклоняясь, нашаривая, высматривая) — держаться вместе. Ах, на миру и смерть красна.

И, оглянувшись, они видели — окна горят закатной позолотой; и бормотали: "домой, джентльмены; домой; дом, дом, родной, уютный...", но уходить не очень-то хотелось; быть может, сквозь позолоту проглядывала трещина в котле; дыра в ковре; и слышался, возможно, отзвук того, как ежедневно накрапывает по счетáм.

Нас разбросало, сообщил граммофон. И с ними на том простился. И, в последний раз потянувшись, каждый хватался за шляпу или, скажем, за пару замшевых перчаток, и в последний раз они хлопали Баджу и королеве Бесс; березам; белой дороге; Болниминстеру; Капризу. Окликали друг друга на ходу, но уже их разбросало и несло по аллеям, лужайкам, мимо дома к мощеному полукружью, где машины, мотоциклетки и велосипеды, столпившись, ждали их.

Знакомые на ходу окликали друг друга.

— По-моему, — кто-то говорил, — этой мисс Как-бишь-ее-там самой бы выйти, чем пастора утруждать... она же это сочинила... По-моему, умная — жуть... Ах, милая, по-моему, всё полный бред. А вы ухватили смысл? А вы сами — ухватили? Ну, он сказал — все мы играли роли... Но он же, если не ошибаюсь, сказал, что и природа тоже играла... А уж этот идиот... Да, и почему вооруженные силы не показаны, правильно мой муж гово-

рит, ведь это же история? И если единый дух все животворит, куда вы денете аэропланы?.. Нет, ну зачем так много требовать. В конце концов, какая-то сельская постановка... Я лично считаю, надо бы хозяевам сообща принести благодарность... Когда праздник был у нас, трава до осени не оправилась... Мы, правда, тенты ставили... А этот, Коббет из Коббс-корнер, — все призы на всех выставках отхватывает. Я лично этого не понимаю: призы за цветы или там за собак...

Нас разбросало, ликовал граммофон, и сетовал: *нас разбросало...*

– Ты учти, — рассуждали кумушки, — средства у них какие были? И как ты об эту пору народ на репетицию загонишь? Ведь сенокос у них, уж про киношку я молчу... Нет, что нам надо, так это центр какой-то, чтоб где-то нам встречаться... Слыхала, Бруки в Италию поехали, несмотря на все эти дела? Зря, ты так считаешь?.. Если случится самое плохое — ох, не дай бог, тьфу-тьфу, — сказали, наймут аэроплан... Я помирала со смеху, когда старый Стретфилд полез в карман... А мне даже нравится, когда человек ведет себя по-свойски, не пыжится, не то что вечно на ходулях... А эти голоса из-за кустов?.. Оракулы? Ты это про греков? Кажется, эти оракулы, я извиняюсь, предсказывали нашу веру? Что-что?.. На каучуковом ходу? Практично... Ноские, и для ноги полезно... Да, так я что хотела сказать — не могла бы христианская вера чуть приспосабливаться к обстановке? Хотя бы в такие времена... В Лартинге ни одна живая душа в церковь не ходит... У них собаки, у них киношка... И чудно́, наука, мне говорили, всё делает (ну, как это сказать?) духовней, что ли... А недавно что открыли? я слыхала — не бывает, оказывается, совсем уж твердых тел... Вот там из-за деревьев церковь видно, гляди...

— Миссис Амхелби! Ах, как я рада! Вы непременно должны с нами отобедать... Нет, увы, мы едем обратно в город. Сессия парламента... Я вот им рассказывала, Бруки поехали в Италию. Видели вулкан. Восхитительное зрелище, говорят — им повезло, — во время изверженья. Согласна — дела на континенте очень неважные. И что такое наш канал, только себе представьте, если они вздумают нас захватить? А эти аэропланы, уж я не хотела говорить, наводят на таки-и-ие мысли... Нет, по-моему, так себе, слишком пестро. И, скажем, этот идиот. Ну разве что она хотела показать скрытое, бессознательное, как это теперь модно? Но зачем во все совать секс... Ну конечно, в каком-то смысле, тут я согласна, все мы еще полные дикари. Эти особы с красными ногтями. И разодеты — ну что это такое? Нет, сидит еще в нас древний дикарь, сидит... А этот колокол. Бим-бом. Бим... Он же совсем надтреснутый и дряхлый, этот колокол. А зеркала! Нас отражать!.. Нет, вышло безобразие. Чувствуешь себя полной дурой, когда попадешься без предупрежденья... А вот и мистер Стретфилд, идет служить вечерню, надо думать. Поторопился бы, а то облачиться не успеет... Она хотела показать, что все мы играем роли, так он считает. Да, но в какой пьесе? Вот в чем вопрос! И если все мы так и будем задавать вопросы, пьеса провалится с треском, не правда ли? Нет, лично я, должна признаться, предпочитаю знать, когда хожу в театр, что поняла идею... Или она и хотела показать... Бим-бом... бим... что если мы не будем торопиться с выводами, если вы хорошенько подумаете и я подумаю, то когда-нибудь наши взгляды совпадут?

— А вот и милый мистер Карфакс... Хотите, мы вас подбросим, если вы не против, в тесноте да не в обиде? Мы вот все рассуждаем, мистер Карфакс, насчет этой пьесы. Зеркала, например, — они что? означают,

что отраженное — мечта; а музыка — Бах, Гендель, ну я не знаю — есть истина? Или наоборот?

— О господи, да что же это такое! Никто не может найти свой автомобиль! Вот почему я обезьянку вешаю... Но что-то я ее не вижу... Ну вот, пока мы ждем, вы мне скажите, когда дождь полил, вам тоже показалось, что кто-то плачет над нами? "Слезы, слезы, слезы". Есть стихи такие, там еще дальше... "неодолимый океан"... мм, нет, не помню.

— Только мистер Стретфилд сказал: единый дух все животворит — и тут эти аэропланы. Вот главный минус, когда играют под открытым небом... Конечно, если только это не входило в ее замысел... О господи, стояночка явно не ахти... Однако! Вот не ожидал увидеть такую бездну "роллсов"... "испано-суиза"... Тут тебе и... И "бентли"... Ого, и "форд" последней модели... Да, так возвращаясь к этому смыслу пьесы, — автомобили, они исчадья ада, или они привносят диссонанс... Бим-бом, бим... который нас и ведет к финалу... Бим-бом... Да вот же автомобиль с обезьянкой... Ну, давайте... И до свиданья, миссис Паркер... звоните нам. В следующий раз, когда мы будем тут, не забывайте... В следующий раз... В следующий раз...

Колеса шуршали по гравию. Автомобили разъезжались.

Граммофон проблеял: *Единство – Разъединенье.* Проблеял: *Ед... Раз...* – и смолк.

Маленький кружок, сошедшийся за ланчем, остался на террасе. Паломники тут вытоптали траву. Лужок придется тоже основательно убрать. Завтра будет разрываться телефон: я сумочку свою у вас не забыла?.. Очки в красном сафьяновом футляре?.. Брошка старая, кроме меня никому даром не нужна?.. Завтра будет разрываться телефон.

Сейчас мистер Оливер сказал:

— Ну, дражайшая, — и, взяв миссис Манреза за руку в перчатке, ее пожал, как будто говоря: "Вы мне подарили кое-что, а теперь вот отнимаете". Он бы подольше задержал в руке рубины и бриллианты, накопанные, говорят, хилым Ралфом Манреза в дни оборванства. Но увы! Закатный свет был с макияжем не в ладах; краски сделались как бы отдельными, как накладными. И он выпустил ее руку; и она ему задорно, лихо подмигнула, как будто говоря... конец фразы, однако, был отрезан. Потому что она повернулась, и подоспел Джайлз; и ветер, предугаданный сейсмологами, расколыхал ей юбку; и она стронулась с места и поплыла, как будто богиня плывет, победна и легка, сгребает пленников цветочной цепью и тянет за собою по воде.

Все уходили, все удалялись, все ушли; а он остался, и огонь выгорел дотла, только зола, зола, и нет жара, и нет жара в полене. Какое слово передаст сердечный перепад, кровоизлияние в сосудах, когда Манреза, уплывая в сопровожденье Джайлза, прелестнейшая женщина, пир чувств, вспорола старое чучело и опилки ливнем хлынули из его сердца?

Старик издал горлом какой-то странный звук и двинулся направо. Поковыляем, поплетемся — кончен бал. Он брел между берез, один. Вот тут, на этом самом месте, утром расстроил малыша. Выскочил с этой газетой; малыш заплакал.

Внизу, в лощине, у пруда с кувшинками, переодевались актеры. Он их видел сквозь растрепанную куманику. В штанах, жилетках; рассупонивались; застегивались; на четвереньках; пихали вещи в дешевенькие ранцы; серебряные мечи, рубины, бакенбарды валялись по траве. Мисс

Ла Троб в пиджаке и юбке, чересчур короткой при таких-то ногах бутылками — укрощала всхлест кринолина на ветру. Следует уважать условности. И он остановился у пруда. Вода была матовая над грязью.

Тут сзади подошла Люси, спросила:

— Может быть, надо ее поблагодарить? — и легонько его потрепала по плечу.

Какой нечуткой сделала ее эта религия! Запах ладана отшибает чутье, дым застит сердце. Витая в облаках, она не видит, какая драка идет в грязи. После того как викарий угробил эту Ла Троб своим докладом, как ее мяли и рвали по живому артисты...

— Ей наша благодарность не нужна, Люси, — сказал он хрипло. Все, что ей нужно, как вот карпу этому (что-то плеснуло в воде), — темнота и тина; виски с содовой и паб; и брань, которая, как вот личинки, уходит в воду. — Это уж артистов надо благодарить, не автора, — он сказал, — да и нас, зрителей.

Он глянул через плечо. Леди, исконную, доисторическую леди, в коляске увозил лакей. Провез под аркой. Теперь лужок пуст. Крыша плывет навстречу. Гребя трубами по вечерней сини. Снова он здесь — дом; дом, который отменили. Какое счастье, что все это кончилось к чертовой матери — вся эта суетня и толкотня, все эти перстни и румяна. Он нагнулся, поднял роняющий лепестки пион. И снова — одиночество. И здравый смысл, газета в круге лампы... Но где моя собака? В конуре, на цепи? На висках у него вздулись и задрожали жилки. Он свистнул. И, освобожденный Кэндишем, через лужок, с пеной в ноздрях, примчался его Зораб.

Люси смотрела и смотрела на пруд с кувшинками. "Все-все ушли, — она бормотала, — за ту листву". Рыба попряталась, вспугнутая колыханьем теней. Люси смотрела на воду. Рассеянно поглаживала крестик. Глаза блуждали по воде, выискивали рыбу. Кувшинки смыкались; белые, красные, каждая на своем лиственном блюде. Вверху струился воздух; внизу вода. И, стоя между двух этих текучестей, она поглаживала крестик. Вера требовала долгого стоянья на коленях ранней ранью. И часто взгляд, разгулявшись, ее смущал соблазном: вот тень, вот луч. Тот зубчатый листик фасоном напоминает Европу. Их здесь такая бездна. Она забегала глазами поверху, давая названья листьям — Индия, Африка, Америка. Острова покоя, лоснистые, густые.

— Барт... — она с ним заговорила. Хотела спросить насчет стрекоз... может эта синяя прелесть где-нибудь осесть, если ее прогнать оттуда, потом оттуда? Но он же в дом ушел.

Вот в воде кто-то всплыхнул плавниками. Любимый карасик. А вот и золотистый язь. Потом блеснуло серебро — великий карп, собственной персоной, а он так редко подплывает к поверхности. Скользят, среди водорослей, серебряные; красные; золотые; в крапинку; в полосочку; в яблоках.

— Мы сами, — она пробормотала. И, зачерпнув проблеск веры из серых вод, с надеждой, не слишком полагаясь на разум, провожала взглядом рыбок, красных, серебряных, в крапинку, в полосочку и в яблоках; и как-то такое прозревала красоту, силу и славу в нас самих.

У рыб есть вера, она считала. Они нам доверяют, потому что мы их никогда не станем удить. Брат ей на это отвечал: "Им просто кушать хочется". — "Но они такие красивые!" — она возмущалась. "Все это нужды пола", — он отрезал. "Но кто сделал пол отзывчивым на красоту?" — она

не сдавалась. Он только плечами пожимал. Кто? Зачем? Смолкнув, она оставалась при своем; что красота — добро; море, по которому мы все плывем. Надежное обыкновенно, хотя, конечно, любое судно может и протечь?

Так он и будет нести свой этот факел разума, покуда не загаснет во тьме сырой пещеры. Ну а она — каждое утро на коленях будет отстаивать свое. И каждый вечер отворять окно, смотреть на листья в потухающем небе. Потом спать, спать. Потом ее разбудят обрывки птичьих фраз.

Рыбки подплывали к поверхности. Что же им дать? Ничего нет, ни хлебной крошки. "Вы подождите, мои миленькие", — она к ним адресовалась. Надо сходить, попросить печенья у миссис Сэндс. Тут набежала тень. Рыбки мелькнули прочь. Ах, как досадно! Кто это? Боже ты мой, этот молодой человек, имя никак не вспомнить; не Джонс; не Ходж...

Додж решительно оставил миссис Манреза. Искал миссис Суизин по всему саду. И вот нашел; а она забыла его имя.

— Это я, Уильям, — он сказал. И тут она оживилась, как девушка в саду, вся в белом, среди роз, бежавшая к нему навстречу — не сыгранная роль.

— Я вот хотела за печеньем сбегать... нет, поблагодарить артистов. — Она запиналась, девически краснела. Тут был припомнен брат. — Мой брат, — добавила она, — говорит, что не нужно благодарить автора, мисс Ла Троб.

Вечно этот "мой брат... мой брат" лез из глубин кувшинкового пруда.

Ну а насчет артистов — Хэммонд уже снял усы и теперь застегивал пиджак. Вот цепочка от часов повисла среди пуговиц, и он ушел.

Осталась одна мисс Ла Троб и, наклонясь, что-то выискивала в траве.

— Представление окончено, — сказал Додж. — Артисты разошлись.

— Но нам не нужно, мой брат сказал, благодарить автора, — повторила миссис Суизин, кивая на мисс Ла Троб.

— Тогда я вас благодарю, — сказал он. Взял ее руку и пожал. В конце концов, едва ли им суждено еще когда-то свидеться.

Вечно эти церковные колокола запинаются, так что и не поймешь: будет еще нота? Айза, посреди лужка, вслушалась... Бим-бом, бим... Нет, дальше, кажется, не будет. Паства в сборе, на коленях, в церкви. Служба началась. Представленье кончилось; где была сцена, ласточки метут крыльями траву.

А вот и Додж, чтец по губам, ее подобье, заговорщик, искатель потаенных лиц. Поспешает за миссис Манреза, которая ушла вперед с Джайлзом — "отцом моих детей", она пробормотала. Да что же это такое! Вдруг плотский вал ее накрыл, и стало душно, тесно, темно в самой себе, как будто разом погасили свет. Чтоб залечить гнойник, распухший след отравленной стрелы, она высматривала то лицо, весь день его искала. Щурясь, жмурясь, за спинами, из-за плеч высматривала человека в сером. Он как-то на теннисе ей подал чашку; подал ракетку. И всё. Но, — кричало ее сердце, — встреться мы раньше, когда еще серебряным слитком, изогнутым посередине, не подпрыгнула та семга... встреться мы раньше, — кричало ее сердце. А когда ее сыночек пробивался в толпе в этом Сарае, "Будь он его сыном..." — она пробормотала... И на ходу отщипнула горький листок с куста, как раз под самой детской. С дикого ломоноса. Роняя зеленое крошево вместо слов, ибо слова там не росли, и розы тоже, скользнула мимо заговорщика, подобья, искателя потаен-

ных лиц, "как Венера, — наспех переводя, подумал он, — привязанная к своей жертве"...[1] и пошел за ней.

За поворотом был Джайлз во власти миссис Манреза. Она стояла у дверцы своего автомобиля. Джайлз занес белую туфлю на подножку. Почуяли они те стрелы, что в них вот-вот вонзятся?

— Валяй, Билл, залезай, — добродушно кинула Манреза.

И зашуршали колеса по гравию, и укатил автомобиль.

Наконец-то мисс Ла Троб смогла разогнуться. Долго она стояла так, чтобы никто не видел. Замерли колокола; зрители разошлись; актеры тоже. И можно распрямиться. И расправить плечи. И миру сказать: ты получил мой дар. Секунду она торжествовала. Но что она такое подарила? Облако, на горизонте тающее с другими вместе? Дарить — вот в чем радость. И завяла радость. Дар — никому не нужен. Ах, если бы до них дошла ее идея; если бы они понимали свои роли; если бы жемчуг был настоящий и побольше было выделено средств... — щедрее был бы дар. А теперь уйдет, растает, пропадет с другими.

— Провал, — она простонала и снова наклонилась, собирать пластинки.

И вдруг скворцы всей стаей атаковали ту березу, за которой стояла раньше мисс Ла Троб. Как будто закидали оперенными камнями. И вся береза задрожала, запела, от щебета, от звона, как будто каждый скворец щипнул струну. Береза гудела, свистала, щебетала, дрожала и чернела от птичьих тел. Береза стала рапсодией, дрожащей какофонией, и щебет, щебет, щебет, захлеб листвы, ветвей и птиц, наперебой, врасплев хвалящих жизнь-жизнь-жизнь-жизнь, без меры, без пощады ее терзали. И — рраз! Снялись! И улетели.

Что такое? Да старуха Чалмерс тащилась по траве с пучком цветов — гвоздик, конечно, — чтоб сунуть в вазу на мужней могиле. Зимой таскала остролист и плющ, а летом цветы. Она и вспугнула скворцов. И утащилась.

Мисс Ла Троб защелкнула замок и взгромоздила на плечо тяжелый чемодан с пластинками. Прошла через террасу, постояла под березой, где были скворцы. Вот тут она испытала триумф, отчаяние, восторг и униженье — все попусту. Где это всё? Только и осталось — впадина от каблука среди травы.

Темнело. Тучи не мутили небо, и потому синь стала еще синей и зелень зеленей. Не стало никакого вида — ни Капризa, ни шпиля Болниминстерского собора. Поле, просто поле, и всё. Она опустила чемодан и стояла, смотрела на это поле. И что-то всплывало на поверхность.

— Я их поставлю, — она пробормотала, — вот тут.

И будет полночь; и двое, почти скрытые скалой. Поднимется занавес. Какие будут первые слова? Но слова убегали, прятались за край сознанья.

Снова она взвалила на плечо тяжелый чемодан. И пошла напролом через лужок. Дом отдыхал; нить дыма загустевала над деревьями. И странно было, что земля, пожары роз и лилий, и безымянная белая кипень, и эти зеленые костры кустов — все остается твердым. И будто зеленые воды вскипают над землей, вот-вот тебя накроют. И она отчалила...

1. Додж кое-как переводит Расина (Федра. Акт 1, сц. 3).

и пустилась прочь от этих берегов, и, подняв руку, нашарила щеколду железной двери.

Теперь — закинуть чемодан к кухонному окну, уйти в кабак. После того скандала с актрисулькой, которая делила с ней ее постель и кошелек, все чаще хочется напиться. И все страшней торчать в своих стенах, одной. Ведь так недолго и нарушить какой-то их закон? Трезвости? Целомудрия? Или присвоить что-то не вполне свое?

На углу она наткнулась на старую миссис Чалмерс, плетущуюся с мужней могилы. Старуха уперла взгляд в мертвые цветы в своей охапке и по-хамски отворотила нос. Женщины из одноэтажек с красными гераньками вечно так себя ведут. Она — изгой. Самой природой отринутая от себе подобных. Хоть и накорябала на полях рукописи: "Я раба своей публики".

Закинула чемодан в кухонное окно и шла, пока не завидела на углу красную занавеску в окошке паба. Там кров; чужие голоса; и забытье. Взялась за ручку двери. Кислый дух стоялого пива кинулся навстречу; и гомон голосов. И сразу они смолкли. Конечно, говорили про Командиршу, как они ее прозвали, — ах, плевать, плевать. Она взяла стул, села, сквозь дым разглядывая грубую мазню по стеклу — корова в хлеву; и петух, и курица. Потом поднесла стакан к губам. И стала пить. И слушать. Сор слов тонул в грязи. Ее клонило в сон; она клевала носом. Из грязи рождалось что-то. Слова всходили над не в подъем груженным немым волом, месящим грязь. Слова без смысла — дивные слова.

Тикали дешевые часы; дым застил картинки. Дым оседал на нёбе. Дым делал еще темней бурые куртки. Она их никого уже не видела, но все-таки они ей помогали, пока она сидела, растопырив руки и глядя в свой стакан. И вставало: полночь, горы; скала; две еле различимые фигуры. Вдруг на березу брызнули скворцы. Она поставила стакан. Она расслышала те, первые слова.

В низине, в Пойнз-Холле, убирали со стола в столовой. Кэндиш витой щеточкой смел крошки; собрал лепестки и наконец оставил семью за ужином. Представленье кончилось, чужие разошлись, и вот они одни — семья.

А пьеса все парила в небе сознанья — то близкая, то дальняя, но все же она была тут как тут. Макая малину в сахар, миссис Суизин смотрела пьесу. Потом сказала, отправляя в рот ягоду:

— Но что все это означало? — и прибавила: — Эти крестьяне; рыцари; этот идиот (проглотила свою малинину); и мы сами?

Все тоже смотрели пьесу; Айза; Джайлз и мистер Оливер. Каждый, разумеется, видел что-то свое. Еще минутка, и она исчезнет за горизонтом, растает, как все другие пьесы. Мистер Оливер, на отлете держа сигару, сказал:

— Слишком замах большой, — и, поднеся к сигаре спичку, добавил: — Учитывая жалкие средства.

Уже она уплывала, сливалась с другими облаками; таяла. И Айза видела сквозь дым не пьесу, но разбредающихся зрителей. Кто уезжал в автомобиле; кто на велосипеде. Качались распахнутые ворота. Один автомобиль несся на розовую виллу в полях. Низко наклонные кусты акации метут там крышу. Акация роняет лепестки на подъезжающий автомобиль.

— Эти зеркала и голоса в кустах, — сказала она. — Смысл? Какой смысл?

— Мистер Стретфилд попросил ее объяснить, а она не стала, — сказала миссис Суизин.

Тут, в разделенной на четыре кожуре, Джайлз поднес жене поблескивающий голым конусом банан. Она его отвергла. Он ткнул спичку в блюдце. Спичка погасла, фукнув в малиновом соке.

— Мы должны быть благодарны, — сказала миссис Суизин, складывая салфетку, — за погоду, она была чудная, только чуть покрапало.

И она встала, и Айза пошла за ней по коридору в гостиную.

Здесь никогда не опускали шторы, пока не делалась такая темь, что ничего не видно, и окна не затворяли, пока слишком холодно не становилось. Зачем гнать день, когда он еще тут стоит? Цветы сияют; птички щебечут. Вечером даже больше разглядишь — ничто не мешает, не надо рыбу заказывать, отвечать на телефонные звонки. Миссис Суизин остановилась у большой картины — Венеция, школы Каналетто[1]. И кто там прячется за балдахином этой гондолы — женщина под вуалью; или мужчина?

Айза смахнула со стола свое шитье и плюхнулась, поджав под себя ноги, в кресло у окна. Из раковины гостиной стала смотреть на летний смеркающийся мир. Люси, возвратившись из своего путешествия в Венецию, стояла и молчала. В стеклышках очков, разбившись надвое, горел один закат. Сверкнула серебром черная шаль. Вдруг, на миг, она стала трагической фигурой из совсем другой какой-то пьесы.

Потом заговорила своим обычным голосом.

— В этом году нам больше удалось сделать, чем в прошлом, — она сказала. — Но в прошлом году ведь дождь был.

— На этот год, в прошлом году, когда-то, никогда... — бормотнула Айза. Солнце грело ей руку на подоконнике. Миссис Суизин убрала вязанье со стола.

— А ты, ты тоже так чувствовала, — она спросила, — вот когда он говорил: мы играем разные роли, но мы все одно?

— Да, — сказала Айза. — Нет, — она прибавила. Действительно. Да, нет. Да, да, да, да — шуршало ласковое море. Нет, нет, нет — перечило оно. И старый башмак уже был виден на гальке.

— Последыши, обрывки и ошметки, — припомнила она из уже погасшей пьесы.

Люси было открыла рот, чтоб возразить, и нежно погладила свой крестик, но тут вошли мужчины. Она, как обычно, что-то щебетнула в знак привета. И подобрала ноги — чтоб место освободить. На самом деле места с лихвой хватало, и стояли большие кресла в чехлах.

И они уселись, облагороженные закатным светом оба. Оба переоделись. На Джайлзе был теперь черный пиджак и белый галстук (знак интеллигентного труда), что требовало — Айза опустила глаза на его ноги — лакированных туфель. "Наши представители, наши выразители", — хмыкнула она про себя. И все же — как он хорош собой. "Отец моих детей, и я его люблю, я его ненавижу". Рвут душу пополам — любовь, ненависть! Ей-богу, пора бы уж кому-то взяться за новый сюжет, или чтоб из-за кустов явился автор, что ли...

Явился Кэндиш. Принес вторую почту на серебряном подносе. Письма; счета; и утренняя газета — газета, отменившая вчерашний день.

1. Джованни Антонио Каналетто (1697–1768) — итальянский художник, писал перспективные виды Венеции, ее каналов и дворцов.

Как рыба всплывает на поверхность за ломтиком печенья, так Бартоломью схватил газету. Джайлз вскрыл конверт — что-то явно деловое. Люси впилась в каракули старой приятельницы из Скарборо. У Айзы были одни счета.

Обычные шумы прохаживались по дому; Сэндс разводила огонь; Кэндиш разогревал котел. Айза просмотрела счета. Сидела в раковине гостиной, смотрела, как гаснет праздник. Цветы вспыхивали, перед тем как погаснуть. Она смотрела на эти вспышки.

Похрустывала газета. Подрагивала минутная стрелка. Мистеру Далядье удалось удержать франк. Девица резвилась с кавалеристами. Она кричала. Она его ударила... Ну и что?

Когда Айза снова взглянула на цветы, они погасли.

Бартоломью щелкнул выключателем настольной лампы. Озарился кружок читателей над белыми листами. Здесь, во впадине солнцем прожаренного поля, стрекоза, и муравей, и жук катили сквозь лоснистую стерню сухие катышки земли, объединив усилья. Здесь, в розовом уголке солнцем прожаренного поля, Бартоломью, Джайлз и Люси отламывали, подчищали, поклевывали крошки. Айза за ними наблюдала.

И упала газета.

— Кончил? — спросил Джайлз, забирая газету у отца.

Старик ее выпустил. Он нежился. Одна рука, лаская пса, сбирала кожу складками, напускала на ошейник.

Тикали часы. Дом поскрипывал, как будто он совсем уж хлипкий, совсем сухой. Руке Айзы вдруг стало холодно на подоконнике. Тени перечеркнули, отменили сад. Розы ушли на ночь, ушли спать.

Миссис Суизин, складывая письмо, шепнула Айзе:

— Я заглянула, детки спят так сладко под бумажными розами.

— Оставшимися с коронации, — бормотнул Бартоломью, почти со сна.

— И не стоило беспокоиться насчет этих декораций, — прибавила Люси. — В этом году не было дождя.

— На этот год, в прошлом году, когда-то, никогда, — промурлыкала Айза.

— Куколка, балетница, воображала, сплетница, — эхом отозвался Бартоломью. Он говорил во сне.

Люси сунула письмо в конверт. Пора, пора и почитать свои "Очерки истории". Но где же это место? Пролистнула, разглядывая картинки, — мамонты, мастодонты, доисторические птицы. А, вот страница, на которой она остановилась.

Тьма густела. Сквознячок прогуливался по гостиной. Миссис Суизин передернулась и поплотней закуталась в свою шаль с блестками. Так ушла в историю, что лень было попросить, чтоб затворили окна. "Англия, — она читала, — была тогда болотом. Дремучие леса покрывали землю. Наверху, на спутанных ветвях, пели птицы..."

В большом квадрате открытого окна теперь стояло одно сплошное небо. Линялое, холодное, пустое. Падали тени. Тени всползали по высокому лбу Бартоломью, по орлиному носу. Он стал опавшим, призрачным, и монументальным стало кресло. Как дергает собака кожей, так дергалось у него лицо. Потом он встал, встряхнулся, уставился в пустоту и удалился из гостиной. И тотчас стало слышно, как собачьи лапы мягко шлепают за ним следом по ковру.

Люси перевернула страницу, быстро, виновато, как ребенок, которому сейчас объявят, что надо идти спать, а не дочитана глава.

"Доисторический человек, — она читала, — получеловек, полуобезьяна, мог вставать с четверенек и поднимать большие камни".

Сунула письмо из Скарборо между страниц, помечая конец главы, встала, улыбнулась и молча, на цыпочках вышла из гостиной.

Старики ушли наверх, спать. Джайлз скомкал газету, выключил свет. В первый раз за целый день они остались наедине, и они молчали. Наедине ненависть стала голой; и любовь. Прежде чем спать, они должны схватиться; после схватки они обнимут друг друга. В этих объятиях, может быть, родится другая жизнь. Но сперва они должны схватиться, как схватываются лисица с лисом, на поле ночи, в сердце тьмы.

Айза уронила шитье. Стали огромными большие кресла в чехлах. И Джайлз. И Айза тоже — против окна. В окне стояло одно сплошное небо, и оно погасло. Дом потерял свое прикрытье. Ночь была уже тогда, когда не пролагали дорог, не строили домов. На ту же ночь смотрел пещерный человек с какой-нибудь скалистой высоты.

Потом поднялся занавес. Они заговорили.

Аманда Лир
Дали глазами Аманды

Главы из книги

Перевод с французского О. Захаровой

С'Агаро – будущий музей Дали – кролик Галы – мой святой Себастьян

"Менины" Веласкеса обрушили на меня целую лавину поразительной информации. Что касается духа полотна, то оно невероятно точно передает определенную эпоху, именно поэтому я склоняю перед ним голову. Люди, изображенные там, с удивительной искренностью рассказывают о себе: когда я стою перед картиной, меня не отпускает впечатление, будто я знаю о них все – вплоть до запаха, который царит в доме Инфанты. А еще Веласкес обучил меня искусству света, отражений и зеркал лучше, чем целые тома ученых трактатов. Это неиссякаемый кладезь точных сведений и правил, как делать расчеты.

Дали

Первая зима в нашем лондонском доме прошла без проблем. Мы отлично понимали друг друга, никто не прикасался к наркотикам, каждый вносил свой вклад в оплату жилья и поддержание порядка. Дали часто звонил мне из Нью-Йорка. Поскольку он никак не мог понять, что такое часовые пояса и как с ними связана разница во времени, его звонки раздавались когда угодно. Случалось, к телефону подходила Пэт. И с насмешкой передавала мне трубку: "Your fascist friend called"[1].

На моих приятелей, хоть они и слыли "революционерами", произвели впечатление рассказы о моих светских похождениях, и они гордились тем, что знакомы с "лучшей подругой Дали". Я часто виделась с Пенелопой Три, которая жила с фотографом Дэвидом Бэйли. Обитали они в северной части Лондона, неподалеку от Примроуз-хилл. Считалось,

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 5, 2004 г.

1. Звонил твой приятель-фашист (*англ.*).

что это излюбленное место летающих тарелок, но мне так ни разу и не посчастливилось увидеть хотя бы одну.

Впрочем, в тот момент меня занимали совсем другие проблемы. И прежде всего мое финансовое положение. Оказавшись на мели, я продала меховую шубку, подаренную Дирингом в пору нашей совместной жизни в "Дельмонико". Я получила предложение играть в авангардной пьесе американца Майкла Макклура. Ее ставили в пабе, в северной части Лондона. Он назывался "King's Head" ("Королевская голова"). В отличие от традиций французских театральных кафе, где представления шли вечером, наш спектакль играли в обеденный час. Я была ангажирована за смехотворный гонорар, а партнером моим оказался бывший певец Пи Джей Проуби, уже переживший свой звездный час. Он пьянствовал, являлся на спектакль не проспавшись, но главное — так и не выучил своей роли. Я суфлировала ему, подсказывая реплики, он не слышал, и посетители, сидевшие за ближними столиками, хором повторяли их следом за мной — получался неожиданный комический эффект. Продолжалось это целую неделю, затем Проуби заменили на Джонатана Крамера, тоже американца, но талантливого и забавного. Мы с ним очень подружились. Джонатан играл в "Волосах", как и Пол Джабара, с которым он меня познакомил. (Тот самый, который позже писал шлягеры для Донны Саммер.) Оба отличались незаурядным дарованием и были слегка не в себе. Пол, которому не продлили разрешение на работу, недолго думая, словно какая-нибудь суфражистка, приковал себя цепью к решетке резиденции премьер-министра!

Вскоре наши спектакли прервались, так что в актерской карьере я не преуспела — зато приобрела симпатичных друзей. Мы часто ходили в синематеку "National Film Theater". В те времена там устраивали вечера Мей Уэст и музыкальных комедий. Мы вываливались оттуда в шесть утра, успев просмотреть семь-восемь фильмов подряд и едва держась на ногах от усталости. Вот так я получила кинематографическое образование, которым потом удивляла знакомых.

Если во Франции движение хиппи все еще было на подъеме, в Англии складывалась совсем иная ситуация. Против нескольких журналов андеграунда (в том числе "Oz") были начаты судебные процессы — за нарушение правил общественной морали. Индия и психоделика все меньше и меньше влияли на музыку. Мы становились более интеллектуальными. Например, в нашем доме частенько бывали лидер феминистского движения Жермена Гриэр (автор книги "Женщина-евнух"), знаменитый манекенщик 60-х годов Джин Шримптон, который стал заниматься антиквариатом, кинематографист Пол Морриси, писатель Нед Шеррин и многие музыканты.

Я была дома одна, когда к нам неожиданно заявился Джимми Хендрикс — всклокоченные патлы и гитара в руках; его направила сюда одна из нью-йоркских подружек Пэт. Он пытался спастись от фанатов и попросил у нас приюта. Я приняла Джимми как можно радушнее, долго говорила с ним о Брайане Джонсе, его близком друге, и устроила в одной из наших комнат, где он прожил несколько дней. Единственная проблема, какую он нам создал, заключалась в его поклонницах (почему-то они все были белобрысыми): девицы оккупировали ванную комнату, и от них никак не удавалось избавиться.

Джимми, как и многие музыканты, стал жертвой наркотиков, он умер вскоре после того, как покинул наш дом.

А для нас жизнь продолжалась. Получив водительские права, я по случаю купила подержанный, латаный-перелатаный мини-автомобиль. Малютка был небесно-голубого цвета, который ему недолго суждено было сохранять. В один прекрасный день я неосторожно открыла дверцу со стороны дороги с оживленным движением, и ее сорвало проносившейся мимо машиной. На замену мне удалось найти лишь белую! Что не мешало славной старенькой крошке служить нам верой и правдой. Вечерами мы набивались в нее как сельди в бочку и отправлялись потанцевать в новомодную дискотеку "Трампс". Там Мик Джаггер волочился за Бьянкой, там появлялись сестры Коллинз, Джоан и Джеки, а еще Питер Селлерс и модели Осси Кларка. В то время я работала почти исключительно с этим молодым кутюрье, баловнем лондонского бомонда. В его магазине "Рэднор Уок" всегда было полно покупателей. Он был тесно связан с Дэвидом Хокни, который как раз тогда начал мелькать на страницах газет и журналов и часто рисовал для него.

Другим забавным магазином на Кингз-роуд был "Мистер Фридом". Там продавали одежду с изображениями Микки-Мауса и других детских героев, поп-аксессуары и современную мебель ярких цветов. Вот в одной из таких футболок, украшенной Нодди, маленьким домовым со звездочкой на лбу, я и высадилась в июле в аэропорту Жероны. Дали приехал меня встречать. Сам он никогда не летал на самолетах, но от души забавлялся, наблюдая суетливую жизнь аэропорта, а прибывающие туристы беззастенчиво показывали на него пальцем. Он сразу обратил внимание на мою футболку и поинтересовался:

— Это кто такой? Он очень идет к вашему cascaballet, к вашему бубенчику. — Потом добавил: — Я приехал сюда за вами, потому что хочу отвезти вас в С'Агаро. Мы поедем искать орла.

Этот морской курорт располагался в пятидесяти километрах от Жероны и был местом куда более туристическим, чем Кадакес. Дали забронировал номер в роскошной и модной гостинице "Осталь де ла Габина". Мэтр загорел, на нем была красивая куртка из набивного бархата, привезенная из Нью-Йорка.

— У меня потрясающий новый портной, он подарил мне кучу забавных жакетов. Один — из шкуры жирафа, вот увидите! Вы не находите, что я помолодел?

Выглядел он и вправду прекрасно.

— Я теперь в третьем измерении! И обнаружил просто невероятные вещи. Вот увидите! Я собираюсь написать божественный портрет Галы́. Самый дорогой на свете!

В гостинице у Дали была комната в наполеоновском стиле, с императорским орлом над кроватью, а из окна моего номера открывался великолепный вид на море и романтическую колоннаду.

— Сегодня вечером я поведу вас на танцы! — объявил мэтр.

Чтобы уговорить его присутствовать на открытии дискотеки, ему пообещали, что заедут за ним на старом "роллсе" с откидным верхом. К таким автомобилям Дали питал слабость, а вот дискотеки обычно наводили на него скуку. Чтобы все выглядело более стильно, шоферу приклеили пышные усы по моде начала века.

Нас принимали с большим почетом и много фотографировали, но Дали все равно не терпелось поскорее уйти. Когда мы наконец покинули дискотеку, за нами увязался один из фотографов, Дали по-каталански поинтересовался, как его имя. Оказалось, что Сабатер, и Дали попросил

Сабатера привезти снимки в Кадакес. Нам ведь редко удавалось получать свои фотографии — к великому огорчению Дали, который обожал их собирать. А вот Гала, как только видела себя на фотографии, тщательно вырезала ножницами собственное лицо, потому что с некоторых пор находила себя слишком безобразной.

На следующий день Дали должны были доставить гигантского орла из папье-маше — традиционный и непременный атрибут, наряду с огромными портретами испанских королей, ежегодного шествия во время местного праздника. Дали намеревался поместить орла в свой музей в Фигерасе.

— Работы уже начались, это будет божественно! Сами увидите!

Назавтра действительно прибыл орел. Внутри у него мог уместиться человек в полный рост, а на груди у птицы была проделана небольшая дыра для лица. Нас сфотографировали на фоне громоздкого подарка. На следующий день я увидела снимок в газете и нашла, что выгляжу не слишком привлекательно, так что мне даже захотелось эту газету немедленно разорвать.

— Ни за что! Нечего подражать Гале! — воскликнул Дали. Потом, внимательно изучив фотографию, добавил: — Должно быть, вам следовало бы носить другие туфли. В этих у вас слишком большие ноги.

— Беда в том, что у меня и на самом деле большие ноги. У всех манекенщиц большие ноги, вам ли этого не знать!

— Я видел ноги Верушки, они намного больше ваших, — согласился он. — Она даже делала какую-то операцию, чтобы чуть-чуть их уменьшить. А вот у Эли Магро, помнится, были восхитительные ступни — беленькие и узкие... Знаете, мне все-таки очень нравятся ваши ступни, они такие аристократичные: второй палец длинней первого, как у греческих статуй. Позвольте, я поцелую ваши ножки. Вы не можете мне отказать... Уверен, что никогда ни один гений не воздавал вам таких почестей.

И вправду, ни один из моих любовников никогда не целовал мне ноги. И все же я отнеслась к этому скорее как к проявлению фетишизма, а не как к доказательству любви. Я вспомнила "Дневник служанки" Бунюэля.

Дали опустился передо мной на колени, страстно облобызал мою правую ступню, потом левую. Я в смущении наблюдала за ним. Он очень тяжело дышал. Потом поднялся и, переведя дух, признался:

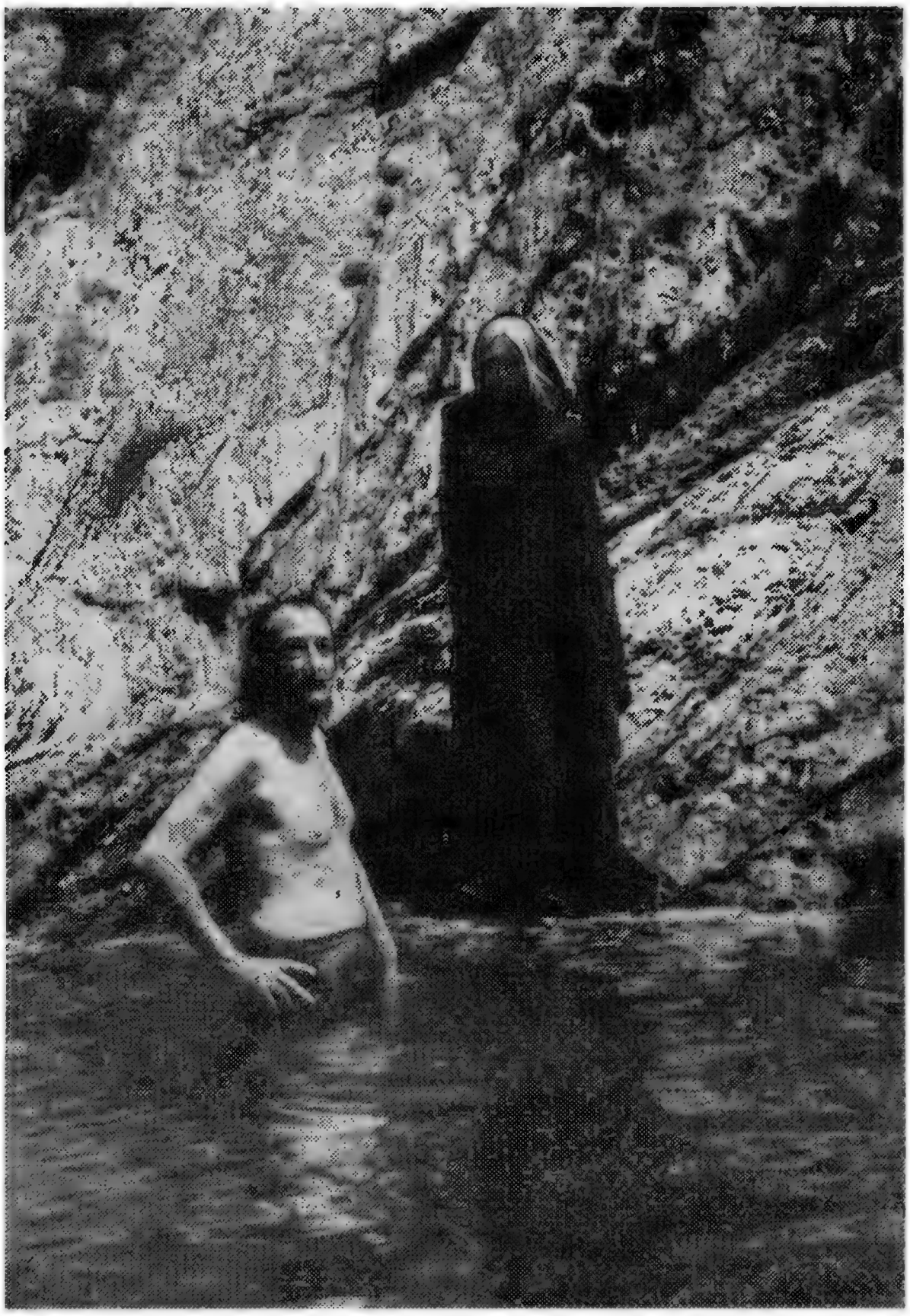
— Такие вещи всегда ужасно меня волнуют — что-то происходит вот здесь, — и показал место под самым горлом.

Я призналась, что была одновременно и растрогана, и смущена, видя его у своих ног.

— Я люблю вас, — каким-то охрипшим голосом произнес он. — Это настоящая страсть. Я люблю вас все больше и больше.

Покинув С'Агаро, мы прибыли в Фигерас. Прежде чем поужинать "У Дурана", мы спустились на *ramblas*, они показались мне куда скромнее барселонских, однако здешние лавочки и кафе были отнюдь не лишены шарма. Дали поздоровался с фотографом Мели (его журнал назывался "Мели колор"), потом остановился у прилавка книготорговца, беззубого пожилого господина в больших очках с толстыми стеклами, который вечно смеялся. У него можно было купить самые любимые мои испанские журналы: "Лектурас", "Гарбо", "Диес минутос", "Синеграмма", "Семана"... Да и вообще, найти что угодно!

— Нет, вы только посмотрите! — обратился ко мне Дали. — Сколько журналов он каждую неделю выкладывает на прилавок! В Америке, там



Купание у мыса Креус

ведь кроме "Таймс" да "Ньюсуик" ничего не увидешь. А здесь, пожалуйста! Желаете узнать про женитьбу Онассиса? С кем живет Брижит Бардо? Что там поделывает Софи Лорен? Покупайте журналы, и вы будете в курсе всех новостей. "Spain is different"[1] – как гласит реклама, – добавил он.

Мы прошли мимо памятника Нарсисо Монтуриолю, изобретателю подводной лодки, уроженцу Фигераса, потом двинулись мимо лавочек, где торговали эспадрильями – холщовыми туфлями на веревочной подошве, но все они были не больше тридцать шестого размера. Наконец Дали показал мне старый городской театр.

– Вот здесь и будет мой музей, – гордо сообщил он.

Театр был разрушен во время войны, целым остался один только фасад. За фасадом лежали руины да кучи строительного мусора, хотя еще можно было распознать место, где некогда возвышалась сцена.

– Внутри я хотел бы оставить вот такие каменные стены, – пояснил Дали. – Это так красиво... А над сценой возвести прозрачный геодезический купол. Он будет выглядеть грандиозно!

Не хватало лишь одобрения генерала Франко. Если верить Дали, ждать оставалось пару недель, не больше – и можно приступать к работе. Вот тут будет большая статуя, там черная-пречерная комната, фасад украсят небольшие гипсовые копии античных скульптур.

– А Капитан-то наш каков! Хитрец уже успел купить дом по соседству, чтобы открыть там магазин и продавать плакаты, афиши и литографии. А Дуран, тот собирается открыть закусочную – оршад, сандвичи и так далее.

Само собой разумеется, музей Дали не мог стать обычным музеем, похожим на все другие.

1. Испания – другая (*англ.*).

— Я хочу, чтобы люди в нем развлекались, — говорил он, — чтобы дети не скучали, как в Лувре. Нужно придумать что-нибудь новое, какие-нибудь магические фокусы. Я хочу создать настоящий Далиленд!

Ужинали мы в ресторане сеньора Дурана, в отдельном, не доступном для туристов зале, который украшали бочки с ратафией, хересом и прочими винами. Дали заказал отбивную котлету, а я курицу с чесноком. В качестве закуски нам предложили ранние дыни.

— Сорок карат? — осведомился Дали.

— О чем разговор! — успокоил его Дуран.

Дали не переставал мечтать о своем музее. Надо было все устроить так, чтобы туда стремился попасть каждый турист, приезжающий в Испанию. Никто не должен избежать *кретинизации*, которой Дали задумал подвергать посетителей.

После ужина он предложил мне отправиться в кино, хотя обычно в кинотеатры не ходил.

— Здесь все не так, как в Париже, это совсем маленький кинотеатр — кинотеатр моего детства. Мне хочется возродить в памяти — и чтобы вы были рядом — те воскресные послеполуденные сеансы, на которые я водил местных девушек. Мы смотрели звуковые фильмы.

Обнаружилось, что кинотеатров в городе два. В одном показывали "Лев зимой" с Кэтрин Хепбёрн, в другом — научно-фантастический фильм про динозавров и доисторических чудовищ. Дали без колебаний выбрал динозавров.

— Кэтрин Хепбёрн тоже динозавр, но из тех, что совсем не в моем вкусе. Она все время мотает головой, словно говорит "нет". Болезнь Паркинсона!

Фильм, естественно, оказался совершенно неинтересным, к тому же мне пришлось заплатить за билеты, поскольку у Дали не было при себе денег. Тем не менее он от своей затеи удовольствие получил. Когда мы сидели в зале, он держал меня за руку и время от времени сжимал ее. Видно, изображал из себя Пруста... Мы ушли через полчаса после начала — настолько дебильным был фильм, зато Дали смог вновь ощутить отголосок юношеских чувств. Потом он расцеловал меня и поблагодарил со словами:

— Вы и представить себе не можете, что для меня все это значит: вы в Фигерасе, я веду вас в кинотеатр моего детства... Когда мама спрашивала меня: "Чего тебе хочется, сердце мое?", я всегда отвечал, что хочу пойти в кино.

До Кадакеса мы добрались очень поздно. Там я познакомилась с новой служанкой. Ее звали Маргерита. Она была брюнеткой, совсем молоденькой и куда улыбчивей Росы, которая уехала в Париж работать у Капитана.

— Роса ведь была совершенно несносной, — пояснил Дали. — Прятала мои игрушки и порнографические журналы, так что отыскать их никогда не удавалось.

Маргерита проводила меня до моего жилища, маленького домика, расположенного прямо напротив дома, недавно купленного Капитаном. На первом этаже были кухня и гостиная, на втором — прелестная спальня и ванная. Окна спальни смотрели прямо на дом Дали. Все было замечательно, лучше не придумаешь.

На следующее утро служанка принесла мне вместе с завтраком гравюру, вырванную из журнала "Иллюстрасьон", — портрет королевы Вик-

тории. Под портретом Дали написал крошечными буковками "The Queen" и поставил свою подпись. Что могла означать эта криптограмма? Выйдя из дома, я встретила пожилую даму в брюках, которая любезно со мной поздоровалась. Позже Дали пояснил, что эта *rateta* (мышка) – поэтесса, она живет здесь все лето, забившись в свою норку, чтобы спокойно писать. Я заглянула на кухню и поздоровалась с Пакитой. Та готовила паэлью.

Патио был залит солнцем, Дали поджидал меня в наброшенной поверх одежды длинной тунике, белой и прозрачной, голову его украшала каталонская красная *beretina*, похожая на фригийский колпак, только поменьше. Такие *beretinas* носили местные крестьяне. Дали встал, чтобы поздороваться, и поинтересовался, доставила ли мне служанка мою плетеную кошелку и все ли там цело. Дело в том, что в прошлом году я оставила здесь свою сумку с кое-какими вещами, которые явно не понадобились бы мне в Лондоне (крем от загара, эспадрильи, летние брюки, маленький транзистор).

– Вы поняли мое послание?

Я ответила, что пыталась его разгадать, но безуспешно. Дали объяснил, что речь идет о встрече, которую он имел с королевой Елизаветой во время ее визита во Францию. Королева проезжала тогда через Прованс, а Дали на автомобиле ехал из Парижа в Кадакес, делая, как всегда, остановку в "Усто де Боманьер" в долине Бо-де-Прованс. Королева приняла его в приватной обстановке – ни фотографов, ни посторонних. Ее сопровождали принц Филип и наследник престола Чарльз. Королева показала Дали картину, которую лорд Маунтбеттен подарил ей на коронацию. На этой картине Дали изобразил королевский герб, льва, единорога, ветки чертополоха – все это, разумеется, в сюрреалистической манере. Королева хранила полотно в своих апартаментах, и его никогда не фотографировали. Потом Дали пару минут поговорил с принцем Филипом и откланялся. Он был уверен, что ни при каких обстоятельствах непозволительно показывать спину Ее Королевскому Величеству, поэтому, покидая гостиную, пятился к двери и, естественно, натыкался на мебель. Принц Чарльз весело ухмылялся. Королева тоже с трудом сдерживала улыбку.

– Таким уж я уродился, как вам известно. Для меня титулы, аристократия – все это имеет колоссальное значение. Кстати, желание во мне могут пробудить разве что надменные герцогини!

Потом рассказал, как гостил у лорда Маунтбеттена. Самое сильное впечатление на него произвело большое количество безукоризненно отточенных карандашей, которыми явно никто и никогда не пользововался. А в Лондоне его разочаровало отсутствие террас при кафе. Ведь ему так нравилось часами сидеть и наблюдать за проходящими мимо людьми, придирчиво их разглядывать, воображать их жизнь... Этого ему в Лондоне очень не хватало. Что касается меня, то я всегда жалела, что на Кингз-роуд нет кафе "Флор" или "Кафе де ла пэ".

После обеда, когда мы сидели в патио, Дали поставил мне пластинку Сариты Монтьель[1]. Эта популярная певица очень ему нравилась, особенно когда пела традиционные мелодии вроде "La Violetera" или "El Relicario"[2]. Иногда он закрывал глаза и принимался отбивать такт ногами.

1. Сара Монтьель (р. 1928) – испанская актриса и певица; с 40-х годов живет в Мексике.
2. "Фиалка", "Медальон" (*исп.*).

– Вам бы следовало послушать их в исполнении той певицы, которая собственно и создала Сару Монтьель, Ракели Меллер.

В тот год Гала путешествовала по югу Испании. Дали уже много лет подряд непременно получал приглашение на Успение, 15 августа, присутствовать на Мистерии в Эльче. Туда должна была приехать и Гала.

Через несколько дней после моего появления в Кадакесе к Дали наведался его давний знакомый – каталонский писатель Жозеп Пла[1], которым мэтр всегда восхищался. Пла был старше Дали. Он, как и всякий каталонец, был наделен редким здравомыслием и практичностью. Пла привез Дали свою книгу, и они долго болтали. Жозеп Пла был совсем небольшого роста, слегка сутулый, с белыми руками и очень длинными ногтями – полная противоположность рукам Дали, сильным, загорелым, сплошь покрытым старческими коричневыми пятнышками, с короткими, частенько обломанными ногтями. Всякий раз, когда его ноготь за что-нибудь задевал, он говорил мне: "Это враг, обрежьте его вашими щипчиками". Пла, похожий на китайского мандарина, рассказывал о том, что происходит в его родных краях, в окрестностях Бисбаля. Дали обронил, что Гала уже давно ищет дом в глубине материка, потому что ненавидит море и желает иметь настоящий сад – с цветами и деревьями, похожий на сад, какой был у них в России в годы ее детства. Жозеп Пла знал в тех краях большой каменный дом, который как раз продается, в деревушке под названием Пуболь. Правда, замком его не назовешь! После отъезда Пла Дали снова взялся за кисть. Наше полотно "Анжелика и дракон" оставалось незаконченным, однако в то лето он больше к нему не возвращался. Пока он писал, я рылась в ящиках, которые обнаружила в захламленной маленькой комнатенке при мастерской. Дали услыхал, как я шуршу бумагой, и крикнул:

– Эй, Аманда, вы там все вверх дном перевернете!

Потом, не сдержав любопытства, прервал работу и пришел поглядеть, чем я занимаюсь. А я ползала на четвереньках и разбирала вываленное на пол содержимое ящиков. Я разглядывала старые фотографии, откладывая в сторону те, что заслуживали внимания, и отбрасывая неинтересные бумаги.

– Видела бы вас Гала! – ласково проворчал Дали. – А ведь она полагает, что вы педантичны и любите порядок. Все эти фотографии мне нужны, так что упаси вас Бог выкинуть хоть одну!

Там были не только фотографии, запечатлевшие Дали с друзьями "У Максима" или на светских вечеринках, но также снимки, которыми он пользовался, когда писал свои самые знаменитые полотна, в том числе "Христа". Тут-то я с удивлением и обнаружила, что для "Христа" позировал сам Дали. Он скопировал фотографию, разделив ее сперва на маленькие квадраты – по методу, который обычно изучают в художественных школах. Были там и картинки из модных журналов, мои парижские фотографии, которых сама я никогда не видела, – на премьере фильма Миа Фэрроу[2], на ужинах, на балу у Реде. Некоторые из них я забрала себе.

– Вы только все не уносите, – взмолился он, – сами знаете, как я ими дорожу!

1. Жозеп Пла (1897–1981) – каталонский писатель.
2. Миа Фэрроу (р. 1945) – американская актриса.

Однажды утром он решил прокатить меня на машине до Ампуриаса и Бисбаля. "Там, наверное, очень красиво!" – воскликнула я про себя. Сперва Артуро довез нас до Фигераса, где нам предстояло пообедать в ресторане "У Дурана". Но еще до того, как мы добрались туда, я попросила сделать остановку и купила несколько *churros* – это такие жаренные в масле и очень сладкие пончики. Дали уселся на площади в "Центральном кафе", прямо напротив здания, в котором прежде была школа.

– Посмотрите, – сказал он, – здесь я учился. А теперь тут банк. Это нормально.

Он пил минеральную воду, а я заказала шоколад, чтобы запить свои *churros.*

– Жирные *churros* с шоколадом! – ужаснулся он. – Перед обедом!

Я оставила его и пошла проколоть себе уши у маленькой старухи, которая сидела напротив гостиницы Дурана. Дали не пожелал сопровождать меня и смотреть на ритуальный обряд, которому испанские девочки подвергаются в самом раннем детстве. Старуха оказалась весьма неопрятной и напоминала скорее особу, занимающуюся подпольными абортами. Она проколола мне уши и продела в дырочки суровые нитки, потому что я не успела купить себе сережки. Вернувшись к Дали, который ждал меня, чтобы вести обедать, я с гордостью показала свои новообретенные стигматы.

У него был такой вид, будто окровавленные ниточки внушали ему непередаваемое отвращение. Мне, естественно, уже совсем не хотелось есть. Более того, меня даже слегка подташнивало.

После обеда мы на старом "кадиллаке" отправились в сторону Бисбаля. Деревня под названием Пуболь была такой крошечной, что отыскали мы ее с большим трудом. Пуболь означает "тополь", поэтому мы, конечно, ожидали увидеть тополиные рощи, однако увидели лишь кучи навоза да гуляющих на приволье свиней. И симпатичные маленькие домики. А так называемый "замок" оказался большим домом, сложенным из старинного камня и окруженным заброшенным садом. Нас поразил своим великолепием парадный вход: ступеньки вели на крыльцо, над ним возвышалось какое-то лепное украшение и герб – аляповатая неведомая птица. Часть дома обвалилась, и сквозь огромную дыру мы разглядели стену со следами горизонтальных перекрытий и с клочьями обоев. Когда мы подошли поближе, над нашими головами вспорхнула большая белая птица, похожая на сову.

– Все это не случайно, – вслух размышлял Дали. – К тому же вы сегодня дважды сказали "симпатично".

Перед отъездом Дали задумчиво произнес:

– Я все гадаю, понравится ли здесь Гале. Надо, чтобы она увидела дом собственными глазами. Вы заметили герб над входом? Как по-вашему, что это за птица?

В Бисбале жил один очень хороший антиквар, с которым Дали давно водил знакомство и у которого мы остановились. Мы поужинали на берегу моря и ели восхитительных *gambas*[1], выловленных утром. На бумажной салфетке я по обыкновению нарисовала какие-то причудливые узоры, лабиринты, из которых нет выхода.

1. Креветки (*исп.*).

– Я должен непременно исцелить вас от меланхолии, детка, – покачал головой Дали. – Вы маниакально-депрессивны. Можно мне взглянуть на этот ваш лабиринт?

Он оторвал кусок салфетки и сунул себе в карман.

– Я его как следует изучу. Уверен, в один прекрасный день вы станете счастливой.

Назавтра он попросил меня почитать ему книгу Жозепа Пла, написанную на каталанском языке, которого я почти не знала. Язык этот представлялся мне смесью французского с испанским, так что, взявшись за книгу, я довольно быстро стала понимать, о чем там идет речь.

– Я знал, что вы каталонка! – в восторге воскликнул Дали. – Я всегда это подозревал. Ну какая из вас англичанка! Вы появились на свет на той же земле, что и я!

А весь секрет заключался в том, что я от природы была наделена способностью к языкам, кроме того, за последние годы не раз гостила у друзей в Перпиньяне. Но Дали стоял на своем: каталонка, и точка!

В один прекрасный день на старом "роллсе" приехал молодой фотограф из С'Агаро с нашими фотографиями. Он показался мне довольно симпатичным, и я попросила Дали разрешить ему нас поснимать. На следующий день мы взяли его с собой, отправившись на лодке за морскими ежами на Фарнеру, расположенную на самом краю бухты Порт-Льигат. Он без конца фотографировал нас на фоне скал, потом одну меня в позе Анжелики, чтобы Дали мог продолжить работу над картиной в мое отсутствие.

Волосы у меня отрастали довольно быстро, но Дали предпочитал, чтобы они были еще и посветлее. Несмотря на обильные трапезы, я ничуть не пополнела, зато кожа моя от солнца сделалась совсем темной. Дали забавляли мои веснушки, которые появлялись одна за другой. На самом деле веснушки он всегда терпеть не мог, потому что ненавидел американские веснушчатые носы. Ему больше нравились классические черты и правильный овал лица. Короче, я не могла взять в толк, с чего это он считает меня такой уж неотразимой, ведь я ничуть не соответствую его эталону красоты.

Вернувшись, мы с аппетитом пообедали. Пакита приготовила восхитительный суп из свежих фруктов, включая дыню, – холодный и розовый. А еще она подала нам голубей с хрустящей поджаренной картошкой. С удовольствием их уплетая, я тем не менее против воли посочувствовала печальной участи бедных птичек. И тогда Дали рассказал мне историю про маленького белого кролика, к которому Гала привязалась, как к ребенку. Она так его полюбила, что повсюду таскала с собой. Он спал в ее постели и ел вместе с ними, сидя на столе. Он стал всеобщим любимцем, служанки души в нем не чаяли, Гала его всячески баловала. В октябре, когда пришла пора ехать в Париж, слуги спросили Галу, как она собирается поступить с кроликом: взять во Францию или оставить в Кадакесе, где о нем позаботятся в ее отсутствие. Гала, недолго думая, решила, что надо приготовить из него рагу и съесть на ужин! На кухне все были просто потрясены. Служанки рыдали, никто не хотел убивать кролика. Но Гала упорно стояла на своем, и маленького зверька принесли в жертву. Я не уверена, что история эта достоверна, вполне возможно, Дали ее просто выдумал в подтверждение легенды об их с Галой жестокости и эгоизме.

После обеда Артуро сам выбрал и поставил пластинку с записью сарсуэлы[1] под названием "Ветряные мельницы", в которой рассказывалось о любовных переживаниях моряка и голландской пастушки.

– Когда мы с вами поедем в Барселону, – наслаждаясь музыкой, пообещал Дали, – я поведу вас в театр на сарсуэлу. Это потрясающее зрелище! Была одна совершенно божественная пьеса – "La Corte del Faraon" ("Двор Фараона"), которую, наверное, уже много лет не играют, потому что она чересчур смелая. Как только поднимается занавес, мы узнаем, что у героя больше нет "лимузина" – он был ранен стрелой в это стратегическое место. И все происходит на фоне пирамид! А вавилонские женщины поют: "Aie que, aie que mareo, que mareo!"[2] "Mareo", как вам известно, значит "тошнота".

Новая выдумка? Меня ведь все еще тошнило при воспоминании о маленьком белом кролике.

После сиесты Дали работал, затем принимал визитеров. Приходили какие-то случайные покупатели, журналисты, фотографы, молодые люди, которых неведомым ветром занесло в Кадакес. Частенько я занимала их разговорами и просила набраться терпения и подождать, пока мэтр закончит рисовать кусочек неба. Так случилось и в тот день, когда к нему пожаловал редчайший гость – Марсель Дюшан, и я, поняв, что наша с ним беседа зашла в тупик, предложила ему сыграть партию в шахматы. Ему хватило всего нескольких минут, чтобы разбить меня в пух и прах, но тут появился Дали. Он сел на мое место, и они начали новую партию. Вместо того чтобы защищать короля с королевой, Дали сразу пустил их в бой. Такая тактика, противоречащая логике и здравому смыслу, раздражала противника, который не понимал смысла столь самоубийственных действий. Дюшан выглядел озадаченным и даже растерянным, но в конце концов взял себя в руки и выиграл. Тем временем патио заполнялся народом. Появились Близнецы, у которых от Диоскуров осталось разве что имя. В то лето они жили в какой-то пещере, были ужасно грязными и совершенно безмолвными. Пришел и Карлос – тот самый колумбиец, что играл в "Волосах"; он завернул в Кадакес по пути в Индию, где намеревался встретиться с очередным гуру.

Однажды вечером Дали вдруг испустил истошный вопль, потом вскочил словно ошпаренный, опрокинул стул и бросился прятаться, как будто увидел самого дьявола.

– Кузнечик! – кричал он. – Вон там, говорю же вам, он вон там, огромный, толстый кузнечик! Убейте, убейте его поскорей! Его надо прикончить!

Ужас его был неподдельным. Но едва кузнечика раздавили, Дали сразу же успокоился и снова уселся подле меня.

– Это кошмар какой-то, ничего не могу с собой поделать, я страшно боюсь кузнечиков. Их маленькая головка – воплощение жестокости и глупости, и если они вцепятся в тебя, то уже никогда не отпустят.

Я заговорила о других неприятных насекомых – богомоле, пауке.

– Нет-нет, – перебил меня он. – Хуже всех кузнечик! Это мой кошмар. Я пытался рисовать кузнечиков на картинах, чтобы изгнать страх, как изгоняют дьявола, но ничего не помогло. Кузнечики по-прежнему преследуют меня.

1. Сарсуэла – музыкальная комедия.
2. "Ай, до чего тошно, до чего тошно!" (*каталанск.*)

Однажды вечером Дали, желая развлечь своих гостей, пригласил цыган, которые танцевали и пели фламенко посреди патио. Юноши с прилизанными, напомаженными волосами пели, нахмурив брови и отстукивая такт каблуками, а девушки с отрешенным и презрительным видом встряхивали юбками в горошек. Какой-то юноша начал обучать меня фламенко. А одна цыганка изъявила желание погадать мне по руке.

– Через пару лет, едва перешагнешь за тридцать, заживешь совсем другой жизнью. Будто заново на свет родишься.

(В год своего тридцатилетия я подписала первый контракт с компанией грамзаписи, и так началась моя блестящая музыкальная карьера.)

– А знаете, – сказал мне Дали, – Гала очень хорошо гадает на картах таро. В этом ей нет равных!

Это было как раз то время, когда Дали заказали нарисовать колоду карт таро. Гарри Брокколи, продюсер фильмов про Джеймса Бонда, явился в Кадакес и предложил ему подписать контракт. Они хотели, чтобы Дали нарисовал полную колоду карт – она будет использована в следующем фильме "Живи и дай умереть", нашпигованном всякими фокусами, обрядами вуду и черной магией. А потом карты пустили бы в продажу. Подобные заказы наводили на Дали смертную тоску. И он попросил меня нарисовать карты вместо него. Работа доставила мне огромное удовольствие. Каждый день после полудня я устраивалась в комнате под названием "Улитка" за столом, на котором стояла лампа в форме улитки, и принималась вырезать из книг, подобранных Дали, репродукции его картин. Потом делала коллажи, склеивая картинки и стараясь как можно лучше подогнать одну к другой. Это отняло у меня немало времени, но в конце концов мне все-таки удалось осуществить свой замысел.

Заодно я научилась предсказывать будущее по картам таро. И, не понаслышке знакомая с тайнами человеческой психологии, довольно легко преуспела в этом деле. Упражнялась я на гостях Дали. Никто не мог противиться искушению узнать свое будущее. К примеру, я погадала певцу Антуану. Он познакомился с Дали несколько лет назад во время концерта в городке Сере. Антуан вызвал бурный восторг публики – и не только благодаря своим песням, немалую роль тут сыграли длинные волосы и рубашки в цветочек. Его выступления часто заканчивались скандалами, и сцену забрасывали помидорами. Теперь он был коротко пострижен и одет в канареечно-желтый костюм. Я предсказала ему перемену в жизни и дальние путешествия. И угадала: вскоре Антуан отправился странствовать по южным морям, оставив сцену.

Дали заказал копии с некоторых карт и показал продюсеру, запросив за колоду астрономический гонорар. Тот прикинулся глухим. Поскольку я через несколько дней возвращалась в Лондон, Дали поручил мне наведаться в его контору на Маунт-стрит и возобновить переговоры. Мой визит туда не принес результатов. Позднее Дали удалось продать мои карты в Нью-Йорке. Вот что значит деловая хватка – либо она у тебя есть, либо ее нет.

Гала вернулась из путешествия по Андалусии в полном восторге. В сентябре Дали пригласил меня провести с ним несколько дней в Барселоне. Незадолго до этого он был принят в замке Перелада самим генералиссимусом и рассказал мне, что Франко передвигается крошечными шажками, говорит совсем слабым и тоненьким голосом, стал неслово-охотлив и постоянно хранит бесстрастное выражение лица. Похоже, он

старается тратить как можно меньше сил, экономит энергию. Эту маску безразличия Дали называл sociego[1], и восхищался "мудростью человека, которому удалось превратить Испанию в страну с процветающей экономикой, принести счастье испанцам, несмотря на ненависть, которую он вызывает, и мстительные чувства, сохранившиеся со времен гражданской войны". Франко невозмутимо выслушал Дали, представившего ему проект музея в Фигерасе, потом едва слышно промолвил: "Надо, чтобы этот музей стал Меккой западного искусства". Дали затаил дыхание. Воображение мэтра мчалось вскачь, опережая события, ему уже виделись толпы людей, стоящих в очереди перед храмом, возведенным во славу его живописи. Однако я все-таки позволила себе напомнить, что музей-то пока еще не построен.

— Ну и что, а вот мне кажется, будто он уже вполне готов, — возразил он. — Я прямо вижу, как мэр Фигераса и губернатор провинции открывают его. Все решено, пора начинать! И это надо отпраздновать. Я приглашаю вас в оперу!

В тот вечер давали "Адриенну Лекуврёр" с Монтсеррат Кабалье. Барселонская опера — довольно обветшалое здание, но с прекрасным залом — находилась на Рамблас. На первый спектакль, как и на все премьеры подобного рода, туда ходили главным образом, чтобы себя показать. Публика, которую отличал легкий налет провинциальности, состояла из банкиров, крупных промышленников, представителей старинных семейств и почетных граждан города. Дали пожелал приехать в оперу на коляске. Толпа зевак, собравшаяся у входа, встретила его аплодисментами, однако пресыщенные завсегдатаи оперы сделали вид, будто знать не знают, кто он такой. "Если уж испанцам придет на ум изображать из себя снобов, то никому их не перещеголять", — заметил Дали.

Признаться, сама опера навела на меня смертельную скуку, несмотря на талант Монтсеррат Кабалье, хотя финальная сцена выглядела незабываемо комично. Героиня умирает, понюхав букет фиалок, и должна вот-вот рухнуть на пол. Монтсеррат Кабалье, которая, как известно, никогда не была худышкой, удовольствовалась тем, что лишь чуть осела, оставаясь, пусть и на полусогнутых, но на ногах, пока вокруг нее все продолжали петь. Дали, радостно хихикая, аплодировал:

— Что за восхитительная китиха! А видели бы вы ее в нью-йоркской "Норме"! Это было сногсшибательно! Хорошо бы найти кого-нибудь таких же габаритов для моего музея!

Чтобы показать мне, каким не должен быть его будущий музей, Дали на другой же день повел меня в Музей Пикассо. Сам дом, расположенный на одной из улочек старого города, весьма красив, а музей как две капли воды похож на все музеи подобного рода: чистенький, упорядоченный, каждая картинка повешена на том месте, где она выглядит наиболее выигрышно, на каждой аккуратненькая табличка с названием. Дали хотел, чтобы его собственный музей стал полной противоположностью этому: немного фантазии, чуть-чуть беспорядка и побольше помпезности и претенциозности — это главное. Картины, которые я нашла интересными, ему, естественно, оказались не по вкусу.

— Нет, вы только гляньте на эту голую бабу, настоящий мешок с картошкой! А этот профиль — тут вообще ничего понять нельзя! Знаете, он

1. Умиротворенность (*исп.*).

ведь и сам поначалу не всегда знал, что пишет! Однажды я спросил его, что он собирается изобразить, а он в ответ: "Хочу нарисовать голову Мадонны, но, возможно, получится коза. Увижу, когда закончу" Вы можете представить себе художника, который не знает, что собирается изобразить?!

Сам Дали тщательно продумывал свои полотна, заранее готовил фон, подбирал фотографии, рассчитывал пропорции — и лишь потом брался за кисти.

— В Париже, — продолжил он разговор о Пикассо, — мы с ним частенько навещали на Монмартре Хуана Гриса[1], которому Пикассо по-настоящему завидовал. Мы наблюдали, как Хуан работает, болтали, потом уходили. Пикассо жил тогда на улице Боеси. На полпути он говорил мне: "Давай-ка вернемся, хочу посмотреть, как он сделает этот серый цвет в правой части картины. Это не дает мне покоя"

Я остановилась перед рисунком, похожим на детский, и рассмеялась. Дали непременно захотел узнать, что именно меня рассмешило. Я не смогла объяснить. Персонаж был какой-то карикатурный, словно из комикса. И еще Дали хотелось понять, почему мне так нравится Снупи, песик Чарли Брауна. Я считала его милым и смешным, однако к юмору такого рода Дали был совершенно невосприимчив.

— Я в молодости часто старался вообразить, как мой учитель географии пытается удержать на голове кусок дерьма. Но это не вызывало у меня ничего, кроме легкой улыбки. Тогда я представил себе в той же позе нашего соседа. Ни-че-го! Та же реакция! В конце концов я стал воображать нашего приходского священника, такого почтенного, вальяжного — и с дерьмом на голове. И вот тут-то меня наконец разобрал смех... Я остановиться не мог... На меня смотрели как на сумасшедшего, никто не мог понять, с чего это меня так разбирает. Вот, теперь вы видите, что нельзя смеяться над чем попало. Смех — дело серьезное.

Я уяснила себе это в тот же самый вечер. Мы с ним отправились в цирк-шапито, который раскинулся при въезде в Барселону, в парке Монтжуик. Клоуны из кожи вон лезли, стараясь развеселить публику, и ведрами лили на себя воду. Зрители аж ногами топали от восторга. Дали же оставался совершенно безучастным.

— Ужасно, — наклонился он ко мне, — вы не находите? Клоуны — это смерть. Люди смеются, потому что боятся смерти. Клоун с напудренным лицом представляет собой смерть, которая страшит нас всех, и мы смеемся, стремясь отогнать страх. Ведь на самом деле клоуны нас очень пугают.

Я охотно согласилась с ним, потому что клоуны никогда меня особенно не забавляли, а эти и вовсе выглядели жалко. Дали утверждал, что единственное зрелище, достойное внимания, — коррида. Вот там по-настоящему играют со смертью, и ритуал этот воистину прекрасен. Бой быков, на который мы собирались пойти на следующий день, обещал стать выдающимся. Выступали братья Домек, знаменитые *rejoneadores*, то есть тореро, которые сражаются с быком, сидя на коне. А потом на арену выйдет молодой тореро, о котором последнее время много говорили. Дали велел заказать для нас места в первом ряду. По обычаю в начале корриды перед Дали, в знак особого почтения, расстелили плащ тореа-

1. Хуан Грис (наст. имя и фамилия Хосе Викториано Гонсалес; 1887–1927) — испанс живописец и график. Один из основоположников кубизма. С 1906 г. жил во Франции.

дора. Братья Домек были выше всяческих похвал. На чистокровных лошадках не было ни масок, ни специальных попон, которые защищали бы их от острых бычьих рогов. Впрочем, беззащитны были и пикадоры, которые изматывали быка, прежде чем того настигал роковой удар. Дали обратил мое внимание на то, какие светлые у коней гривы, какая благородная осанка. Наконец настал черед матадора, который значился на афише после братьев Домек. Он гордо вышел на арену, прекрасный как принц, в костюме, расшитом серебряными и розовыми блестками, в узких штанах, плотно облегающих ноги. Я нашла его очень привлекательным.

– Если хотите, – шепнул мне на ухо Дали, – я могу взять на себя роль Селестины[1]. Знаете, одна из самых моих любимых ролей – роль сводника.

– Да, но как?

– Предоставьте это мне, у меня в таких делах богатый опыт. Напишите-ка на клочке бумаги: "21 час, аперитив, отель "Ритц". И дайте мне булавку.

Я исполнила все, что он велел, и продолжала с удовольствием следить за ловкими движениями матадора, которого публика то и дело награждала аплодисментами. Перед тем как нанести быку последний, смертельный удар, он подошел к нашей трибуне, бросил Дали свою мулету[2] и крикнул: "Величайшему художнику нашей Испании, Сальвадору Дали! Тебе посвящаю я этого быка!" Дали на лету подхватил мулету, а молодой человек повернулся к быку, который все это время пребывал в центре арены. Дали наклонился ко мне со словами:

– Ну вот, дело почти сделано! Сегодня вечером, милая Аманда, вы сможете насладиться своим первым тореро.

Когда, покончив с быком, матадор вернулся, чтобы снова поприветствовать нас, Дали отдал ему мулету с приколотой к ней запиской. Меня смутила его бесцеремонность.

– Послушайте, – успокоил он меня, – это ведь никого ни к чему не обязывает. Он придет в отель выпить с нами бокал вина, а вы посмотрите, так ли он хорош, как вам показалось с первого взгляда. Такие вещи надо проверять! – И он многозначительно поднял указательный палец.

По дороге в отель Дали сказал:

– А вот Федерику, ту волновали только рабочие, которые вкалывали на обочинах дороги, по пояс голые и все в поту. Подцепить их было проще простого. Но поймите меня правильно! Я очень ревнив, хотя ревность моя позитивная и творческая – она ужасно меня стимулирует. Это не та разрушительная ревность, что свойственна людям заурядным.

Юный тореро ровно в девять явился в наши апартаменты, где уже собралось много народу. Он сиял, купаясь в лучах славы. Его поздравляли, его фотографировали, его угощали шампанским. А я его внимательно разглядывала. Ростом он был ниже, чем казался на арене. Красивое, типично испанское лицо, длинные ресницы и локоны на затылке. Но теперь в нем не осталось ничего от юного бога, каким он выглядел совсем недавно. Он надел обычный костюм, от него пахло дешевым одеколоном, и его смущала непривычная обстановка, царившая в гостиной, где

1. Селестина – то есть сводня (по имени персонажа "Трагикомедии о Калисто и Мелибее", или "Селестины", 1492–1497, испанского писателя Фернандо де Рохаса).
2. Мулета – палка, к которой крепится кусок красной материи; ею матадор дразнит быка.

он никого не знал, поэтому он довольно глупо улыбался. Я подошла к нему и услышала:

– Я чувствую себя куда уверенней на арене, чем здесь.

– Неужели Дали внушает вам такой страх? – со смехом спросила я. – Знаете, на самом деле он очень милый.

Тут ко мне подошел Дали и на только нам двоим понятном языке поинтересовался:

– Ну что, детка, как вам нравится эта "швейная машинка"?

Я отвела его в сторону и призналась, что в обычном наряде юноша совершенно разочаровал меня.

– А, теперь понятно! – воскликнул он. – Парадная форма, вот что вам по вкусу. Вы совсем как Гарсиа Лорка. Может, вы и правы: этих матадоров надо брать сразу же, как только они покидают арену, – в крови и поту, в красивом костюме с блестками. Кстати, то же самое касается рок-певцов и танцовщиков... Стоит им помыться – и они уже несъедобны!

Я грустно покачала головой.

– Ладно, не расстраивайтесь, – успокоил он меня. – Если вам непременно нужен кавалер, завтра же я вам кого-нибудь найду.

Я уже упоминала про "римские бани", расположенные по соседству с моей комнатой в отеле "Ритц" Дали созвал туда пару десятков юношей – под тем предлогом, что ему нужно выбрать модель для святого Себастьяна – и приказал им раздеться. Одних прислали модельные агентства, других он повстречал в лифтах отеля, в ресторане или просто на улице, на Рамблас. Когда Дали спрашивал: "Ты бы хотел позировать для меня?", никто не отказывался; это было большой честью и давало возможность пообщаться с мэтром.

В тот вечер он отвел меня в уголок гостиной и сказал:

– Послушайте, сегодня у вас будет выбор. Я велю им принять позы, и вы сможете не спеша и в свое удовольствие рассматривать товар. Потом выберете того, кто придется вам по вкусу, а остальных я отошлю прочь. Тут нельзя будет сослаться на то, что в заблуждение вас ввел костюм.

И я решилась пойти на эту новую авантюру. Но надо было подождать, пока Дали завершит консультацию с доктором Пуигвертом, тем самым, что позднее прооперировал его в связи с простатитом. Дали был не на шутку озабочен этой проблемой и строго контролировал, сколько раз за ночь ему приходится вставать, чтобы помочиться.

– Все в порядке, – радостно сообщил он, выходя из своей комнаты. – Все в норме, нормальней не придумаешь. Доктор тщательно осмотрел меня и не нашел ничего плохого. А как вы, детка, выбрали себе парня?

Я, разумеется, не рискнула в одиночку явиться в "римские бани". У Дали же тотчас родился новый план: он не мог отказать себе в удовольствии шокировать доктора и, взяв того под руку, увлек за собой. Совершенно голые молодые люди весело плескались в украшенном мозаикой бассейне. Некоторые с восхищением любовались в зеркало своей мускулатурой, другие отпускали шуточки в адрес товарищей. Одежда была в беспорядке разбросана по полу, и в помещении царил запах несвежих носков. Можно было подумать, будто мы попали в казарму или раздевалку футболистов. Доктор Пуигверт онемел и вытаращил глаза. Однако прежде чем он снова обрел дар речи, Дали быстро увел его оттуда, заговорив о чем-то постороннем. Он словно на краткий миг приоткрыл дверь в неведомый докто-

ру мир, чтобы мимолетное видение запечатлелось у того в памяти... Вернувшись, он смеялся, как нашкодивший мальчишка:

— Заметили, как вытянулась у него физиономия? Ах-ах-ах! Он же сроду ничего такого не видел. К тому же я так быстро утащил его прочь, что он не успел понять: приснилось ему все это или он наяву созерцал обнаженных гладиаторов в бассейне почтенного "Ритца"! Надобно признаться, воняют они хуже некуда, — добавил Дали. — Ладно, с этим ничего не поделаешь! Пошли, займемся гнусным делом и выберем для вас одного из святых Себастьянов.

Юноши приняли самые выигрышные позы, и, казалось, их нимало не смущал пристальный взгляд Дали, во всяком случае куда меньше, чем мой. Я же вдруг почувствовала себя Мей Уэст среди ее атлетов. Дали внимательно разглядывал анатомическое строение каждого и его половые органы, комментируя их без малейшего стеснения:

— Этому сделали обрезание, видите? Какое уродство! Просто кошмар! Никогда не следует удалять кожицу, которая покрывает самое важное место. Посмотрите на греческие статуи, ни одного из героев никогда не обрезали!

Я решилась возразить, что на самом деле у греческих статуй ничего такого и не осталось.

— Ах, да-да, сущая правда! Половой орган и нос — две вещи, которых статуи лишаются прежде всего. Время неумолимо! Зато мускулатура и ягодицы — это очень важно. Вы только посмотрите, какие восхитительные бедра у этого молодца. Какая осанка!

Кончиком своей трости он провел по пояснице юноши и заставил его сделать медленный поворот. Что тот послушно исполнил под завистливыми взглядами соперников.

В конце концов Дали выбрал одного красивого испанца со жгучими черными глазами и телом чуть бледноватым, но хороших пропорций и не слишком мускулистым. Он был типичным южанином и сказал, что родом из Андалусии. Остальным пришлось одеваться. Результат их, конечно, глубоко разочаровал, и в утешение Дали всех пригласил в Кадакес и пообещал угостить шампанским. Что же касается юноши, избранного на роль святого Себастьяна, то его звали Хуаном, и он вечером явился на ужин, а потом Дали взял его на представление Московского цирка. Клоуны не вызвали у нас ни единой улыбки, однако там был превосходный номер с дрессированными медведями и весьма искусные жонглеры. Самое сильное впечатление на Дали произвели акробатки, невероятно гибкие русские девушки, которые извивались, словно змеи, умудрялись просовывать головы меж ног и вообще вытворяли такое, будто тела их были лишены костей. Дали попросил, чтобы на следующий день они заглянули к нему в отель — он хотел их нарисовать. В Советском Союзе они были чрезвычайно известны и любимы публикой. Добавлю: когда под конец Дали поднял трость, приветствуя артистов, все они в ответ зааплодировали, а он даже пробормотал пару слов по-русски, но с таким жутким каталанским акцентом, что разобрать смысл было совершенно невозможно.

На другой день ближе к вечеру "женщины-змеи" в сопровождении своего переводчика и ангела-хранителя в одном лице явились в "Ритц". Я провела ночь с андалусским святым Себастьяном, и он уже начал действовать мне на нервы бесконечными расспросами про Дали. Мэтр смотрел на меня с видом сообщника, поджидая, когда мы с ним наконец ос-

танемся наедине — ему не терпелось послушать рассказ о подвигах Хуана. Я же решила подразнить его и хранила молчание. Русские девушки в гимнастических трико, в которых они выступают на сцене, стояли посреди гостиной, пока Дали делал наброски. Он обожал, когда кости выпирают наружу, будто пытаясь рассечь обтягивающую их кожу. А верхом красоты для него было то, что он называл "истерическим изгибом", — тело, дугой изогнутое назад. Русские акробатки и святой Себастьян отбыли из отеля одновременно.

По случаю праздника Мерсед нас пригласила в гости эксцентричная пожилая дама, одно имя которой приводило Дали в восторг: ее звали маркиза де Сенз-Инносан (Невинных Святых). Просторный дом, откуда открывался восхитительный вид, был заполнен экзотическими вещами: лакированной мебелью, золочеными буддами и другими роскошными диковинами. Мало того, маркиза была близко знакома с далай-ламой, и он, как утверждала молва, не раз находил приют в ее доме. По случаю визита к столь занятной особе Дали увеличил свою свиту, включив в нее молодого человека по прозвищу Гарсон — Жан-Клода Верите, который, если верить его собственным словам, был потомком самой графини Дюбарри. Он возглавлял одно из барселонских модельных агентств и забавлял Дали тем, что не стеснялся в выражениях, а также своим юго-западным акцентом и богатейшей коллекцией фривольных историй, анекдотов и цитат из классиков на эротические темы. В тот вечер его сопровождали похожие на шведов манекенщики, блондинка из Голландии, мисс Франция и несколько друзей итальянцев. Маркиза де Сенз-Инносан встретила нас во всеоружии: парик, длиннющие накладные ресницы, на каждом пальце — перстни с огромными драгоценными каменьями. Передвигалась она, опираясь на резную трость. Супруг ее оставался в тени и был совершенно безлик. Она приняла Дали и его придворных со всеми подобающими церемониями и очень радушно, всячески давая понять, какую честь он оказывает ей своим посещением. Потом подвела Дали к группе испанских телевизионщиков, которые явились, дабы заснять выдающееся событие. Но мог ли предположить ведущий, знаменитый Иньиго, что́ его ждет? Дали не ответил ни на один из заданных вопросов, зато пустился в пространные рассуждения, перескакивая с дезоксирибонуклеиновой кислоты на философию Франсеска Пужоля[1] и брачные узы Мадонны Рафаэля. Само собой разумеется, упомянул он и о скором открытии Музея Дали. И все это перемежалось фразами на каталанском и цитатами на английском.

Потом он попрощался с присутствующими, решив пораньше вернуться в отель и лечь спать. В тот вечер он был горд собой как никогда и уже в машине признался, что прямо умирает от избытка удовольствия. Гала только что купила "замок" Пуболь; из Америки один за другим поступают чеки на солидные суммы; доктор нашел, что он в превосходной форме, крошка Аманда довольна жизнью — короче, все складывается как нельзя лучше. Он ждал, что я разделю его восторги, но я промолчала. К тому же, добавил он, ему не сегодня завтра предстоит ехать в Мадрид за ключами от музея. Он замурлыкал каталонскую детскую считалочку: "Tirame la clau, tira mi, tirame la clau" ("Кинь мне ключ, кинь мне ключ").

1. Франсеск Пужоль (1882–1962) — каталонский писатель и журналист.

— Я хочу получить такой же ключ, какой имелся у Веласкеса. Он был официальным придворным живописцем, и мастерская его располагалась в королевском дворце. Когда Франко снова восстановит в Испании монархию, я стану Веласкесом короля Дона Хуана, и у меня будет свой clau, свой ключ, — я буду официальным королевским художником, а мастерской моей — музей в Фигерасе. В следующем месяце я повезу вас в Мадрид!

Несмотря на толпы назойливых журналистов и поклонников, он умудрился показать мне город, его лавочки и старинные улочки, где провел свою юность и где часто встречался с Пикассо. Он водил меня на Carre de la Paja, квартал антикваров, покупал там старинные открытки и переводные картинки времен его детства. А еще он подарил мне очаровательный медальон с ярко-синей эмалью и надписью внутри. Я не знала, что бы такое в него положить. Мэтр дал мне несколько волосков со своей головы и волосок из усов. И я поместила их в медальон вместе с клевером с четырьмя лепестками.

— Вы принесете мне счастье, — шутя сказала я.

— Нет-нет, совсем наоборот, — возразил он. — Это вы приносите мне невероятную удачу. С тех пор как я познакомился с вами, все идет как нельзя лучше, вы мой талисман!

— Но мне-то почему так не везет?

— Вы маниакально-депрессивны, я ведь уже говорил. Перестаньте изводить себя, хватит смаковать собственные несчастья. Ваше сознание насквозь пропитано лондонскими туманами, словно полотна Тёрнера, наисквернейшего из художников всех времен и народов!

— Как это, Тёрнер — наисквернейший!? Он же самый знаменитый английский художник!

— Английских художников не существует в природе, — холодно ответил он. — Как, впрочем, и русских или венгерских. Каждая страна имеет свою специфику: художники — испанцы, итальянцы, иногда французы; музыканты — итальянцы и немцы; зато у вас на родине очень неплохие писатели. Шекспир, лорд Байрон... Хотя, конечно, в Англии никогда не мог бы появиться Кальдерон де ла Барка. Ах! "La Vida es sueño"![1] Как бы мне хотелось, чтобы вы увидели эту пьесу! А в ожидании счастливого момента давайте-ка пойдем посмотрим любопытные диковинки на Пласа-Реаль.

Пласа-Реаль была местом встречи барселонских наркоманов, сутенеров, всякого рода проходимцев. Но кроме того, на площади стоял замечательный магазин, и все, что там продавалось, неизменно вызывало у Дали неописуемый восторг: скелеты и чучела животных, гигантские макеты молекул и гербарии... Он пришел в экстаз, увидев акульи челюсти, и тут же велел доставить их в "Ритц". На обратном пути мы проезжали мимо кабаре, где выступала знаменитая Картахенера.

— Кстати! Надо будет как-нибудь показать вам Картахенеру! Никто, кроме нее, не поет по-испански "Моего мужчину". Она божественна!

Мы должны были обедать в "Рено", куда Дали пригласил маркизу де Сенз-Инносан. Она прибыла в сногсшибательном "роллс-ройсе", позолоченном и лакированном, украшенном китайской росписью, — и больше всего напоминающем коромандельскую ширму. Маркиза явилась в

1. "Жизнь есть сон" (*исп.*) — одна из самых знаменитых пьес (1636) испанского драматурга Кальдерона де ла Барки (1600—1681).

парике цвета фуксии, вся увешанная драгоценностями и с роскошным моноклем, отделанным каменьями. Все посетители "Рено" высыпали наружу, чтобы поглазеть, как она вылезает из "роллса" вместе со своим седеющим молчаливым супругом. Даже Дали, и тот был потрясен. Она не ела ничего, кроме орешков, и после обеда непременно хотела отвезти нас в отель. Внутри "роллс" производил еще более фантастическое впечатление, чем снаружи: деревянная обшивка, атласные подушечки, бар, миниатюры на панелях. Такой автомобиль стоил целое состояние, и она выезжала на нем лишь в редчайших случаях. Вся жизнь этой странной особы была сплошным спектаклем, который она разыгрывала на пару с мужем, потворствовавшим любым ее прихотям. Происхождение их богатства оставалось тайной за семью печатями, никто не знал, настоящими или фальшивыми были ее драгоценности, но для Дали это не имело никакого значения, он находил ее потрясающей женщиной.

Прежде чем вернуться в Кадакес и вновь увидеться с Галой, Дали устроил ужин в мою честь. Жан-Клод Верите, которого Дали называл теперь не иначе, как Дюбарри, явился в сопровождении очень красивых манекенщиков. Речь почему-то зашла о пуках. Дюбарри острил и без устали сыпал каламбурами. Дали рассказал, что когда-то венецианские куртизанки принимали особые порошки, дабы придать своим пукам аромат фиалок, жасмина и так далее. И вот одна куртизанка в присутствии заезжего гостя, критиковавшего этот обычай, пукнула без всяких ухищрений, заявив: "Вот вам, дорогой, нюхайте на здоровье, и пусть это напомнит вам вашу родину!" Дали хохотал как сумасшедший. Посетители с соседних столиков оборачивались на нас. Мы же пребывали в отличном настроении. Вернее, все, кроме меня, ведь назавтра мне предстояло расстаться с Дали. Правда, всего на пару недель, но я не испытывала ни малейшего желания вновь оказаться в доме на Элвастонплейс, который так изменился за последнее время.

Я попросила ресторанного пианиста сыграть мне старую мелодию, которую полюбила благодаря Дали, – "Амаполу", песенку про мак. На следующее утро Дали сунул мне под дверь листок бумаги и поспешно удалился. Я держала в руке маленькую акварель, которую он только что нарисовал: красный цветок мака с черной серединкой (тушью) и черная ласточка, взмывающая ввысь. Через несколько часов и мне тоже предстояло подняться в небо. Он поставил под картинкой свою подпись и крошечными буковками тушью написал: "Аманде, Амаполе". Когда, прощаясь, я поблагодарила его за подарок, он сказал:

– Я никогда не дарю своих работ. Гала не велит. Сделал исключение только для вас. Знаю, у вас не так много денежек, но прошу вас, не продавайте ее. Сами понимаете, денег я вам дать не могу, это было бы несправедливо по отношению к Гале, даже если она ничего не узнает. Я никогда себе такого не позволю. Конечно, все было бы иначе, будь мы с вами женаты, но не могу же я стать двоеженцем! Гала моя законная жена, к тому же я люблю ее больше всего на свете.

Он проводил меня до выхода, где мы встретились с Хавьером Куньятом, бывшим королем ча-ча-ча, тоже каталонцем. Тот садился в "роллс", на номерном знаке которого было выведено "КУНЬЯТ". Они расцеловались, и эта встреча сократила время нашего с Дали прощания. Я боялась опоздать на самолет. И никогда в жизни мне не было так грустно.

* * *

Музей планировалось открыть в сентябре, по этому случаю в Кадакес должны были съехаться журналисты со всего света. Дали рассказал мне про забавного маленького китайца из Сан-Франциско по имени Кай Цик, который в Нью-Йорке нанес ему визит и заодно привел фальшивую Мэрилин Монро и настоящего комика с огромным носом, который снимался в андеграундных фильмах. Теперь они собирались посетить Испанию.

Между тем работа в музее кипела: спешно докрашивались залы, монтировалось освещение... Дали пожелал, чтобы внутренний дворик был обсажен миртами — символами любви. Едва оправившись после операции, он чуть ли не каждый день наведывался в Фигерас, чтобы лично за всем присматривать. Мое оливковое дерево посадили перед музеем, превратив в "метафизический монумент", и на него падала тень от фигуры с яйцевидной головой, заставляющей вспомнить Де Кирико. Зал в виде лица Мей Уэст, воспроизводивший знаменитую картину, был почти завершен. Парикмахер Льонгерас изготовил двухметровый белокурый парик. В другом зале был установлен саркофаг из небольших зеленых пластинок — электронных схем, так что получился современный вариант нефритового саркофага, обнаруженного в Китае.

— Прямо платье от Пако Рабанны! Какая прелесть! Эти маленькие электронные штучки — настоящие жемчужины.

Дали был по-прежнему полон идей и планов. Зная о монгольских корнях моей матери, он вознамерился снять фильм под названием "Путешествие в Верхнюю Монголию". А если прибавить сюда дружбу с Кай Циком, то можно сказать, что мэтр "помешался на Востоке". К тому же он планировал совершить вместе со мной путешествие в Китай и заранее предвкушал, как мы, стоя на Великой китайской стене, будем размахивать смонтированными вместе фотографиями Мао и Мэрилин. Кстати, он уже получил приглашение остановиться в одном из пекинских дворцов...

Гала тем временем жила в Пуболе, вдали от всей этой суматохи, читала старые русские книги и отдыхала от утомительных творческих исканий мужа.

Однажды вечером, выйдя из музея, мы отправились немного погулять по улицам Фигераса. Дали показал мне место, где подростком назначал свидания девушкам. Мне захотелось пописать, и я присела на корточки прямо на каменной мостовой, не подозревая, какой взрыв эмоций это у него вызовет.

— Эстрелья! Моя Эстрелья! — восторженно вскричал Дали. — Вы только что возродили в моей памяти одну из моих возлюбленных, которую я совсем позабыл!

Его буквально распирало от счастья. Он вновь испытал те же чувства, что и пятьдесят лет назад, когда встречался с девушкой по имени Эстрелья — то есть Звезда.

— Вы моя Звезда, — тая от умиления, повторял он. — С вашей помощью я снова пережил далекие детские чувства, даже вспомнил свою Эстрелью. Представляете! Благодарю вас от всего сердца!

Об этой Звезде он твердил много дней подряд. В то время я работала над большими коллажами, которые должны были украсить двери музея. Каждый из них как бы включал в себя все творения Дали. Вырезая

репродукции из книг, я создавала нечто вроде огромных пазлов. Устроившись в патио, я наклеивала фотографии на большие листы картона, а Сабатер заботливо снабжал меня тюбиками с клеем. Он, надо сказать, вообще охотно откликался на любые просьбы. Благодаря ему Дали уже заработал немало денег и считал его столь же преданным, сколь и бескорыстным. Я же пока внимательно приглядывалась к нему. А вот прислуга люто ненавидела Сабатера...

Однажды утром я получила известие от своего приятеля Дики: он возвращался после отдыха в Греции и хотел, сделав крюк, посетить Кадакес, о котором я прожужжала своим друзьям все уши. Дали уже встречался с ним в Париже и был очарован его изумрудно-зелеными глазами. Однако Дики за это время успел сменить экзотические контактные линзы, и Дали сперва его даже не узнал, а затем повел себя крайне нелюбезно, хоть и пригласил на ужин. Кроме того, был случай, когда мэтр совершенно по-хамски обошелся с моей подружкой Энни, затем отказался принять художника Найджела Уэймота с женой, которые однажды заглянули к нам на чашку чая. Иначе говоря, моих друзей он явно не жаловал, предпочитая им каких-то безвестных незнакомцев. Дики без зеленых линз утратил для него всякий интерес. Я не скрыла от Дали, насколько огорчена таким отношением к людям, которые очень много значат в моей жизни. А ведь он весьма радушно принимал у себя какой-то сброд, и в патио вечно собиралась толпа дармоедов... Это приводило меня в отчаяние, и я решила никогда больше не знакомить Дали с теми, кто мне близок.

Дали постоянно вспоминал Карменситу, внучку Франко, которая только что вышла замуж за Альфонсо Бурбонского, герцога Сеговии. Генералиссимус пожаловал им титулы герцога и герцогини де Кадис. Дали, издавна мечтавший написать ее портрет, велел Беа подготовить фон и набросать силуэт скачущей лошади. Теперь не хватало только юной герцогини. Наконец явилась и она — в сопровождении своего супруга Дона Альфонсо, а также престарелого дона Маттео из замка Перелада и нескольких маркизов. На герцогине де Кадис было длинное, свободное платье: оказалось, что она на сносях! Для Дали, который питал отвращение к самой идее зачатия и размножения, это стало горьким разочарованием. Однако он сделал вид, будто рисует с натуры — хотя на самом деле писал портрет по фотографиям, — и попытался завязать беседу. Но и тут не добился успеха. Герцогиня охотно краснела, но была не слишком словоохотлива. Короче, она лишила его многих иллюзий... Дали поблагодарил ее за то, что она почтила его своим визитом, и пообещал лично доставить портрет в Мадрид. Затем мы отправились в Пуболь, где нас ждала Гала. Вскоре высокие гости отбыли, испытывая восторг от того, что несколько часов провели бок о бок с гением испанской живописи. А мы мирно поужинали втроем. На Дали благоприятное впечатление произвел один лишь Дон Альфонсо. Красивый, улыбчивый и обходительный, он понравился и Гале.

Закончив свои коллажи, я проводила дни в мастерской мэтра, наблюдая, как он пишет, или загорала у бассейна. Однажды утром Дали застал меня там, когда я рассматривала крошечное насекомое с золотистым панцирем. Это был жук-навозник с шестью лапками и спинкой, украшенной затейливым узором.

— Вечно вы найдете что-нибуль микроскопическое, — с любопытством разглядывая мою находку, заметил Дали. — Просто уму непостижима

В музее Дали у коллажа, выполненного Амандой Лир

эта ваша способность все сократить, уменьшить, свести к крошечной точке, а вот меня, напротив, тянет к преувеличениям. Я должен непременно нарушить пропорции... Вы полная моя противоположность, но это доставляет мне невыразимое удовольствие.

Он вместе со мной изучал сверкающего на солнце жука и рассказал, что некогда создавали украшения из живых скарабеев, — для них делали оправу из драгоценных камней и потом носили на золотой цепочке. За обедом он в задумчивости обронил, что должны же быть какие-то причины, по которым он ощутил глубочайшее наслаждение, глядя, как я любуюсь этим маленьким созданием. Я подумала про себя: наверное, Дали поразила именно форма насекомого, наверное, она напомнила о чем-то очень для него важном. Он был одержим монархической идеей и с нетерпением ожидал, когда на испанский престол взойдет король Дон Хуан Карлос... Я нашла ответ на загадку с жуком. И, подразнив немного Дали — поиграв с ним в игру под названием "угадай-ка, угадай", — сказала:

— Все дело в том, что жук в точности той же формы, что и ваша булавка для галстука, когда-то принадлежавшая королю Альфонсо XII. Ведь спинка жука так же переливалась всеми цветами радуги!

Дали окинул меня пристальным взглядом, покивал головой, затем произнес:

— Вот тут вы меня по-настоящему удивили. Прямо ошеломили, потому что вы совершенно правы. Вне всяких сомнений, дело именно в булавке для галстука. Так вот почему меня буквально заворожил навозный жук! Ведь можно сказать, что у бассейна бегала сама королевская реликвия! Позвольте обнять вас, вы с каждым днем становитесь мне все более необходимы.

После подобных бесед он устраивал себе долгие безмятежные сиесты.

Тем временем приближался день открытия музея, и уже начинали прибывать "паломники". Первым появился достопочтенный Рейнолдс Морз с супругой, владелец самой крупной коллекции творений Дали (они даже создали музей в своем родном городе Кливленде, штат Огайо). Следом приехали китайцы из Сан-Франциско: Кай Цик, его манекенщица, тоже китаянка, с длинными золочеными ногтями, фальшивая Мэрилин Монро, довольно вульгарная блондинка, а также кинорежиссер по имени Стивен и еще кто-то. Все они были в нарядах от Кай Цика — из атласа и парчи ярких тонов, украшенных богатой вышивкой. Казалось, они вышли из какой-то китайской народной сказки. Дали находил их очень славными и вполне безобидными. Во всяком случае, они как нельзя лучше служили его всегдашней цели — любыми средствами эпатировать местных жителей. В сущности, и главной целью музея тоже было внушить обитателям Фигераса почтение к личности Дали и привить им его вкусы. Он пригласил китайцев в "Барокко", прелестный кадакесский ресторанчик, где трапезы проходили при свечах.

Потом настал черед австрийского художника Фукса, который привез огромную статую Венеры для музейного двора. Дали обратил мое внимание на то, каким похотливым взглядом провожает Фукс девушек, и добавил, что тот — patatoustki, так Дали называл евреев, которых было немало в его нью-йоркском окружении, особенно среди бизнесменов и адвокатов.

Музей Дали был торжественно открыт 23 сентября 1974 года. Мэтр разоделся в пух и прах, а мне купил в барселонском бутике "Лёве" бежевое муслиновое платье. Гала прибыла из Пуболя на "кадиллаке" в сопровождении своего Иисуса-Христа. Супруги встретились "У Дурана", а потом мы вместе двинулись на площадь перед городской ратушей. После речи мэра и короткого выступления Дали толпа хлынула в музей. Давка получилась немыслимая, Иисус-Христос остался где-то позади. Дали подталкивал вперед Галу, которая не переставая кричала: "Джефф, Джефф!", и успокаивал ее: "Не волнуйся, он нас найдет!" Именитые гости и официальные лица далеко не сразу пробились в находившийся на первом этаже Зал сокровищ, названный так потому, что там были собраны самые знаменитые — и дорогие — полотна Дали, в том числе "Хлебная корзинка" и "Призрак зова плоти". Я не без гордости заметила, что мои коллажи привлекают всеобщее внимание, а Дали, пыжась от удовольствия, указал мне на "Анжелику" — кстати, так и не законченную, — которая висела над бывшей театральной сценой. Именно этот центральный зал был увенчан куполом, спроектированным архитектором Пиньеро, но тому не суждено было увидеть свое творение: незадолго до этого архитектор погиб в автомобильной катастрофе. Там же, под куполом, красовался и "Христос" Дали.

В залах верхних этажей я вновь увидела и диван в форме губ Мей Уэст, и саркофаг, украшенный электронными схемами, и ложе Наполеона III, и биде из борделя "Шабане", и роспись на потолке, и солнечные фотографии Марка Лакруа, и картины, которые мы отобрали у Питхота...

В музее было выставлено все, что захотел выставить сам Дали, и я испытала огромное счастье, оказавшись подле него в час триумфа. А ведь мне довелось наблюдать разные этапы создания музея.

На открытии музея в Фигерасе

Гала исчезла очень быстро — они с Иисусом-Христом отбыли обратно в Пуболь. В автомобиле, уже по пути домой, утомленный радостными волнениями Дали пошутил:

— Ну вот, и это сделано! Знаете, самое смешное, что ваши коллажи пользовались куда большим успехом, чем все мои музейные примочки. Такое людям легче переварить. Что до остального, то понадобится время, прежде чем они поймут...

Успех — клятва Гале — сладкая месть — концерт во дворце

Всем моим планам суждено было поменяться благодаря нежданному успеху моего диска. В самолете, что вез меня в Лондон, я оказалась вместе с Миком Джаггером, который любезно составил мне компанию. Он поинтересовался, по-прежнему ли мы встречаемся с Дэвидом Боуи. Тот обосновался в Берлине, желая проникнуться духом этого необыкновенного города. Моя пластинка пользовалась большим успехом в Германии, где я стала в какой-то степени символом дискотечной музыки. С помощью своих продюсеров я записала множество телевизионных шоу, а моя пластинка вышла также и в Италии...

Желтая пресса как в Германии, так и в Италии под крупными заголовками печатала сенсационные статьи о моем "скандальном" прошлом: мало того, что я была любовницей Дали, меня, оказывается, связывали интимные отношения с Марлоном Брандо, Джоном Ленноном, Элтоном Джоном и многими другими знаменитостями! Популярные журналы на-

перебой разоблачали меня: мол, новоявленная звезда молодежных дискотек, прежде чем стать "ненасытной куртизанкой", была обыкновенным юношей. На самом-то деле все эти слухи являлись рекламным трюком, делом рук моих продюсеров. В апреле некий импресарио предложил мне небольшое пробное турне по городам Северной Италии. Я пришла в ужас от мысли, что мне надо будет выйти на сцену и петь перед публикой, но все-таки решила рискнуть и дала согласие. После нескольких репетиций в Милане мы пустились в путь по итальянским автострадам, и я быстро подружилась со своими коллегами. Первые концерты прошли ужасно, зато я стала свободнее вести себя на сцене и прежде всего научилась говорить. Мой ломаный итальянский даже помог мне завоевать симпатии молодых людей, которые заполняли дискотеки и клубы, где мы выступали.

По возвращении в Лондон я принялась сочинять новые песни, предназначенные для молодежной публики. Они хотели видеть меня роковой женщиной, скандальной красоткой, в которой есть что-то дьявольское. Мне было необходимо сохранять и подчеркивать таинственность и загадочность. Я написала песню "Follow me" — историю красивой женщины, которая продала душу дьяволу. Я обсудила эту работу с продюсером Тони Монном, которому понравилась моя идея записать новый, концептуальный, альбом, где каждая песня будет своего рода продолжением предыдущей, и вместе они будут складываться в некую единую историю.

Понятно, что мой новый имидж не имел ничего общего с той нежной Амандой, которая так нравилась Дали. Когда я вновь встретилась с ним в Париже, он ничего не желал слушать ни о дисках, ни о моей сценической карьере. Ему хотелось, чтобы я оставалась прежней — ласковой и покорной, какой он знал меня добрый десяток лет. Он издавна был одержим страхом, будто на него готовится покушение. Тщетными оказывались любые попытки доказать, что никто не желает ему зла, что он в полной безопасности... Дрожа от ужаса, он поведал мне, что через Сабатера часто получает угрозы, а вдобавок еще и анонимные письма. Он решил нанять телохранителей и, вернувшись в Кадакес, потребовал, чтобы перед его домом постоянно дежурил наряд полицейских. Я видела, что Сабатер специально нагнетает в нем эти страхи, и попросила его поменьше говорить с Дали об угрозах и подметных письмах. Однако Сабатеру явно доставляла удовольствие игра, в которой ему выпадала роль защитника. И прислуга огорченно качала головой, услышав в очередной раз, как он заверяет Дали: "Не бойтесь, я рядом, со мной вы в полной безопасности!" Все это не предвещало ничего хорошего.

Тем летом я совершила еще одно турне по Италии, и оно было организовано куда лучше первого. У меня были танцоры, чтобы сделать спектакль более зрелищным. Я выступала в потрясающем ярко-красном платье, усыпанном блестками, которое сшил мне в Лондоне Энтони Прайс. Я пела в Падуе, Мантуе, Парме, Модене, по всей Эмилии, в окрестностях Болоньи. Дали посоветовал мне съездить посмотреть сады Бомарцо с их статуями гигантов и циклопов.

— Я плакал всего лишь раз в жизни, — добавил он, — когда захотел купить этих монстров, а мне сказали, что они не продаются.

Но времени на экскурсии у меня не оставалось — каждый вечер приходилось петь в новом городе.

Едва завершилось турне, как я поспешила в Кадакес, чтобы отдохнуть под тамошним солнцем и, вернувшись к привычному образу жизни, позагорать у бассейна, поплавать на лодке по морю, порисовать в мастерской. Служанки вытащили на свет божий мою оставшуюся с прошлого года одежду, которая все больше и больше попахивала нафталином. Мои волосы, выкрашенные в рыжий цвет перед итальянским турне, к величайшей радости Дали, вновь посветлели. Ему нравились волосы, похожие на поле, засеянное светлым овсом, который колышется при малейшем дуновении ветра.

В сентябре мы отправились в Барселону, где в гости к Дали пришел Ури Геллер. Этот человек умел взглядом скручивать вилки, останавливать часы и размагничивать магниты. Дали абсолютно не верил во все эти чудеса, однако принял Геллера, и тот прямо на глазах у мэтра скрутил несколько металлических предметов. Мрачный и пронзительный взгляд гипнотизера наводил на Дали страх, к тому же он не испытывал ни малейшего желания стать объектом чьих-то парапсихологических опытов.

— Жуткий тип этот *patatoustki*, — едва слышно шепнул он мне. — Я чувствую ужас, когда он смотрит на меня своими немигающими глазами.

Он быстро избавился от визитера, послав того полюбоваться на "римские бани". Я же воспользовалась случаем, чтобы поговорить с Геллером про его опыты, которые произвели на меня куда большее впечатление, чем на Дали. Как выяснилось, Ури безусловно обладал еще и даром провидца: он напел мелодию песни, которую я только что записала на кассету и которую еще никто не слышал. Потом он попросил разрешения дотронуться до кассеты, дабы проверить, благоприятна ли исходящая от нее эманация, и предсказал мне большой успех. Мы договорились, что, оказавшись в Нью-Йорке, я позвоню ему. Я так и сделала, и он потряс меня, описав вещи, которые находятся в моем номере. Дали же по-прежнему верил лишь в волшебную силу своей деревяшки-талисмана.

Во время нашего пребывания в Барселоне Дали повел меня в Музей романского искусства в Монтжуике и с презрением отозвался о выставленных там скульптурах и фресках:

— Какой кошмар! Хуже ничего не придумаешь! Вы только посмотрите на эти топорные, грубые физиономии, жесткие складки на одеждах, вытаращенные глаза... А главное, совсем неинтересно. Полный тупик! Апофеозом были греческие скульптуры Праксителя, Фидия... После них — ничего! Упадок.

По своему обыкновению, он говорил громко, с пафосом, что привлекало внимание немногочисленных посетителей этого скучного музея. Выходя, он остановился перед огромной и яркой скульптурой Миро[1], возвышающейся в саду. Посмотрел, ткнул в нее тростью и сказал:

— А вот это еще хуже! Что она изображает, как вам кажется?

Он охотно критиковал Миро, тоже каталонца, считая его художником инфантильным и неумелым, но испытывал к нему легкую зависть.

Мы вернулись в Кадакес, где он снова принялся за работу — большое полотно, навеянное Клодом Лорреном[2]. Беа набросал воображаемый порт в стиле Лоррена, и теперь Дали тщательно, в мельчайших деталях

1. Жоан Миро (1893–1983) — каталонский живописец, скульптор, график.
2. Клод де Лоррен (1600–1682) — французский живописец и график. Мастер рисунка и офорта.

выписывал обнаженную женщину, которая сидит, повернувшись к зрителю спиной, на фоне восхитительного предрассветного неба.

— Взгляните, — сказал он мне, — вот прямая противоположность Миро.

Одновременно он работал над стереоскопической картиной на тему Золотого руна. И все наши беседы вращались вокруг этой темы.

В тот год мне опять пришлось сократить пребывание в Кадакесе, пора было отправляться в Мюнхен, записывать новый диск, который я хотела назвать "Sweet Revenge"[1]. Накануне отъезда Гала позвала меня в "круглую" комнату. Мы говорили о моих планах, о моей карьере. Чувствовалось, что она боится, как бы я не отдалилась от Дали, ведь теперь я порхала от успеха к успеху. Я пыталась успокоить ее, но тут она, указав на почерневшую икону Казанской Божьей Матери, потребовала:

— Поклянитесь мне на этом святом образе, что, случись что-нибудь со мной, вы возьмете на себя заботы о Дали. Ну, клянитесь же!

Я пробормотала, что не могу обещать ей ничего подобного, ведь кто знает, что ждет нас в будущем. Гала не отступала и все-таки заставила меня поклясться на иконе.

— Это останется между нами, между двумя женщинами. Я хочу, чтобы вы пообещали одно: выйти замуж за Дали, как только меня не будет. Послушайте! Вы ведь знаете: он любит вас, вы же не дурочка... Поклянитесь!

Тон был решительным и не допускал возражений. Я поклялась на иконе, что никогда не покину Дали, и Гала меня отпустила. Удивительная женщина! Она любила своего мужа настолько, что заботилась о том, чтобы он был счастлив даже после ее кончины. Она прекрасно знала, что Дали не сможет жить, если рядом не будет женщины. Его нужно ободрять, подталкивать — и только тогда он сможет работать. Как и многие друзья дома, я часто задавалась вопросом, что будет, когда один из супругов умрет. Гала, она-то, конечно, выживет без Дали, это женщина с сильным характером. Но я не могла себе даже представить Дали без Галы. Умри она прежде него, он покончит с собой или угаснет от тоски. Просьба Галы взволновала меня до глубины души. Какая ирония судьбы! Гала пожелала, чтобы я вышла замуж за Дали, а ведь о том же он сам просил меня несколько месяцев назад...

Однако я понимала: чем дальше, тем больше будет занимать меня собственная работа и тем меньше времени останется у меня для дряхлеющего друга. Я стала знаменитостью, давала сотни интервью, купалась в похвалах — короче говоря, превратилась в рабу славы и успеха. И уже никогда не буду той печальной, мечтательной Амандой, в которую когда-то страстно влюбился Дали. Добавлю, что средства массовой информации создавали мой уродливый, карикатурный образ, с чем мне было трудно смириться. Как только я записала второй альбом, рекламная машина закрутилась с новой силой. Я позировала в платье с вызывающими разрезами, делала шокирующие заявления на темы секса, мне приписывали тысячу любовников...

Мой альбом "Sweet Revenge" одновременно вышел в разных странах и распродавался с огромным успехом. Все развивалось слишком быстро, слишком удачно. Я получила золотые диски в Германии, Италии, Фран-

1. "Сладкая месть" (*англ.*).

Аманда Лир и Сальвадор Дали в ресторане "У Максима"

ции и Бельгии. Очень скоро я стала владелицей небольшого состояния и главой весьма прибыльной компании. Я купила квартиру, машину, первую в жизни норковую шубу — слишком длинную, слишком шикарную, слишком броскую. Я надела ее всего пару раз и сама почувствовала себя смешной. С тех пор она так и висела в чехле где-то в глубине моего гардероба. В следующее турне я поехала с настоящим спектаклем: музыканты, танцовщики, дымовые эффекты, искусное освещение; это помогло мне предстать перед публикой в самом выигрышном виде. Я пела в Цюрихе, Гамбурге, Берлине и Милане. Все крупные европейские города желали видеть мое шоу. Только одна Англия оставалась равнодушной к феномену Аманды Лир. "Нет пророков в своем отечестве". Музыке в стиле диско англичане предпочитали рок-н-ролл, и царили там панки. Дали заинтересовало новое движение, он называл их "pounks", "пунки", ведь его всегда привлекали экстремальные, революционные течения. Он делал вид, будто радуется моим успехам, однако второй альбом прослушал краем уха, а потом положил в стопку "карантинных" пластинок подле старого проигрывателя.

Вновь увиделась я с ним в Париже на Рождество. Впервые я сама оплатила счет "У Максима". И номер в отеле. Дали был совсем не в восторге от этой моей новообретенной независимости. Его чувства ко мне не изменились, однако он не мог не понимать, что я ускользаю от него, превращаясь в объект всеобщего поклонения. Куколка превратилась в бабочку и стала звездой...

В погоне за коммерческим успехом моя студия звукозаписи устроила мне турне по Соединенным Штатам. Это был сплошной кошмар, несмотря на переезды первым классом и роскошные апартаменты в гостиницах. На отдых не оставалось ни минуты. Бесконечные интервью и выступления по радио изматывали донельзя. Всего за несколько дней меня

провезли от Нью-Йорка до Чикаго и от Майами до Лос-Анджелеса. Я должна была выступать во всех дискотеках, рассказывать о своей жизни десяткам журналистов. Я совсем обессилела и уже с трудом понимала, где я, машинально отвечая всегда на одни и те же вопросы. Я вполне искренне сожалела, что основной акцент делается на моем образе pin-up[1], секс-символа. Длинные ноги и сексапильные наряды играли куда более важную роль, чем тексты песен, на которые вообще никто не обращал внимания.

Возвратившись в Европу, я едва успела заглянуть в свою квартиру. Надо было снова отправляться в путь — сниматься для телевизионных передач в разных странах. Франция, всегда немного отставшая от остальной Европы, теперь тоже распахнула передо мной двери. У меня взял интервью Филипп Бувар, и я спела в его передаче "Follow me"[2]. Однажды, когда мы с Дали выходили из ресторана "У Максима", юный посыльный бросился ко мне и попросил автографы для поваров и официантов. Обычно автографы просили у Дали. В машине он, нежно похлопав меня по руке, задумчиво произнес: "У моей Аманды появились поклонники...", однако за отеческим тоном я почувствовала легкую ревность. Дали всегда мечтал быть единственным центром притяжения — и навечно. Его двор, друзья, Людовик XIV были для него не более чем декорациями, антуражем, свитой обожателей и почитателей. Рядом с ним я оставалась такой же робкой, как прежде, и предпочитала держаться в тени, пропуская мэтра вперед.

Я снова отправилась в турне. Утоляла жажду популярности, позируя перед фотографами, которые кидались ко мне, где бы я ни появилась, не говоря уж о папарацци, подстерегавших меня на каждом шагу. Я решила отдохнуть и провела несколько дней у своего друга Стюарта, но и там меня настигли фотографы: тайно сделанные снимки напечатали итальянские журналы. А однажды меня сфотографировали, когда я прогуливалась с сыном моей подружки Анни, и репортер поведал миру, будто у меня есть ребенок от Брайана Джонса, которого я тщательно прячу! Но тот же самый журнал несколькими неделями раньше сообщил: "У нас имеются неопровержимые доказательства того, что Аманда Лир мужчина!" Издатель явно не боялся противоречий! Главное — заработать, а я поднимала тиражи. Да и для моей студии звукозаписи главным было увидеть меня на первых страницах журналов и газет. И я понемногу начинала разочаровываться в прелестях звездной жизни. Честно сказать, она обернулась для меня сущим адом. Я мечтала о тишине и покое белого патио в Порт-Льигате и наконец смогла отправиться туда. Тихий август благотворно воздействовал на Дали, и он много работал. При этом он часто ездил в Фигерас, продолжая заниматься музеем, и добавлял новые экспонаты, целью которых было еще больше эпатировать публику. Верная Людовик XIV по-прежнему регулярно его навещала. В отличие от Дали, она жаждала знать любые подробности о моих турне и пластинках.

В сентябре Дали повез меня в Барселону посмотреть знаменитый "Двор фараона", о котором твердил уже столько лет. Эта пьеса, лишенная всякого смысла, с поразительными песенками, заставила нас посмеяться от души. Дали знал наизусть все мелодии, отстукивал ногами такт,

1. Журнальная красотка (*англ.*).
2. "Следуй за мной" (*англ.*).

и у него был по-детски восторженный вид — таким я не видела метра давно. Пьеса напомнила ему молодость, безумные барселонские ночи, каталонок, за которыми они волочились вместе с Пикассо. А еще мы посмотрели сказку "Ventafochs" ("Золушка"), спектакль для детей, который он смотрел в самом юном возрасте. К тому времени я уже достаточно понимала каталанский, чтобы оценить постановки. Дали пригласил на ужин молодого актера, сыгравшего роль Прекрасного принца, поскольку, по его мнению, тот вполне подходил мне в женихи.

Мы все еще оставались в Барселоне, когда явился Гонсало в сопровождении скромного маленького человека, который хотел установить подлинность своей картины — совсем небольшого пейзажа. Дали перевернул его, чтобы проверить качество холста, с минуту изучал пейзаж и подтвердил, что тот и вправду принадлежит кисти молодого Дали и написан в 30-е годы. Беседа шла на каталанском, и мэтр засыпал вопросами вконец смущенного господина. Откуда взялась у него эта картина? Как он ее приобрел? Оказалось, владелец готов ее продать и запросил что-то около пяти миллионов песет. А Дали очень хотел вернуть себе картину, однако решил получить ее даром! А потому затеял долгие споры, в результате которых коротышка согласился обменять старый пейзажик на новую акварель. Дали удалось убедить его, что тот лишь выиграет от такого обмена, ведь картина, по словам художника, весьма посредственна. В общем, гость получил акварель, которую Дали кое-как, на скорую руку, изготовил в тот же вечер. При этом заставил визитера поклясться, что он никогда не выставит акварель на аукцион, и даже вынудил беднягу подписать соответствующую бумагу.

— Вот так! — ликовал Дали. — Картина не стоила мне ни гроша. Бывают же дураки! Ведь это маленькое чудо куда дороже акварели, которую я ему всучил! Какой восхитительный пейзаж! Я написал его, когда был еще совсем юным. Надеюсь, вы узнали, что тут изображено?

Маленькая картинка ужасно мне понравилась. Я прекрасно знала: бесполезно просить, чтобы он мне ее подарил — за все время я получила в подарок лишь несколько маленьких набросков и одну акварель, — и сказала, что хочу ее купить.

— Неужели она и вправду вам так приглянулась? — задумчиво спросил он.

— Очень. Но все зависит от цены.

— Похоже, вы теперь богаты.

— Не настолько, как принято считать.

— Вы уже стали говорить, как настоящая каталонка, — рассмеялся он. — Я предлагаю вам сделку. Пусть уж у нас сегодня будет день обменов. Я отдам вам картинку, а вы останетесь здесь еще на три дня.

— Но это совершенно невозможно. Я должна уехать завтра. Ну ладно — два дня, не больше, — с улыбкой начала торговаться я.

— Идет! По рукам! — протягивая мне раскрытую ладонь, согласился Дали.

Это оказались два самых "дорогих", самых высокооплаченных дня в моей жизни! Я расцеловала его в знак благодарности. Он приложил палец к губам и заставил меня пообещать, что я ни словом не обмолвлюсь Гале о нашей сделке. Из предосторожности я спрятала картину на самое дно дорожной сумки.

Между нами все снова стало как прежде. Здесь я была не суперзвездой с обложек итальянских журналов, а просто веселой подружкой трогательного престарелого гения. <...>

В ноябре я на пару дней поселилась в отеле "Мёрис". Насколько Дали прежде радовало, что я живу прямо напротив гостиницы, на другой стороне улицы Кастильон, настолько теперь он, похоже, был раздосадован тем, что я заняла номер этажом выше.

— Мне надо привыкнуть, — пробурчал он. — Вы же знаете, как я ненавижу перемены. А это требует времени. Все как-то необычно. И мне немного не по себе от мысли, что вы совсем рядом...

Впрочем, в ту пору у него были и другие тревоги. В конце концов он привык-таки к новой ситуации и каждый вечер провожал меня до дверей моей комнаты. Иногда он подсовывал мне под дверь нежную записочку, вырезку из газеты или пригласительный билет, после чего торопливыми шажками исчезал в коридоре. Я как-то разоткровенничалась с Галой и посетовала, что сыта по горло своим нынешним образом жизни. Она раскинула карты и увидела: меня ждут существенные перемены, долгие поездки, в моей жизни появится новый мужчина... Похоже, она куда лучше, чем Дали, понимала, насколько я устала и нуждаюсь в стабильности. Он же искренне удивился.

— Но, мне кажется, вы еще не достигли всего, чего хотели. Вы зарабатываете денежки, вы наконец-то стали знамениты, у вас полно поклонников — не пойму, чего вам еще не хватает.

Я не знала, как ему объяснить...

Теперь его салон был куда менее блистательным, чем прежде. Манекенщицы из модельных агентств обижались на то, что с ними обращаются словно с неодушевленными предметами, на высокомерие Галы, для которой они все равно что пустое место. И девушки дружно отказывались посещать гостиную Дали. Дюбарри из кожи вон лез, уговаривая своих подопечных заглянуть в "Мёрис". Верные придворные по-прежнему оставались с Дали, но — все изменилось, все было не так, как в былые времена. Бежавший в Индию косматый Карлос вновь появился — с короткой стрижкой, в костюме и при галстуке, к величайшему разочарованию Дали, который хотел видеть при своем дворе либо панков, либо людей уникальных, не похожих на прочих смертных.

Милейший Одуэн де Барбо, которого Дали окрестил Миленом Демонжо, умер от передозировки наркотиков. Я искренне горевала о нем. Дали пожелал познакомиться с Мари-Франс, очень красивой травести из "Алькасара", и попросил ее переодеться, чтобы посмотреть, может ли она послужить ему моделью. Глубоко разочарованный полным "отсутствием тайны", он больше ни разу с ней не встретился. Он находил, что весь мир стал "совершенно несносным".

Однажды вечером я попросила разрешения посмотреть телевизор, там шла передача, где я пела вместе с Мишелем Сарду. Дали повернулся к экрану спиной и, увидев, как все присутствующие уставились туда, изрек:

— Что ж, а я погляжу на вас, пока вы будете глазеть на Аманду, это куда интересней!

Заметив мое огорчение, он спохватился и добавил, что в жизни я куда красивее, чем на экране.

Как только Дали улетел в Нью-Йорк, я отправилась на остров Маврикий, чтобы пару недель отдохнуть и погреться на солнце. Таранто вос-

пользовался случаем и организовал съемки фоторепортажа дезабилье, который продал за бешеные деньги итальянскому "Плейбою" и многим другим журналам. Только мне не перепало ни гроша. Естественно, я сразу прекратила работать на его агентство. Мало-помалу я убеждалась, что в окружающем меня мире не принято вести себя корректно и честно. Последний фильм, в котором я снялась в Риме, тоже дал повод для тяжбы. Продюсеры имели наглость без моего ведома включить туда эротические сцены и продублировали мой голос. Задуманный как музыкальная комедия, фильм превратился в порнографический, где я произносила непристойные фразы голосом неведомой актрисы — да еще на немецком языке! Мне пришлось затеять долгий судебный процесс. Плюс налоги, которые требовало от меня наше правительство. Мой энтузиазм угасал с каждым днем, и мои амбиции тоже. Я чувствовала себя одинокой, не находя более в Дали той поддержки, какую он оказывал мне прежде. Я была вконец измотана, обессилена и, видимо, находилась на грани нервного срыва.

Свадебное путешествие в Беверли-Хиллз *– моя первая выставка – смерть* Галы *– подделки – последняя встреча*

Гала все верно увидела на картах. Я встретила молодого человека, душевного и с хорошими манерами, который покорил меня своей сердечностью. Ален Филипп был баловнем парижской богемы, в одночасье потерял все, что ему удалось создать и чему так завидовали окружающие. Он глубоко страдал из-за этого. Однако покорили меня не титул маркиза и не связи. Я нашла в нем нежность, утешение и сочувствие, по которым тосковала с тех пор, как мне улыбнулся успех. Мы провели вместе несколько дней в Англии, стараясь получше узнать друг друга, а потом я предложила ему сопровождать меня в Рио-де-Жанейро, где мне предстояло участвовать в шоу на бразильском телевидении. Мы отправились туда как влюбленные и после недельной идиллии — между пляжами Копакабаны и Ипанемы — решили, никому не говоря ни слова, пожениться.

После чего отправились в Лос-Анджелес. Мое агентство грамзаписи устроило нам встречу: за нами приехал самый длинный из тех белых лимузинов, какие мне довелось видеть в жизни. Все было организовано в стиле kitsch: телевизор в автомобиле, отель "Беверли-Хиллз", рестораны, куда ходят только кинозвезды... Мы радовались, словно дети, которым надарили кучу новых игрушек. Мне захотелось прикоснуться руками к отпечаткам пальцев Мэрилин Монро, а Ален Филипп ступил в следы ног Джона Уэйна; мы с ним сфотографировались в леденцово-розовом "кадиллаке" на фоне щита с огромными буквами "Голливуд".

Выйдя замуж за Алена Филиппа, я стала маркизой, и для меня началась новая жизнь. Все наши друзья, оказавшиеся в то время в Лос-Анджелесе, пришли в голливудский собор. Саша Дистель, Ричард Энтони, Твигги и Пенелопа Три разрезали огромный свадебный торт, и мы выпили шампанского с Питером Лестером, Дэвидом Хокни и знаменитым писателем Гарольдом Роббинсом, который изрек: "Брак — это только для людей избранных".

В тот же вечер я позвонила в Нью-Йорк Дали, чтобы сообщить ему о своем замужестве.

— Алло! Дали, вы меня слышите? Я звоню вам из "Беверли-Хиллз", мы проводим здесь медовый месяц, это так чудесно... Почему вы молчите?

В конце концов он выдавил из себя какие-то скомканные поздравления, однако чуть позже перезвонил и изрек:

— Вам не следовало этого делать... Короче, я хочу сказать, что вы могли бы и подождать. К чему такая спешка? Если уж и вправду любите этого молодого человека, следовало бы немного потерпеть. Гала удивлена не меньше меня...

Судя по голосу, он был действительно взволнован. На другой день он опять позвонил мне и с обычным своим напором сообщил: они с Галой хотят дать в нашу честь торжественный ужин, как только мы появимся в Нью-Йорке. Я ответила, что мы будем там через несколько дней.

А тем временем Пол Моррисси пытался организовать мне встречу с Мей Уэст, моим кумиром, которая некогда вдохновляла Дали. Она заставила долго себя упрашивать, но в конце концов уступила и согласилась принять нас и угостить чашкой чаю. В ее гостиной все было белым. Но белизна эта с годами изрядно пожелтела. Мы с любопытством разглядывали типично голливудское убранство, когда лакей, он же компаньон, доложил нам о появлении Мей Уэст. Она оказалась куда миниатюрней, чем я себе представляла, и поступь ее ничуть не напоминала легендарную развинченную походку с покачиваньем бедрами. Она тяжело опустилась в обитое белым атласом кресло и поинтересовалась, кто я такая. Пол пояснил, но она так и не вспомнила. В сущности, она уже почти ничего не помнила, забывала даты, путала имена. Ей было за девяносто, однако она продолжала скрывать свой возраст! Меня поразили ее пухленькие, унизанные перстнями ручки, а также белокурый, покрытый лаком парик. Она не дала нам позволения курить в ее присутствии. Даже самой Бетт Дэвис, и той пришлось потерпеть, со смешком пояснила Мей. Я сделала ей комплимент, восхитившись тем, как потрясающе она выглядит; и заговорила о незабываемых репликах из фильмов, для которых она сама писала диалоги. Она прямо-таки растаяла от удовольствия, заметив, что нынешние актрисы не способны на подобное и что она была уникальной и неповторимой. Да, остальные лишь подражали ей. Она была единственной натуральной платиновой блондинкой. После нее пришли Джин Харлоу, Бетти Грэйбл и всякие там Мэрилин. Я возразила, что уж Мэрилин-то была совершенно оригинальна.

— Ах, да-да! Вы правы, и эта тоже мне подражала, по пятам за мной ходила, как сейчас помню, мы с ней навещали ее папашу.

— Да нет, Мей, вы ошибаетесь, — любезно прервал ее лакей, — не может быть, чтобы вы не помнили, что это была Джин Харлоу, а вовсе не Мэрилин Монро.

Мей Уэст явно смутилась.

— Ах, вот как, — пробормотала она, — в таком случае... которая же из них была Мэрилин Монро?

Я просто дара речи лишилась. Она забыла Мэрилин Монро!

Попивая чай, мы говорили о спиритизме и экстрасенсорных контактах. Мей рассказывала, что получает *оттуда* знаки и говорит с усопшими. Я поблагодарила ее за то, что она согласилась нас принять, она расцеловала меня и пожелала удачи в музыкальной карьере. И мы оста-

Аманда Лир и Сальвадор Дали в Париже

вили ее наедине с ее химерами. На прощание, все еще держа меня за руку, она приложила украшенный огромным перстнем указательный палец к виску и добавила:

– Не забудьте, что ваш главный козырь здесь!

Я поняла, почему на Дали такое неизгладимое впечатление произвела эта замечательная, неукротимая женщина, которой удалось – благодаря уму и знанию жизни – создать такой сильный образ, пусть и немного карикатурный.

Я рассказала Дали по телефону об этой встрече, но его куда больше волновала дата нашего приезда в Нью-Йорк, чтобы они смогли организовать ужин в нашу честь. Я возразила, что он вовсе не обязан устраивать подобные празднества и, кроме того, нам уже пора возвращаться в Лондон. Я предложила перенести ужин в Париж.

– Ну нет, – возразил он, – об этом и речи быть не может. Я пробуду в Париже совсем недолго. Прием в Академию, сплошная суета... Нет-нет, момент совсем неподходящий. Приезжайте сюда немедленно! Гала умирает от нетерпения познакомиться с вашим супругом-маркизом, да и я тоже хотел бы его увидеть. Нам с вами надо много о чем поговорить...

Возможно, я просто боялась его реакции. Так или иначе, но мы приняли решение поскорее вернуться в Лондон, где я познакомила Алена Филиппа со всеми своими друзьями, которые сразу же полюбили его. Потом мы отправились в Париж, где Роже Перефитт и Луиза Вайс устроили нам ужин в ресторане "У Максима". В отличие от Дали, который с трудом скрывал недовольство, Роже Перефитт с восторгом принял наш брак и, поздравляя, нежно расцеловал меня. В качестве свадебного подарка он преподнес мне прелестную картину Гейнсборо[1] – портрет дворянина в парике и парадном платье, который я повесила в лондонской квартире.

Луиза Вайс расспрашивала меня о работе, интересовалась, как складываются у меня отношения с прессой. Позднее она не раз приглашала

1. Томас Гейнсборо (1727–1788) – английский живописец.

нас на обед. Друг моего мужа Жеральд Нанти устроил ужин, чтобы познакомить меня с Франсуазой Саган. Нас со всех сторон поздравляли и чествовали. Мне пора было снова отправляться в турне, но теперь я уже не чувствовала себя одинокой в гостиничном номере. Я сняла квартиру в Париже — в качестве временного пристанища. Хотя на самом деле мы там почти не бывали, и три четверти года она пустовала, несмотря на астрономическую плату.

Новую программу мы показали сначала в Германии, но когда я приехала в Бельгию, разгорелся скандал: меня обвинили в том, что я пою под фонограмму! Это позабавило моего мужа, который пару лет назад был продюсером одной знаменитой французской певицы, и она все концерты целиком пела исключительно "под фанеру". На самом деле позорная клевета была ловким маневром организатора концертов, который рассчитывал таким образом уклониться от уплаты причитающихся гонораров. Я — уже в который раз! — подала на него в суд. Ясно, что обвинения в мой адрес получили огласку, так что я решила нанести контрудар и потребовала, чтобы назначили судебного исполнителя, который прямо на сцене во время концерта установит, пою я вживую или нет. Так что бедняге, ни разу в жизни не поднимавшемуся на подмостки, пришлось стоять рядом со мной перед трехтысячной аудиторией в дюссельдорфском Дворце спорта. Он подписал бумагу, удостоверяющую, что я пела "не под фонограмму", однако понадобились годы, прежде чем бельгийское правосудие окончательно сняло с меня абсурдные подозрения. Хотя немецкие журналы и опубликовали копию заключения судебного исполнителя, публика, накрученная охочей до скандалов прессой, все же оставалась в сомнении, что не могло не сказаться на успехе моего турне.

С Дали я вновь увиделась в Париже и с изумлением заметила, как сильно он переменился. Он очень нервничал, готовясь к приему в Академию, кроме того, из Америки до него доходили неприятные новости. Мы навестили его в "Мёрисе" сразу после церемонии. Наряженный в новенький костюм академика, он старался хранить гордый вид, но чувствовал себя явно не в своей тарелке. Размахивая академической шпагой, он рассказывал, какое потрясающее впечатление произвело на почтенное собрание его блистательное выступление. На самом деле, если верить газетам, в произнесенной речи он снова, в который уж раз, пережевывал излюбленные сюжеты: Перпиньянский вокзал, бессмертие, монархия, Золотое руно... Казалось, что он слегка выдохся. Вид у него был озабоченный, на лице читались страх и тревога. Он побеседовал с Аленом Филиппом о его корнях, поинтересовавшись, к каким временам относится начало их родословной, не забыл спросить и о прочих деталях. Гала же, подсев ко мне, вполголоса вещала:

— Выходит, это он и есть? На первый взгляд, ничего особенного. Вы уверены, что и вправду влюблены? Честно говоря, таких хлыщей я знавала в большом количестве... и куда красивей. За десять тысяч долларов вы сможете получить все, что душе угодно. Могу познакомить...

— Ах, Гала, что вы такое говорите, — в ужасе уставилась я на нее, — я ведь вышла за него замуж, и это для меня очень серьезно. Это не какой-нибудь очередной жених. Кроме того, он вовсе не альфонс.

В ответ, понимающе покачав головой, она бросила:

— Знаете, до нас дошли о нем очень неприятные слухи. Люди, которые прежде водили с ним знакомство, говорят о нем много дурного. Так что будьте осторожны...

Оскорбленная до глубины души, я вскочила и пересела на диван к Дали.

— Знаете, у вашего мужа голова как у белька, тюленьего детеныша. Их трогательные фотографии любит публиковать "Пари-матч", чтобы добиться запрета на истребление этих животных...

Я не скрыла от него, что Гала позволила себе невероятно бестактно отозваться о моем муже.

— Ах вот как? Не может быть! — изобразил удивление Дали. — Вы уверены? Вы же знаете, Гала ни за что не стала бы причинять вам боль. Для этого она слишком сильно вас любит. Может, она просто пошутила?..

— Да нет, в ее словах было слишком много злобы, и мне искренне жаль, что она так плохо говорит о человеке, которого я люблю. Мы больше к вам не придем.

Дали попытался меня успокоить, извинялся за жену. Он всячески старался сгладить неловкую ситуацию и заставил пообещать, что я непременно приеду в Кадакес. Удивившись, я переспросила, а разве он не собирается задержаться в Париже?

— Нет, — ответил он. — Мы уезжаем завтра. Слишком много журналистов и чересчур много суеты. Мне не терпится снова оказаться дома. Хочу увидеть *ginestas* в цвету, первые серетские вишенки и поработать над своей трагедией. А вы, детка, куда теперь направляетесь и где будете петь?

— В Венеции.

— Ах! Тогда не забудьте посетить палаццо Лабиа и полюбоваться фресками Тьеполо[1], это ведь там происходил бал Бейстегуи. Я рассказывал вам про него тысячу раз.

Я рассталась с ним в печали. Пропасть между нами, очевидно, становилась все глубже. Похоже, мое замужество его огорчило и даже причинило боль, ведь он совсем не был к этому готов. В Венеции, по чистой случайности, у меня брали интервью именно во дворце Лабиа: RAI (итальянская радиотелевизионная компания) установила свои камеры прямо под божественными потолками, которыми так восхищался Дали.

По окончании моего итальянского турне мы на июнь и июль сняли виллу в Сен-Тропе. Мы делили ее с друзьями Алена Филиппа и с Тьерри Ле Люроном, который думал только об одном: как бы пойти куда-нибудь оттянуться или устроить ужин на дюжину персон. Мы ложились спать на рассвете, а днем сонно бродили вокруг нашего бассейна. Я довольно быстро устала от Ле Люрона и его попыток передразнивать Алису Саприч и, оставив друзей наслаждаться этими забавами, решила вновь заняться живописью. С некоторых пор я совсем перестала писать, хотя для меня живопись была куда важней, чем пение. Правда, я по-прежнему находилась под сильным влиянием Дали и никак не могла найти собственный стиль. Ему удалось-таки меня "кретинизировать"; и даже издалека воздействовать на то, что я делаю. Я часто думала о нем, и мы нередко перезванивались. Он интересовался, держится ли мой брак. Я знала, что они с Галой, как и многие другие, только и ждут объявления о нашем разводе. И у моих друзей, и у моей публики было такое ощущение, будто они потеряли меня в тот самый миг, как я заключила супруже-

1. Джованни Баттиста Тьеполо (1696—1770) — итальянский живописец, рисовальщик, гравер, представитель венецианской школы.

ский союз с Аленом Филиппом, над которым издевались в итальянской прессе, естественно осуждая меня за союз с ним. Но я не собиралась жертвовать личной жизнью ради сохранения привычного публике имиджа. Тем хуже для моих фанатов, тем хуже для журналистов! Я была влюблена и призрачную славу принесла в жертву мужу.

В августе Дали по обыкновению пригласил меня в Порт-Льигат. Я отправилась туда одна и провела с ним несколько дней. Мельком повидалась с Галой. Потом она уехала в Пуболь. Видимо, Дали отчитал ее, и она принесла извинения за нелестные слова в адрес моего мужа. Для нее это было унизительно, однако так пожелал Дали — во имя "наилучшей гармонии наших отношений". Он охотно говорил со мной об Алене Филиппе, допытывался, повлияло ли хоть как-то мое замужество на нашу с ним, Дали, дружбу.

— Я люблю вас не меньше прежнего, — отвечала я. — Просто вместо того, чтобы прозябать в Лондоне в одиночестве, я живу теперь там с дорогим мне человеком. Это вовсе не означает, что наша с вами любовь должна угаснуть. Ведь у вас есть Гала, и вы любите меня.

— Да, вы правы, — ответил он, — но нас с Галой связывают отношения исключительные. Ведь наш брак совсем не такой, как у прочих смертных. В нем нет ничего банального.

— Но и мой брак тоже не банален, он тоже необыкновенный, — парировала я. — Не беспокойтесь, я не собираюсь обуржуазиться.

Мы провели долгие часы в разговорах, наперебой заверяя друг друга во взаимной любви. Это было последнее безмятежное лето в его жизни.

На следующее лето, выйдя из клиники в Марбелье, он начал угасать. Мне следовало бы догадаться о том, что с ним происходит. Но целиком поглощенная своим счастьем, своими концертами, я все реже и реже звонила старому другу. Зимой у меня было турне по странам Востока, и еще я записала новый альбом. Так что в тот раз не смогла встретить Рождество вместе с ним в Париже, как встречала много лет подряд.

В начале 1980 года у него возникли серьезные проблемы в Нью-Йорке. Он обнаружил, что его делами там управляют далеко не лучшим образом, что к нему есть претензии у американских налоговых служб и что Гала давала своему Иисусу-Христу немалые суммы. Однажды утром в "Сан-Реджис" явились агенты ФБР и под угрозой судебного преследования предложили Дали покинуть пределы Соединенных Штатов. Понятно, что после подобного скандала он больше не мог там оставаться и работать. Он воспринял это как настоящую катастрофу: конец выгодных заказов, нищета, разорение. Мэтру мерещились всякие ужасы, и он впал в глубокую депрессию. Его положили в клинику в Марбелье. И вышел он оттуда без малейших признаков исцеления. У него случались приступы страха, его то и дело сотрясала нервная дрожь, он приходил в настоящий ужас от мнимых, несуществующих угроз. Сабатер, который с некоторых пор носил на поясе револьвер, клялся, что защитит его от любой опасности. Но слова помощника еще больше пугали Дали. Врачи поставили диагноз: болезнь Паркинсона — неизлечимый недуг, от которого умер его отец.

А я даже не подозревала о столь прискорбном повороте событий. Я находилась в Канне, где должна была представлять документальный фильм, снятый во время моего последнего турне. Фильм планировали выпустить на видеокассетах. Меня с головой затянуло в ту жизнь, какую ведут кинозвезды с набережной Круазетт: фотографии на ступеньках

Дворца фестивалей или на пляже, интервью. Мы обедали у моря в обществе местного мэра и Франсины Вайсвайллер, фотографы изводили меня, не давая ни минуты покоя: "Аманда, посмотрите сюда! Аманда, посмотрите туда! Пожалуйста, улыбнитесь! Еще разочек в эту сторону..." Я покинула Канн в раздражении, почти в бешенстве.

Только по радио я наконец узнала о болезни Дали. И тут же ему позвонила. Голос у него был слабым и каким-то хриплым, он поговорил со мной совсем недолго. Гала попыталась было меня успокоить, однако я почувствовала, что она очень устала и очень встревожена. Тем временем пресса публиковала фотографии, на которых Дали представал в весьма жалком виде, при этом осторожно намекалось, что Сабатер немало постарался, чтобы довести мэтра до такого состояния, что он обокрал его дочиста, что Дали остался без гроша и что Гала проиграла огромную сумму в казино. Короче говоря, куча сплетен и слухов...

Я поехала в турне по Греции, и, когда была в Афинах, мне позвонила Гала. Она сообщила последние новости: Дали не желает больше ни заниматься живописью, ни читать, ни видеть кого бы то ни было, за ним становится все трудней и трудней ухаживать. Потом она поинтересовалась, как у меня дела, и неожиданно взорвалась:

— Нет, что ни говори, не могу понять вашего успеха. Поете вы просто ужасно! Не далее как вчера я слушала вашу пластинку, такое впечатление, будто поет старый пьяница. Чем больше я думаю о таланте Джеффа, тем непостижимее мне кажется ваш успех. Да, вы себе на уме, в хитрости вам не откажешь... Читала я про вас статейки, когда ходила к местному парикмахеру. Там вы то и дело упоминаете про Дали: Дали сказал то, Дали сказал сё... В сущности, если вы и вызываете интерес, то исключительно благодаря Дали.

Меня удивил этот неожиданный выпад. Вернее, я была в шоке, однако подумала про себя, что, должно быть, у нее просто сдали нервы. Чуть позднее Дали упрекнул меня, будто в одном из интервью я злословила насчет Галы. Я не могла припомнить ни одного случая, когда дурно отозвалась бы о ней, и заверила Дали в своей полнейшей лояльности, однако он настаивал:

— Нет-нет, вы рассказывали про нее всякие гадости. Мне говорили об этом. Вам ведь отлично известно: если вы не будете уважать Галу, дружбе нашей конец!

Я без труда представляла себе все сплетни обо мне, все злобные пересуды, которые могли доходить до него. Мы все больше и больше отдалялись друг от друга, наши встречи становились совсем редкими. Той зимой в Париже он устроил представление, которое выглядело весьма убого. Судя по всему, болезнь брала свое. У него случались приступы настоящего безумия, когда он, словно бешеный, вопил и жестикулировал, а потом падал на пол и отказывался подниматься. Гала при свидетелях хлестала его тростью, осыпала оскорблениями, попрекала за то, что он больше не может работать и уже ни на что не годен. Описания отвратительных сцен с удачно подобранными фотографиями Дали, которого при выходе из ресторана поддерживают прохожие, наводняли страницы газет и журналов. Как могло случиться, что Дали, которым я так восхищалась, мой друг и наставник, превратился в столь жалкое, опустившееся существо? Сабатер был, наконец-то, отстранен от должности, и его место занял граф Дюбарри по прозвищу Правдивый, который исполнял при нем обязанности секретаря и вел деловые переговоры. Да-

ли был уже не способен поставить свою подпись, и для удостоверения подлинности его работ приходилось довольствоваться отпечатком большого пальца мэтра. Он боялся всего, отказывался принимать друзей и кричал как дикий зверь, едва при нем произносили слово "контракт". Он был неузнаваем — похудевший, с седыми усами и тусклым взором. Я страдала от того, что ничем не могу ему помочь. После всего, что он сделал для меня за последние пятнадцать лет, я очень хотела поддержать его, быть хоть чем-нибудь полезной. Во всех европейских городах, где мне доводилось петь, я связывалась со специалистами по болезни Паркинсона. Однако, с одной стороны, Дали не желал обращаться в их клиники, с другой, Гала относилась к ним с пренебрежением — обругала одного, не пустила на порог другого... Она утверждала, что американские медики намного превосходят европейских! Время от времени Гала звонила мне и подолгу жаловалась на отсутствие у Дали воли, на то, что он не хочет лечиться, не хочет бороться. Она говорила, что у нее нет больше сил, что она готова его покинуть. Однажды по телефону она буквально умоляла меня прийти ей на помощь:

— Вы наша единственная настоящая подруга, вы нужны мне. Приезжайте! Знаю, он не захочет, чтобы вы видели его в таком состоянии, но я поговорю с ним и попытаюсь убедить.

Однако Дали перехватил трубку.

— Нет-нет, не хочу, чтобы вы видели меня сейчас. Пусть у вас сохранится тот образ, который уже запечатлен в вашей памяти. Не хочу разочаровывать вас. Ни за что! Этого я не перенесу.

Однажды Гала позвонила мне вся в слезах. Мне было ее безумно жаль. Я слышала, как она рыдает, и словно видела ее перед собой — такую маленькую, такую беззащитную.

— Вот как печально мы кончаем, — посетовала она, — как отвратительно...

Она уже больше не знала, к кому обратиться за помощью.

— Мне так хочется отдохнуть, но Дали не отпускает меня ни на минуту. Я даже к парикмахеру сходить не могу, вообще не выхожу из дома, и сил больше нет...

Я понимала ее отчаяние, воображала тяжкие сцены, которые устраивал ей Дали. Он никогда не принадлежал к числу людей, легких для окружающих, а теперь, должно быть, общение с ним превратилось в настоящий кошмар. Он не виделся ни с кем, кроме своего кузена Гонсало, фотографа Дешарна и художника Антонио Питхота. Когда Дюбарри приносил ему на подпись какой-нибудь контракт, Дали обсуждал его с Галой, и всегда сомневался, достаточно ли выгодна сделка, хотя и утверждал, что их финансовое положение не так уж плохо. Ничего катастрофичного!

В сентябре я улетела в Нью-Йорк, где должна была петь в гигантской дискотеке "Сент", расположенной в квартале Гринич-Виллидж. Я летела на "Конкорде", и в том же самолете оказался президент Жискар д'Эстен, который удивил меня своей любезностью. Вот уж никогда не думала, что известна государственным деятелям такого ранга. Мои выступления в Нью-Йорке стали настоящим триумфом. Концерт привлек целые толпы молодежи, и я провела там несколько восхитительных, незабываемых дней. Из Далласа, из Сан-Франциско, отовсюду приходили поздравительные телеграммы. Мне предлагали все новые и новые контракты. Я встретилась с Майклом Стаутом, адвокатом Дали, и мы долго с ним бе-

седовали. Служащие отеля "Сан-Реджис" расспрашивали о художнике, его там не забывали. Я позвонила мэтру и сообщила, что теперь стала звездой и по другую сторону Атлантики. Гала поинтересовалась, скоро ли я вернусь. Мною вновь овладело чувство вины. Ведь я покинула их, когда они больше всего во мне нуждаются. Однако я хотела оставаться на сцене, у меня были обязательства перед публикой, людьми, которые покупали мои пластинки. Что делать?

Первая выставка моих картин прошла в октябре, в небольшой галерее в Роттердаме, где я показала полтора десятка полотен. Сколько же лет пришлось мне ждать этого события! Вдохновленная благожелательными отзывами в печати, я решила всерьез заняться живописью и сняла небольшую галерею в квартале Сен-Жермен-де-Пре. Мне не хотелось устраивать выставку на улице Фобур-Сент-Оноре, ведь туда публику привлекало бы имя известной певицы, а мне хотелось предстать скромной дебютанткой, желавшей добиться признания именно в качестве художницы. Отзывы арткритиков в печати были вполне благосклонны, хотя все отмечали явное влияние Дали. Чего же тут странного: он был моим учителем. Представляю, как мэтр был бы удивлен, узнав, что я выставляю свои картины, ведь он всегда утверждал, что женщины лишены таланта. Однако так уж случилось, что благодаря ему мне удалось развить талант, который, возможно, все-таки был дарован мне от природы. Когда я продала свою первую картину невысокому господину с бородкой, который никогда прежде обо мне не слышал, я с трудом удержалась, чтобы не расцеловать его. Он покупал картину только по той причине, что она ему пришлась по душе, а вовсе не потому, что ее нарисовала знаменитая певица. И это событие принесло мне куда больше радости, чем первый золотой диск. Успех выставки страшно меня обрадовал. Роже Перефитт написал отличный текст для пригласительных билетов. В благодарность я подарила ему маленькое полотно, где был изображен Александр Великий. Его друг Ив Брейе предложил мне участвовать в Осеннем салоне в Гран-Пале. Я послала туда большое солнечное полотно — портрет Алена Филиппа, который повернулся к зрителям спиной. Я написала его в Таормине, во время последнего турне по Сицилии. Путешествие, надо сказать, было незабываемым — у нас украли целый грузовик, в котором находились мои сценические костюмы и наши музыкальные инструменты!

Той зимой мне предложили турне по Латинской Америке, и новый опыт глубоко меня разочаровал. Дали часто повторял, что ненавидит эти страны с дурно усвоенной испанской культурой, ненавидит их фольклор и чересчур яркие, кричащие краски. У него никогда не было желания посетить те края. А я увидела, в первую очередь, величественные пейзажи. Я пела в Чили, Коста-Рике, Панаме, Эквадоре. В чудовищных залах и в ужасных условиях. После окончания турне бесследно исчез, не заплатив нам ни копейки, наш аргентинский импресарио, и нам пришлось самим оплачивать обратные билеты.

После этого кошмара я решила воздержаться от дальнейших турне и больше времени посвящать живописи. Я начала судебный процесс против своей студии грамзаписи, и в тот год не вышло ни одного моего альбома. Так что у меня вдруг появился досуг, и можно было заняться картинами. Я писала в Провансе, куда отправилась на отдых.

От Галы поступали печальные новости о Дали. Он наотрез отказывался от пищи, все больше худел, дрожь усиливалась. Гала измучилась, плохо себя чувствовала. В последний раз она мне звонила в июне, и наш

разговор то и дело прерывался ее надрывным кашлем. Она едва держалась на ногах, и я сказала:

— Послушайте, Гала, я приеду и постараюсь помочь. Вам необходимо отдохнуть. Только подумайте, что будет с Дали без вас.

Она пробормотала, что считает меня другом, что я не забываю ее, но главное, чтобы я не забывала о своем обещании. Несколько дней спустя Дюбарри сообщил мне, что Гала скончалась. Она умерла в Порт-Льигате, откуда ее перевезли в Пуболь и там положили в стеклянный саркофаг. Дали не хотел, чтобы ее закопали в землю. Такое решение несколько противоречило законам, но на это закрыли глаза.

Я послала огромный венок и заверила Дали в своей неизменной нежности. Он поблагодарил меня, а я попыталась его утешить:

— Не грустите, мой милый Дали...

— Милого Дали больше нет, — перебил он меня, — все кончено. Теперь все кончено...

* * *

Год спустя после кончины Галы Дали по-прежнему жил затворником в замке Пуболь. Он не виделся ни с кем, кроме художника Питхота, который навещал его каждый день. Артуро ежедневно проделывал путь между Кадакесом и Пуболем. Я время от времени звонила Дали, пытаясь узнать новости, однако он почти никогда не брал трубку, а если и подходил к телефону, был весьма немногословен. Зато мне удавалось подолгу беседовать с Артуро и Питхотом, которому Дали часто рассказывал обо мне. Он сказал ему: "Аманда была единственной, кто не действовал мне на нервы". И еще попросил Питхота передать мне устную весточку: "Когда увидитесь с Амандой, не забудьте сказать, что я вот-вот найду золотой ключик!" Это было зашифрованное послание, которого не понял Питхот и которое растрогало меня до слез.

Капитан Мур, его бывший секретарь, устроил в Перпиньяне, во Дворце королей Майорки, большую выставку произведений Дали из своего личного собрания. Он позвонил мне, чтобы пригласить на вернисаж, но я не смогла приехать. И вдруг до меня дошла поразительная весть: Дали объявил несколько картин подделками и потребовал, чтобы их немедленно сняли с экспозиции. Разгорелся громкий скандал. Дали подал на Капитана в суд, обвинив в подделке его картин. В ответ Капитан заявил, что самый крупный фальсификатор всех времен и народов — сам Дали, и у Капитана в руках есть неопровержимые доказательства тому, что Дали ставил свои подписи на картинах, которых не писал. Власти наложили на картины секвестр. В каталоге значилась "Аманда в позе Анжелики" — ее Дали тоже объявил подделкой. Комиссар перпиньянской полиции обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность полотна, ибо Капитан утверждал, будто видел, как я позировала. Помнится, Палома Пикассо призналась мне, что после смерти отца без конца занимается тем, что удостоверяет подлинность его произведений и заносит их в каталоги. Капитан настаивал, что картина, на которой была изображена я, — подлинник, "хотя Гала из ревности порвала ее, и пришлось ее склеивать". Последнее, надо сказать, показалось мне весьма маловероятным. В полиции нам сообщили, что на оригинале полотна, который хранится в музее Фигераса, я стою, выдвинув вперед правую ногу, а вовсе не левую. В конце концов Дали с Капитаном пришли к согласию, и с выставки были сняты всего две-

три картины. Однако истории с подделками, сомнительными литографиями и подписями под чистыми листами, о которых столько писали в прессе, нанесли репутации Дали непоправимый ущерб. У него были весьма дурные советчики, и он совершил немало серьезных ошибок, к которым его подталкивала ненасытная жадность окружающих людей.

Я была шокирована, узнав, что в продаже появились футболки с растекающимися часами и его подписью, и еще шнурки для ботинок с его именем! Возможно, он и не знал обо всем этом, уединившись в замке Пуболь, безразличный ко всему на свете. Он отказался принять даже членов своего фонда, специально приехавших на автобусе, чтобы поприветствовать кумира. Пришлось буквально тащить его к окну, и появившаяся за стеклом иссохшая фигура до слез растрогала прибывших друзей.

Я увидела его еще один раз, всего один. Я выступала в телепередаче в Мадриде, и там впервые рассказала о своей живописи, показала небольшую картину и даже дала какие-то пояснения. Я воспользовалась кратким пребыванием в испанской столице, чтобы вновь полюбоваться обожаемыми мной полотнами Патинира[1] и "Менинами". На другой день я отправилась в Барселону, где грандиозная ретроспективная выставка Дали била все рекорды по числу посетителей. Качество представленных работ было высочайшим, но... Многое выглядело довольно странно. Всем дамам предписывалось оставлять в гардеробе сумочки — мера, на которую никогда не решались даже в музее Прадо. Неужто так велики были опасения за сохранность шедевров Божественного Дали? Барселона, которую я не видела три года, ничуть не изменилась, и портье в "Ритце" спросил меня, как дела у сеньора Дали. Я позвонила его кузену Гонсало Серраклара, и тот рассказал мне, что Дали не пустил его на порог и не велел пускать Людовика XIV. Мы больше ничего не могли для него сделать, он никого не желал видеть. И все же я заказала автомобиль и в тот же день после полудня отправилась в Пуболь, так что добралась до места к пяти вечера. Деревушка ничуть не изменилась, там все так же воняло коровьим навозом, не изменился и замок, разве что парадный вход, двери которого я привыкла видеть широко распахнутыми, теперь был наглухо закрыт. Я вызвала Артуро. Тот, увидев меня, бросился обнимать. Он немного постарел, но, как и прежде, был загорелым. Я спросила его, как поживает Пакита, кухарка. В ответ Артуро печально покачал головой:

— Ах, сеньорита! Здесь все переменилось, все совсем не так, как прежде. Que desgracia! (Какое несчастье!) Даже не знаю, пожелает ли он вас принять. Его ведь теперь не узнать, хуже зверя стал.

Мы вместе поднялись по заросшим мхом ступенькам, ведущим к входу, у меня перед глазами выросли чудовищные гипсовые слоны на кривых аистовых лапах, изготовленные Дали для Галы, бассейн, украшенный керамическими бюстами Вагнера. Артуро попросил меня обождать в "белом" зале. Я подняла глаза вверх. Оттуда, с фрески, написанной на полотне, которое потом приклеили к потолку, на меня смотрела Гала, окруженная ласточками. Я заметила, как мимо прошмыгнула медсестра, глянув на меня с нескрываемым любопытством. Наконец вернулся Артуро со словами:

1. Иоахим Патинир (между 1475 и 1480–1524) — нидерландский живописец, один из основоположников европейской пейзажной живописи.

— Он только что проснулся после сиесты. Я сказал ему, что вы здесь, но он мне не поверил. Лежит на полу и никак не желает подниматься. Прямо не знаю, что и делать.

Я попросила его попробовать еще раз убедить Дали, что я пробуду с ним совсем недолго, всего лишь минуту-другую, ровно столько, сколько надо, чтобы обнять его. Я понимала: ему стыдно показаться передо мной таким, каким он стал, дряхлым и больным. И пообещала, что не стану на него смотреть. Прошло немало времени, прежде чем вновь появился Артуро, на сей раз с улыбкой на лице. Дали изъявил согласие принять меня, но на одну минуту и в полной темноте. Я не должна ни видеть его, ни рассказывать о нашей встрече журналистам.

Я прошла в гостиную, украшенную стараниями Галы. Окна были наглухо зашторены, и я едва разглядела во тьме рояль, покрытый подушками красный диван, а рядом круглый столик на страусиных лапах с прозрачной стеклянной поверхностью, через которую можно было видеть конюшню, что располагалась этажом ниже.

Дали восседал в кресле, я могла различить лишь его силуэт. Выходя, Артуро плотно затворил за собой дверь, и только пробивающаяся из-под нее узкая полоска света позволила мне увидеть, что на мэтре домашний халат. Я уселась на диван, лицом к стене, которую полностью закрывало нарисованное им панно — оно скрывало от глаз установленный там Галой радиатор. На панно изображался тот же самый радиатор, его скрупулезно, в мельчайших подробностях воссоздал старательный Беа, а Дали завершил.

Мы сидели молча, потом я, изо всех сил стараясь говорить как можно тише и нежней, чтобы не спугнуть его, произнесла:

— Добрый день, мой милый Дали. Я приехала сюда из Барселоны, всего на минутку, чтобы поздороваться с вами и напомнить, что я вас не забыла. Потом я на машине поеду в Перпиньян, вы ведь помните, что я каждый год непременно проезжаю через Перпиньян?

Мне показалось, что он кивнул головой. Он выглядел таким маленьким, таким исхудавшим.

— Ваши волосы, — слабым, хриплым голосом, почти испугав меня, вдруг проговорил он, — вы снова остригли волосы...

— О, разве что чуть-чуть, — непринужденно ответила я, — совсем немножко. Они чересчур уж отросли.

— Мне больше нравились... длинные. Вы меня видите? — внезапно встревожился он.

— Нет, не волнуйтесь, я совсем ничего не вижу. Здесь слишком темно. Почему вы не выходите, Дали? Там, снаружи, такое чудесное солнце...

Я стала напевать по-каталански песенку, которой когда-то научил меня он: "Sol soulet vine ma veure, vine ma veure..."[1]

— Нет-нет, — оборвал меня он. — Никакого солнца, никаких песен. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Велите им, чтобы мне не докучали.

Потом, с еще большей горячностью, добавил:

— Все мне осточертели. Все без исключения. И всегда действовали мне на нервы. Не хочу больше. А вы по-прежнему поете?

— Да, разумеется, пою. Надо же как-то зарабатывать себе на жизнь, но главное, я много занимаюсь живописью, много пишу... Все, чему вы меня научили...

1. "Солнышко-солнце пришло на меня взглянуть, пришло на меня взглянуть..." *(каталанск.)*

Я была благодарна судьбе, что мы сидим в темноте, и он не может увидеть моих слез...

– Какая жалость. Лучше бы вам не петь и не писать картин. Мне хотелось, чтобы вы стали принцессой и никогда не занимались искусством. Это принесет вам одни страдания...

Мы хранили молчание, сидя в темноте, лицом к лицу. Я слышала его дыхание, различала, как он ворочается в своем кресле. Уходя, я не смогла сдержаться и пробормотала на прощанье:

– Я так любила вас, Дали, если бы вы знали, как сильно я вас любила...

Он ответил мне едва слышно, на одном дыхании:

– Yo tambien[1].

Он взял меня за руку и сжал ее так сильно, что мне стало больно. И еще я почувствовала что-то твердое в его ладони, и это что-то он пытался сунуть мне в руку. Я быстро сжала кулак, а он сказал:

– Теперь уходите. Мне надо остаться одному. Я чувствую, что это снова подступает. Да хранит вас Бог. Прощайте.

Я открыла дверь, не оборачиваясь назад, мне не хотелось стать свидетельницей душераздирающего зрелища, видеть, как это старое, высохшее, как мумия, тело рухнет во тьме наземь, моля о смерти, которая все никак не приходит, моля о покое. Я почти бегом выскочила из дома, по щекам у меня струились слезы.

Лишь оказавшись на улице, под теплыми лучами июльского солнца, я разжала ладонь, чтобы посмотреть, что вложил в нее Дали, его последний подарок. Это был деревянный амулет Галы, маленький, приносящий удачу кусочек дерева, с которым она, как и он со своим, не расставалась десятки лет. Теперь, когда удача отвернулась от них обоих, он передал мне самое ценное, что было у него на свете.

1. Я тоже *(исп.)*.

Ольга Вайнштейн

Три этюда о денди

Об исторических оттенках вульгарности

“В *высоком лондонском кругу зовется ‘vulgar’...*”

В восьмой главе “Евгения Онегина” Пушкин говорит о Татьяне:

> Никто бы в ней найти не мог
> Того, что модой самовластной
> В высоком лондонском кругу
> Зовется “vulgar”. (Не могу...
> Люблю я очень это слово,
> Но не могу перевести;
> Оно у нас покамест ново
> И вряд ли быть ему в чести.
> Оно б годилось в эпиграмме...)

Известная неуловимость смысла слова “vulgar” во многом сохранилась и после Пушкина. Действительно, как точнее определить “вульгарный”? Ведь это понятие старинное и исторически изменчивое. Словарь Даля объясняет слово “вульгарный” как ‘пошлый, тривиальный, простой, грубоватый, дурного вкуса’. Современный английский словарь тезаурус Роже дает на “vulgarity” следующие аналоги: ‘плебейство, плохое воспитание, дурной вкус, неделикатность, моветон, филистерство, варварство, провинциализм, нарочитость’. К слову “vulgar” приводятся синонимы: ‘топорный, грубый, неэлегантный, неуклюжий, вызывающий’ и т. д. Как видим, доминируют весьма негативные оценочные значения.

Между тем изначальный смысл вульгарности — доступность, что вытекает из этимологии: латинское прилагательное “vulgaris” означает ‘обычный, повседневный, общедоступный, простой, простонародный’; существительное “vulgus” — ‘народ, масса, множество, стадо, толпа, простонародье’. Буквальный смысл “vulgaris” — ‘доступный для масс’. Vulgata — так назывался “доступный” перевод Библии на латынь, выполненный Иеронимом (404 год) и впоследствии ставший каноническим вариантом для римской католической церкви (1592—1605). Вульгарная латынь — народный вариант латыни, бытовавший и в древности, и в

© О. Вайнштейн, 2004

Средние века. Публичность, популярность, массовость — таковы исконные и вовсе не отрицательные трактовки "vulgaris".

В трагедии "Гамлет" мы находим в наставлениях Полония Лаэрту знаменательную строку, демонстрирующую употребление слова "vulgar" в шекспировское время:

> Be thou familiar, but by no means vulgar[1].

В шекспировскую эпоху "vulgar" не значило 'пошлый' в современном понимании: глоссарий Онионса дает значения 'of the common people, commonly known or experienced, ordinary, public'[2].

Негативные смысловые оттенки "вульгарности", более близкие к современному толкованию, складываются в XVIII веке, когда в период буржуазных революций европейская аристократия утрачивает доминирующие позиции и на сцене появляются новые претенденты на социальное лидерство — выходцы из низов, состоятельные буржуа. Это — "другие", которые не владеют азбукой светского поведения и, будучи людьми простого звания, тем не менее желают казаться сливками общества. Вот тогда понятие вульгарности приобретает оскорбительный смысл — аристократы вкладывают в него весь сарказм в адрес незваных конкурентов.

Так складывается емкая смысловая оппозиция аристократического и буржуазного кода поведения. В более опосредованной "мягкой" форме она бытует как противопоставление светских и вульгарных манер, что необязательно каждый раз прямо увязывается с благородным или низким происхождением.

Этот базовый смысл вульгарности, сложившийся в культуре XVIII века, варьируется в разнообразных описаниях дурных манер. Довольно подробный очерк вульгарного поведения можно найти у лорда Честерфилда[3]. Вульгарность для него — продукт дурного воспитания. Благородное происхождение само по себе не гарантия от вульгарности: вульгарные манеры молодые люди могут перенять в школе или от слуг.

Лорд Честерфилд достаточно подробно перечисляет ряд черт вульгарного человека. Так, "человек вульгарный придирчив и ревнив, он выходит из себя по пустякам, которым придает слишком много значения..." Напротив, человек светский выше мелочей, "он никогда не принимает их близко к сердцу и не приходит из-за них в ярость, если же где-нибудь и сталкивается с ними, то готов скорее уступить, чем из-за них пререкаться". Вульгарному человеку всегда "кажется, что его третируют, о чем бы люди ни разговаривали, он убежден, что разговор идет непременно о нем: если присутствующие над чем-то смеются, он уверен, что они смеются над ним". Эта сосредоточенность на собственной персоне приводит к тому, что "больше всего он любит говорить о своих домашних делах, о слугах, о том, какой у него заведен дома порядок, и рассказывать всякие анекдоты о соседях, причем привык обо всем этом

1. "Будь прост с людьми, но не запанибрата". Акт I, сцена 3-я. Перевод Б. Пастернака в данном случае гораздо точнее перевода М. Лозинского: "Будь прост с другими, но отнюдь не пошл". Это как раз привнесение более позднего смысла, на что обратил мое внимание Айдын Джебраилов.
2. 'простонародный, общеизвестный, обычный, общественный' — в кн.: C. T. Onions. A Shakespeare Glossary / Enlarged by R. D. Eagleson. — Oxford: Clarendon Press, 1986, p. 310.
3. Филип Дормер Стенхоп Честерфилд (1694—1773) — английский политический деятель, публицист, автор "Писем к сыну". Цит. по: Честерфилд. Письма к сыну. Максимы. Характеры / Перев. А. М. Шадрина. — Л.: Наука, 1971.

говорить с пафосом, как о чем-то необычайно важном. Это кумушка, только мужского пола". "Еще один характерный признак дурного общества и дурного воспитания — вульгарность речи. Человек светский всеми силами старается ее избежать. Пословицы и всякого рода избитые выражения — вот цветы красноречия человека вульгарного. Сказав, что у людей различные вкусы, он захочет подтвердить и украсить свое мнение какой-нибудь хорошей старинной пословицей, как он это почтительно называет, например, "На вкус и цвет товарища нет"... У него всегда есть какое-то одно облюбованное словечко, которое он употребляет на каждом шагу... он говорит, например, ужасно сердитый, ужасно добрый, ужасно красивый и ужасно безобразный". Сюда же можно отнести пристрастие вульгарных людей к иностранным словам, с помощью которых они стремятся блеснуть своей ученостью, но, как правило, безнадежно путаются в заимствованиях. Вульгарный человек не умеет вести себя в светском обществе и отличается особой неуклюжестью в обращении с самыми простыми вещами — тростью, шляпой, чашкой кофе. Он даже не умеет изящно носить собственный костюм. "Сама одежда, принятая в светском обществе, тяжела и затруднительна для человека вульгарного... Платье настолько плохо сидит на нем и так стесняет его движения, что он больше похож на пленника его, нежели на владельца".

Итак, вульгарного человека, по Честерфилду, отличают: скандальность, раздражительность, неуступчивость в мелочах; эгоцентризм, выпячивание собственного "я" и привычка с пафосом говорить о себе; пристрастие к пословицам, избитым выражениям и иностранным словам; неуклюжесть, неумение элегантно носить одежду.

Если искать общее в перечисленных признаках, то легко заметить, что такой человек стремится произвести выгодное впечатление слишком грубыми и прямыми, общедоступными средствами. Отсюда и пристрастие к заемной мудрости, и пафосный рассказ о своих домашних делах. У вульгарного человека отсутствует культура дистанции, косвенного, опосредованного высказывания. Это самая трудная часть этикета, требующая дисциплины чувств и мыслей, — именно поэтому вульгарный субъект нетерпим и не умеет сдерживаться, дает волю своим эмоциям. Это прямо противоречит классической заповеди дендистской невозмутимости, восходящей к джентльменскому кодексу чести.

Вульгарный человек не ощущает нюансов в отношениях с другими людьми, а как раз именно это свойство — решающее для джентльмена: способность встать на место "другого". Неслучайно известный английский проповедник Джон Генри Ньюмен[1] дал такое лаконичное определение джентльмена: "Тот, кто никогда не причиняет боль другим". Вульгарный человек соответственно не чувствует границы не только в сфере этического, но и физического: он не умеет наилучшим образом расположить свое тело в пространстве, следствием чего являются нелады с одеждой и вещами.

Замечательный портрет вульгарного человека дан в романе Эжена Сю "Парижские тайны" (1842—1843). Это герцог де Люсене, о котором говорится: "Я не знаю человека более несносного, чем он. Порой он держится так вульгарно, так громогласно хохочет над своими глупыми

1. Джон Генри Ньюмен (1801—1890) — английский религиозный деятель, теолог, публицист.

анекдотами, поднимает такой шум, что у собеседника голова идет кругом; если у вас имеется флакон или веер, которыми вы дорожите, смело защищайте их от его посягательств, ибо он ломает все, к чему ни прикоснется, и делает это с видом бесшабашным и самодовольным"[1]. Поведение герцога де Люсене на балу полностью оправдывает эту характеристику. За сравнительно небольшой отрезок времени он успевает сделать кучу несообразных вещей: помять свою шляпу, опрокинуть на себя декоративное растение, развинтить флакон духов у собеседницы и сказать "комплимент" даме: "Сегодня вечером на вас тюрбан, похожий на старую форму для торта, изъеденную ярью-медянкой". Эти действия позволяют понять простой закон: вульгарность, как правило, агрессивна.

Интересно, что окружающие сносят все эти эпатирующие выходки достаточно терпеливо, поскольку герцог принадлежит к старинному аристократическому роду и его знатное происхождение якобы дает ему право на скандальные жесты. Но оно не спасает его от обвинений в вульгарности, ведь дело не сводится к нарушению светского этикета. Денди тоже не раз нарушали условности, разница заключается в стиле. О не понравившемся фасоне шляпы истинный денди тоже мог бы сказать нечто нелицеприятное, но остроумно и элегантно. Физическая неловкость герцога, коррелят неловкости моральной, — живой пример, подтверждающий честерфилдовские наблюдения относительно причин неумелого обращения с вещами. Наконец, шутки герцога де Люсене поражают однотипностью и барочной избыточностью — его "слишком много", что тоже немыслимо для денди, точно "дозирующего" свое присутствие в светском обществе и свои "bon mots".

Герцог де Люсене вульгарен в силу своего несносного характера и дурного нрава, то есть причин субъективных, но существуют и объективные параметры вульгарного поведения. Они связаны в первую очередь с социальными сдвигами в обществе, и прежде всего с уже упоминавшимся противостоянием аристократии и буржуазии. В XIX веке оно смягчилось, поскольку происходило скорее слияние двух элит, и понятие "вульгарности" весьма эффектно подчеркивало нарушения кодекса светских манер буржуазными парвеню.

С точки зрения аристократа, вульгарный человек — выскочка, стремящийся повысить свой социальный статус. Но выскочки, проникшие в ранее недоступные круги светского общества, обречены на подражание, чтобы влиться туда и стать "своими". Форсированный подражательный импульс как раз и выдает в них чужаков: они лезут из кожи вон и частенько перегибают палку, в результате утрачивая естественность манер.

Английский эссеист Уильям Хэзлитт в 1821 году определял вульгарность именно через этот признак: "Суть вульгарности состоит в том, что человек заимствует готовые манеры, поступки, слова, мнения непосредственно от других, не прислушиваясь к собственным чувствам и не взвешивая ценность заимствованного в каждом отдельном случае".

Почти слово в слово повторяет эту мысль Бульвер-Литтон в своем романе "Пелэм", появившемся в 1828 году. Его героиня-аристократка тоже видит главный признак вульгарности в подражательности, приводящей к искусственности манер: "Вот основная причина того, что у нас ма-

1. Э. Сю. Парижские тайны. Т. 1. / Перев. О. Моисеенко и Ф. Мендельсона. — М.: Худож. лит., 1989.

неры лучше, чем у этих людей: у нас они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них — искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным. Самобытная вычурность иногда бывает хорошего тона; подражательная — всегда дурного"[1].

Леди Пелэм также предостерегает сына (перед его возвращением в Англию из Парижа) от чрезмерного увлечения французскими выражениями, что совпадает с честерфилдовским предостережением против пристрастия к пословицам и иностранным словам. Вариант сходного речевого поведения — эвфемизмы, сложные описательные фигуры вместо простых выражений.

Вычурность речи имеет прямой аналог в стиле одежды. Вульгарный человек часто обнаруживает склонность перегружать костюм украшениями, деталями, чтобы соединить в нем все "самое лучшее" одновременно, и не замечает суммарного эффекта несообразности[2]. Он всегда старается быть одетым по последней (в его понимании) моде, причем так, чтобы это обязательно заметили окружающие. Вульгарный франт увлекается яркими, кричащими цветами ткани, броскими или явно дорогими аксессуарами. Но за этим стоит скрытая неуверенность в собственном статусе среди людей, на которых он хочет произвести впечатление.

Подлинный денди, напротив, всегда более чем уверен в своих правах светского лидера, и его костюм, как правило, отличается экономностью выразительных средств, изящной простотой, что создает эффект "заметной незаметности" (conspicuous inconspicuousness). Это антипод вульгарности решительно во всем: "Денди не может быть вульгарным", — гласит известное изречение Бодлера.

Подражательная вычурность как синоним вульгарности легко прослеживается и на уровне манер. Преувеличенная мимика и жестикуляция, форсированное выражение удивления, ужаса или восторга традиционно служили мишенью для сатириков, достаточно вспомнить многие карикатуры Джорджа Крукшенка[3]. И неслучайно тот же Хэзлитт, обладавший весьма язвительным умом, связывал вульгарность с аффектацией (affectation — 'жеманность, вычурность, неестественность, искусственность, притворство, неискренность').

Именно "аффектации" начисто лишена пушкинская Татьяна:

1. Э. Бульвер-Литтон. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена / Перев. А. Кулишер и Н. Рыковой. — М.: Правда, 1988.
2. "На богатых, но недостаточно культурных купчихах дорогие туалеты, выписанные из лучших парижских, лондонских или венских фирм, теряли свое изящество. Происходило это и от неумения их носить, и от обилия слишком богатых украшений (бриллиантовая брошь или ожерелье в несколько нитей крупного жемчуга к обычному дневному, даже летнему платью), и от какой-нибудь детали, добавленной от себя для пущей нарядности... Заботясь только о том, чтобы превзойти окружающих роскошью и нарядностью, эти женщины выбирали самые модные и сложные фасоны, не считаясь со своей внешностью... и приказывали нашить побольше дорогой отделки — гипюра, кружева, стекляруса, бахромок и т. д. К такому платью, негармоничному по линиям, цвету, отделке, одни купчихи одевали ультрамодную обувь... другие, не желая себя стеснять, надевали прюнелевые или сафьяновые ботинки на небольшом каблучке, с резинками по бокам или со шнуровкой, такого же фасона, какие носили работницы. Эти ботинки не мешали купчихе надеть шляпу, на тулье которой горкой возвышались украшения, и модную накидку, взять в руки яркий шелковый зонтик с оборкой и бантом, золотой лорнет (для интеллигентности) и обязательно ридикюль, большей частью бисерный..." Е. Берман, Е. Курбатов. Русский костюм. Т. 5. / Под ред. В. Рындина. М.: ВТО, 1972.
3. Джордж Крукшенк (1792–1878) — английский иллюстратор и карикатурист.

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)[1]

Хороший тон – comme il faut, которым обладает пушкинская героиня, порождает удивительный парадокс: при полном соблюдении светских условностей человек кажется максимально естественным. Это и есть вернейший признак отсутствия вульгарности (с той или иной поправкой на историческую изменчивость культурных правил).

Но от чего же зависит та тончайшая мера "естественности", которая расценивается в том или ином кругу как нормативная? Ведь после трудов видного историка нравов Норберта Элиаса[2] мы уже не можем говорить о неких неизменных этикетных нормах, даже когда речь идет о простейшем регулировании физиологических функций или поведенческих нормах. Предположим, что "естественность" – это адекватность реакций в данном месте и в данное время. Подобная адекватность и будет благожелательно восприниматься окружающими как отсутствие "аффектации". А на самом деле за этим скрывается чисто этикетная условность, которая действует внутри данной социальной группы. И тогда знание этой меры – вопрос культурного опыта и ситуативного чутья.

Сошлемся на рассуждения Марселя Пруста, который неоднократно писал об аристократических манерах и, в частности, об особой естественности светских людей:

Благодаря верности вкуса – не в области прекрасного, а в области поведения, человек светский в самых непредвиденных обстоятельствах мгновенно улавливает, подобно музыканту, которого просят сыграть незнакомую ему вещь, какие чувства нужно сейчас выразить, с помощью каких движений, и безошибочно выбирает и применяет технические приемы; кроме того, верность вкуса дает светскому человеку возможность проявлять его, не руководствуясь посторонними соображениями, а ведь именно эти соображения сковывают стольких молодых буржуа, во-первых, потому что они боятся, как бы их не подняли на смех за несоблюдение приличий, а во-вторых, потому, что им не хочется показаться своим друзьям чересчур уж угодливыми[3].

В прустовском романе отчаянный денди Сен-Лу, элегантно пробегающий по спинке скамьи через весь ресторан единственно для того, чтобы укутать своего друга Марселя в теплый плащ, не боится показаться чересчур угодливым. А "верность вкуса" в трактовке Пруста, получается, и есть эквивалент аристократической "естественности", интуитивного ежесекундного знания, что́ лучше всего делать в данных обстоятельствах.

1. А. С. Пушкин. Сочинения. – М.: ОГИЗ, 1949.
2. Н. Элиас. О процессе цивилизации. Т. 1–2. – М. – СПб.: Университетская книга, 2001.
3. М. Пруст. У Германтов / Перев. Н. Любимова. – М.: Худож. лит., 1980.

Возьмем теперь другие аспекты вульгарности — этический и эстетический. Они, как ни странно, довольно непосредственно связаны между собой, что блестяще продемонстрировал английский критик и искусствовед середины XIX века Джон Рёскин. В своих лекциях "Сезам и лилии" (1865) он говорит:

Сущность вульгарности определяется как недостаток впечатлительности. Простая, наивная вульгарность — только тупость душевных и телесных восприятий, обусловленная отсутствием образования и развития; но настоящая, врожденная вульгарность подразумевает ужасающую бесчувственность, которая становится источником всевозможных животных привычек, делает человека способным совершить преступление без страха, без удовольствия и без сострадания. Тупость физическая и душевная мертвенность, низкое поведение и грубая совесть — вот что делает человека вульгарным; вульгарность его всегда соразмеряется с неспособностью к сочувствию, к быстрому пониманию, к тому, что совершенно правильно принято называть "тактом", осязательной способностью души и тела...[1]

Подобной тонкостью ощущений, с точки зрения Рёскина, в наибольшей степени обладает чувствительная женщина.

В этом определении вульгарности, с одной стороны, развиваются идеи Честерфилда и Джона Генри Ньюмена об этической способности восприятия других людей, но, с другой стороны, уже проставлены несколько иные акценты. Рёскин — теоретик эстетизма, учитель прерафаэлитов, и для него важна именно впечатлительность. Впечатлительность позитивна во всех отношениях: в интеллектуальном измерении она дает "быстрое понимание", в этическом — такт, в эстетическом — способность переживать нюансы Прекрасного.

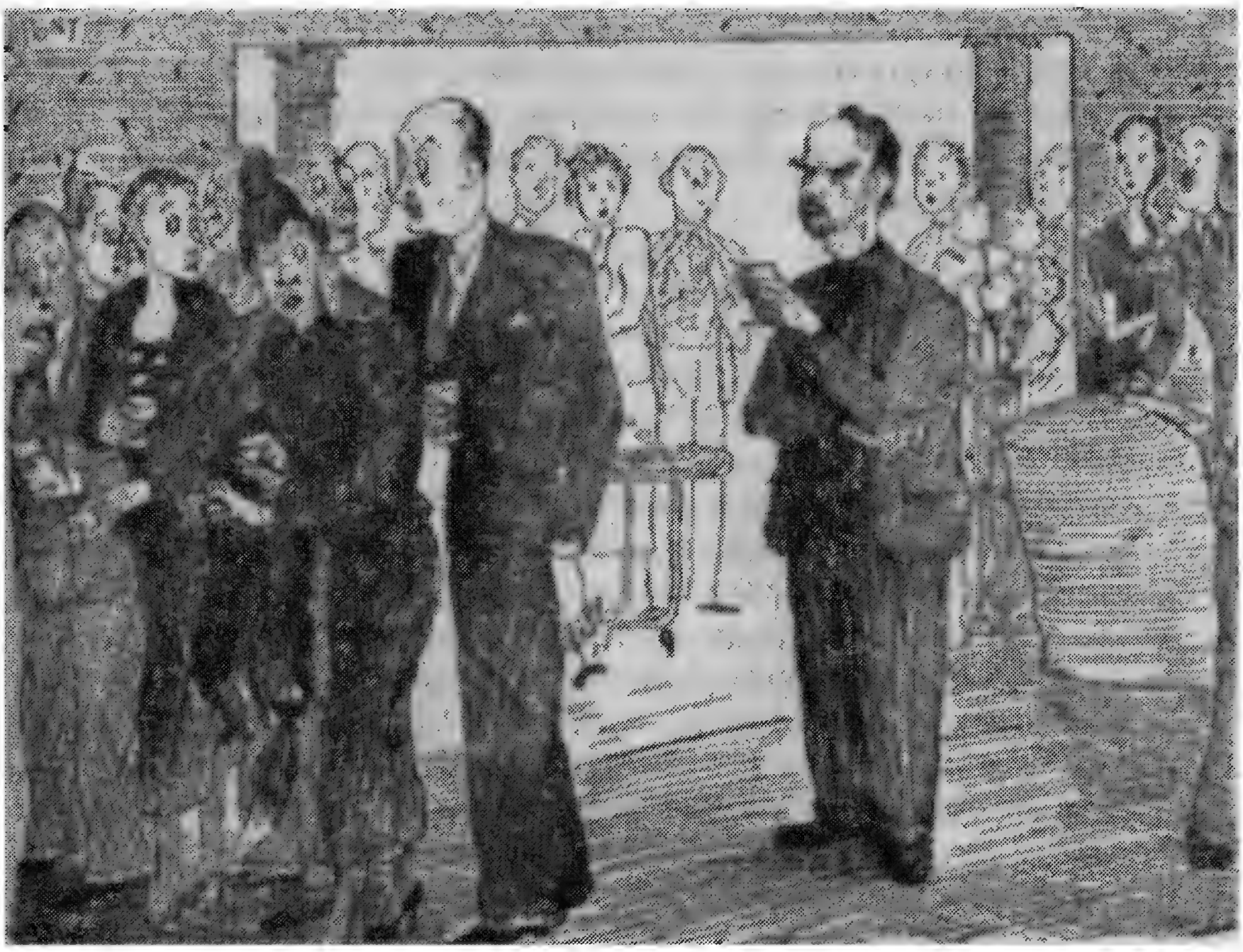
Этот последний смысл оказался наиболее востребованным в культуре конца XIX века. Проблема заключалась, собственно, в том, чтобы удержать единство трех сфер впечатлительности. Дез Эссент[2] Гюисманса и Дориан Грей Оскара Уайльда эстетически впечатлительны и оттого обрисованы как идеальные денди, противостоящие вульгарным расхожим вкусам.

Увы, Дориан Грей соответствовал тому типу людей, которые, по проницательному замечанию Рёскина, получают удовольствие от преступления. Неслучайно джентльмены в клубе стали его сторониться, когда прошел слух о его сомнительных похождениях: недостаток моральной впечатлительности не укладывался в джентльменский кодекс чести. Денди, но не джентльмен — формула характера Дориана Грея.

Именно в этот период, в 1895 году, сатирический журнал "Панч" язвительно пародировал эстетов: "It's worse than wicked, my dear, it's vulgar" ('Это хуже, чем порок, дорогой, это вульгарность').

Приводившиеся выше характеристики вульгарного человека во многом не утратили своей актуальности и поныне. Стремление быстро возвыситься в глазах окружающих и сегодня приводит к нарочитому перечислению высокопоставленных знакомых, престижных мест отдыха или марок одежды и автомобилей с непременным упоминанием цен.

1. Д. Рёскин. Сезам и лилии / Перев. О. Соловьевой. — М., 1901.
2. Герой романа французского писателя Шарля Мари Жоржа Гюисманса (1848–1907) "Наоборот" (1884).



"Вот что бывает, когда в гостях говорят о работе". Иллюстрация Понта, журнал "Панч"

Сюда можно добавить и чрезмерное любопытство к финансовым делам других, любовь к сплетням и, если речь идет о знаменитостях — жгучий интерес к их частной жизни, а также раболепное копирование их вкусов. К современным модификациям вульгарности можно отнести и злоупотребление кричащими цветами в одежде, и заемное остроумие — анекдоты или афоризмы на любые случаи жизни, обнаруживающие отсутствие личного суждения.

Наконец, как и встарь, вульгарный человек больше всего любит с пафосом рассказывать о себе и своих достижениях, не подозревая, что искусство светской беседы требует нейтральных тем, а оптимальным считается обсуждение изящных предметов: коллекции курительных трубок, способов ухода за редкими растениями, литературных новинок. Не зря же Альфонс Доде заметил, что истинно светским человеком можно считать того, кто умеет очень серьезно говорить о мелочах и легко — о важных вещах. В Англии даже существует своеобразный запрет на профессиональные разговоры в хорошем обществе: можно провести целый вечер, обсуждая достоинства породистых собак, и только потом узнать, что вашим собеседником был видный политик или ученый.

Вероятно, здесь можно говорить и о более общих историко-культурных закономерностях. По существу, вульгарный человек постоянно — но разными способами — совершает одну и ту же ошибку: дает прямое сообщение там, где следует использовать косвенное. Вместо прямого обозначения своего высокого социального статуса можно проявить, допустим, тонкий вкус или осведомленность в престижных видах досуга. Вместо роскошного костюма — позволить себе одну выразительную деталь. Вместо содержания конюшни скаковых лошадей — обсуждать со знанием дела достоинства и недостатки конских пород. Иными слова-

ми, лучше уметь пользоваться символическими играми обмена, не прибегая к лобовым приемам.

В заключение попробуем, используя метафорику энергии, определить вульгарность как особый, неэкономный способ распределять свою энергию. В английской культуре мы отмечали такое понятие, исторически сопутствующее "вульгарности", как "affectation" ('аффектация, претенциозность'). Его современная модификация — "ostentation" ('нарочитость, демонстративные жесты, хвастовство'). В обоих случаях речь идет о наигранности, афишировании каких-либо свойств или действий. Это неэкономная модель расходования внутренней энергии, форсированный выброс, который не подкреплен солидными внутренними ресурсами и оттого всегда связан с риском разоблачения и комизма. Графической эмблемой этой модели мог бы стать перевернутый треугольник, неустойчиво балансирующий на остром углу и "выставляющий" наверх широкое основание.

Противоположная модель — экономия энергии. Это культура "сдержанности", преуменьшения (understatement), минимализма, тайной дисциплины в проявлении чувств. Графический символ — устойчивый классический треугольник, обращенный вершиной вверх: айсберг с его мощной подводной частью. В самом общем смысле на этой модели экономного расходования энергии строится джентльменский кодекс чести, светский аристократический этикет и дендистский стиль костюма. Если человек владеет культурой экономного расходования энергии, то он оставляет особое впечатление приятной "соразмерности" и "адекватности", что, впрочем, вовсе не делает его незапоминающимся: напротив, одновременно возникает ощущение скрытой силы, властной тайны его личного обаяния, эротического шарма.

Резюмируем: в социальном плане вульгарность связана с незнанием кода поведения той или иной группы. Знание этого кода сообщает манерам естественность и, более того, позволяет чувствовать допустимую меру в нарушении приличий (чем и пользовались денди). Незнание, напротив, обрекает человека на подражательность и неловкость, искусственность, превышение меры во всем, что и трактуется как вульгарность.

"Высокий кэмп" Оскара Уайльда

"У каждого поколения есть свои любимцы, которые лидируют в светском обществе и в то же время следуют за ним. Занимаясь главным образом тривиальными мелочами, они тем не менее являют собой людей, наделенных незаурядным талантом и характером, как Браммелл, Литтон и д'Орсе[1]. Но Уайльд довел эту позу до предела и сделал ясным то, на что они намекали. Хорошо знавшие его понимали, что сверхэлегантный наряд — только незначительное проявление его дендизма. Он подчинил все свое существование единому образцу, формуле изящества, не лишавшей его стиль достоинства. Он всегда был на высоте, даже когда смеялся над самим собой (что он частенько делал), и даже его почерк демон-

1. Граф Альфред д'Орсе (1801—1852) — знаменитый французский денди.

Оскар Уайльд, 1884. Карикатура

стрировал сознательную красоту формы"[1].

Это типичное мнение о дендизме Оскара Уайльда, и Артур Саймондс здесь формулирует интересный парадокс: элегантный наряд – не главное, гораздо важнее сознательное эстетическое жизнетворчество личности, интонация свободы, принцип "быть все время на высоте". Образ классического денди-эстета – изначальное и самое успешное светское амплуа Уайльда. Во многом Уайльд был продолжателем дендизма эпохи Регентства – и по стилю одежды, и по характеру острот, и по манере подавать себя. Но было в нем и большее – умение смотреть на свою дендистскую маску со стороны, и отчасти благодаря этой способности он стал автором замечательных пьес, где наряду с другими героями выведены и щеголи.

Денди присутствуют почти в каждой драме Уайльда и нередко являются ключевыми персонажами. В авторских ремарках Уайльд дает им предельно четкие характеристики. О лорде Горинге из "Идеального мужа" сказано: "Ему тридцать четыре года, но он всегда говорит, что ему меньше. Совершенно лишенное выражения лицо – маска благовоспитанности. Умен, но всячески это скрывает. Безукоризненный денди, он больше всего боится, как бы его не заподозрили в чувствительности. Жизнь для него игра, и он в полном ладу с миром. Ему нравится быть непонятным. Это как бы возвышает его над окружающими"[2]. Эта лапидарная "сумма" дендизма – напоминание об уже известном, освоенном в литературе типе характера, но также и саркастическое авторское отстранение от своего героя.

По замыслу лорд Горинг вроде бы главный вершитель судеб всех остальных персонажей, именно благодаря его уму разрешаются запутанные коллизии. В решающий момент, как гласит авторская ремарка, "в нем обнаруживается философ, скрытый под внешностью денди". Но если присмотреться повнимательнее к дендизму лорда Горинга, сразу зарождается подозрение, что это пародия. "Входит лорд Горинг. Он во фраке, с бутоньеркой в петлице, в цилиндре и белых перчатках, на плечи накинут плащ, в руках трость в стиле Людовика XVI – не упущен ни один атрибут современной моды. Видно, что он с ней теснейшим образом связан, сам ее создает и, таким образом, возвышается над нею. В истории человеческой мысли он первый философ, умеющий хорошо одеваться". Поначалу действительно кажется, что перед нами – тщательно выписан-

1. A. J. Symonds. The Diner Out. In: Oscar Wilde. Interviews and Recollections. Vol. 1–2. L.: Macmillan, 1979, vol. 1, p. 175.
2. Зд. и далее цит. по изд.: Оскар Уайльд. Избранное: "Идеальный муж" / Перев. О. Холмской. – М., 1986.

ный портрет лидера моды. Но последняя фраза не позволяет зрителю принять все предыдущее за чистую монету. Интонация Уайльда здесь неподражаема, а ирония неожиданна и оттого тем более действенна.

После столь многообещающего начала следует изумительный диалог лорда Горинга с его дворецким Фиппсом:

Лорд Горинг. Что, принесли уже мою вторую бутоньерку, Фиппс?

Фиппс. Да, милорд. (*Берет у него цилиндр, трость и плащ и подает на подносе новую бутоньерку.*)

Лорд Горинг. Довольно изящная! В настоящее время, Фиппс, из всех сколько-нибудь приметных людей в Лондоне я один ношу бутоньерки.

Фиппс. Да, милорд. Я это заметил.

Лорд Горинг (*вынимает старую бутоньерку из петлицы*). Видите ли, Фиппс, модно то, что носишь ты сам. А немодно то, что носят другие.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Так же как вульгарность — это всего просто-напросто поведение других людей.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг (*вдевает новую бутоньерку в петлицу*). А ложь — это правда других людей.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Другие — это вообще кошмарная публика. Единственное хорошее общество — это ты сам.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь, Фиппс.

Этот монолог, по сути, представляет собой цепочку афоризмов, пародийность которых нарастает с каждой репликой. "Манифест" дендизма перед вышколенным дворецким выдержан в лучших традициях авторской самоиронии — ведь многие из этих реплик светская молва приписывала самому Уайльду. Да и в качестве "серьезных" парадоксов они уже варьировались в более ранних вещах — в частности, звучали в романе "Портрет Дориана Грея" из уст лорда Генри.

Здесь мы имеем дело с особым явлением — обозначим его главные признаки. Во-первых, автор собственноручно доводит ряд близких ему идей до уровня шаржа. Во-вторых, в сниженном виде эти идеи делаются доступными для массового потребления. В-третьих, сам автор благодаря иронии сохраняет дистанцию, хотя чувствуется, что знает предмет "изнутри". Этот феномен был распознан и получил свое название только в XX веке — "кэмп".

Понятие "кэмп" (camp) ввела в широкий обиход американская исследовательница и критик культуры Сьюзен Сонтаг[1]. В своей программной

1. Зд. и далее цит. по: Сьюзен Зонтаг. Заметки о кэмпе. В кн.: Мысль как страсть / Перев. С. Кузнецова. — М.: Русское феноменологическое общество, 1997.

статье 1964 года она определила "кэмп" как вариант эстетизма, акцентирующий пристрастие к искусственному, преувеличенному. Кэмп для Сонтаг – особый модус "чувствительности" (sensibility), связанный с городской культурой в ее наиболее театрально-карнавальных проявлениях: травестия, переодевания мужчин в женщин на гей-парадах.

Кэмп эзотеричен – он всегда рассчитан на узкий круг посвященных. Отсюда вытекает и особая театральность культуры кэмпа: те, что умеют носить маски и узнавать "своих" по маскам, могут рассчитывать на понимание. Игры с секретностью, провокация, кокетство и готовность приоткрыть тайну понимающему – элемент кэмповой культуры. Кэмп во многом вытекает из "голубой" культуры, но шире ее по эстетическим рамкам. В кэмпе приветствуется образ андрогина во всех вариантах – "что может быть прекраснее, чем нечто женственное в мужественном мужчине; что может быть прекраснее, чем нечто мужественное в женственной женщине"; таковы идеальные "архетипические" лица Греты Гарбо и Марлен Дитрих.

Чтобы сделать эти рассуждения более конкретными, приведем примеры "кэмпа" по Сонтаг:

живопись прерафаэлитов,

лампы Тиффани,

стиль "ар-нуво",

балет "Лебединое озеро",

рисунки Обри Бердслея,

женская одежда 20-х годов XX века (боа из перьев; платья с бисером и бахромой),

оперы Рихарда Штрауса,

Марлен Дитрих в фильме "Дьявол – это женщина",

Бетт Дэвис в фильме "Все о Еве",

рок-певица Джони Митчелл.

Этот список – при всей своей разнородности – все же дает повод для разговора. Видно, что кэмповая чувствительность замешана на гротеске, преувеличении, культе искусственного. С самого начала предпринимались попытки "рассортировать" разные проявления кэмпа. Еще в 1954 году Кристофер Ишервуд в романе "Мир вечером" предложил различать "высокий" и "низкий" кэмп. На наш взгляд, это разграничение можно применять и сейчас. Так, в современной российской культуре перформанса "высокий" кэмп представляет Андрей Бартенев, а "низкий" – Вадик Мамышев, когда изображает Мэрилин Монро. С этой точки зрения "эстетский" костюм Уайльда во время его лекций в Америке – пример "высокого" кэмпа.

В Америке Уайльд выступал в специальном "эстетском" костюме, который сам и разработал. Осознавая игровую зрелищность своих лекций и непременные ассоциации с "Пейшенс" ("Терпением") – комической оперой Гилберта и Салливана, – он снабдил театрального костюмера детальными инструкциями: "Они должны быть красивы: этакий облегающий бархатный камзол с большими украшенными цветочным узором рукавами и круглым гофрированным батистовым воротничком, выглядывающим из-под стоячего ворота. Я посылаю Вам рисунок и мерку... Любой хороший костюмер поймет, что мне надо: нечто в стиле Франциска I. Только с короткими штанами до колен вместо длинных обтягивающих рейтуз. Также достаньте мне две пары серых шелковых чулок в тон серому, мышиному бархату. Рукава должны быть если не бархатны-

ми, то плюшевыми, украшенными крупным цветочным орнаментом. Они произведут большую сенсацию... В Цинциннати были ужасно разочарованы тем, что я выступал не в коротких штанах"[1].

Бриджи Уайльда и вирямь произвели сенсацию. Продуманная театральность костюма поразила публику не меньше, чем сама лекция. Одна из слушательниц подробно записала свои впечатления: "Костюм. Темно-фиолетовый просторный пиджак и бриджи; черные чулки, низкие туфли с блестящими пряжками; пиджак подбит бледно-лиловым атласом, пышные кружева на запястьях, а также вместо галстука поверх отложного воротника; волосы длинные, с прямым пробором или зачесанные назад. Появляется в накидке, покрывающей одно плечо. Голос чистый, свободный, не форсированный. Время от времени меняет позу, голова наклонена в сторону опорной ноги, сохраняется общее впечатление непринужденности"[2].

Наряд для лекций в первую очередь был рассчитан на то, чтобы поддержать имидж эстета и привлечь внимание публики к персоне выступающего. Подчеркнутая сценичность снимала обычные знаковые функции одежды: нельзя было "прочесть" социальный статус оратора – допустим, является ли он джентльменом. По этому костюму было трудно судить о личных качествах Уайльда, о его характере и политических взглядах, но зато можно было с уверенностью сказать две вещи:

во-первых, этот человек проводит достаточно агрессивную рекламную компанию;

во-вторых, его костюм выражает протест против "скучной" мужской одежды XIX века, напоминая о придворном костюме, сохраняющем в законсервированном виде черты прошлого.

"Эстетский" костюм Уайльда был настолько броским, что вскоре стал предметом для подражания. Уже в Америке денди столкнулся с пародийными двойниками: на одну из его лекций 150 студентов пришли в коротких бриджах, чулках и с подсолнухами в петлице. Однако увидев толпу двойников в первом ряду, Уайльд не растерялся, а, напротив, вступил с ними в разговор и начал иронизировать, так что в итоге поле битвы осталось за ним. Проявляя "телепатическое внимание" к настроениям слушателей, он и в других случаях неизменно находил нужную интонацию для каждой аудитории, будь то шахтеры или светская публика.

Но вернемся к Сьюзен Сонтаг, которая, со своей стороны, выделяет "наивный" и "серьезный" полюса поэтики кэмпа. Чистый, наивный кэмп – искренняя попытка "сделать красиво", что порой дает эффект китча; таковы экстравагантные наряды танцовщиц кабаре. Серьезный кэмп отягощен рефлексией, но не менее выразителен: уайльдовский американский костюм – явно "серьезный" кэмп, да и лучшие герои комедии Уайльда "кэмпуют" всерьез.

Кэмп – тонкий баланс между наивностью и серьезностью, помогающий удерживать интонацию самопародии: "Быть естественным – это поза, и самая ненавистная людям поза!" – иронически сетует уайльдовский лорд Генри. Сонтаг развивает этот парадокс: суть кэмпа – "развен-

1. Оскар Уайльд. Письма / Перев. В. Воронина, Л. Мотылева, Ю. Рознатовской. – СПб.: Азбука, 2000.
2. Р. Элман. Оскар Уайльд / Перев. Л. Мотылева. – М.: Издательство Независимая Газета, 2000.

чание серьезности... Кэмп подключает новое, более сложное, отношение к серьезности. Он может быть серьезен во фривольности и фриволен в серьезности". Кэмп вводит новые принципы: искусственность как идеал; театральность. Это стихия комедии, требующая отвлеченного взгляда на вещи (трагедия, напротив, подразумевает полную вовлеченность в происходящее).

И вот в этой точке рассуждений у Сьюзен Сонтаг вновь всплывает дендизм: "Отстраненность – прерогатива элиты; и насколько денди XIX века был суррогатом аристократа в сфере культуры, настолько кэмп является современным дендизмом. Кэмп – это решение проблемы: как быть денди в век массовой культуры". В чем же заключается ответ на этот вопрос? Согласно Сонтаг, денди предыдущего поколения ценили редкости, ратовали за хороший вкус, а "знаток кэмпа находит более искусные наслаждения. Не в латинских стихах и редких винах да бархатных куртках, но в грубейшем, распространеннейшем наслаждении... Явное использование не запачкало предмет его наслаждения, так как он научился обладать им на свой особый манер. Кэмп – дендизм в век массовой культуры – не различает вещей уникальных и вещей, поставленных на поток. Кэмп преодолевает отвращение к копиям".

Дополнительный "бонус" для любителей кэмпа состоит в том, что, отрешившись от ограничений школьного "хорошего вкуса", они обнаруживают для себя ранее неизведанные возможности "хорошего вкуса в плохом вкусе", по выражению Сонтаг. Это очень раскрепощающее открытие: в одежде, допустим, можно комбинировать модели прошлых лет и дизайнерские вещи. Современный живой пример "хорошего вкуса в плохом вкусе" – Вивьен Вествуд[1]. Именно Вествуд, смело используя элементы уличной моды и панк-стиля, потрясла каноны английской классики и по праву считается "бабушкой" британского авангарда.

В предельном варианте кэмп, как считает Сонтаг, позволяет новому денди даже примириться с вульгарностью: "проявления вульгарности отвращают и утомляют традиционного денди, а знатока кэмпа – всего лишь забавляют или приводят в восхищение".

В этом смысле понятие кэмпа уже не применимо к Оскару Уайльду, поскольку он, как мы помним, был непримирим к вульгарности. Его афоризмы нацелены прежде всего на узость буржуазной морали и светской благопристойности. Сонтаг справедливо считает Уайльда переходной фигурой – ведь он был сторонником высокого эстетизма в искусстве. Но главное, что сделал Уайльд для развития кэмповой "чувствительности", – ощущение "эквивалентности" вещей: подчеркивая свой восторг по поводу голубого фарфора, дверных ручек, шейных платков и бутоньерок, он предвосхитил "демократический дух кэмпа". (В этом пафосе эстетизации жизни – добавим мы – Уайльд был не столь уж оригинален, он продолжал идеи Уильяма Морриса, прерафаэлитов, "движения искусств и ремесел". Неслучайно одна из его американских лекций была посвящены интерьеру.)

Современные сторонники кэмпа, развивая уайльдовский "новый гедонизм", изыскивают для себя дополнительные источники креативности – "хорошего вкуса в плохом вкусе". Это делает их свободными, позволяя им отважно и остроумно синтезировать разные стили. Кэмпист может с легкой душой отправиться на блошиный рынок и отыскать сре-

1. Вивьен Вествуд – современный английский модельер-авангардист.

ди хлама гравюры Гаварни[1], но одновременно прикупить там боа из фиолетовых перьев.

Наконец, последний тезис Сонтаг: кэмп тесно связан с "голубой" культурой, хотя эти понятия не совпадают. Среди геев часто встречаются любители кэмпа, но это вовсе не означает, что геи обладают "монополией" на кэмп. Геям, нередко претендующим на роль "аристократии вкуса", импонирует в кэмпе декадентски-травестийная интонация, особое сочетание иронии и эстетизма.

Попытаемся обобщить: после Уайльда в спектре дендистской харизмы прибавляется заметный оттенок "голубизны". Если до Уайльда щеголи могли спокойно демонстрировать свое пристрастие к модным туалетам, не вызывая обывательских подозрений насчет своей сексуальной ориентации, то теперь любой денди стал восприниматься как потенциальный гей. Декадентский дендизм приобрел ореол опасности и запретного эротического шарма.

Судебный процесс Уайльда и его беспрецедентно смелая речь о "любви без имени" превратили его роман с лордом Альфредом Дугласом в текст культуры, в живую легенду, которая вошла в историю и по своему воздействию на умы современников оказала не меньшее, а может, и гораздо большее воздействие, чем "Портрет Дориана Грея". Молодые люди стали отождествлять себя с Уайльдом и его героями — в известной книге Хэвлока Эллиса "Психология секса"[2] приводится несколько историй молодых людей, осознавших свою принадлежность к "голубому" сообществу благодаря первому публичному обсуждению этой проблематики во время судебного процесса.

Уайльд заплатил дорогую цену за завершенность своей жизненной легенды — решив идти до конца, он не уехал из Англии, когда приговор был уже ясен и все друзья советовали ему эмигрировать. Но он сказал себе, что это недостойно джентльмена, и остался. Годы, проведенные в заключении, которые полностью подорвали его здоровье и лишили его немногих оставшихся иллюзий относительно Альфреда Дугласа, стали заключительной главой этого трагического сценария. В своем самом проникновенном тексте "De profundis", написанном в тюрьме, Уайльд производит последний расчет не только с лордом Альфредом Дугласом, но и со своим дендистским прошлым: "Я поддался очарованию бессмысленной и чувственной легкости. Я развлекался тем, что изображал из себя фланёра, денди, модника. Я окружил себя мелкими и низкими людьми. Растрачивать свой гений и пускать на ветер вечную юность доставляло мне странное наслаждение. Устав от пребывания на вершинах, я намеренно спустился в самые бездны в поисках новых ощущений. Перверсии в сфере страсти стали для меня тем же, что и парадокс в сфере мысли"[3]. Но замечательно, с каким блеском и с какой грацией признается Уайльд в своих "грехах" — он остается самим собой и в период тяжелейших испытаний.

Судьба Уайльда стала страшным предостережением для других "людей лунного света"[4]. Многие англичане-геи покидали Англию, надеясь

1. Поль Гаварни (1804—1866) — французский карикатурист, рисовальщик и график.
2. Хэвлок Эллис (1859—1939) — английский врач и писатель, автор семитомного труда "Психология секса" (1897—1928).
3. Selected Letters of Oscar Wilde. Ed. Rupert Hart-Davis. Oxford University Press, 1979, p. 194.
4. Название книги В. В. Розанова (1911).

найти приют в более либеральной Франции. Но во Франции светская мораль высшего общества тоже не отличалась особой терпимостью по отношению к "голубым" – недаром граф Робер де Монтескью так и не обнародовал свои гомосексуальные наклонности, а Марсель Пруст даже в романе счел более безопасным превратить своего "голубого" возлюбленного в прелестную Альбертину. В Англии же память о процессе Оскара Уайльда держалась несколько десятилетий и фактически вывела "голубые" темы за пределы общественной и литературной жизни: так, роман Э. М. Форстера "Морис" (1912) был опубликован, согласно авторской воле, лишь после смерти писателя, в 1971 году[1].

Жизнетворчество Уайльда – предельно полная реализация того подспудного трагизма, который заложен в дендистских биографиях. Эта трагическая составляющая уже была обозначена в жизни Браммелла, особенно во французский ее период – знаменитый франт кончил свои дни в нищете и безумии. Эта константа все время просвечивала и в жизни Бодлера, и даже внешне счастливого графа д'Орсе. "Желание красоты – это просто усиленная форма желания жизни", – писал Уайльд. Позднее, увы, он сам с горечью зафиксировал, что после тюрьмы потерял joie de vivre, необходимую для писательства.

Итак, в чем же специфика уайльдовского дендизма? Благодаря Оскару Уайльду европейский дендизм принял "вызов" массовой культуры, выработав эстетику кэмпа. В деятельности Уайльда происходит переход от элитарного дендизма к игровому кэмпу. Поездка Уайльда в Америку оказалась первым опытом "коммодификации" дендизма – превращения его в коммерческий товар массового спроса. Этому способствовал и костюм Уайльда в Америке – эклектичный ансамбль, рассчитанный на эпатаж, и его лекции, представляющие собой коллаж из основных идей эстетизма. Уайльд умудрился соединить формальную ясность французских трактатов о дендизме с глубиной прозрений Патера, Рёскина и Россетти. Американское турне Уайльда стало первым удачным экспериментом по популяризации дендизма – но в результате дендизм в сознании публики почти уравнялся с набором расхожих поз и иронических афоризмов. Этот синтетический вариант дендизма был уже снабжен оптимальной "рекламной" упаковкой и готов для вхождения в массовую культуру. С легкой руки Оскара Уайльда декадентский дендизм превратился в успешный "брэнд": "коммодификация" дендизма завершилась.

Дендистские прогулки, или О прелестях фланирования

Французское слово "flaneur" – любитель праздных прогулок – вошло в обиход начиная с 30-х годов XIX века, когда стали складываться современные формы городского досуга. Фланирование, или привычка к бесцельным прогулкам – устойчивый атрибут жизни дендистской молодежи и парижской литературной элиты. Альфред де Мюссе, Теофиль Готье, Бодлер, Барбе д'Оревильи, Стендаль, Бальзак, Пьер Лоти прославились

1. Русское издание: Э. М. Форстер. Морис. М.: Глагол, 2000.

не только как писатели, но и как завзятые денди, регулярно совершавшие моцион в самых изысканных туалетах, чтобы, как говорится, себя показать и других посмотреть. Фланёр становится модным типом в городском пейзаже, а философия фланирования настолько захватывает лучшие умы эпохи, что знаменитый писатель и денди Оноре де Бальзак в 1833 году решает досконально исследовать "теорию походки". Для этого он, как и полагается при написании настоящих трактатов, предварительно изучил существующую научную литературу, однако самые ценные наблюдения ему удалось почерпнуть, когда он наконец собрался на Гентский (ныне Итальянский) бульвар, сел на стул и стал изучать походку проходивших мимо парижан. "В этот день, – признается Бальзак, – я сделал самые глубокие и любопытные наблюдения за всю мою жизнь. Я вернулся, сгибаясь под тяжестью моих открытий... Мне показалось, что опубликовать "Теорию походки" можно не иначе, как в десяти или двенадцати томах, сопроводив ее тысячей семьюстами гравюрами"[1]. В манере ходить Бальзак сумел разглядеть "стиль тела", метафору характера и подробно описал оптимальную технику фланирования, при которой идущий должен "держаться прямо, ставить ноги по одной линии, не уклоняться слишком сильно ни вправо, ни влево, незаметно вовлекать в движение все тело, легонько покачиваться, наклонять голову..." Подобной соразмерной походкой обладал король Людовик XIV (свои монархические симпатии Бальзак никогда не скрывал!).

В итоге романист суммировал свои размышления о походке в серии классических афоризмов: "Все в нас принимает участие в движении; при этом ни одна часть тела не должна выделяться"; "Когда тело находится в движении, лицо должно сохранять неподвижность"; "Всякое лишнее движение есть верх расточительности". Идеал походки, согласно Бальзаку, подразумевает разумную согласованность и отсутствие суетливых жестов: "Экономия движений есть средство придать походке и благородство, и грацию".

Особую роль в тонком искусстве дендистского фланирования играет плавность, коль скоро медленное движение, как считали в то время, по сути своей величественно. Мимический аналог медленной походки – "неподвижность лица", акцентирующая благородное достоинство фланёра. Медленное фланирование с неподвижным лицом – условие незаинтересованного созерцания, эстетизм как телесная и жизненная программа. Конструктивный принцип дендизма – "ничего лишнего" – в данном случае непосредственно проецируется на нравственные и интеллектуальные свойства личности.

Итак, красота дендистской прогулки во многом базируется на алгоритме экономии движений, что имеет как чисто физиологическую, так и эстетическую подоплеку. Согласно Бальзаку, медлительная походка – атрибут мудреца, философа и светского человека в целом: "плавность движений для походки то же, что и простота в костюме". Лаконизм выразительных средств в одежде, как видим, прямо соотносится с благородством скупого жеста и статикой отточенных поз.

Прямая противоположность дендистской медлительности – манера мельтешить, для которой Бальзак припас старофранцузский глагол "virvoucher", означающий: 'бегать взад-вперед, крутиться у кого-то под нога-

1. Зд. и далее цит. по: Оноре де Бальзак. Теория походки. В кн.: О. де Бальзак. Физиология брака. Патология общественной жизни / Перев. В. А. Мильчиной. – М.: НЛО, 1995.

ми, вскакивать и снова садиться, суетиться, за все хвататься, быть назойливым, как муха'. Вспомним, кстати, что как раз эти черты являются знаком вульгарности (подобным "вирвушизмом" отличался герцог де Люсене из романа Э. Сю "Парижские тайны", а одно из принципиальных определений дендизма – антивульгарность). Быстрая походка, механические, словно заводные, движения, озабоченное выражение лица – приметы глубоко антипатичного персонажа, объекта бальзаковского презрения. Напротив, бесстрастный денди воплощает обратную тенденцию – статуарность наблюдателя, невозмутимость джентльмена.

Как своего рода специальную тренировку в горделивой размеренности походки, вероятно, можно расценить особо модный ритуал, сложившийся в середине XIX века среди парижских щеголей: прогулки с домашними черепашками. Денди, неторопливо выгуливающий черепаху в Люксембургском саду, демонстрирует воистину стоическую невозмутимость и величественную самодостаточность. Однако за его почти анекдотическим спокойствием в данном случае скрывается нежелание подчиняться все ускоряющимся ритмам городской жизни, сопротивление индустриальному прогрессу, эстетизированная ностальгия по буколическим временам. Нарочитая неспешность денди с черепашкой также акцентирует один существенный аспект фланирования – его *принципиальную праздность*: не просто нежелание бежать, а бежать по делам или двигаться как автомат. Праздность фланёра символически связана с позой беззаботного аристократа, для которого заботы о хлебе насущном исключены по определению и даже серьезные занятия маскируются под хобби. Для него бежать по улице немыслимо: "Бежал! – повторил я. – Совсем как простолюдин – разве кто-либо когда-либо видел меня или вас бегущим?"[1] – говорит юный денди-аристократ Пелэм своему другу.

Программная праздность противостоит также буржуазной деловитости[2]. Буржуа, который старательно играет роль неторопливого денди-фланёра, на самом деле частенько испытывает угрызения совести, ведь столько времени уходит впустую, на "праздные" прогулки! Но дни этой отрефлексированной несуетной праздности уже были сочтены. Ведь в самом начале XX века изобретатель конвейера Тэйлор выдвинет лозунг "Долой лодырей!", а в России не кто иной, как Мейерхольд, использует "тэйлоризированную манеру ходить" как художественный прием в своих постановках. Печальный прогноз фланированию дал проницательный Роберт Музиль: в самом начале его романа "Человек без свойств" последний фланёр гибнет на улицах Вены под колесами грузовика.

Пока же, в XIX столетии, дендистское фланирование еще воспринимается почти как аналог чистого искусства – свободной незаинтересованной деятельности во имя совершенной формы. В этом смысле легендарный розовый жилет и изящные поэтические "Эмали и камеи" Теофиля Готье – абсолютно равнозначные и логически увязанные культурные факты. Во время прогулки фланёр занимается наблюдениями, и его избыточно острое зрение работает как взгляд "художника современной жизни", фиксируя мелочи и отмечая детали. Фланёр наслаждается

1. Э. Бульвер-Литтон. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена / Перев. А. Кулишер и Н. Рыковой. – М.: Правда, 1988.
2. "Протестантская этика" капитализма, согласно Максу Веберу, предписывает неустанно работать во имя спасения души. Поэтому время, затраченное на праздные прогулки, ассоциируется с грехом и порождает в буржуазном сознании чувство вины.

собственной свободой, это одиночка в толпе, который удерживает дистанцию, необходимую для созерцания.

Куда же направит шаги соразмерно двигающийся денди? Его маршрут сплошь и рядом выясняется только в пути, ибо фланёра ведет случайная прихоть. Городское пространство — карта его желаний, непрерывная знаковая поверхность, топографическая проекция его потока сознания. Он читает карту своим телом, размечая пунктиром шагов свои произвольные маршруты. Классическое пространство для праздной прогулки в городе — "островки природы": парки, городские сады, бульвары. Они напоминают об изначальной сентиментальной идиллии сельской прогулки, а регулярные прогулки в парках — пешком, верхом или в экипаже — долгое время оставались обязательным ритуалом светской жизни. Однако настоящий фланёр-горожанин середины XIX века скорее предпочитает оживленную улицу, дающую пищу его наблюдательному уму.

Для фланёра-писателя город подобен открытой книге, которая снабжает его интереснейшими сюжетами и служит источником вдохновения. Ведь самое увлекательное на прогулке — определять занятия и характер прохожих по внешнему виду и по походке. Безусловно, многие писатели находили своих будущих героев среди уличных типажей. Особенно увлекался этим Бальзак, который не пренебрегал уличными впечатлениями даже тогда, когда только и требовалось, что подобрать имя для персонажа.

Друг Бальзака Леон Гозлан вспоминает занятный случай, когда тот обратился к нему за помощью (так как не мог найти подходящее имя для героя новеллы), и Гозлан предложил ему воспользоваться нетривиальным методом: пройтись по Парижу, чтобы выискать подходящее колоритное имя на уличных вывесках. Бальзак с восторгом принял это предложение, поскольку оно абсолютно соответствовало его фланёрскому настрою, но затем так увлекся поисками, что буквально загонял бедного Гозлана, уже сожалевшего о своем неосторожном совете. Наконец после многочасовых блужданий и чтения вывесок, когда Гозлан уже валился с ног от усталости, на улице Жюсьен произошло долгожданное событие:

На последнем отрезке этой улицы (не забуду этого до конца моих дней!) Бальзак взглянул поверх маленькой, слабо обозначенной на стене двери... внезапно изменился в лице, вздрогнул так, что моя рука, подсунутая под его локоть, ощутила толчок, и закричал: Вот оно! Вот! Вот! Читайте! Читайте! Читайте! — голос его прерывался от волнения.

И я прочитал: "МАРКАС"!

Этим именем, как известно, Бальзак озаглавил свою новеллу "З. Маркас" [1].

В данном эпизоде город превращается для литератора в огромный словарь имен, развернутый в пространстве. Фланируя, Бальзак и Гозлан листают его страницы, и ритм походки соответствует зигзагам "читающего" взгляда. Тем самым реализуется древняя метафора города-книги, а фланирование как тип прогулки обнаруживает сходство с определенными видами чтения: перелистыванием словаря в поисках случайных словесных ассоциаций, небрежным листанием книги или гаданием — когда ее открывают наугад. Нельзя упускать из виду, впрочем, что заветное имя

1. Л. Гозлан. Бальзак в домашних туфлях. В кн.: Бальзак в воспоминаниях современников / Перев. С. Брахман. — М.: Худож. лит., 1986. С. 261.

отыскивается именно на вывеске, где оно "выставлено" в коммерческих целях — чтобы рекламировать занятие владельца. Ведь текст, который читают Бальзак и Гозлан, — это отчасти перечень рекламных сообщений.

Но если их поиск все же имеет конкретную цель, то в романтической литературе дело чаще всего обстоит иначе: фланёр выходит на прогулку, подчиняясь лишь властным, но абсолютно неопределенным импульсам. Романтический фланёр существует в интимнейшем симбиозе с городом и — в предельном варианте — впадает во время прогулки в полунаркотический транс, отдаваясь потоку мимолетных желаний и наблюдений, задавая вопросы, на которые не ожидает ответов, проживая городское пространство как абсолютно личное время, как интенсивную медитацию. В таком случае фланирование приобретает оттенок навязчивости — это транс на грани безумия. Д'Альбер, герой романа "Мадемуазель де Мопен" Теофиля Готье (1835), вскакивает на рассвете, второпях одевается и отправляется бродить по городу:

Я сам не знаю, куда пойду, но чувствую, что должен идти, а если я останусь дома — я погиб. Мне чудится, что меня зовут с улицы, что судьба моя в эту самую минуту проходит мимо, и главный вопрос моей жизни вот-вот разрешится. Я спускаюсь, растерянный и смятенный, платье мое в беспорядке, волосы всклокочены; люди при виде меня оборачиваются и смеются; они принимают меня за юного повесу, который провел ночь в таверне или в ином злачном месте. Я и в самом деле пьян, хотя и не пил ни капли, и даже походкой напоминаю пьяницу: то плетусь, то почти бегу... Потом внезапно мне делается ясно, что я ошибся: это не здесь, надо идти дальше, на другой конец города, понятия не имею куда. И я бросаюсь прочь, словно черт наступает мне на пятки [1].

Здесь мы уже имеем дело с "клиникой" — фланирование описано как мания, особая душевная болезнь, которой одержим герой. Налицо чисто физические симптомы недуга: "лицо искажено заботой или гневом, руки жестикулируют, с губ срываются бессвязные восклицания". Героя влечет на улицу властный зов, зрение обостряется как у охотника, и он не может отвечать ни за свои маршруты, ни за свой внешний вид. Подобный транс в чем-то сродни наркотическому состоянию[2]: недаром сам Д'Альбер говорит, что "это судорожное возбуждение, которое обычно сменяется полнейшим упадком сил".

Это полюс, явно противоположный дендизму с его медленными ритуальными прогулками и тщательно подобранными костюмами. Скорее здесь просматриваются мотивы священного безумия, одержимости, вплоть до связи с нечистой силой. Д'Альбер, в соответствии со славными традициями романтической литературы, конечно, не забывает упомянуть "черта, наступающего ему на пятки", что роднит его с такими хрестоматийными номадическими персонажами, как Фауст, Петер Шлемиль, Чичиков и др. Однако демоническая подкладка "искушения" в этом контексте — не главное. Основное заключается в том, что блуждания по городу — пространственная метафора экзистенциального поиска, который должен осуществиться в городском пейзаже; раньше в рома-

1. Т. Готье. Мадемуазель де Мопен / Перев. Е. Баевской. — М.: Терра, 1997.
2. Неслучайно страстный фланёр Бодлер экспериментировал с наркотиками и написал книгу "Искусственный рай", куда включил и собственное переложение "Исповеди англичанина, употребляющего опиум" Томаса Де Куинси.

не воспитания герою обязательно полагалось совершить путешествие в дальние страны. Чисто интуитивный поиск пути в путанице улиц становится залогом самоосуществления, полноты самореализации. А это, согласно законам романтической иронии, заведомо неосуществимо, поскольку бесконечность творящего субъекта всегда превосходят границы созданного. Поэтому фланирование Д'Альбера — по сути, фантазматическая погоня за истиной или идеалом, шансы которой на успех невелики: "Мне часто мерещится, что, выйди я на час раньше или шагай быстрее, я бы поспел вовремя; что, пока я спешил по вот этой улице, на соседней промелькнуло то, что я ищу, и, если бы не затор среди экипажей, я бы не упустил то, за чем гонюсь наудачу уже столько времени". Истина, скрытая в теле города, рано или поздно материализуется в женском образе: "Я надеюсь увидать прелестную женщину; я не знаю ее, и она меня не знает..." Но встреча с прелестной незнакомкой по законам жанра чревата разочарованием: чем заканчиваются подобные мечты, читатель русской литературы знает на примере приключений художника Пискарева и поручика Пирогова из повести Гоголя "Невский проспект" — романтик всегда в проигрыше, но это не останавливает его, ведь фланирование как страсть требует новых жертвоприношений, пусть даже на грани безумия.

В европейской культуре не исчезли, конечно, классические варианты фланирования и в конце XIX века. Спокойная прогулка в медленном темпе долго оставалась модным способом досуга, особенно для дендистской молодежи. Вот характерное признание нашего соотечественника:

> Я снова превратился в какого-то легкомысленного бездельника, жаждущего отведать всяких удовольствий и склонного без толку убивать время... Одним из характерных проявлений этого моего тогдашнего "поглупения" или возвращения в состояние Flegeljahre, было то, что я пристрастился к фланированию, к бессмысленным бесцельным прогулкам. И происходило это фланирование всегда вдоль набережной Невы — от Дворцового моста до Летнего сада и обратно. Некоторым моим извинением могло служить то, что стояла ровная, изумительно мягкая и теплая погода, что никогда еще с таким величием Нева не несла свои волны, никогда на ее просторе не дышалось так легко. Особое наслаждение я испытывал от одного ощущения гранитных плит под ногами, а также от зрелища прекрасной архитектуры дворцов; никогда я с таким любопытством не всматривался в лица встречных гуляющих или тех, кто в элегантных экипажах неслись мимо по торцовой мостовой...[1]

Так Александр Бенуа вспоминал о днях своей юности. В этом отрывке обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, рассказчик испытывает угрызения совести из-за того, что предается фланированию, это воспринимается им как слабость, попустительство праздности и даже "поглупение". Это связано с уже упоминавшимся комплексом буржуазной вины за впустую потраченное время, и оттого рассказчику приходится ссылаться в качестве "извинения" на хорошую погоду. Во-вторых, в процессе фланирования он испытывает разнообразные сенсорные удовольствия: зрительные, тактильные ("особое наслаждение я испытывал от одного ощущения гранитных плит под ногами"), а также

1. А. Бенуа. Мои воспоминания. — М.: Наука, 1980.

Поль Гаварни. Два денди, 1835
"Быстро проходим". (Слева Жорж Санд в мужском костюме.)

приятного "легкого" дыхания. Эти удовольствия предстают как сублимированное эротическое чувство, растворенное в любовании городским пейзажем. Повествователь не скрывает, что его в основном ведет любопытство – он пребывает в состоянии затянувшегося поиска, как бы плывет на волне случайных наблюдений, и потому вполне закономерно его взгляд в конце концов находит искомое: "Среди постоянно встречавшихся меня особенно заинтересовала одна скромно одетая девица..." И хотя в дальнейшем этот "воображаемый роман" ни к чему не приводит, сама его необходимость была жестко задана законами жанра фланирования. Ведь, вспомним, в сущности, тот же алгоритм желания – город, который приводит к женщине, – был описан и у Гоголя, и у Теофиля Готье, хотя и в другом, более напряженно-драматическом ключе.

Мы неслучайно до сих пор вели речь только о мужчинах-фланёрах, причина в том, что женщина-flaneuse оставалась в городском пейзаже практически невидимой: в XIX веке порядочные женщины не выходили на прогулку в одиночку, это считалось неприличным; обычно дамы из благородных семейств прогуливались в сопровождении членов семьи или в экипажах. Именно поэтому такая эмансипированная женщина, как Жорж Санд, была вынуждена прибегнуть к переодеванию в мужское платье, чтобы спокойно фланировать по парижским улицам. Мужской костюм давал ей возможность наблюдать городскую жизнь, не привлекая к себе внимания. Напротив, одинокая девушка всегда невольно обращала на себя внимание мужчин, становясь предметом их эротических грез. Возможно, этот простой исторический факт во многом объясняет, почему фланирование неизбежно связано с эротическими мечтаниями, особым состоянием наподобие day-dream – "снов наяву"[1].

Расфокусированное желание, романтическое томление, лишенное цели и замкнутое в городском пространстве, метафорически приводит

1. "Прогулки одинокого мечтателя" Руссо – классический "фланёрский" текст XVIII века. Правда, у Руссо речь идет о загородных прогулках – это топика сентиментализма, унаследованная, к примеру, английскими поэтами "Озерной школы", которые многими исследователями романтизма справедливо считаются первооткрывателями туризма как особого, самоценного занятия.

нас через тело — к тексту: фланирование "запускает" повествовательный механизм, но жанры "фланёрского" текста могут быть различны — это и авантюрный роман ("Парижские тайны" Э. Сю), и детектив ("Записки Шерлока Холмса" Конан Дойла), и новелла о любви ("Златоокая девушка" Бальзака). Идеальный жанр (когда фланёр выступает не как действующий герой, а в своей коронной роли наблюдателя) — бессвязные ассоциативные заметки, писанные в кафе на салфетках, записки о приключениях, которые ничем не завершаются, как в новелле "Человек толпы" Эдгара По (1840).

Сопротивление прагматике, будь то жесткая ориентация на светский успех или на бытовой меркантилизм, роднит фланёра с романтическим автором, любителем эстетических экспериментов. И разве можно считать случайным совпадением, что величайший французский поэт-символист XIX века Шарль Бодлер был страстным фланёром, а целый ряд стихотворений в знаменитых "Цветах зла" содержит зарисовки городской жизни и парижских типажей?

Бодлер относился к фланированию как к особому жанру перформанса и конечно же тщательно наряжался перед выходом. В мемуарах современников сохранился портрет Бодлера на прогулке:

> Медленными шагами, несколько развинченной, слегка женской походкой Бодлер шел по земляной насыпи возле Намюрских ворот, старательно обходя грязные места и, если шел дождь, припрыгивая в своих лакированных штиблетах, в которых с удовольствием наблюдал свое отражение. Свежевыбритый, с волнистыми волосами, откинутыми за уши, в безупречно белой рубашке с мягким воротом, видневшимся из-под воротника его длинного плаща, он походил и на священника, и на актера[1].

В этом описании сконцентрированы ключевые особенности дендистского фланирования: театральность, медленный шаг, внимание к своему внешнему виду и, в частности, к обуви. Бодлер, между прочим, специально оговаривал, что в свежевычищенных сапожках должны отражаться белые перчатки. Напомним, что родоначальник дендизма Джордж Браммелл, согласно легенде (скорей всего, недостоверной), чистил свои ботинки пеной шампанского.

Сходство со священником или с актером напоминает и о непростых отношениях фланёра с толпой — публикой, ради которой разыгрывается сей спектакль или совершается служба. В "Художнике современной жизни" Бодлер замечал, что толпа необходима фланёру, как воздух — птице и водная стихия — рыбе. Искусство сливаться с толпой — это профессия и страсть фланёра.

Благодаря Бодлеру фланёр обнаруживает еще одну ипостась: вуайёра. Отныне событийная сторона прогулки разворачивается в сфере зрения. Фланёр-наблюдатель подобен принцу, вышедшему на прогулку инкогнито, — тайная власть над толпой создает иллюзию вненаходимости, однако повышенный риск заставляет его трепетать от страха разоблачения: король может с легкостью занять место шута. Но — возникает естественный вопрос: чего же бояться фланирующему денди?

1. Ж.-П. Сартр. Бодлер. В кн.: Ш. Бодлер. Цветы зла / Перев. Г. Косикова. — М.: Высшая школа, 1993.

Жан-Поль Сартр, посвятивший Бодлеру[1] целую книгу, видит разгадку в тирании посторонних взглядов:

Эти глаза повсюду, и в них таятся чужие сознания. Все эти сознания видят его, молча завладевают им и пожирают его; он пребывает в недрах чужих душ, где его классифицировали, упаковали и наклеили сверху этикетку, а какую — он не знает. Вот, например, этот прохожий на улице, скользнувший по Бодлеру равнодушным взглядом, — ему, наверное, ничего не известно о знаменитой бодлеровской "непохожести", и он принимает его за обычного буржуа, подобного всем прочим. Поскольку же эта непохожесть, чтобы существовать объективно, нуждается в признании со стороны другого, то равнодушный прохожий разрушает ее уже одним своим взглядом[2].

Страх перед насилием чужих оценок и равнодушных классификаций, страх перед приклеиванием этикеток, пусть это был лишь мимолетный взгляд, — отражение извечного ужаса субъекта перед овеществлением, объективацией, которые лишают его преимуществ созерцательной свободы. Но парадокс состоит в том, что реальность и уникальность наблюдателя тоже нуждаются в подтверждении: контур фигуры фланёра создается только в визуальном пространстве возвращенного взгляда. Гуляющий денди катастрофически нуждается в толпе — Бодлер обречен вновь и вновь искать зрителей для своих одиноких прогулок.

Феномен взаимодействия с "другим" — вот в чем детективный сюжет и фантасмагория фланирования. Сомнамбулический транс фланёра в любую минуту может быть нарушен, и лунатик срывается вниз, как только прервут его сновидение. Перехват взгляда смертелен — если фланёра случайно застигнут за созерцанием, происходит мгновенное переключение ролей: наблюдатель превращается в наблюдаемого, охотник — в дичь. В экзистенциальном срезе мирная прогулка оказывается непрерывной серией оптических микродуэлей, мгновенных визуальных уколов — "тысячей биноклей на оси", как сказано у Пастернака.

О бодлеровских прогулках серьезно размышлял также и один из самых интересных философов нашего века, теоретик модерна Вальтер Беньямин, человек трагической судьбы, оставивший незавершенным свое последнее гигантское сочинение — "Труд о пассажах". Пассажи, крытые торговые ряды под стеклянными сводами, стали для Беньямина прообразом современных форм городской жизни. Будучи гибридом улицы и магазина, пассажи внутри сохраняют черты городской архитектуры (что до сих пор видно в нашем ГУМе, имеющем центральную площадь с фонтаном), но в то же время отличаются безопасностью для пешеходов и особой зрелищностью витрин и реклам.

Париж обрисован Беньямином как "столица XIX столетия" — урбанистической цивилизации, чьей наследницей является наша современная культура. Автор исследует городские типы, увиденные на фоне парижских пейзажей: старьевщик, коллекционер, человек-сэндвич, обвешан-

1. Над книгой о Бодлере (1946) Сартр работал в годы немецкой оккупации Парижа, и оттого мотивы поднадзорности и чужого враждебного наблюдающего взгляда прописаны особенно сильно.
2 Ж. П. Сартр. Бодлер. В кн. Ш. Бодлер. Цветы зла / Перев. Г. Косикова. — М.: Высшая школа, 1993.

ный рекламными плакатами, проститутка, детектив, фланёр... Беньямин проницательно отмечает у Бодлера "взгляд аллегорического поэта, направленный на город, – скорее взгляд отчужденного человека. Это взгляд фланёра, чей образ жизни еще окружает будущее безотрадное существование жителя мегаполиса примиряющим ореолом"[1]. Благодаря этому взгляду и магазины предметов роскоши, и недавно появившееся производство готового платья еще сохраняют свою романтическую ауру, хотя позднее в романах Золя ("Дамское счастье") уже разоблачается механика коммерческого апофеоза.

Пассажи – идеальное пространство для фланёра, искусственный рай и одновременно место консьюмеристских искушений. Именно в обманчивом пограничном переходе-пассаже свершается роковая метаморфоза фланёра: он прежде всего становится потребителем и утрачивает бальзаковскую "неподвижность лица". Личное городское пространство и непредсказуемые маршруты превращаются в коммерчески запрограммированные траектории. Вольные дендистские прогулки незаметно подменяются суетливым шоппингом, медленный шаг фланёра и философские медитации – автоматизмом навязанных желаний, безотрадным глянцем ненужных покупок; словом, торжествует стихия "virvoucher".

Современная модификация старинных пассажей – громадные шоппинг-моллы, менеджеры которых пытаются создать в своих универмагах атмосферу детского праздника, чтобы каждый покупатель ощутил себя ребенком, получающим подарки, или, на худой конец, посетителем парка аттракционов. Тут можно назначить свидание, пообедать, провести деловую встречу и поплавать в бассейне. Универмаг стилизуется под природный ландшафт, где происходит смена времен года (сезонные распродажи), под остров сокровищ, райский сад, феерический город изобилия и – в идеале – становится моделью будущей цивилизации.

Но в этой утопии уже нет места фланёру – он не терпит суеты. Где же тогда искать их, современных адептов свободных прогулок? Ответ ясен: они все ушли в Интернет и там фланируют вволю, удовлетворяя свое любопытство и реализуя дендистский идеал экономных движений в лабиринте электронных пространств.

1. Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Перев. С. Ромашко. – М.: Медиум, 1996.

Ольга Тилькес
Кочующий Эрмитаж

В конце февраля в Амстердаме в здании "Неерландия", входящем в архитектурный комплекс "Амстелхоф", открылся филиал Эрмитажа. Естественно во всех газетах пересказывалась история создания нового музея. И то, как директор музея в Новой церкви Эрнст Веен, впервые войдя в Эрмитаж, был поражен увиденным и еще больше поразился, когда услышал, что музей экспонирует примерно два процента своей коллекции, а все остальное лежит мертвым грузом в запасниках. Тогда у Веена возникла идея выставлять это "остальное" в Новой церкви, чтобы в выигрыше оказались обе стороны: его музей будет показывать в Голландии коллекции из Эрмитажа, а Эрмитаж — получать гульден с каждого проданного билета. Так Веен организовал выставки "Скифское золото", "Екатерина Вторая", "Богатство Строгановых", "Любовь из Эрмитажа", а на собранные деньги Эрмитаж починил потолок в залах Рембрандта и малых голландцев, а сейчас реставрирует Петровскую галерею, в которой планируется выставить картины голландских мастеров, пока что покоящиеся в запасниках. Но больше всего писалось, конечно, о сбывшейся мечте Веена — открыть в Амстердаме филиал Эрмитажа, где каждые полгода будет проходить выставка из собраний этого музея. Программа выставок, разработанная на ближайшие восемь лет, исключает конкуренцию с голландскими музеями: решено привозить только то, чего нет в самой Голландии, — ни Рембрандта, ни вообще XVII века, ни Ван Гога не будет. Обещаны выставки греческого золота, коллекций Николая и Александры, венецианской живописи — с Тинторетто, Гварди, Каналетто и Тьеполо.

Вряд ли в городе можно было найти для Эрмитажа место лучше, чем "Амстелхоф", или "бешьесхэус", как называют его амстердамцы. "Бешье" дословно означает "ягодка", а в просторечье — "старушка", что-то вроде нашего "божьего одуванчика". "Амстелхоф", или "бешьесхэус", и был построен в 1683 году как богадельня для старых вдов протестантской общины. И хотя довольно скоро, уже в начале XVIII века, к старушкам подселили старичков, "дом ягодок" остался "домом ягодок". И остается им по сей день, так как новое жилье для обитателей "Амстелхофа" еще не готово. Поэтому Эрмитаж разместился пока только в одном из зданий комплекса.

По словам Э. Веена, для того чтобы достойно представить экспонаты из Эрмитажа, пришлось превратить бывшую протестантскую богадельню в просторный и светлый дворец. Это явное преувеличение: в открытых шести комнатах не только ничто не напоминает дворец, но нет ни простора, ни света (в отличие, например, от не так давно открытого музея фотографии, также разместившегося в старом здании). Есть скупо оформленные 500 квадратных метров выставочного пространства. Но хочется думать, что к 2007 году, когда к "Эрмитажу на Амстеле" присоединят остальные здания комплекса, простота интерьера музея перестанет быть безликой и почувствуется если не дворцовая царственность Эрмитажа, то строгость и монументальность "Амстелхофа".

А он словно построен для музея. В конце XVII века, когда протестантская община получила землю под богадельню, в моду в Голландии как раз входил так называемый "строгий

© О. Тилькес, 2004

стиль" классицизма: симметрия, регулярная планировка с подчеркнутой центральной осью, гладкие стены, отсутствие пилястр и прочих украшений. Дозволялись разве что декоративные детали в оформлении парадного входа либо центрального пролета. Все это соблюдено и в "Амстелхофе": абсолютная гармоничность строгих пропорций, в центре — обрамленный ионическими колоннами парадный вход, сделанный только из соображений престижа. Вход свидетельствовал о достатке владельца, и если в домах победнее лестница была одна, то к парадному входу в дом мало-мальски важных голландцев лестница вела с двух сторон. Как ни пытался архитектор убедить бургомистров в ненужности парадного входа, который вел прямо в столовую, раз в неделю служившую местом церковных служб, они настаивали на своем: богадельня была для них предметом гордости, а ее вход — их входом в историю.

Подходит "Амстелхоф" для Эрмитажа и размерами. В городе, где узкие дома все как один тянутся вверх (большинство не превышает в длину 5-8 метров, только очень богатые люди могли позволить себе построить дом на двух соседних участках), "Амстелхоф" выделяется длиной своего фасада — почти 80 метров. Это был самый длинный фасад Амстердама, а столовая-церковь, в которую ведет парадная дверь, долгое время оставалась самым длинным залом города, длиннее парадного зала городской ратуши на площади Дам. Протяженность по горизонтали придает этому протестантски строгому зданию некоторое величие, которое очень отдаленно, но все-таки напоминает великолепие и роскошь Растрелли.

Местоположение — самый центр города — конечно, тоже является одним из достоинств "Амстелхофа". Рядом с ним Музыкальный театр, Португальская синагога, Еврейский исторический музей, Дом Рембрандта, так что близлежащую площадь с барахолкой стихийно уже переименовали в Музейную.

Есть в этой шутке примесь горечи для тех, кто знает бесконечно тянущуюся ремонтную историю на настоящей Музейной площади, получившей свое название по трем расположенным на ней музеям: государственному Рейксмузеуму с Рембрандтом, Вермером, Рёйсдалом, Стейном, ван Гойеном, Хоббемой, Халсом и многими другими; Городскому музею современного искусства с Кандинским, Малевичем, Поллаком, Кифером и Музею Ван Гога. Из трех сейчас открыт только Музей Ван Гога.

Рейксмузеум, главный музей Голландии, привлекающий более миллиона туристов в год, закрылся на ремонт до 2008-го. Правда, сразу после закрытия на всех трамвайных остановках развесили великолепно сделанные афиши — копии картин из собрания музея с текстом: "В связи с ремонтом музей открыт", но понятно, что маленький музейный флигель, куда на время ремонта перевезли шедевры, не может возместить утраты.

История с ремонтом началась в 2000 году и началась за здравие: музей получил 400 миллионов гульденов на реставрацию. По всей стране проходили открытые и закрытые дебаты, горячие головы предлагали даже сравнять Рейксмузеум с землей и построить на его месте новый. Надо сказать, что не все были довольны музеем и сразу же после его открытия в 1885 году: строение, возведенное в модном тогда стиле голландского ренессанса с множеством готических элементов, казалось голландцам слишком католическим и поэтому неподходящим для общественного здания в протестантской стране: архитектора-католика Кэуперса обвиняли в том, что он намеренно придал главному музею страны вид "епископского дворца", а король Вильгельм Третий, покровитель изящных искусств, бравший уроки пения у самой Малибран, громогласно заявил, что "в этом монастыре" ноги его не будет. Но снести музей тогда никто не предлагал.

В конце концов пришли к соглашению: испанские архитекторы Крус и Ортис построят два новых здания и сделают под музеем зал в 4000 квадратных метров, но в то же время будут восстановлены внутренние дворы-сады музея, застроенные в свое время ради увеличения экспозиционного пространства, и заново будут расписаны стены центрального зала и главной галереи, ведущей к

"Ночному дозору": с красочными орнаментами и trompe-l'oeils музея в XX веке поступили так же, как и с росписью католических церквей в конце XVI, – закрасили все протестантским белым, так что от всех украшений Кэуперса только витражи и остались. Музей закрыли на ремонт и задумались: а стоит ли тратить почти триста миллионов евро и рыть котлован под памятником архитектуры?

Не лучше обстоит дело и с Городским музеем современного искусства. В 50-е годы прошлого века он не знал себе равных, да еще и тридцать лет назад музей был полон жизни – именно тогда впервые стали обсуждаться планы его расширения. И обсуждаются до сих пор. За это время сменилось несколько директоров, каждый из которых предупреждал, что, если музей не получит новое помещение, он потеряет свое лидирующее положение в мире современного искусства. Несколько раз магистрат давал разрешение на расширение, так что дело оставалось только за планами, ну и конечно за деньгами. Планы нового здания разрабатывали и Роберт Вентури, и Рем Коолхаас, и Карл Веебер, и Вим Кист, и Альваро Сиза. За истекшее тридцатилетие не только не построили нового здания, но и старое пришло в такое состояние, что инспекторы пожарной безопасности не дали разрешения на эксплуатацию музея. А нужных денег у города нет, так что Амстердам готов передать музей стране. Логично, ведь на государственный Рейксмузеум деньги нашлись. В прошлом такое уже случалось: в 1808 году Луи Бонапарт передал только что созданному тогда государственному Рейксмузеуму "Ночной дозор" и "Штальмейстеров", пообещав в придачу городу канализацию (обещания, правда, не выполнил), а в 1885 году в связи с открытием нового здания музея (того самого "епископского дворца", о котором говорилось выше) город передал "во временное пользование" Рейксмузеуму коллекцию из 158-ми картин, среди которых были "Еврейская невеста" Рембрандта, "Девушка с письмом" Вермера, "Мельница у Дюрстеде" Якоба Рёйсдала. В соглашении, заключенном между городом и государственным музеем, говорилось, что за все эти картины город будет получать 400 гульденов в год – "на бедных". Соглашение до сих пор в силе, Амстердам так и получает эти – во всех смыслах – "нищенские" деньги за шедевры, до недавнего времени ежегодно привлекавшие в Рейксмузеум миллион туристов. А к категории бедных относится теперь и сам Амстердам, у которого нет средств на Городской музей современного искусства. Специальная комиссия ищет спонсоров...

Словом, для поддержки культурного престижа Амстердама "Эрмитаж на Амстеле" открылся как нельзя более кстати. Сейчас шесть его залов могут одновременно вместить чуть больше сотни человек. Но ожидается, что в 2007 году, когда будет готов весь комплекс, музей сумеет принимать четверть миллиона посетителей в год. Так что, если вы никогда не были в Эрмитаже, добро пожаловать в Амстердам!

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Ислер А. *Жизнь и искушение отца Мюзика:* Роман / Пер. с англ. И. Осьмаковой. – М.: Иностранка, 2004. – 419 с. 5000 экз. (о)

Похождения плутоватого священника, описанные Аланом Ислером ("Принц Вест-Эндский"). Судьба отца Эдмона Мюзика не баловала: родился во Франции в еврейской семье, мать погибла в концлагере, отец бежал в Палестину, а мальчика крестили и отправили в католический приют. В итоге Эдмон стал священником, но женский пол никогда не игнорировал, отсюда все его удачи и беды. Благодаря одной любовнице он получил богатый и спокойный приход, другая втянула его в сомнительную историю с торговлей редкими книгами. Роман веселый и грустный одновременно.

Птифис Ж.-К. *Истинный Д'Артаньян* / Пер. с франц. Э. Драйтовой; науч. ред. и послеслов. А. Левандовского. – М.: Мол. гвардия, 2004. – 207 с. – (ЖЗЛ) 6000 экз. (п)

Жил да был гасконский дворянин д'Артаньян, или, вернее, Шарль де Бац де Кастельмор. Был он слуга царю, отец солдатам, командовал королевскими мушкетерами и погиб при осаде Маастрихта в 1673 году. Три десятка лет спустя знаменитый памфлетист Гасьен де Куртиль написал про него книгу, где вымысла было больше, чем правды. А еще через 150 лет Александр Дюма переписал Куртиля – и получился роман "Три мушкетера". Но вот что удивительно: жизнь настоящего д'Артаньяна была даже интереснее, чем жизнь героев Куртиля и "Трех мушкетеров".

Бартелми Д. *Король*: Роман / Пер. с англ. М. Немцова. – М.: Эксмо, 2004. – 224 с. 3000 экз. (п)

Король Артур и рыцари Круглого стола против Гитлера. Это даже круче, чем "Бетмен против Годзиллы". Дело происходит в 1940 году. Артур слушает по радио Эзру Паунда и сражается на континенте с немецкими войсками, Ланселот – в перерывах между поединками с другими рыцарями – ходит по лондонским кабакам и спит с королевой Гвиневерой. Немецкая пропаганда трубит о неверности королевы... Циничная постмодернистская сказка, соединяющая два сюжета, хорошо знакомые англосаксам: Вторую мировую войну и "Смерть Артура" Томаса Мэлори.

Сорос Дж. *Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую мощь* / Пер. с англ. В. Ионова. – М.: Алпина Бизнес Букс, 2004. – 192 с. 10000 экз. (п)

Джорж Сорос обиделся на своего тезку Джоржа Буша. И теперь прилагает все усилия к тому, чтобы Буша не переизбрали на второй срок. Сорос бьет и долларом, и словом. Доллары идут демократам, а слова адресованы читателям и избирателям. Сорос бичует Буша и его администрацию за самонадеянность во внешней политике, за операцию против Ирака (а кто сейчас Буша за это не критикует?), за то, что борьба с террористами привела к нарушению

прав американцев. К тому же, пророчит Сорос, американская экономика вот-вот развалится...

Робер Ж. *Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой* / Пер. с франц. А. Якимова, К. Щербино, Е. Сутоцкой, Е. Поляковой. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 400 с. (Культура повседневности) 5000 экз.

Римская республика завоевала Грецию, а тем временем греческая культура завоевала Рим. С размахом наших нуворишей (и порой с таким же безвкусием) римляне набросились на греческие наряды, греческие украшения, греческую литературу и философию. Погоня за модой — вещь опасная. Пытаясь поспеть за новейшими тенденциями, трудно вовремя остановиться. Римляне, несмотря на предупреждения сурового традиционалиста Катона Старшего, остановиться не сумели... В книге два сквозных сюжета. Один связан с историей Рима, другой — с индустрией современной моды, некоторые особенности которой были известны уже римлянам.

Бакли К. *Дебаты под мартини*: Рассказы / Пер. с англ. М. Макаровой, В. Болотникова, М. Нуязиной, А. Дубровского. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2004. — 459 с. 5000 экз. (п)

Сборник газетных и журнальных статей одного из самых смешных современных американских писателей Кристофера Бакли ("Зеленые человечки", "Здесь курят", "Господь — мой брокер"). Аннотации на несуществующие книги и фильмы (а названия очень похожие: Стивен Кинг — "Глюки в люке"; или Питер Хёг — "Соль для слез Смыллы"), выдуманные новости (русские продают на аукционе тело Ленина), глупые сенсации (Билл Клинтон — тайный агент КГБ, проходит под кличкой "Элвис").

Фрай С. *Лжец*: Роман / Пер. с англ. С. Ильина. — М.: Фантом Пресс, 2004. (Зебра) 7000 экз. (п)

Знаменитого британского актера и писателя Стивена Фрая долго мучили издатели: "Напиши роман. Тебе ничего не стоит, а мы на этом заработаем". Фрай долго капризничал, а потом написал роман — очень смешной и увлекательный. Роман ни про что, хотя там есть шпионские загадки, псевдолитературные сенсации, история любви, много подлости, грязи, скабрезных подробностей. Четыреста страниц словоизвержения талантливого человека. Наглость и цинизм в такой концентрации, что даже вызывают восхищение.

Дюрас М. *Вторая музыка* / Сост. С. Исаев. Пер. с франц. С. Исаева, Н. Исаевой, Е. Гальцовой. — М.: Изд-во "ГИТИС", 2004. — 352 с. 5000 экз. (о)

Маргерит Дюрас сочиняла романы ("Плотина против Тихого океана", "Модерато кантабиле"), по ее сценариям поставлены знаменитые фильмы ("Хиросима любовь моя", "Любовник"). Между тем Дюрас была еще и драматургом, притом не только сочиняла пьесы, но порой и сама их ставила. Авторы предисловия к сборнику говорят о "любовной аналитике", о "хирургически точном" вскрытии подоплеки эротических отношений, о странных ситуациях, напряженных монологах... Играть это, должно быть, трудно. Читать — любопытно.

Венгрия

Награда автору книги о ГУЛАГе

В 2003 году Золотая медаль Венгерской академии искусств единогласно была присуждена Яношу Рожашу, автору документальных книг "Горькая молодость", "Лексикон ГУЛАГа" и "Сестра Дуся".

В конце войны Рожаша призвали в армию, и через пару месяцев 18-летний солдат попадает в русский плен, где проводит долгие десять лет. Позднее этот период жизни он описывает в мемуарах, которые становятся летописью судеб нескольких сотен заключенных — венгров, русских, украинцев, белорусов, казахов, армян, немцев Поволжья, поляков. Рожаш вспоминает о своем пребывании в различных лагерях, тюрьмах, на пересылках. С поразительной точностью его память фиксирует имена, даты, происшествия из лагерной жизни, даже самые незначительные. Здесь и подлое воровство у товарищей по несчастью с последующим наглым вымогательством за "находку", и отеческая опека старших над тихим венгерским парнем, который поначалу едва понимал обращенные к нему слова, но чутко откликался на любое проявление добрых чувств. В лагере судьба сводит Рожаша с А. Солженицыным, который посвящает молодому венгру четыре страницы в "Архипелаге ГУЛАГ" и позднее приветствует издание "Горькой молодости" в Венгрии.

В конце 90-х на творческой встрече в Венгерском культурном центре в Москве многие смогли ощутить обаяние этого необыкновенного человека, который по-русски называет себя Янош Иванович, любит и свою родину, и Россию и так отвечает на вопросы о своей судьбе: "Никто не виноват в том, что со мной случилось, такое было время — шла война, а я был в неприятельской армии... русские люди помогли мне выжить в плену..."

"Иностранная литература" откликнулась на выход книги "Горькая молодость" в 1991 году. Хроники Рожаша, "венгерского Ивана Денисовича", получившие признание на родине писателя, в Германии и других странах, ждут и русского издателя.

Германия

Библиотека среди вечной мерзлоты

Нужна ли Антарктике библиотека? Немецкий скульптор и живописец Лутц Фриш считает, что исследователям, работающим в суровых условиях Южного полюса, очень важно иметь уютный уголок, где можно почитать хороший роман или просто помечтать о доме.

Замысел создать библиотеку на немецкой полярной станции появился у Фриша десять лет назад, когда он ездил в Антарктику вместе с научной экспедицией. Еще тогда на него произвели тягостное впечатление однообразные домики из рифленого металла, одиноко стоящие среди бескрайних ледяных просторов. Надо сказать, что художник провел на станции всего несколько недель, тогда как ученые работают здесь в среднем по четырнадцать-пятнадцать месяцев — девять из них в условиях полярной зимы.

Библиотека разместится в стандартном домике, но в отличие от жилищ полярников он будет ярко-зеленым с розовой крышей. Продумал Фриш и внутренний интерьер: стеллажи из вишневого дерева, аккуратные столики и коричневые кожаные диваны.

Фриш обратился к нескольким сотням ученых, писателей и художников с просьбой подарить библиотеке по одной книге с автографом и кратким пояснением, почему даритель рекомендует ее прочитать полярникам. Таким образом было собрано около пятисот томов, в будущем фонд библиотеки планируется увеличить до полутора тысяч экземпляров. Среди прочих на призыв Фриша уже откликнулись Криста Вольф и Гюнтер Грасс, который передал в дар библиотеке свою книгу "Мое столетие".

Проект частично финансируется Институтом полярных исследований имени Альфреда Вегенера. Остальные средства Фриш рассчитывает выручить, устроив благотворительную распродажу алюминиевых держателей для книг с гравировкой "Библиотека во

льдах". Цена сувенира — тысяча евро. Точные их копии с именами спонсоров будут использоваться в антарктической библиотеке.

Ирландия

Новая жизнь дома "Мертвых"

Отныне поклонники Джеймса Джойса могут совершить путешествие в прошлое и посетить "темный мрачный" особняк на Ашер-Айленд, описанный в знаменитой новелле "Мертвые" из сборника "Дублинцы".

Долгое время здание стояло полуразрушенным, без верхнего этажа, пока три года назад его не приобрел один из почитателей творчества Джеймса Джойса адвокат Брендан Килти. Надо сказать, что, несмотря на мировую славу ирландского классика, в Дублине сохранилось не так много достопримечательностей, связанных с его именем.

В доме в георгианском стиле жили тетушки Джойса, и в детстве писатель часто бывал здесь на рождественских праздниках. Воспоминания о них и легли в основу "Мертвых", в которых, как, вероятно, помнит читатель, весьма подробно описывается рождественский ужин, устроенный тремя мисс Моркан.

Недавно реставрация здания была закончена, а его официальное открытие состоится летом. Оно приурочено к столетнему юбилею Дня Блума, который отмечается в столице Ирландии 16 июня. В этот день герой романа "Улисс" Леопольд Блум совершил путешествие по городу, и теперь, век спустя, тысячи поклонников Джойса соберутся в Дублине, чтобы принять участие в торжествах.

Тогда же особняк на Ашер-Айленд распахнет двери для посетителей. Первых почетных гостей ожидает праздничный обед, на котором они смогут отведать блюда, упоминаемые в рассказе: жирного подрумяненного гуся, окорок, обсыпанный толчеными сухарями, ростбиф с пряностями.

В выходные по дому можно будет пройтись с экскурсоводом. Кроме того, Килти планирует открыть на первом этаже художественную галерею, в которой будут выставлены работы П. Пикассо, А. Матисса и П. Сезанна.

Директор проекта в доме на Ашер-Айленд

Норвегия

Прогулки с Ибсеном

В связи с приближающимся столетием со дня смерти Генрика Ибсена (1828—1906) фонд, носящий имя норвежского классика, задумал создать в Осло специальный ибсеновский маршрут. Он соединит дом писателя (сейчас в нем находится мемориальный музей), кафе, в котором Ибсен был завсегдатаем, и Национальный театр Осло, где и поныне идут его пьесы. По замыслу организаторов акции, почитатели таланта норвежского драматурга не только смогут "пройтись по стопам" знаменитого соотечественника, но и прочитать прямо на тротуаре цитаты из его произведений. В частности, центральную улицу, на которую приходится бóльшая часть пути, украсят цитаты из "Пер Гюнта" и "Кукольного дома".

Одна из основных целей проекта — приобщить к творчеству норвежского классика молодежь, которая, как известно, сейчас не слишком жалует литературу. Не случайно среди тех, кому поручено отбирать цитаты, будут учащиеся одной из школ Осло.

Осуществить проект доверено двум шведским художникам-оформителям, которые создали подобный "маршрут Августа Стриндберга" в Стокгольме.

США

Портрет художника в зрелости

Недавно в галерее Сетон при университете Нью-Хейвен была выставлена уникальная фотография, на которой, как считают ученые, изображен Ван Гог. Впрочем, по замыслу организаторов экспозиции "Ван Гог: судебная экспертиза и установление личности", посетители имеют возможность вынести в этой связи самостоятельное суждение, сравнив экспонат с картинами.

О внешности Ван Гога принято судить по многочисленным автопортретам, которых известно более сорока. Помимо того, существует

две фотографии: на одной художнику тринадцать лет, на другой — девятнадцать.

Снимок, представленный на выставке, приобрел в начале 90-х годов художник Том Станфорд. Он обнаружил его, когда перелистывал альбом со старыми фотокарточками в одном из антикварных магазинов Массачусетса. Покупка обошлась художнику всего в один доллар. На карточке, сделанной в 1886 году, запечатлен мужчина средних лет с аккуратной бородкой и крупным носом. Он одет в костюм, на шее — небольшая бабочка.

Несмотря на очевидное сходство со знаменитым живописцем, сотрудники музея Ван Гога в Амстердаме считают, что это совпадение случайное. Противоположного мнения придерживается Альберт Харпер, директор американского Института судебной медицины, где проводилась экспертиза снимка. Специалисты провели детальное сравнение с автопортретами художника, сличив высоту лба, форму и разрез глаз, и пришли к выводу, что это Ван Гог.

С ними согласен Джозеф Бьюбергер, специалист по истории фотографии, который первым увидел находку Станфорда. По его мнению, художник пользовался этой фотографией, когда рисовал свои портреты, значительная часть которых была создана примерно в то же время, что и снимок. Бьюбергер установил, что фотокарточка была отпечатана в Брюсселе, то есть в городе, где находилась мастерская живописца. При этом он полагает, что с юношескими фотокарточками ученые допустили ошибку и на них запечатлен не Ван Гог, а его брат Тео.

Литература без границ

"Слова без границ" — так называется новый американский ежемесячный интернет-журнал, который знакомит читателей с лучшими образцами мировой литературы в английских переводах.

В штате "Слов без границ" всего три женщины, которые, за неимением служебного помещения, встречаются в кафе. Это основательница и главный редактор журнала Алейн Сальерно Мейсон и две ее помощницы: редактор нью-йоркского издательства "Оксфорд юниверсити пресс" Деди Фелман и бывший старший редактор "Зоетропа", литературного журнала, основанного Ф. Копполой, Саманта Шнии.

Мейсон убеждена, что их издание выполняет очень важную функцию, заполняя огромную культурную лакуну: по статистике из всех книг, которые ежегодно выходят в Америке, иностранная литература составляет лишь три процента, тогда как в Западной Европе едва ли не каждая вторая книга — переводная.

Как-то Мейсон случайно подслушала разговор немецких издателей, которые бранили американцев за культурную ограниченность и провинциальность. Именно тогда ее впервые посетила идея создать журнал, рассказывающий читателям о том, чем живет мир за пределами США.

Мейсон обратилась в Национальный фонд искусств, правительственную организацию, которая субсидирует проекты, способствующие развитию культуры, и получила два гранта, в общей сложности на 65 тысяч долларов.

Первый номер, один из трех, посвященных литературе Ближнего Востока, появился в июле прошлого года. В него вошли отрывки романов, эссе и очерки писателей Ирана, Ирака и Северной Кореи. Январский выпуск познакомил читателей с произведениями балканских авторов, февральский — аргентинских, мартовский — польских. Прочитать старые и новые номера можно на сайте по адресу: www.wordswithoutborders.com

Насколько успешным окажется начинание, покажет время. Пока очевидный интерес к журналу проявили профессиональные переводчики. Что же касается крупных издательств, то они по-прежнему опасаются публиковать произведения иностранных авторов, мало известных в Америке. Впрочем, председатель секции переводов при ПЕН-клубе Эстер Аллен считает, что дела в этой области обстоят не так уж плохо: открылось два новых издательства, выпускающих зарубежную литературу, а прошлой весной анонимный благодетель пожертвовал на развитие литературного перевода 730 тысяч долларов.

По материалам агентства новостей "Рейтер" [Великобритания] и АФП [Франция], "Дойче велле" [Германия], газет "Гардиан" [Великобритания], "Нью-Йорк таймс" [США].

Авторы номера

Ольга Токарчук
Olga Tokarczuk
Польская писательница.

Автор романов *Путь людей Книги* [*Podróż ludzi Ksiegi*, 1993; рус. перев. 2002], *E. E.* [*E. E.*, 1995], *Правек и другие времена* [*Prawiek i inne czasy*, 1996; рус. перев. 2004], двух сборников рассказов и др.
В *ИЛ* был опубликован ее рассказ *Номера* [*Numery*, 2000, № 8].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Dom dzienny, dom nocny* [Wałbrzych: Ruta, 1999].

Уильям Тревор
William Trevor
[р. 1928]. Англо-ирландский прозаик, член Ирландской академии литературы, лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Пансион* [*The Boarding House*, 1965], *Элизабет – одна* [*Elizabeth Alone*, 1973], *Пасынки судьбы* [*Fools of Fortune*, 1983; рус. перев. 1989] и др., сборников рассказов *День, когда мы захмелели от пирожных* [*The Day We Got Drunk on Cake and Other Stories*, 1967], *Ангелы в Ритце* [*Angels at the Ritz and Other Stories*, 1975], *Семейные грехи* [*Family Sins and Other Stories*, 1989] и др. В русском переводе издан сборник рассказов *За чертой* [Библиотека *ИЛ*, 1986]. В *ИЛ* были опубликованы его рассказы [1996, № 8; 2000, № 2].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Избранные рассказы* [*Collected stories.* Penguin Books, 1993].

Эрик-Эммануэль Шмитт
Eric-Emmanuel Schmitt
[р. 1960]. Французский драматург, писатель. Лауреат Мольеровской премии [1994], Гран-при Французской академии в области драматургии [2001] и др.

Автор пьес *Ночь в Валони* [*La Nuit de Valognes*, 1991], *Золотой Джо* [*Golden Joe*, 1995], *Вольнодумец* [*Le Libertin*, 1997], *Фредерик, или Бульвар преступлений* [*Frédérick, ou Le Boulevard de crime*, 1998], *Отель двух миров* [*Hôtel des deux mondes*, 1999], *Господин Ибрагим и цветы Корана* [*Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran*, 1999], *Маленькие семейные преступления* [*Les Petits crimes conjugaux*, 2003], романов *Секта эгоистов* [*La Secte des égoistes*, 1994], *Евангелие от Пилата* [*L'Evangile selon Pilate*, 2000; рус. перев. 2003], эссе *Дидро, или Философия обольщения* [*Diderot ou La Philosophie de la séduction*, 1997].
Публикуемая пьеса печатается по изданию *Le Visiteur* [Paris: ACTES SUD, 1994].

Константин Абэлуцэ
Constantin Abăluță
[р. 1938]. Румынский поэт, прозаик, драматург, переводчик. Лауреат национальных и международных премий.

Выпустил двадцать поэтических сборников, в том числе: *Муравьиная дорожка* [*Drumul furnicilor*, 1974], *11 ересей* [*11 erezii*, 1985], *Одиночество циклопа* [*Singuratatea ciclopului*, 1988]; четыре сборника прозы и сборник пьес. Составил двухтомную комментированную антологию *Румынская поэзия после пролеткультизма* [*Poezia română dupa proletcultism*]. Переводил поэзию Дилана Томаса, прозу С. Беккета, Ш. Бодлера и др. На русском языке не публиковался.
Публикуемые стихотворения взяты из журнала *România literara* [1981], антологии *Румынская поэзия после пролеткультизма* [Constanta: Ex ponto, 2000] и сборника *Первобытные стихи* [*Poeme primitive.* Bucuresti: Editura Vinea, 2003].

Вирджиния Вулф
Virginia Woolf
[1882–1941]. Английская писательница.

Автор романов, рассказов и эссе. В *ИЛ* были опубликованы романы *Миссис Дэллоуэй* [*Mrs. Dalloway*, 1984, № 4], *Комната Джейкоба* [*Jacob's Room*, 1991, № 9], *Орландо. Биография* [*Orlando. A Biography*, 1994, № 11], *Волны* [*The Waves*, 2001, № 10]; в Библиотеке *ИЛ* вышли рассказы и повесть *Флаш* [1986].
Публикуемый роман печатается по изданию *Between the Acts* [London: The Hogarth Press, 1976].

Ольга Борисовна Вайнштейн
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Лауреат премии *Инолиттл* [2001].

Автор книги *Язык романтической мысли: О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля* [1994]; составитель и публикатор книги А. В. Карельского *Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур* [1998]; научный редактор и автор предисловия книги Барбе Д'Оревильи *О дендизме и Джордже Браммелле* [2000]; составитель двухтомника *Ароматы и запахи в истории культуры* [2003].
Ее статьи и рецензии неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Ольга Тилькес
Доктор филологических наук, преподаватель русской литературы. В настоящее время работает в Амстердамском университете.

Автор ряда статей в голландских филологических журналах. В *ИЛ* печатается впервые.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга назавтра* [Радио России].

Переводчики

Ольга Леонидовна Катречко
Переводчик с польского.

В ее переводах опубликованы романы К. Грохоли *Никогда в жизни!* [2003], *Сердце в гипсе* [2003] и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов К. Филиповича [2002, № 4,].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Удостоен почетного диплома критики *зо-ИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта и Л. Стерна, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолиттл* [1999] и премии имени Мориса Ваксмахера [2002].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [1993, № 1], романы *Перелом* А. Сарразен [1993, № 10, 11], *Голубчик* Э. Ажара [1995, № 7], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7] и др.

Анастасия Анатольевна Старостина
Переводчик с румынского, лауреат премии *ИЛ* [1985].

В ее переводах публиковались новеллы румынских классиков М. Эминеску, Т. Аргези и др.; а также том беллетристики М. Элиаде *Под тенью лилии* [1996]; *Стихотворения, рассказы, эссе* А. Бландианы [1987], под ее редакцией вышел трехтомник М. Элиаде *История веры и религиозных идей* [2001-2003]. В *ИЛ* были напечатаны ее переводы рассказов Э. Урикару [1982, № 3], Б. Хорасанджана [1988, № 3], А. Бландианы [1995, № 3], романа М. Элиаде *Девица Кристина* [1992, № 3] и др.; ею подготовлен "Литературный гид" *Мирча Элиаде: Одиссей в лабиринте* [1999, № 4].

Елена Суриц [Богатырева Елена Александровна]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11] и *Волны* [2001, № 10] В. Вулф, *Мастер Джорджи* Б. Бейнбридж [2000, № 7] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины английского художника Джона Констебля [1776–1837] *Кукурузное поле (Пейзаж в полдень)* [1826].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journal@inostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.05.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1397.
Тираж 8 600 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[7] 2004

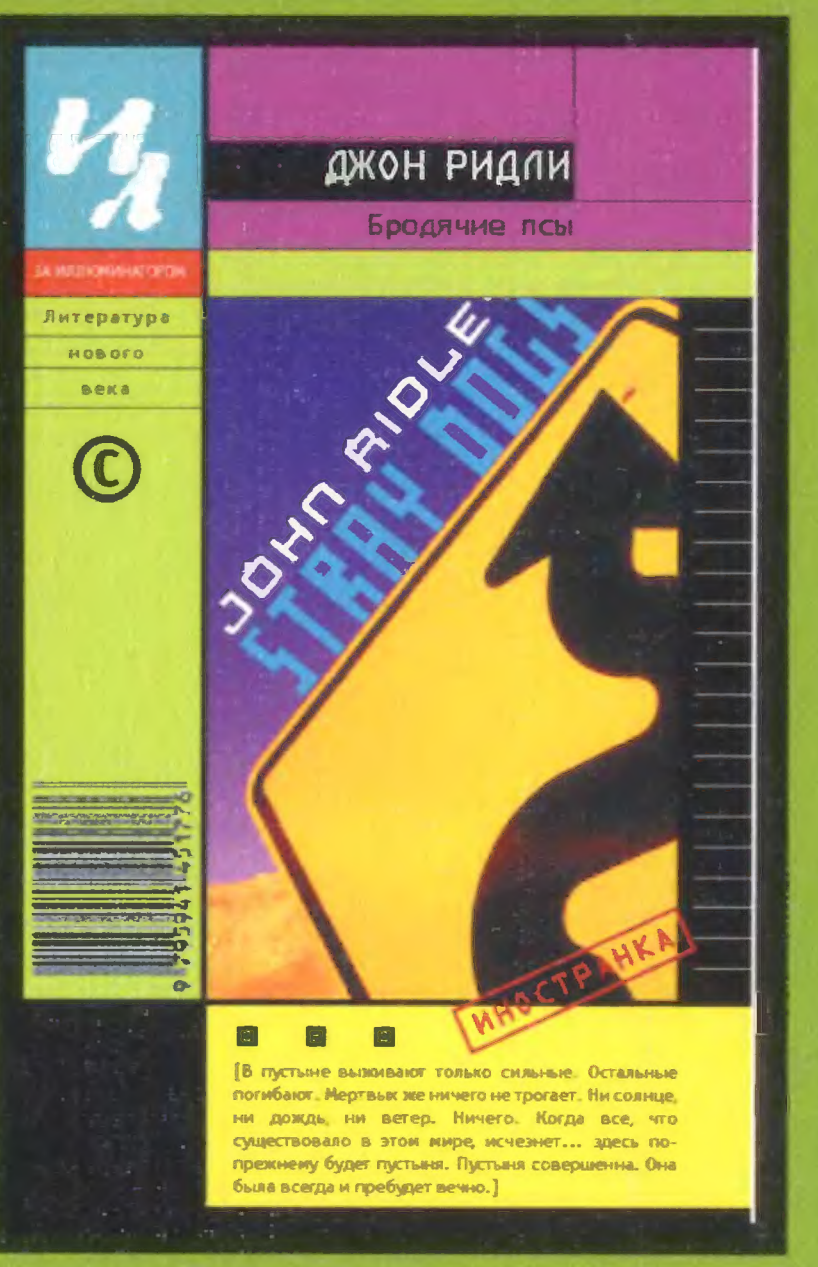
РОМАН МЕИРА ШАЛЕВА “В ДОМЕ СВОЕМ В ПУСТЫНЕ” / СТИХИ ШАРЛЯ БОДЛЕРА / РОМАН ТОМАСА ВУЛФА “О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ” В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / ПЬЕСА ВУДИ АЛЛЕНА “РИВЕРСАЙД-ДРАЙВ” / РОМАН ЯНЫ СИМОН “ВЕДЬ МЫ — ДРУГИЕ. ИСТОРИЯ ФЕЛИКСА С.” / “САМУРАИ НА ЭКРАНЕ” АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА”

ИНДЕКС 70394

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №6, 1-288